
ЭДГАР ПО
ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ
СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
О ТАЙНАХ И ВООБРАЖЕНИИ
КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ

Падение дома Ашеров. Страшные истории о тайнах и воображении

Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар Аллан По. Падение дома Ашеров. Страшные истории о тайнах и воображении
Эдгар По. Биографический очерк
Рассказы, опубликованные в сборниках
Из сборника «Гротески и арабески»
Метценгерштейн
Манускрипт, найденный в бутылке
Свидание
Береника
Морелла
Знаменитость
Король Чума. Рассказ, содержащий аллегорию
Лигейя
Разговор между Эйросом и Хармионой*
Падение дома Ашеров
Вильям Вильсон
Из сборника «Рассказы»
Человек толпы
Нисхождение в Мальстрём*

Беседа между Моносом и Уной
Убийство на улице Морг
Тайна Мари Роже. (Продолжение «Убийства на улице Морг»)
Золотой жук
Черный кот
Рассказы, опубликованные в периодике
Рассказы опубликованные после 1845 года
Молчание. Притча
Элеонора
Овальный портрет
Маска красной смерти
Колодец и маятник
Сердце-обличитель
Очки
Преждевременное погребение
Разговор с мумией
Могущество слов
Демон извращенности
Факты о случае с господином Вальдемаром
Бочка амонтильядо
Коттедж Лэндора. Параллель к «Поместью Арнгейм»
Ворон*. Поэма
Комментарии

Аннотация

Один из величайших американских романтиков XIX века, Эдгар Аллан По – фигура загадочная. Жизнь писателя окутана тайной и зловещей атмосферой наравне с его произведениями. Эдгар По всю жизнь смотрел в бездну, а бездна смотрела в него, и из этого рождались рассказы: мрачные, странные, причудливые. В них он затрагивал темы смерти, страдания, двойственности души, распада личности, врождённой порочности человека, его необъяснимой жестокости и сверхъестественных способностей.

Эдгар По первым додумался сделать главным героем сыщика, его главным оружием – аналитические способности, а основой сюжета – расследование убийства. Именно ему обязан своим рождением знаменитый Шерлок Холмс.

В книге воспроизводятся иллюстрации Гарри Кларка, находящиеся где-то на стыке причудливости и жути, очень созвучные по духу публикуемым историям. Если бы сам автор взялся иллюстрировать собственные

рассказы, он наверняка сделал бы это именно в подобном стиле.

Эдгар По считался мастером мистификаций, всю жизнь окружал ими самого себя и своё творчество. Возможно, бездна всё ещё смотрит в глаза Эдгара По. И видит в них своё отражение.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Эдгар Аллан По
Падение дома Ашеров. Страшные истории о тайнах и воображении

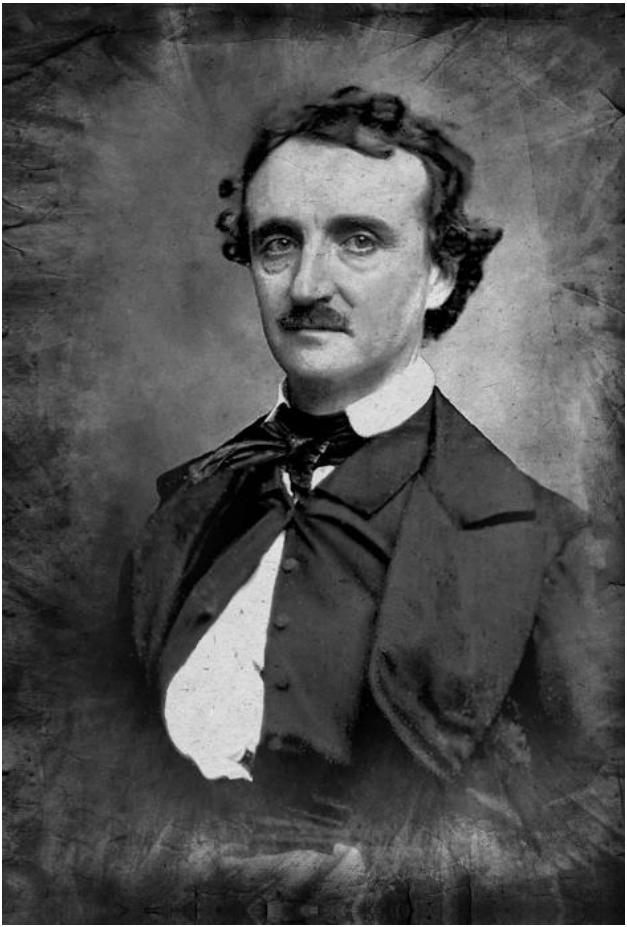


В книге воспроизводятся иллюстрации выдающегося ирландского художника, классика графики эпохи модерна Гарри Кларка (1889–1931)



© Акимов Б. С. Комментарии, 2024
© ООО “Агентство Алгоритм”, оформление, издание, 2024

Эдгар По
Биографический очерк



Величайший из американских поэтов родился 19 января 1809 года в Бостоне, США. Его родители, актеры бродячей труппы, умерли, когда Эдгару было всего два года. Мальчика принял и усыновил зажиточный купец из Виргинии Дж. Аллан. Детство Эдгара прошло в обстановке достаточно богатой. Алланы не жалели средств на его воспитание; хотя порой дела их шли неудачно, им даже грозило банкротство, мальчик этого не чувствовал: его одевали «как принца», у него была своя лошадь, свои собаки, свой грум. Когда Эдгару было шесть лет, Алланы поехали в Англию; там отдали мальчика в дорогой пансион в Лондоне, где он учился пять лет. По возвращении Алланов в 1820 году в Штаты Эдгар поступил в колледж в Ричмонде, который кончил в 1826 году. Заканчивать образование Эдгара отправили в университет в Ричмонде, тогда только что основанный.

Эдгар развился рано; в пять лет он читал, писал, рисовал, декламировал, ездил верхом. В школе легко поглощал науки, приобрел большой запас знаний по литературе, особенно английской и латинской, по всеобщей истории, по математике, по некоторым отраслям естествознания, таким, как астрономия, физика. Физически Эдгар был

силен, участвовал во всех шалостях товарищей, а в университете — во всех их кутежах. Характер будущего поэта с детства был неровный, страстный, порывистый; в его поведении было много странного. С ранних лет Эдгар писал стихи, увлекался фантастическими планами, любил производить психологические опыты над собой и другими; сознавая свое превосходство, давал это чувствовать.

Жизнь в богатстве кончилась для Эдгара, когда ему не было и полных 17 лет. В университете он пробыл всего год. Осенью 1826 года произошел разрыв между Дж. Алланом и его приемным сыном. Кто был «виноват», теперь выяснить трудно. Есть свидетельства, неблагоприятные для Эдгара; рассказывают, что он подделал векселя с подписью Дж. Аллана, что однажды, пьяный, наговорил ему грубостей, замахнулся на него палкой и т. п. С другой стороны, неоткуда узнать, что терпел гениальный юноша от разбогатевшего покровителя (Дж. Аллан получил неожиданное наследство, превратившее его уже в миллионера), вполне чуждого вопросам искусства и поэзии. По-видимому, искренне любила Эдгара только госпожа Аллан, а ее муж давно уже был недоволен эксцентричным приемышем. Пово-

дом к ссоре послужило то, что Аллан отказался заплатить карточные долги Эдгара. Юноша считал их «долгами чести» и не видел иного исхода для спасения этой «чести», как покинуть богатый дом, где воспитывался.

Для Эдгара По началась скитальческая жизнь. Покинув дом Алланов, он поехал в родной Бостон, где напечатал сборник стихов под псевдонимом Бостонец; книжечка, впрочем, в свет не вышла. Это издание, вероятно, поглотило все сбережения юноши. Не имея приюта, он решился на крутой шаг — и поступил солдатом в армию под вымышленным именем. Службу он нес около года, был у начальства на хорошем счету и даже получил чин сержант-майора. В конце 1827-го или в начале 1828 года поэт, однако, не выдержал своего положения, обратился к приемному отцу, прося помощи, и, вероятно, выражал раскаяние. Дж. Аллан, может быть, по ходатайству жены, пожалел юношу, оплатил наем заместителя и выхлопотал Эдгару освобождение. Но, приехав в Ричмонд, Эдгар уже не застал в живых своей покровительницы: госпожа Аллан умерла за несколько дней до того (28 февраля 1829 года).

Получив свободу, Эдгар По вновь обратился к поэзии. Он вновь побывал в Балтиморе и позна-

комился там со своими родственниками по отцу (которые разошлись с ним из-за его женитьбы на актрисе) — с сестрой, бабушкой, дядей Георгом По и его сыном Нельсоном По. Последний мог познакомить Эдгара с редактором местной газеты, Уильямом Гвином. Через Гвина Эдгар получил возможность обратиться к видному тогда нью-йоркскому писателю Дж. Нилу. И Гвину и Нилу начинающий поэт представил на суд свои стихи. Отзыв, при всех оговорках, был самый благоприятный. Результатом было то, что в конце 1829 года в Балтиморе вторично был издан сборник стихов Э. По под его именем, озаглавленный «Аль-Аарааф, Тамерлан и малые стихотворения». На этот раз книжка поступила в магазины и в редакции, но прошла незамеченной.

Между тем Дж. Аллан настаивал, чтобы Эдгар закончил свое образование. Решено было, что он поступит в Военную академию в Вест-Пойнте, хотя по годам он уже не подходил к этой школе для юношей. В марте 1830 года, по ходатайству Аллана, Эдгар все же был принят в число студентов, и его приемный отец подписал за него обязательство отслужить в армии пять лет. Вряд ли Эдгар охотно шел в академию; во всяком случае, он скоро убедился, что карьера, навязан-

ная ему приемным отцом, совершенно для него неприемлема. Нормальным порядком покинуть школу Эдгар не мог. С обычной горячностью он взялся за дело иначе и сумел добиться того, что в марте 1831 года был из академии исключен. Этим юный поэт опять вернул себе свободу, но, конечно, вновь рассорился с Дж. Алланом.

Из Вест-Пойнта Эдгар По уехал в Нью-Йорк, где поспешил издать третий сборник стихов, названный, однако, «вторым изданием»: «Поэмы Эдгара А. По. Второе издание». Средства на издание были собраны подпиской; подписались многие товарищи из академии, ожидавшие, что найдут в книге те стихотворные памфлеты и эпиграммы на профессоров, которыми студент Аллан По стал известен в школе. Таким подписчикам пришлось разочароваться. Покупателей у книги, расцененной дорого, в два с половиной доллара, не нашлось. Немногочисленные рецензии подсмеивались над «непонятностью» стихов.

В 1831 году Эдгар По делал попытки занять какое-либо определенное положение в обществе. Сохранилось от этого времени два письма. Первое, от 10 марта 1831 года, Эдгар По послал некоему полковнику Тэйеру с фантастической просьбой: помочь ему, Эдгару, как сержант-

майору американской армии поступить в ряды французских войск, если Франция вступится за Польшу и пошлет повстанцам 1831 года помощь против России. Вероятно, письмо осталось без ответа. Второе, от 6 мая 1831 года, адресовано Уильяму Гвину, о котором уже упоминалось: Эдгар По просил предоставить ему какую-нибудь литературную работу. Если ответ и был, то отрицательный. Тогда же, летом 1831 года, Эдгар По искал места учителя в одной школе в Балтиморе, но тоже безуспешно. Есть еще сомнительные сведения, что Эдгар По вновь обращался к своему приемному отцу и тот выдавал ему какие-то денежные пособия. Во всяком случае, пособия эти были крайне незначительны.

Три года, с осени 1831 по осень 1833 года, — самый темный период в биографии Эдгара По. Летом 1831 года Эдгар По жил в Балтиморе, у своей тетки г-жи Клемм, матери той Виргинии, которая стала женой поэта (заметим, что Виргинии тогда было всего девять лет). С осени 1831 года следы Эдгара По теряются. Некоторые биографы предполагали, что на эти годы падает поездка Эдгара По в Европу. В своих стихах и рассказах Эдгар По не раз говорит о разных местностях Европы тоном очевидца (например, в стихотворении «К

Занте»). Но никакие документальные данные такой поездки не подтверждают, да и вряд ли у Эдгара По могли быть средства на нее. Вероятно, что эти три года Эдгар По провел в Балтиморе, существуя на скудные пособия Дж. Аллана, на случайные заработки и пользуясь помощью г-жи Клемм, которая любила юного поэта как сына, но сама была бедна. К концу этого периода Эдгар По дошел до крайней стесненности, вернее до подлинной нищеты.

Несомненно, что за эти годы молодой поэт все же много работал. Им был написан ряд новелл — лучших в раннем периоде его творчества. Осенью 1833 года балтиморский еженедельник «Saturday Visitor» («Субботний гость») объявил конкурс на лучший рассказ и лучшее стихотворение. Эдгар По послал на конкурс шесть рассказов и отрывок в стихах «Колизей». Члены жюри, Дж. Кеннеди, Д. Латроб и Дж. Миллер, единогласно признали лучшими и рассказ и стихи Эдгара По. Однако, не считая возможным выдать две премии одному лицу, премировали только рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке», за который автору и была выдана премия в сто долларов. Деньги подоспели как раз вовремя. Эдгар По буквально голодал, и когда Кеннеди пригласил его к себе обедать, дол-

жен был отказаться за отсутствием мало-мальски приличного костюма…

Весной следующего года, в марте 1834-го, умер Дж. Аллан, не оставив по завещанию своему приемному сыну ни цента. Но к этому времени Эдгар По уже начал работать в журналах. Сначала он помещал кое-что в «Saturday Visitor»; потом был рекомендован Кеннеди в одно нью-йоркское издание к Томасу Уайту, издававшему в Ричмонде «Southern Literary Messenger» («Южный литературный вестник»). В этом последнем журнале Эдгар По стал сотрудничать регулярно, поместив там ряд статей и, между прочим, весной 1835 года, новеллы «Морелла» и «Береника», а потом «Приключение Ганса Пфааля», имевшие у американской публики огромный успех. Говорят, что при сотрудничестве Эдгара По тираж журнала возрос с 700 до 5000 подписчиков.

Томас Уайт пригласил Эдгара По редактировать «Вестник», с жалованьем в десять долларов в неделю. Эдгар По должен был переехать в Ричмонд, но до отъезда пожелал обвенчаться с той Виргинией, которую знал с детства и давно любил. Виргиния во многом была подобна идеальным героиням сказок Эдгара По; красота ее была исключительная. Но летом 1835 года

Виргинии все еще не было полных тринадцати лет (так как она родилась 22 августа 1822 года). Родственники Эдгара, особенно Нельсон По, о котором уже упоминалось, были против такого брака с девочкой, но Эдгар настаивал, и миссис Клемм, мать невесты, приняла его сторону. Эдгар и Виргиния были негласно обвенчаны, но новобрачная осталась в доме матери, и через год (16 мая 1836 года) церемония венчания была повторена открыто; впрочем, и тогда Виргинии недоставало трех месяцев до четырнадцати лет.

Новобрачные предполагали жить вместе с миссис Клемм в Ричмонде, где у Эдгара По была квартира в доме Уайта. Однако между редактором и издателем неожиданно произошел разрыв, причины которого не вполне выяснены. 3 января 1837 года Эдгар По сложил с себя обязанности редактора «Вестника», дававшие ему уже пятнадцать долларов в неделю, и в том же месяце уехал с семьей в Нью-Йорк как в самый крупный литературный центр Штатов. В Нью-Йорке поэт поселился в жалком домишке на Carmine-Street, причем м-с Клемм решила там открыть пансион, вернее, просто сдавать жильцам «комнаты со столом».

В Нью-Йорке Эдгар По прожил почти два года.

Он сотрудничал в разных изданиях, преимущественно в «American Museum» («Американский музей»), напечатав за это время несколько из замечательнейших своих поэм и новелл, в том числе и «Лигейю». Отдельно он издал «Приключения Артура Гордона Пима», повесть, прошедшую мало замеченной в Америке, но имевшую большой успех в Англии. Гонорар Эдгара По обычно не превышал 5–6 долларов за рассказ, редко доходя до десяти долларов, так что поэт постоянно нуждался. Любопытно, что наибольший материальный успех выпал на долю составленного Эдгаром По руководства по хронологии, которое, по существу, было почти плагиатом, — сокращением и поверхностной переделкой труда одного шотландского профессора: работа была исполнена столь удачно, что переделку покупали предпочтительно перед оригиналом.

В конце 1838 года Эдгар По с семьей вновь переселился, на этот раз — в Филадельфию, тоже большой литературный центр, соперничавший с Нью-Йорком. По было предложено место редактора, опять с жалованьем в десять долларов в неделю, со стороны «Gentleman's Magazine» (буквально: «Джентльменский журнал», т. е. журнал для читателей избранных, культурных), возник-

шего только в предыдущем году. В этом издании Эдгар По опять поместил ряд замечательных новелл, в том числе «Падение дома Ашеров», и нес все тяготы чисто журнальной работы. Там же в 1840 году Эдгар По начал печатать «Записки Юлия Родмана», самое крупное (по размерам) свое произведение после «Приключений Артура Пима»; но «Записки» остались незаконченными. Сотрудничал он и в других изданиях.

Долго и упорно Эдгар По мечтал основать собственный журнал; даже был уже напечатан проспект о ежемесячнике «Penn Magazine», но издание не осуществилось, конечно, по недостатку средств. С февраля 1841 года «Gentleman's Magazine» соединился с журналом «The Casker» («Шкатулка») в одно издание под названием «Graham's Magazine» («Журнал Грехэма»), руководителем которого остался Эдгар По. В короткое время тираж этого нового журнала достиг значительной цифры в 40 000 экземпляров. Положение Эдгара По как будто упрочивалось. В конце 1840 года Эдгар По собрал свои новеллы в отдельном издании, в двух томах, под заглавием «Гротески и арабески». В любопытном предисловии к этому изданию Эдгар По защищается от упрека в «германизме», говоря, что «страх», состав-

ляющий тему многих рассказов, — явление не «германское», а психическое. Сравнительное преуспевание Эдгара По длилось недолго. «Гротески», по издательскому выражению, «не пошли»; «Журнал Грехэма» неожиданно распался. Издатель журнала пригласил для работы в редакции Руфуса У. Грисуолда, которого Эдгар По имел поводы считать своим личным врагом. Нервность, страстность Эдгара По привела к тому, что он немедленно покинул редакцию, чтобы не возвращаться в нее более. Это произошло в марте 1842 года. После того начались тщетные поиски места и заработка. Эдгару По давали обещания, но не исполняли их; проходили месяцы, скудные сбережения исчерпывались. В несчастье Эдгар По все чаще уступал болезненному влечению к алкоголю, и его враги пользовались его болезнью, чтобы унизить его. Р. Грисуолд, занявший место Эдгара По в «Журнале Грехэма», печатал яростные нападки на поэта. Эдгар По, по возможности, отвечал, не щадя самолюбия бездарного стихокропателя. Эта полемика в достаточной степени повредила Эдгару По в литературных кругах.

Не без труда Эдгар По нашел наконец скудную работу в «Saturday Museum» («Субботний музей»). Между тем гениальные сказки и новеллы по-

эта, оплачиваемые ничтожным гонораром, 2–3 доллара за страницу, печатались в мелких американских журналах, в числе таких рассказов были «Элеонора», «Колодец и маятник», «Тайна Мари Роже». Только «Золотой жук», рукопись которого долго валялась в редакции «Журнала Грехэма», принес Эдгару По премию в сто долларов на конкурсе, который был организован захудалым изданием «The Dollar Newspaper» («Временник в один доллар»). Рассказ был затем перепечатан несчетное число раз, но не принес автору более ничего: законы о печати в Штатах были тогда еще несовершенны. Несколько больший заработок давали публичные лекции, и Эдгар По все чаще стал выступать лектором, пользуясь, между прочим, кафедрой для полемики со своими врагами, особенно с Грисуолдом.

Так просуществовал Эдгар По с семьей 1841–1843 годы, живя в маленьком домишке, в предместье Филадельфии. Но впереди подстерегало поэта тяжелое испытание. У Виргинии, после пения, лопнул кровеносный сосуд. Несколько дней она была при смерти; потом оправилась, но с тех пор ее жизнь стала медленным умиранием. Кровотечения из горла повторялись и каждый раз грозили смертью. Эдгар По дошел до пределов

отчаяния. Он утратил способность работать систематически. Помимо вина, он стал прибегать к опию. Для жены и ее матери это был ужас; для самого Эдгара — стыд, так как он и сам считал свою болезнь пороком; для литературных врагов — предлог для неистовых обвинений и коварных соболезнований. К 1844 году Эдгар По с семьей снова дошел до нищеты; они голодали. Положение было таково, что Эдгар По написал письмо Грисуолду, прося ссудить пять долларов.

В апреле 1844 года По опять переехал в Нью-Йорк. Издатель местной газеты нажил хорошие деньги, устроив ловкую рекламу рассказу Эдгара По «Перелет через Атлантику», но сам автор получил гроши. В нью-йоркских журналах было напечатано несколько новелл Эдгара По, но гонорар едва спасал от голодной смерти. В январе 1845 года журнал «The Evening Mirror» («Вечернее зеркало») напечатал поэму «Ворон», которую поэт тщетно предлагал в другие издания. За это свое знаменитейшее создание Эдгар По получил десять долларов. (Позднее, в 1891 году, автограф «Ворона» был продан на аукционе за 225 долларов, а автограф «Колоколов» в 1905 году — за 2100 долларов.)

Впрочем, успех поэмы был исключительный;

о ней много говорили, сам автор мог прочесть несколько лекций о «Вороне» в разных городах; поэта стали приглашать как знаменитость в «лучшее» общество Нью-Йорка.

Полоса успеха длилась около года. Благодаря публичным лекциям появились кое-какие деньги. Затем, в том же 1845 году, было выпущено отдельное собрание стихов Эдгара По, «Ворон и другие стихотворения», потребовавшее повторения в том же году, а в следующем, 1846-м, переизданное в Англии. Ряд новых новелл Эдгара По был напечатан в разных журналах. Наконец, издатели нового «Broadway Journal» («Бродвейский журнал») пригласили Эдгара По быть членом редакции. Последнее, однако, вряд ли сослужило поэту пользу. Он скоро рассорился с соиздателями и отважно взвалил на одного себя ведение журнала. Но всего гения поэта, всей той изумительной трудоспособности, которую он умел проявлять по временам, оказалось недостаточно; был нужен капитал, а денег не было. Эдгар По занимал мелкие суммы, опять обращался к Грисуолду за ссудой в пятьдесят долларов, но это не могло спасти издание. Уже 25 декабря 1845 года Эдгар По вынужден был сложить с себя обязанности редактора.

С 1846 года возобновилась прежняя бедственная жизнь, — жалкие гонорары, скудные доходы с лекций, не всегда удачных, приступы алкоголизма, и все это — рядом с умирающей безумно любимой женой.

Поэт-энтузиаст строил химерические проекты, задумывал грандиозные литературные планы, но все это оставалось мечтами. В ту эпоху у Эдгара По уже были верные друзья: Уиллис, госпожа Осгуд, госпожа Шью и другие, которые, сколько могли, помогали поэту. Из воспоминаний этих лиц рисуется мучительная картина жизни Эдгара По в этом году. Сидя у постели угасающей Виргинии, поэт опять не в силах был работать. Деньги в доме отсутствовали; есть было нечего; зимой не было дров. Эдгар согревал руки больной своим дыханием или клал ей на грудь большую пушистую кошку: большего, чтобы защитить Виргинию от холода, он сделать не мог. 30 января 1847 года Виргиния умерла. Только благодаря помощи госпожи Шью похороны были «приличны», что особенно оценила госпожа Клемм.

Последние годы жизни Эдгара По, 1847–1849, были годами метаний, порой полубезумия, порой напряженной работы, редких, но шумных успехов, горестных падений и унижений и посто-

янной клеветы врагов (из коих одного поэт даже привлек к суду). Виргиния, умирая, взяла клятву с госпожи Шью не покидать Эдди (Эдгара); она и его другие друзья старались удерживать его от неосторожных поступков, но это было нелегко. Эдгар По еще пленялся женщинами, воображал, что вновь любит, даже шла речь о женитьбе на подруге его юности, Эльмире Райт. В жизни он держал себя странно, вызывая недоумение окружающих. Однако он издал еще несколько гениальных произведений: «Улалюм», «Колокола», «Аннабель-Ли». Он написал также философскую книгу «Эврика», которую считал величайшим откровением, когда-либо данным человечеству.

Но недуг уже разрушал жизнь поэта; припадки алкоголизма становились все мучительнее, нервность возрастала почти до психического расстройства. Госпожа Шью, не умевшая понять болезненного состояния поэта, сочла нужным устраниться из его жизни. Осенью 1849 года наступил конец. Полный химерических проектов, считая себя вновь женихом, Эдгар По в сентябре этого года с большим успехом читал в Ричмонде лекцию о «Поэтическом принципе». Из Ричмонда Эдгар По выехал, имея 1500 долларов в кармане. Что затем произошло, осталось тайной. Может

быть, поэт подпал под влияние своей болезни; может быть, грабители усыпили его наркотиком. Эдгара По нашли на полу в бессознательном состоянии, ограбленным. Поэта привезли в Балтимор, где Эдгар По и умер в больнице 7 октября 1849 года.

По собственному распоряжению Эдгара По, редактором посмертного издания его сочинений был избран Р. Грисуолд. Это роковым образом предопределило посмертную судьбу поэта на долгие десятилетия. В память ближайших поколений благодаря заботам Грисуолда Эдгар По вошел как полусумасшедший пьяница, автор занимательных, но диких и извращенных произведений. Медленно, очень медленно стараниями истинных ценителей творчества Эдгара По удавалось изменять такое предвзятое мнение. Только в конце XIX и в начале XX века была восстановлена, в документально обоснованных биографиях, подлинная судьба поэта, составлено действительно полное собрание его сочинений и дана возможность читателям правильно судить о величайшем из поэтов новой Америки.

Валерий Брюсов

Рассказы, опубликованные в сборниках


РАССКАЗЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В СБОРНИКАХ

Из сборника «Гротески и арабески»



При жизни Эдгара По в США были изданы два сборника его рассказов: «Гротески и арабески» (Tales of the Grotesquee and Arabesque, 1840) в 2-х томах и «Рассказы» (Tales, 1845). Первый состоял из 25 рассказов, второй включал в себя 12 произведений, два из которых — «Падение дома Ашеров» и «Разговор Эйрос и Хармионы» — уже были опубликованы в первом сборнике.

Метценгерштейн

Pestis eram vivus – moriens tua mors ero.
Martin Luter[1]

Ужас и фатальность бродили везде во все века. Зачем же указывать время, к которому относится мой рассказ? Достаточно будет сказать, что тогда существовала в глубине Венгрии упорная, хотя и скрытая вера в учение о Перевоплощении. О самом учении — т. е. об его ложности или о его вероятии — я не говорю ничего. Я утверждаю, однако, что наш скептицизм (а по словам Лабрюйера*, и все наше несчастие) в значительной степени *«vient de ne pouvoir être seuls»*[2].

Но в суеверии венгерцев были некоторые пункты, почти приводившие к абсурду. Жители Венгрии весьма существенно отличались от ав-

---

[1] Примечания: 1

При жизни я был тебе чумой — умирая, я буду твоей смертью. Мартин Лютер* (лат.).

[2] Примечания: 2

Происходит от того, что мы не можем быть одни (фр.). Мерсье, в «L'an deux mille quatre cent quarante»*, серьезно поддерживает учение о Перевоплощении. И. Дизраэли говорит, что «нет системы более простой и менее противоречащей разуму».* Полковник Итен Аллен*, один из «Green Mountain Boy», также считается серьезным сторонником учения о Перевоплощении.

торитетов Востока. Например, «*Душа»,* говорили венгерцы — я цитирую слова одного проницательного и умного парижанина — *«ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»*[3].

Фамилии Берлифитцинга и Метценгерштейна веками враждовали между собой. Никогда раньше не было двух домов таких знаменитых и взаимно проникнутых настолько смертельной ненавистью. Начало этой вражды было, по-видимому, обусловлено словами древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

Конечно, эти слова сами по себе имели мало смысла, если только в них есть смысл. Но еще более тривиальные причины обусловили — и не так давно — последствия в равной мере богатые событиями. Кроме того, между этими владениями, которые были смежными, давно существовало соперничество в сфере влияния

[3] Примечания: 3

Душа живет только однажды в теле, одаренном чувствительностью. Таким образом лошадь, собака, даже человек являются ничем иным, как обманчивым подобием этих существ (фр.).

на хлопотливое правительство. К тому же близкие соседи редко бывают друзьями; а обитатели замка Берлифитцинг могли смотреть с своих высоких башен прямо в самые окна дворца Метценгерштейн. Наконец, пышность, более чем феодальная, менее всего была способна смягчить раздражение Берлифитцингов, не столь родовитых и не столь богатых. Что же удивительного, что слова предсказания, хотя бы и лишенные смысла, сумели вызвать и были способны поддерживать вражду между двумя фамилиями, уже предрасположенными к ссоре, благодаря всяческим подстрекательствам родового соперничества? Пророчество, по-видимому, указывало, если оно могло только на что-нибудь указывать, на окончательное торжество дома, уже и теперь более могущественного; и, конечно, соперник более слабый и менее влиятельный вспоминал об этих словах с чувством самой острой вражды.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, хотя и происходивший от благородных предков, был в эпоху этого повествования недужным и выжившим из ума стариком, ничем не замечательным, кроме необузданной закоренелой фамильной антипатии к сопернику и такой страстной любви к лошадям и к охоте, что ни физическое нездоро-

вье, ни преклонный возраст, ни слабоумие не удерживали его от ежедневного занятия этим спортом.

Что касается Фредерика, барона Метценгерштейна, он был еще не стар. Его отец, Министр Г., умер молодым. Его мать, леди Мэри, быстро последовала за своим мужем. Фредерику шел в это время восемнадцатый год. В городе восемнадцать леть не Бог весть какой возраст, но в глуши — в великолепной глуши такого старинного поместья — колебания маятника исполнены более глубокого значения.

Благодаря некоторым особенным обстоятельствам, исходившим из распоряжений его отца, молодой барон тотчас же после его смерти вступил во владение обширными богатствами. Не часто находились в прежнее время в руках одного венгерского дворянина такие громадные поместья. Его замкам не было числа. Всего более выделялся из них по своим размерам и пышности дворец Метценгерштейн. Пограничная линия его владений никогда в точности не была определена, но главный его парк имел в окружности пятьдесят миль.

При наследовании такого несравненного богатства собственником таким молодым, и с

характером таким известным, мало оставалось места для догадок относительно вероятного течения событий. И действительно, в продолжение трех дней поведение юного наследника далеко превзошло ожидания самых пламенных его поклонников.

Позорное беспутство — вопиющее предательство — неслыханные жестокости быстро дали понять трепещущим вассалам, что никакое рабское подчинение с их стороны, никакие уколы совести с его — не будут отныне обеспечивать их от бесцеремонных посягательств маленького Калигулы*. На четвертый день, ночью, конюшни в замке Берлифитцинг были объяты пламенем: все соседи единогласно приписали пожар злодейским замыслам барона, отвратительное коварство которого уже сказалось в разных чудовищных деяниях.

Но в то время как происходила суматоха, вызванная пожаром, сам молодой владетель, по-видимому погруженный в глубокие размышления, сидел в одном из обширных и пустынных верхних покоев фамильного дворца Метценгерштейн. Богатая, хотя и поблекшая обивка, угрюмо висевшая на стенах, изображала призрачные и величественные фигуры множества знаменитых

предков. *Здесь* священники и высшие духовные особы, разукрашенные горностаями, сидят запросто с самодержцем и сувереном, накладывают вето на желание мирского короля, или именем верховной власти папы обуздывают мятежные замыслы Архидьявола. *Там* высокие стройные фигуры князей Метценгерштейнов — их мускулистые боевые кони, попирающие трупы павших врагов — заставляли трепетать самые сильные нервы своей могучей выразительностью; и *здесь* опять сладострастные фигуры дам давно прошедших дней, точно белоснежные лебеди, проплывали в лабиринте фантастических танцев под струны воображаемой музыки.

Но в то время как барон с действительным или притворным вниманием слушал постепенно возраставшую суматоху в конюшнях Берлифитцинга — или быть может обдумывал еще более новое, еще более решительное деяние дерзости и своевольства — его глаза безотчетно устремились на фигуру громадной лошади, которая, отличаясь неестественной окраской, была изображена на обивке, как принадлежащая сарацинскому предку враждебной фамилии. Сама лошадь на переднем фоне рисунка стояла неподвижно, наподобие статуи — между тем как значительно

дальше, позади, сброшенный всадник погибал под рапирой одного из Метценгерштейнов.

Дьявольская улыбка заиграла на губах у Фредерика, когда он заметил направление, в котором, независимо от его воли, устремился его взгляд. Но он не отвел своих глаз в сторону. Напротив, он никак не мог объяснить ту непобедимую тревогу, которая налегла на его чувства, как саван. Лишь после усилий он мог примирить свои смутные и бессвязные ощущения с уверенностью, что он не спит. Чем дольше он смотрел, тем более он погружался в чары — тем невозможнее казалось ему оторвать свой взор от картины, заворожившей его. Но шум снаружи внезапно вырос до громадных размеров, и он, сделав над собою напряженное усилие, обратил внимание на блеск ослепительного красного света, отброшенного от пылающих конюшен на окна замка.

Это, однако, продолжалось не более секунды; взоры Фредерика механически возвратились к стене. К его крайнему ужасу и изумлению голова гигантской лошади переменила за это время свое положение. Шея животного, раньше как бы с жалостью согнутая дугой над распростертым телом господина, была теперь вытянута во всю длину по направлению к барону. Глаза, до

этого невидимые, теперь были полны энергического и совершенно человеческого выражения, причем они блистали необыкновенно красным пылающим огнем; и растянутые губы видимо взбешенной лошади выставляли совершенно наружу её отвратительные зубы, зубы скелета.

Пораженный ужасом, молодой барон неверной походкой направился к двери. Когда он открывал ее, полоса красного света, ворвавшись в комнату, отбросила его отчетливую тень на колеблющуюся обивку; и он содрогнулся, увидев, что тень — в то самое время как он зашатался на пороге — приняла неподвижное положение, и как раз наполнила контуры неумолимого и торжествующего убийцы, поражавшего сарацина Берлифитцинга.

Чтобы усмирить свое смятение, барон ринулся на двор. У главных ворот дворца он встретил трех конюхов. С большими усилиями, и с опасностью для собственной жизни, они удерживали гигантскую огненного цвета лошадь, которая бешено билась.

— Чья лошадь? откуда вы ее взяли? — спросил Фредерик придирчивым и грубым тоном, тотчас же увидав, что таинственная лошадь, изображенная на обивке, являлась совершенным двойником лошади, бесившейся перед ним.

— Это ваша собственность, — ответил один из конюхов, — по крайней мере никто не заявляет претензий на нее. Мы ее поймали на всем скаку, она вся была покрыта пеной, и дымилась в бешенстве, и бежала из горящих конюшен Замка Берлифитцинг. Мы думали, что это — одна из выводных лошадей старого графа, и хотели отвести ее назад. Но тамошние грумы наотрез отказались от нее, что очень странно, так как на ней очевидные знаки того, что она убежала из самого огня.

— Кроме того, на лбу у нее совершенно явственно виднеются буквы В. Ф. Б., — вмешался второй конюх, — я думаю, что это, конечно, начальные буквы Вильгельма Фон Берлифитцинга — но все в замке решительно говорят, что она знать не знают этой лошади.

— Очень странно! — задумчиво сказал молодой барон, и, по-видимому, сам не сознавал, что он хотел сказать этими словами. — Вы говорите, что это замечательная лошадь — что это чудо, а не лошадь! Однако, как можно видеть, с ней довольно трудно справиться; впрочем, пусть она будет моей, — прибавил он после некоторой паузы, — быть может, такой ездок, как Фредерик Метцентерштейн, сумеет укротить самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошибаетесь, господин мой, лошадь, как мы, кажется, упоминали, не принадлежит к конскому заводу графа. Если бы она была из его конюшен, разве мы бы осмелились привести ее пред лицо владетеля, носящего ваше имя.

— Хорошо! — сухо заметил барон, и в то же самое мгновение из дворца поспешными шагами прибежал паж, весь раскрасневшийся. Он прошептал на ухо своему господину о внезапном исчезновении небольшого куска обивки в одной из комнат; тут он принялся описывать точные подробности; но он настолько понизил голос, что у него не вырвалось ни одного слова, которое могло бы успокоить возбужденное любопытство конюхов.

Молодой Фредерик в течении этого разговора казался взволнованным и объятым самыми разнообразными ощущениями. Вскоре, однако, к нему вернулось его хладнокровие, и упорное злорадство запечатлелось на его лице, когда он отдал категорическое приказание немедленно же запереть упомянутую комнату, и ключ принести ему.

— Ваша милость изволили слышать о несчастной смерти старого охотника Берлифитцинга? — спросил барона один из его вассалов, между

тем как по удалении пажа гигантская лошадь, которую благородный владетель присвоил себе, начала с удвоенным бешенством биться и скакать по длинной аллее, шедшей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — возразил барон, резко поворачиваясь к говорящему, — умер, говорите вы?

— Точно так; и для вашей милости, вероятно, это не слишком нежеланная новость!

Быстрая улыбка скользнула по лицу Фредерика.

— Как он умер?

— Он бросился спасать своих любимых лошадей, и в это время сам погиб в огне.

— Действительно! — воскликнул барон, как будто бы правда какой-то возбуждающей мысли лишь мало-помалу производила на него впечатление.

— Действительно! — повторил вассал.

— Ужасно… — спокойно проговорил юноша, и, хладнокровно повернувшись, пошел в замок.

С этого времени заметная перемена произошла во внешнем поведении распутного барона Фредерика Фон Метценгерштейна. На самом деле, своими поступками он обманул ожидания всех и разбил планы многих хитроумных мамаш;

при этом его привычки и манеры еще менее, чем прежде, выказывали какое- либо сродство с нравами соседней аристократии. Он больше никогда не показывался за пределами своих собственных владений, и во всем обширном мире, соединенном узами общежития, у него не было решительно ни одного товарища — если только эта противоестественная необузданная лошадь огненного цвета, на которой с тех пор он постоянно скакал, не имела какого-нибудь таинственного права на название его друга.

Тем не менее, в течении долгого времени, со стороны соседей к нему периодически поступали многочисленные приглашения. «Не пожелает ли барон удостоить своим присутствием наши празднества?» «Не пожелает ли барон принять участие в охоте на вепря?» — «Метценгерштейн не охотится»; «Метценгерштейн не будет», — таковы были его лаконичные и высокомерные ответы.

Эти неоднократные оскорбления не могли быть терпимы со стороны надменной знати. Приглашения стали менее сердечными, менее частыми; с течением времени они прекратились совершенно. Вдова несчастного графа Берлифитцинга, в присутствии слушателей, выразила даже на-

дежду, «что барон, быть может, сидит дома, когда и не расположен быть дома, раз он презрел общество себе равных; что он ездит верхом, когда и не желает ездить, раз он отдал предпочтение обществу лошади». Конечно это была весьма глупая вспышка наследственного чувства оскорбленности, и она только доказывала, как своеобразно бессмысленны бывают наши выражения, когда мы хотим быть необыкновенно энергичными.



Извращенная привязанность барона к коню… сделалась, в глазах… здравомыслящих людей отвратительной и неестественной страстью

Лица благожелательные, однако же, приписывали перемену в поведении молодого барона естественной скорби сына о безвременной утрате родителей, — забывал его жестокое и беззастенчивое поведение в течении краткого периода, последовавшего непосредственно за этой утратой. Были и такие, которые делали предположения, что тут замешано преувеличенное представление о личном значении и личном достоинстве. Были и такие, (среди них нужно упомянуть фамильного врача), которые не колебались указывать на болезненную меланхолию и наследственное нездоровье, по поводу чего среди толпы имели место темные намеки весьма двусмысленного свойства.

Действительно, извращенная привязанность барона к недавно приобретенному коню — привязанность, достигавшая, по-видимому, новой силы после каждого нового проявления свирепых и демонских наклонностей животного — в конце концов сделалась, в глазах всех здравомыслящих людей, отвратительной и неестественной страстью. В блеске полдня — в мертвый час ночи

— был ли он здоров, был ли он болен — в ясную погоду и в бурю — молодой Метценгерштейн, сидя на седле, казался прикованным к этой колоссальной лошади, неукротимая дерзновенность которой так хорошо согласовалась с его собственным духом.

Были, кроме того, обстоятельства, которые, сочетаясь с последними событиями, придавали неземной и зловещий характер мании всадника и способностям коня. Пространство, захваченное одним прыжком, было в точности смерено, и до изумительной степени превзошло самые безумные ожидания людей наиболее изобретательных. Притом, у барона не было никакого особенного *имени* для этого животного, хотя все остальные, им собранные, отличались характерными прозвищами. Да и конюшня, ему отведенная, находилась на известном расстоянии от остальных; что же касается обязанностей конюха и других необходимых забот, никто, кроме самого собственника, не решался исполнять их, или хотя бы входить в загородку особенного стойла этой лошади. Следует также заметить, что, хотя трем грумам, поймавшим лошадь, когда она убегала от пожара в замке Берлифитцинг, удалось остановить её бег с помощью узды с цепью и

петли — тем не менее ни один из трех не мог бы с уверенностью утверждать, что во время этой опасной борьбы, или когда-нибудь после, ему действительно удалось положить руку на тело зверя. Примеры особенной разумности в ухватках горячей и породистой лошади не могут вызывать излишнего внимания, но тут были особые обстоятельства, которые неотступно бросались в глаза людям наиболее скептическим и равнодушным; и говорили, что иногда животное заставляло изумленную толпу, стоявшую вокруг, отступать с ужасом перед глубоким и поразительным значением его страшной печати — иногда молодой Метценгерштейн бледнел и отшатывался перед быстрым испытующим выражением его строгих и человечески глядящих глаз.

Однако, из всей свиты барона не было никого, кто усомнился бы в пламенности этой необыкновенной привязанности молодого владетеля к исключительным свойствам его пылкой лошади; никого, кроме незначительного и невзрачного маленького пажа, уродство которого бросалось в глаза каждому, и мнения которого вовсе не имели веса.

Он (если об его мыслях стоит вообще упоминать) имел наглость утверждать, что господин

его никогда не садился в седло без того, чтобы не испытать какой-то необъяснимый и почти незаметный трепет; и что, при возвращении с каждой продолжительной и обычной скачки, выражение торжествующего злорадства искажало каждый мускул его лица.

В одну бурную ночь, пробудившись от тяжелого сна, Метценгерштейн, как маньяк, вышел из своей комнаты, и, севши второпях на лошадь, поскакал прочь, среди лесного лабиринта. Обстоятельство столь обычное не возбудило никакого особенного внимания, но с чувством самой напряженной тревоги слуги ждали его возвращения, когда, после нескольких часов его отсутствия, величественные и огромные здания дворца Метценгерштенн затрещали и закачались до самого основания под действием густой и синевато-багровой массы неукротимого огня.

Так как пламя, когда его заметили впервые, сделало уже такие страшные опустошения, что все усилия спасти хотя бы часть здания были очевидно бесплодны, все окрестные жители, охваченные изумлением, стояли не двигаясь, в молчаливом, пожалуй, даже в равнодушном удивлении. Но вскоре нечто новое и страшное приковало к себе внимание столпившегося

множества, и доказало, насколько возбуждение, вызываемое в чувствах толпы созерцанием человеческой агонии, сильнее волнения, возбуждаемого самыми страшными зрелищами неодушевленной материи.

В глубине длинной аллеи из вековых дубов, которая вела из леса к главному входу во дворец Метценгерштейн, появился конь, мчавший всадника, без шляпы и в беспорядочном костюме, с стремительным бешенством, превосходившим самого Демона Бури.

Не было сомнения, что всадник не мог обуздать эту скачку. Агония его лица, судорожное борение всего его тела, указывали с очевидностью на сверхчеловеческие усилия; но, кроме одного одинокого крика, ни звука не сорвалось с его истерзанных губ, которые были в кровь искусаны от напряжения и ужаса. Мгновение — и топот копыт резко и жестко прозвучал, выделяясь из рева огней и крика ветров — еще мгновение, и, перескочив одним прыжком входные ворота и ров, конь вскочил на колеблющуюся лестницу дворца и вместе с своим всадником исчез в вихре хаотического пламени.

Бешенство бури немедленно утихло, и внезапно настала мертвая тишина. Белое пламя

еще продолжало окутывать здание, как саван, и, потоком стремясь в спокойную высь, вскинуло ослепительный блеск сверхъестественного света; между тем как облако дыма тяжело насело над зубцами крепостной стены в виде явственной угадывавшейся колоссальной фигуры *лошади.*

Манускрипт, найденный в бутылке

Qui n'a plus qy'un moment a vivre
N'a plus rien a dissimuler.

***Quinault. «Atys»*[4]**

О моей родине и о моей семье мне почти нечего сказать. Постоянные злополучия и томительные годы отторгнули меня от одной и сделали чужим для другой. Родовое богатство дало мне возможность получить воспитание незаурядное, а созерцательный характер моего ума помог мне систематизировать запас знаний, который скопился у меня очень рано, благодаря неустанным занятиям. Больше всего мне доставляли насла-

---

[4] Примечания: 4

Кому осталось жить одно мгновенье,
Тому уж нечего скрывать.

Кино. «Атис» (фр.).*

ждение произведения германских философов; не в силу неуместного преклонения перед их красноречивым безумием, но в силу той легкости, с которой мое строгое мышление позволяло мне открывать их ошибки. Меня часто упрекали в сухости моего ума; недостаток воображения постоянно вменялся мне в особенную вину; и пирронизм* моих суждений всегда обращал на меня большое внимание. Действительно, сильная склонность к физической философии, я боюсь, отметила мой ум весьма распространенной ошибкой нашего века — я разумею манеру подчинять принципам этой науки даже такие обстоятельства, которые наименее дают на это право. Вообще говоря, нет человека менее меня способного выйти из строгих пределов истины и увлечься блуждающими огнями суеверия. Я счел нужным предпослать эти строки, потому что иначе мой невероятный рассказ стал бы рассматриваться скорее как бред безумной фантазии, нежели как положительный опыт ума, для которого игра воображения всегда была мертвой буквой.

После нескольких лет, проведенных в скитаниях по чужим краям, я отплыл в 18.. году от Батавии*, из гавани, находящейся на богатом и

очень населенном острове Ява, держа путь к архипелагу Зондских островов*. Я отправлялся как пассажир, не имея к этому никакой иной побудительной причины, кроме нервного беспокойства, которое преследовало меня, как злой дух.

Наше судно представляло из себя очень солидный корабль, приблизительно в четыреста тонн, скрепленный медными заклепками и выстроенный из малабарского тика* в Бомбее. Судно было нагружено хлопчатой бумагой и маслом с Лакедивских островов*. Кроме того, в грузе были кокосовые хлопья, кокосовые орехи, тростниковый сахар и несколько ящиков с опиумом. Нагрузка была сделана неискусно, и из-за этого корабль накренялся.

Мы отплыли под дуновением попутного ветра и в течение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы, причем единственным развлечением, сколько-нибудь нарушавшим монотонность нашего путешествия, были случайные встречи с тем или с другим из небольших грабов, плавающих по архипелагу, к которому мы были прикованы.

Однажды вечером, облокотясь на гакаборт, я следил за странным облаком, одиноко виднев-шимся на северо-западе. Оно было замечательно

как по своему цвету, так и по тому, что оно было первым облаком, которое мы увидали с тех пор, как отплыли из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до заката солнца, и тут оно мгновенно распространилось к востоку и к западу, опоясав горизонт узкой полосой тумана и приняв вид длинной линии отлогого берега. Внимание мое вскоре после этого было привлечено видом багрового месяца и особенным характером моря. С этим последним совершалась быстрая перемена, и вода представлялась более чем обыкновенно прозрачной. Хотя я совершенно явственно мог видеть дно, тем не менее, опустивши лот, я нашел, что глубина под кораблем была более пятнадцати фадомов*.

Воздух сделался невыносимо удушливым и был насыщен спиральными испарениями, подобными тем, которые поднимаются от раскаленного железа. С приближением ночи самое легкое дуновение ветра умерло, и более невозмутимого спокойствия невозможно было себе представить. Пламя свечи горело на корме без малейшего колебания, и длинный волос, будучи положен между большим пальцем и указательным, висел так неподвижно, что нельзя было уловить даже самого слабого трепетания. Однако, по словам

капитана, ничто не предвещало опасности, и, так как мы плыли боком к берегу, он отдал приказание убрать паруса и ослабить якорь. Не было поставлено ни одного часового, и весь экипаж, состоявший главным образом из малайцев, преспокойно улегся на палубе. Я сошел вниз — и, должен сказать, в душе у меня было полное предчувствие беды. На самом деле, все говорило мне о приближении самума. Я высказал свои опасения капитану; но он не обратил на мои слова никакого внимания и даже не удостоил меня ответом. Как бы то ни было, благодаря беспокойству я не мог уснуть и около полуночи отправился на палубу. Когда я взошел на последнюю ступеньку трапа, находившегося возле капитанской каюты, я был поражен громким и глухим шумом, подобным быстрому рокоту мельничного колеса, и прежде чем я успел подумать, что это значит, я почувствовал, как корабль задрожал до основания. В следующее мгновение бешеный вал, покрытый барашками, опрокинул корабль на бок и, промчавшись спереди и сзади, точно гигантской метлой мгновенно очистил всю палубу с носа до кормы.

Крайнее бешенство вихря в значительной степени обеспечило целость корабля. Хотя он весь

окунулся в воду, однако, через несколько мгновений, после того как мачты опрокинулись на борт, он тяжело поднялся из моря и, содрогаясь под исполинским давлением бури, в конце концов совершенно выпрямился.

Каким чудом я спасся от гибели, не могу объяснить. Оглушенный ударом водного потока, я тотчас же очнулся и увидел себя стиснутым между старнпостом и рулем. С великим затруднением я высвободил свои ноги и, оглядевшись кругом потерянным взглядом, был прежде всего поражен мыслью, что вокруг нас свирепствует бурун, — так чудовищно было это невообразимое кружение исполинских пенистых масс океана, в смятение которых мы были втянуты. Через некоторое время я услыхал голос старика шведа, который сел вместе с нами на корабль в ту самую минуту, когда мы оставляли гавань. Я стал кричать ему изо всех сил, и неверными шагами он подошел ко мне сзади. Вскоре нам пришлось убедиться, что только мы двое пережили это неожиданное событие. Исключая нас, весь экипаж, находившийся на палубе, был смыт — капитан и штурманы, несомненно, погибли во время сна, потому что каюты были залиты водой. Без какой-нибудь посторонней помощи мы вряд

ли могли сделать что-нибудь для того, чтобы спасти корабль, и всякие усилия были сперва парализованы ежеминутным ожиданием гибели. Наш канат, конечно, лопнул, как тонкая бечевка, при первом же взрыве урагана, в противном случае мы тотчас же были бы поглощены морем. С ужасающей быстротой мы мчались теперь по морю и видели, как вода делает в корабле трещины. Сруб кормы был сильно расщеплен, и почти повсюду мы получили значительные повреждения; но к крайней нашей радости насосы не были повреждены, и в балласте не произошло значительных передвижений. Главное бешенство бури уже миновало, и со стороны ветра нам не угрожало особенной опасности; но мы с ужасом думали, что порывы вихря могут совсем прекратиться, так как не могли не видеть, что тогда корабль, в своем полуразрушенном состоянии, неминуемо погибнет под напором ужасающих валов. Однако такое справедливое опасение, по-видимому, не должно было скоро оправдаться. Целые пять дней и пять ночей, в течение которых нашим единственным пропитанием было небольшое количество тростникового сахара, с трудом добытого из бака, корпус корабля устремлялся с невообразимой поспешностью под дуновением

быстро сменявшихся порывов вихря, который, не будучи равен по силе первому взрыву самума, все же был настолько страшен, что подобного смятения воздуха до тех пор я никогда не видал. Первые четыре дня мы плыли с небольшим уклоном, к юго-востоку и к югу; должно быть, мы направлялись к берегу Новой Голландии*. На пятый день стало чрезвычайно холодно, хотя ветер передвинулся на один градус к северу. Встало солнце с болезненно-желтым сиянием, оно едва поднялось над горизонтом, не распространяя настоящего света. На небе не виднелось облаков, но ветер возрастал и дул с каким-то тревожным непостоянным бешенством. Около полудня, насколько мы могли судить о времени, внимание наше было снова привлечено видом солнца. От него не исходило света в собственном смысле этого слова, но оно было исполнено мертвого и пасмурного блеска без отражения, как будто лучи его были поляризованы. Перед тем как оно должно было опуститься за поверхность вздутого моря, его центральные огни внезапно исчезли, как бы мгновенно погашенные какою-то непостижимой силой, и только туманное серебристое кольцо ринулось в бездонный океан.

Мы напрасно дожидались рассвета, который

возвестил бы нам о пришествии шестого дня; этот день для меня не настал, для шведа он не наступил никогда. Мы погрузились с тех пор в непроглядный мрак, так что нам ничего не было видно на расстоянии десяти футов от корабля. Часы проходили, а нас продолжала окутывать беспрерывная ночь, не озаренная даже тем фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили, кроме того, что, хотя буря продолжала неистовствовать, мы не могли больше заметить обычных особенностей буруна, или пены, которая нас до сих пор сопровождала. Кругом были только ужас и непроницаемая тьма и наводящая отчаяние пустыня черноты. Суеверный страх мало-помалу овладел умом старика шведа, и моя собственная душа была охвачена безмолвным изумлением. Мы оставили всякие заботы о корабле как бесполезные и, уцепившись насколько возможно крепко за обломок бизань-мачты, горестно смотрели в безбрежность океана. У нас не было возможности считать время, у нас не было возможности составить какое-нибудь представление о том, где мы находимся. Мы, однако, ясно сознавали, что мы ушли на юг дальше, чем кто-либо из предшествующих мореплавателей, и испыты-

вали крайнее изумление, не встречая обычных препятствий в виде ледяных глыб. Между тем каждое мгновение грозило нам гибелью, каждый исполинский вал стремился поглотить нас. Морское волнение превосходило все представления моей фантазии, и только чудо могло нас спасти от угроз губительного мига. Мой товарищ говорил о легкости нашего груза, напоминал мне о превосходном качестве нашего корабля; но я не мог не чувствовать безнадежности самой надежды и мрачно приготовился к смерти, полагая, что она последует не позже, как через час, ибо с каждым пройденным узлом подъятие черных ужасающих волн становилось все страшнее и чудовищнее. Временами мы задыхались на высоте большей, чем высота полета альбатросов, временами мы чувствовали головокружение от быстроты нашего нисхождения в морскую преисподнюю, где воздух становился недвижным и ни один звук не возмущал дремоту кракена*.

Мы находились на дне одной из таких пропастей, когда быстрый крик моего товарища страшно прозвучал в безмолвии ночи. «Смотрите! Смотрите! — вскричал он, выкликая прямо в мои уши. — Всемогущий Боже! Смотрите! Смотрите!» Пока он говорил, я увидел мрачный, пасмурный

отблеск красного цвета, струившегося по стенам обширной бездны, где мы находились, и бросавшего неровное мерцание на нашу палубу. Устремив глаза вверх, я увидел зрелище, заморозившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на самом краю чудовищного обрыва, качался гигантский корабль, быть может, в четыре тысячи тонн. Хотя он находился на вершине вала, более чем в сто раз превосходившего его собственную высоту, видимые его очертания все же оставляли за собой всякий линейный корабль и всякое судно Восточной Индийской компании. Его громадный корпус угрюмо чернелся, не будучи нисколько смягчен каким-либо из обычных украшений. Шеренга медных пушек выдвигалась из открытых люков и отбрасывала от своих полированных поверхностей огни бесчисленных боевых фонарей, которые качались там и сям на снастях. Но что более всего исполнило нас ужасом и изумлением, это то, что он шел на всех парусах по этому сверхъестественному морю, несмотря на этот неукротимый ураган. В первое мгновение виднелись только корабельные скулы, между тем как весь исполин медленно вставал из неясной и чудовищной пучины, находившейся по ту сторону. На один миг — миг напряженного ужаса

— он взвился на самую вершину этого головокружительного вала, помедлил, как бы опьяненный собственным взмахом, и дрогнул, и заколебался, и — устремился вниз.

Не знаю, откуда у меня взялось самообладание в эту минуту. Отшатнувшись назад, как только мог, я бестрепетно ждал своей гибели. Корабль наш наконец перестал бороться с морем и начал погружаться с носовой стороны в воду. Толчок стремительной водной массы, сбегавшей сверху, поразил его в ту часть сруба, которая уже находилась под водой, и, в неизбежном результате, с непобедимой силой швырнул меня на снасти чужого корабля.

Когда я падал, корабль поднимался на штаги и повертывался на другой галс; замешательство, происшедшее благодаря этому, и было, по-видимому, причиной того, что судовая команда не обратила на меня никакого внимания. Без особых затруднений я прошел, незамеченный, к главному люку, который был полуоткрыт, и вскоре нашел удобный случай скрыться в трюме. Почему я так сделал, затрудняюсь сказать. Быть может, неопределенное чувство страха, овладевшее мной сперва при виде этих мореплавателей, обусловило мое желание скрыться. Я совсем не

был расположен доверяться людям, в которых, при самом беглом взгляде, заметил столько черт новизны, чего-то возбуждающего сомнение и предчувствие. Я счел поэтому за лучшее устроить себе в трюме тайник, удалив с этой целью часть передвижных обшивных досок таким образом, что они давали мне достаточное убежище среди огромных ребер корабля.

Не успел я кончить свою работу, как шаги, раздавшиеся в трюме, принудили меня скрыться. Около моего убежища неверными и слабыми шагами прошел какой-то человек. Лица его я не мог различить, но обстоятельства позволили мне заметить общий его вид. На нем лежала несомненная печать дряхлости и преклонности. Колени его дрожали, и все тело колебалось под бременем долгих лет. Обращаясь к самому себе, он бормотал глухим и прерывающимся голосом какие-то слова на языке, которого я понять не мог, и стал копошиться в углу среди беспорядочной груды каких-то необычайного вида инструментов и обветшавших морских карт. Все его манеры представляли собой странную смесь: это была ворчливость вторичного детства и исполненная достоинства величавость бога. В конце концов он отправился на палубу, и я его больше не видал.

* * *

Душой моей овладело чувство, для которого я не нахожу названия, — ощущение, которое не поддается анализу; поучения минувших времен для него недостаточны, и я боюсь, что даже будущее не даст мне к нему никакого ключа. Для ума, подобного моему, последнее соображение является пагубой. Никогда, я знаю, что никогда мне не удастся узнать ничего относительно самой природы моих представлений. И все же нет ничего удивительного, если эти представления неопределенны, ибо они имеют свое начало в источниках совершенно новых. Новое чувство возникло — новая сущность присоединилась к моей душе.



Непостижимые люди! Погруженные в размышления, саму природу которых разгадать не в состоянии, они проходят предо мною, не замечая меня

* * *

Уже много времени прошло с тех пор, как я впервые ступил на палубу этого страшного корабля, и лучи моей судьбы, как я думаю, собрались в одну точку. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, саму природу которых я разгадать не в состоянии, они проходят предо мною, не замечая меня. Скрываться от них — крайнее безумие с моей стороны, ибо они не хотят видеть. Я только что прошел перед самыми глазами штурмана; не так давно я рискнул пробраться в собственную каюту капитана и достал оттуда материал, с помощью которого я пишу теперь и записал все предыдущее. Время от времени я буду продолжать свой дневник. Правда, у меня нет никаких средств передать его миру, но я попытаюсь как-нибудь устроиться. В последнюю минуту я положу манускрипт в бутылку и брошу ее в море.

* * *

Произошло событие, которое дало мне пищу для новых размышлений. Являются ли такие вещи действием непостижимой случайности? Я рискнул выйти на палубу и, не обратив на себя ничьего внимания, улегся среди груды старых парусов на дне ялика. Размышляя о странностях моей судьбы, я совершенно бессознательно взял находившуюся здесь мазилку для смолы и стал мазать края только что сложенного лиселя*, лежавшего около меня на бочонке. Лисель теперь выгнут и красуется на корабле, а случайные мазки сложились в слово «открытие».

За последнее время я сделал много наблюдений относительно строения судна. Хотя оно и хорошо вооружено, оно, как я думаю, не представляет собой военного корабля. Его снасти, конструкция и общее снаряжение являются живым отрицанием военных предприятий. Что корабль собой не́ представляет, мне легко понять, но что он из себя представляет — это, я боюсь, невозможно сказать. Не знаю, каким образом, но, внимательно рассматривая его необычайную форму и странный характер его мачт, его гигантский рост и чрезмерный запас парусин, его нос, отличающийся

строгой простотой, и старинную обветшавшую корму, я чувствую, что в моем уме возникают вспышки смутных ощущений, говорящих мне о знакомых вещах, и с этими неявственными тенями прошлого всегда смешиваются необъяснимые воспоминания о древних чужеземных летописях и давно прошедших веках.

* * *

Я внимательно освидетельствовал ребра корабля. Он выстроен из материала, мне неизвестного. В характере дерева есть какие-то поразительные особенности, делающие его, как мне думается, негодным для целей, к которым он был предназначен. Я разумею его крайнюю ноздреватость, причем беру ее независимо от тех червоточин, которые неразрывны с плаваньем по этим морям, и независимо от гнилости, которую нужно отнести на счет его возраста. Быть может, мои слова покажутся замечанием слишком утонченным, но мне хочется сказать, что это дерево имело бы все отличительные особенности испанского дуба, если бы испанский дуб мог быть растянут какими-нибудь неестественными средствами.

Перечитывая предыдущие строки, я невольно припоминаю остроумное изречение одного

голландского мореплавателя, старого бывалого моряка. «Это верно, — имел он обыкновение говорить, когда кто-нибудь высказывал сомнение в правде его слов, — это так же верно, как то, что есть море, где самый корабль увеличивается в росте, как живое тело моряков».

* * *

Около часа тому назад я дерзнул войти в толпу матросов, находившихся на палубе. Они не обратили на меня никакого внимания, и, хотя я стоял среди них, в самой середине, они, казалось, совершенно не сознавали моего присутствия. Подобно тому старику, которого я впервые увидал в трюме, все они носят на себе печать седой старости. Их слабые колени дрожат; их согбенные плечи свидетельствуют о престарелости; их сморщенная кожа шуршит под ветром; их голоса глухи, неверны и прерывисты; в их глазах искрится слезливость годов; и седые их волосы страшно развеваются под бурей. Вокруг них, на палубе, везде разбросаны математические инструменты самой причудливой архаической формы.



Исполинские воды вздымают свои головы, подобно демонам глубин

* * *

Я упомянул несколько времени тому назад, что лисель был водружен на корабле. С этого времени корабль, как бы насмехаясь над враждебным ветром, продолжает свое страшное шествие к югу, нагромоздив на себя все паруса; он увешан ими с клотов до нижних багров и ежеминутно устремляет свои брам-реи в самую чудовищную преисподнюю морских вод, какую только может вообразить себе человеческий ум. Я только что оставил палубу, я не мог там держаться на ногах, хотя судовая команда, по-видимому, не ощущает ни малейших неудобств. Мне представляется чудом из чудес, что вся эта громадная масса нашего корабля не поглощена водою сразу и безвозвратно. Нет сомнения, мы присуждены беспрерывно колебаться на краю вечности, не погружаясь окончательно в ее пучины. С волны на волну, из которых каждая в тысячу раз более чудовищна, чем все гигантские волны, когда-либо виденные мной, мы скользим с быстрой легкостью морской чайки; и исполинские воды вздымают свои головы, подобно демонам глубин, но подобно

демонам, которым дозволено только угрожать и воспрещено разрушать. То обстоятельство, что мы постоянно ускользаем от гибели, я могу приписать лишь одной естественной причине, способной обусловить такое явление. Я должен предположить, что корабль находится в полосе какого-нибудь сильного потока или могучего подводного буксира.

* * *

Я встретился с капитаном лицом к лицу, в его собственной каюте, но, как я ожидал, он не обратил на меня никакого внимания. Хотя для случайного наблюдателя в его наружности не было ничего, что могло бы свидетельствовать о нем больше или меньше, чем о человеке, однако я не мог не смотреть на него иначе, как с чувством непобедимой почтительности и страха, смешанного с изумлением. Он почти одинакового со мной роста, т. е. около пяти футов и восьми дюймов. Он хорошо сложен, не очень коренаст и вообще ничем особенным не отличается. Но в выражении его лица господствует что-то своеобразное; это — неотрицаемая, поразительная, заставляющая дрогнуть очевидность преклонного возраста, такого глубокого, такого

исключительного, что в моей душе возникает чувство — ощущение несказàнное. На лбу у него мало морщин, но на нем лежит печать, указывающая на мириады лет. Его седые волосы — летописи прошлого, его беловато-серые глаза — сибиллы будущего. Весь пол каюты был завален странными фолиантами, заключенными в железные переплеты, запыленными научными инструментами и архаическими картами давно забытых времен. Он сидел, склонив свою голову на руки, и беспокойным огнистым взором впивался в бумагу, которую я принял за государственное повеление и на которой, во всяком случае, была подпись монарха. Он бормотал про себя — как это делал первый моряк, которого я видел в трюме, — какие-то глухие ворчливые слова на чужом языке; и, хотя он был со мною рядом, его голос достигал моего слуха как бы на расстоянии мили.

* * *

Корабль, вместе со всем, что есть на нем, напоен духом древности. Матросы проскользают туда и сюда, подобно призракам погибших столетий; в их глазах светится беспокойное нетерпеливое выражение; и когда, проходя, я вижу их лица под

диким блеском военных фонарей, я чувствую то, чего не чувствовал никогда, хотя всю жизнь свою я изучал мир древностей и впитал в себя тени поверженных колонн Баальбека, и Тадмора, и Персеполиса, пока наконец моя собственная душа не стала руиной.

* * *

Когда я смотрю вокруг себя, мне стыдно за свои прежние предчувствия. Если я трепетал при виде бури, которая доныне сопровождала нас, не должен ли я приходить теперь в ужас при виде борьбы океана и ветра, по отношению к которой слова шквал и самум кажутся пошлыми и бесцветными? В непосредственной близости от корабля висит мрак черной ночи и безумствует хаос беспенных вод; но приблизительно на расстоянии одной лиги от нас, с той и с другой стороны, виднеются, неясно и на разном расстоянии, огромные оплоты изо льда, возносящиеся в высь безутешного неба и кажущиеся стенами вселенной.

* * *

Как я предполагал, корабль находится в полосе

течения, если только это название может быть применено к могучему морскому приливу, который с ревом и с грохотом, отражаемым белыми льдами, мчится к югу с поспешностью, подобной безумному порыву водопада.

* * *

Постичь ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию, к какой-то тайне, которой никогда не суждено быть переданной, и достижение которой есть смерть. Быть может, это течение влечет нас к Южному полюсу*. Я должен признаться, что это предположение, по-видимому такое безумное, имеет в свою пользу все вероятия.

* * *

Судовая команда бродит по палубе беспокойными неверными шагами; но в выражении этих лиц больше беспокойства надежды, нежели рав-

нодушия отчаяния.

Между тем ветер все еще бьется в нашу корму, и так как развевается целая масса парусов, корабль временами приподнимается из моря! О, ужас ужасов! — лед внезапно открывается справа и слева, и мы с головокружительной быстротой начинаем вращаться по гигантским концентрическим кругам, все кругом и кругом по окраинам исполинского ледяного полукруга, стены которого вверху поглощены мраком и пространством. Но у меня нет времени размышлять о моей участи! Круги быстро суживаются — с бешеным порывом мы погружаемся в тиски водоворота — и среди завываний океана, среди рева и грохота бури корабль содрогается, и — боже мой — он идет ко дну!

* * *

Примечание.

Рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке» был первоначально опубликован в 1831 г., но лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора*, на которых изображено, что океан устремляется в Северный полярный водоворот четырьмя потоками, дабы затем быть поглощенным в недрах земли. Сам полюс изображен в виде

черной скалы, вздымающейся на чудовищную высоту.

Свидание

О, я не замедлю! Послушай. Постой.
Мы встретимся вместе в долине пустой.

Похоронная песня, написанная Генри Кингом, епископом Чичестерским, на смерть своей жены.*

О, злосчастный и таинственный человек! — завлеченный в лучезарность своего собственного воображения, и сгоревший в огне своей собственной молодости! Опять я в мыслях вижу тебя! Еще раз твой призрак возник передо мною! не так — о, не так, как ты предстаешь в холодной юдоли и тени — но таким, каким бы ты *должен был быть* — предавая всю жизнь пышному созерцанию в этом городе туманных видений, твоей собственной Венеции — которая есть излюбленные звездами Элизиум* моря, и палладовские дворцы* которой с глубоким и горьким значением глядят своими широкими окнами вниз на

тайны её безмолвных вод. Да! повторяю — каким бы ты *должен был быть.* Есть конечно иные миры, кроме этого — иные мысли, кроме мыслей толпы — иные умозрения, кроме умозрений софистов. Кто же может призвать тебя к ответу за твои поступки? кто осудит тебя за твои часы, полные видений, кто презрительно скажет, что бесплодно была растрачена жизнь, которая лишь била через края избытком твоей нескончаемой энергии?

Это было в Венеции, под крытым сводом, называемым *Ponte dei Sospiri*[5] — в третий или в четвертый раз встретил я того, о ком говорю. Лишь как смутное воспоминание встают в моей памяти обстоятельства этой встречи. Но я помню — о, как бы мог я это забыть? — глубокую полночь, Мост Вздохов, женскую красоту, и Гения Романа, возникавшего то тут, то там, на узком канале.

Была ночь, необыкновенно мрачная. Большие часы на Пьяцце* возвестили своим звоном пятый час итальянского вечера. Сквер Колокольни* был безмолвен и пустынен, и огни в старом Герцогском Дворце* быстро погасали. Я возвращался домой с Пьяцетты* по Большому Каналу,

---

[5] Примечания: 5
Мост Вздохов (ит.).*

но, когда моя гондола была против устья канала св. Марка, женский голос из его углублений внезапно ворвался в ночь, безумным, истерическим, продолжительным криком. Я вскочил, пораженный этим криком; а гондольер, выпустив весло, потерял его в непроглядной тьме, и, не имея никакой надежды найти его, мы были предоставлены течению потока, вливающегося здесь из Большого Канала в меньший. Как некий огромный чернокрылый кондор, мы медленно устремлялись теперь к Мосту Вздохов, как вдруг тысячью факелов, вспыхнувших в окнах и по лестницам Герцогского Дворца, этот глубокий мрак был сразу превращен в синевато-багровый неестественный день.

Ребенок, выскользнув из рук своей матери, упал из верхнего окна высокого здания в глубокий и смутный канал. Невозмутимые воды спокойно сомкнулись над своей жертвой; и, хотя в виду была лишь моя гондола, уже несколько отважных пловцов были в потоке, и тщетно отыскивали на его поверхности сокровище, которое могло быть найдено, увы! только в глубине. На широких черных мраморных плитах, у входа во дворец, в нескольких шагах над водой, стояла фигура, которую никто из видевших ее тогда не

мог забыть с тех пор. Это была маркиза Афродита — божество всей Венеции — веселая из веселых — самая очаровательная там, где все были красивы — но еще и юная жена престарелого интригана Ментони, и мать прекрасного ребенка, первого и единственного, который теперь, глубоко под угрюмой водной поверхностью, с сердечною горестью думал о её нежных ласках, и всеми своими крошечными силами старался выговорить её имя.



Это была маркиза Афродита — божество всей Венеции… самая очаровательная там, где все были красивы

Ошеломленный и полный страха, я не имел силы сесть, и как встал… так и продолжал

Она стояла одна. Её маленькие, обнаженные, серебристые ноги сверкали на черном мраморе. Её волосы, лишь на половину освобожденные от бальных украшений, несколькими кругами вились среди алмазного дождя вокруг её классической головы, локонами, подобными лепесткам молодого гиацинта. Белоснежный и подобный газу покров был, по-видимому, единственной одеждой, окутывавшей её нежные формы; но летний полночный воздух был жаркий, удушливый, и тяжелый, и ни одно движение в этом призраке, подобном изваянью, не шевелило складок воздушного одеяния, облекавшего ее, как тяжелые мраморные складки облекают Ниобею*. Но — как это ни странно! — её большие блестящие глаза были устремлены не на могилу, поглотившую её лучезарнейшее упование — они были обращены в совершенно другую сторону. Тюрьма Старой Республики* представляет из себя, как я думаю, самое величественное здание во всей Венеции; но каким образом эта женщина могла

так пристально глядеть на него, когда внизу, у ног её, лежал, задыхаясь, её родной ребенок? И притом же эта темная мрачная ниша зияет как раз против окна её комнаты — что же такое *могло* быть в её тенях, в её архитектуре, в её обвитых плющом торжественных карнизах — на что маркиза ди Ментони не дивилась бы тысячу раз прежде? Бессмыслица! — Кто не знает, что в такие минуты, как эта, глаз, подобно разбитому зеркалу, умножает образы своей печали, и видит в многочисленных отдаленных местах ту боль, которая вот здесь под рукой.

В нескольких шагах от маркизы, выше, под сводом шлюзового затвора, стоял, в парадной одежде, сам Ментони, подобный сатиру. Он был занят как раз игрой на гитаре и, по-видимому, смертельно *скучал*, когда время от времени он отдавал те или иные распоряжения относительно того, где искать ребенка. Ошеломленный и полный страха, я не имел силы сесть, и как встал, впервые услышавши крик, так и продолжал стоять, выпрямившись, и должен был представляться глазам этой взволнованной группы людей зловещим призрачным видением, в то время как с бледным лицом и застывшими членами я плыл в этой похоронной гондоле.

Все усилия оказались тщетными. Многие из тех, которые искали с наибольшим рвением, ослабили свои усилия и предались мрачной печали. По-видимому, для ребенка оставалось очень мало надежды (насколько, значит, меньше для матери!), как вдруг, изнутри этой темной ниши, которая, как я сказал, составляла часть Старой Республиканской тюрьмы, и находилась против решетчатого окна маркизы, в полосу света выступила закутанная в плащ фигура, и, помедлив мгновенье на краю головокружительного спуска, стремительно ринулась в канал. Когда мгновение спустя этот человек стоял на мраморных плитах рядом с маркизой, держа в своих руках еще живого, еще дышащего ребенка, его плащ, намокший и отяжелевший, расстегнулся и, складками упав вокруг его ног, обозначил перед пораженными изумлением зрителями стройную фигуру юноши, имя которого гремело тогда в большей части Европы.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Она теперь схватит ребенка — она прижмет его к своему сердцу — она вся прильнет к его маленькому тельцу, и задушит его своими ласками. Увы! *чужие* руки взяли его у чужеземца — *чужие* руки унесли его прочь, незаметно унесли его далеко,

во дворец. А маркиза! Её губы — ее прекрасные губы дрожат; глаза её наполнились слезами — эти глаза, «нежные и как бы состоящие из влаги», подобно аканту, о котором говорит Плиний*. Да! глаза её наполнились слезами — и вот в ней дрогнула душа, вся она затрепетала, и жизнью зажглось изваяние. Мы внезапно увидели, как бледный мрамор лица, и выпуклость мраморной груди, и даже белизна мраморных ног, все покрылось воздушным налетом неудержимого румянца; и легкий трепет пробежал по всему её нежному телу, как легкий ветерок в Неаполе трепещет в траве вкрут пышных серебряных лилий.

Почему *должна* была эта женщина вспыхнуть? На этот вопрос нет ответа — здесь возможно лишь одно объяснение, что, охваченная лихорадочной поспешностью и испугом материнского сердца, она не позаботилась, оставляя свой будуар, спрятать в туфли свои крошечные ноги, и совсем забыла накинуть на свои венецианские плечи приличествующую им накидку. Что другое могло заставить ее так вспыхнуть? — и зажечь эти безумные призывные глаза? — и так необычно взволновать эту трепетную грудь? — и заставить так судорожно сжаться эту дрожащую руку? — эту руку, которая случайно упала на руку

чужеземца, когда Ментони вернулся во дворец. Что могло заставить ее так тихо, так необыкновенно тихо, произнести в торопливом прощании эти непонятные слова: «Ты победил, — сказала она, или это ропот воды обманул меня; — ты победил — спустя час после восхода солнца — мы встретимся — да будет так!»

* * *

Смятенье улеглось, огни во дворце погасли, и чужеземец, которого я теперь узнал, стоял один на мраморных плитах. Он дрожал в непостижимом возбуждении, и осматривался кругом, ища гондолы. Я не мог не предложить ему свою, и он с учтивостью принял мое приглашение. Достав у шлюзов затвора весло, мы направились вместе в его палаццо, между тем он быстро овладел собой, и начал говорить о нашем прежнем мимолетном знакомстве, по-видимому, самым сердечным образом.

Есть предметы, на которых я с большим удовольствием останавливаюсь подробно. Наружность чужеземца — да будет мне позволено так называть того, кто был чужеземцем и для всего мира — наружность чужеземца является одним из таких предметов. Росту он был скорее ниже,

чем выше среднего, хотя были мгновенья напряженной страсти, когда он буквально *вырастал,* и опровергал такое утверждение. Воздушная тонкая соразмерность его лица указывала скорей на способность к тому проворству, которое он выказал у Моста Вздохов, нежели на ту Геркулесовскую силу, которую он, как это было известно, легко обнаруживал при обстоятельствах, сопровождавшихся более крайней опасностью. Рот и подбородок божества — совсем особые, безумные, большие, как бы созданные из влаги, глаза, тени которых менялись от светло-карего цвета до напряженно-блистательного агата — и пышные вьющиеся черные волосы — и светившийся из-под них необыкновенно широкий лоб цвета слоновой кости — таковы были черты его лица, столь классически-правильные, что я никогда не видал таких, исключая, быть-может, мраморных черт императора Коммода*, и однако же его лицо было одним из тех, которые каждый видел, в известную пору своей жизни, и не встречал потом никогда. В нем не было никакого особенного — прочно установившегося господствующего выражения, которое могло бы запасть в память; лицо едва увиденное и сейчас же забытое — но забытое с каким-то смутным и никогда не прекра-

щающимся желанием снова вызвать его в уме. Не то, чтобы дух каждой беглой вспышки страсти не оставлял, в ту или иную минуту, своего явственного образа в зеркале этого лица — нет, но это зеркало, как зеркало, не удерживало никакого следа страсти, когда страсть уходила.

Когда я прощался с ним в ночь происшествия, он попросил меня, как мне показалось, очень настойчиво, зайти к нему на другое утро *очень* рано. Вскоре после восхода солнца я был, согласно с этим, у его в палаццо, у одного из тех огромных, исполненных мрачной, но фантастической пышности, зданий, которые высятся над водами Большого Канала поблизости от Риальто*. По широкой вьющейся витой лестнице, украшенной мозаиками, меня провели в покои, бсзпримерная пышность которых, ярко блеснув сквозь открытую дверь, ослепила и опьянила меня своею роскошью.

Я знал, что мой знакомый был богат. Молва гласила о его богатствах в таких выражениях, которые я даже дерзал считать смешным преувеличением. Но, осматриваясь теперь кругом, я не мог допустить мысли, чтобы у какого-нибудь частного лица в Европе хватило средств на поддержание такого царственного великолепия,

какое искрилось и блистало кругом.

Хотя, как я сказал, солнце уже взошло, комната была еще роскошно освещена искусственным светом. Я заключил из этого, а также из истощенного вида моего друга, что он совсем не ложился спать в эту ночь. Архитектура и украшения комнаты свидетельствовали о явном намерении ослеплять и изумлять. Весьма мало было обращено внимания на соблюдение того, что на языке техническом называется *стильностью,* или на соблюдение цельности национального вкуса. Глаз переходил от одного предмета к другому, и не останавливался ни на одном ни на *гротесконости* греческих живописцев, ни на ваяниях лучших итальянских дней, ни на огромных резных украшениях Египта, не знавшего учителей. Богатые завесы во всех частях комнаты отвечали трепетными движениями тихой печальной музыке, происхождение которой было незримым. Чувства были подавлены смешанными и противоречивыми благовониями, которые, курясь, исходили из странных, свернутых, как лист, кадильниц, вместе с многочисленными сверкающими и мерцающими языками изумрудного и фиолетового пламени. Лучи недавно взошедшего солнца проливались на все, сквозь

окна, из которых каждое являлось отдельной вставкой из алого стекла. Исходя от занавесей, которые потоком изливались с своих карнизов, как водопады расплавленного серебра, и сверкая в разные стороны, в тысяче отражений, лучи естественного блеска прихотливо смешивались, наконец, с искусственным светом, и, колыхаясь, уравномеренными массами, лежали на ковре из богатой, имеющей текучий вид, материи, затканной чилийским золотом.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — расхохотался хозяин, когда я вошел в комнату, и, подталкивая меня к стулу, бросился сам в растяжку на оттоманку*. — Я вижу, — сказал он, замечая, что я не мог сразу освоиться с *благопристойностью* такого необычайного приема, — я вижу, вы изумлены моей комнатой — моими статуями — моими картинами — оригинальностью замысла в архитектуре и обивке! А? совершенно упоены великолепием? Но простите меня, дорогой мой (здесь в выражении его голоса зазвучала самая искренняя сердечность), не сердитесь на меня за мой безжалостный хохот. Судя по вашему виду, вы были *до последней степени* изумлены. К тому же некоторые вещи так забавны, что человек *должен* смеяться или умереть. Умереть смеясь

— это, надо думать, самая славная из всех славных смертей. Сэр Томас Мор* — тонкий человек был сэр Томас Мор, — он, как вы помните, умер смеясь. И в «Нелепостях» Равизия Текстора* есть длинный список персон, пришедших к тому же блистательному концу. Знаете ли вы, однако, — продолжал он задумчиво, — что в Спарте (ныне Палеохори), в Спарте, говорю я, на запад от крепости, среди хаоса едва различимых развалин, есть некое *подножие колонны,* и на нем еще можно прочесть буквы ЛАΣМ. Это несомненно часть слова ГЕЛАΣМА[6]. Смотрите же, в Спарте была тысяча храмов и святилищ, посвященных тысяче разнородных божеств. Как поразительно странно, что алтарь Смеха должен был пережить все остальные. Но в данном случае, — прибавил он, и голос его и вид странно изменился, — я не вправе потешаться на ваш счет. Вы легко могли быть изумлены. Европа не может создать ничего такого изящного, как этот мой маленький царский кабинет. Другие мои комнаты совсем не в таком роде — они представляют из себя верх фешенебельной безвкусицы. А это получше фешенебельности — не правда ли? Но стоит

---

[6] Примечания: 6
Смех *(греч.).*

только показать эту комнату, и она вызовет манию — у тех, кто мог бы создать что-нибудь подобное ценою всего своего состояния. Я, однако, предотвратил такую профанацию. За одним исключением, вы единственный человек, кроме меня и моего слуги, который был допущен в таинственные пределы этой царственной области, с тех пор как она была мною так разукрашена!

Я поклоном выразил свою признательность — победительное чувство блеска, и благоухания, и музыки, в соединении с неожиданной эксцентричностью его обращения и его манеры, помешало мне изъяснить в словах, как я ценю то, чему я мог бы придать смысл комплимента.

— Вот, — продолжал он, вставая и опираясь на мою руку, в то время как он проходил кругом по комнате, — вот картины от греков до Чимабуэ* и от Чимабуэ до наших дней. Многие из них, как вы видите, выбраны без всякого отношения к общепринятым *virtu*[7]. Все они, однако, надлежащим образом украшают стены комнаты, подобной этой. Здесь есть кроме того кое-какие *шедевры* неизвестных великих; а здесь неоконченные рисунки художников, которые были знамениты

---

[7] Примечания: 7
Здесь: нормам *(ит.).*

в свое время, но сами имена которых проницательность академий предоставила молчанию и мне. — Что вы скажете, — проговорил он, резко оборачиваясь ко мне, — что вы скажете о Мадонне della Pieta?*

— Да это настоящий Гвидо*, воскликнул я со всем свойственным мне энтузиазмом, жадно созерцая эту победоносную красоту. — Это настоящий Гвидо! Как *могли* вы достать ее? нет сомнения, что это лицо в живописи то же самое, что Венера в скульптуре.

— А! — промолвил он задумчиво, — Венера, красавица Венера? — Венера Медицейская?* — с уменьшенной головой и позолоченными волосами? Часть левой руки (он заговорил упавшим голосом, так что его еле можно было слышать) и вся правая реставрированы; и в кокетливости этой правой руки, как думаю я, заключается квинтэссенция жеманства. Дайте *мне* Канову!* Аполлон тоже копия, в этом не может быть сомнения — слепой глупец я, неспособный видеть прославленную вдохновенность Аполлона! — я не могу не предпочитать — проникнитесь ко мне состраданием — я не могу не предпочитать Антиноя*. Не Сократ ли это сказал*, что ваятель нашел свое изваяние в глыбе мрамора? Значит

Микель Анджело отнюдь не был оригинален в своей строфе:

Non lia l›ottimo artista alcun concetto
Che
un marmo solo in se non circonscriva[8].

Было замечено, или должно было быть замечено, что манеры истинного джентльмена всегда явно отличаются от манер человека вульгарного, хотя мы не могли бы в точности сказать, в чем состоит такое различие. Допуская, что это замечание вполне было применимо к внешнему виду моего знакомого, я чувствовал в это богатое событиями утро, что оно еще более могло быть применено к его внутреннему существу и нраву. Я не могу лучше определить эту душевную особенность, которая, по-видимому, так существенно отделяла его от всех других людей, как назвав ее *привычкой* напряженной и беспрерывной мысли, клавшей свою печать даже на самые незначительные его действия — проявлявшейся в минутах его шутливости, и переплетавшейся даже со вспышками его веселости — как ехидны,

---

[8] Примечания: 8

Нет замысла у лучшего художника такого,
Чтоб с мраморе самом уже он не был заключен.*

извиваясь, глядят из глаз масок, что скалят рот свои на карнизах вкруг храмов Персеполиса.

Я однако неоднократно заметил, что сквозь смешанный тон легкости и торжественности, с которым он говорил о разных незначительных вещах, быстро переходя с одного предмета на другой, сквозило что-то трепетное — какая-то нервная *растроганность* в словах и в движениях — беспокойная возбужденность в манерах, казавшаяся мне необъяснимой, а в некоторых случаях даже возбуждавшая во мне тревогу. Нередко, кроме того, остановившись на середине фразы, начало которой он, очевидно, забыл, он как будто с глубочайшим вниманием прислушивался, или ожидая в данную минуту чьего-то прихода, или внимая звукам, которые должны были существовать только в его воображении.

Во время одного из таких перерывов мечтательности или видимой рассеянности, перевернув страницу в прекрасной трагедии ученого и поэта Полициано «Орфей»* (первая самобытная итальянская трагедия), которая лежала на оттоманке, я увидел одно место, подчеркнутое карандашом. Это был один из отрывков в конце третьего действия — отрывок, вызывающий самое сильное волнение — отрывок, который,

хотя он и испорчен нецеломудренностью, ни один мужчина не прочтет без трепета нового ощущения — ни одна женщина не прочтет без вздоха. Вся страница носила на себе следы недавно пролитых слез; а на противоположном чистом листке были следующие английские строки, написанные рукою, столь отличающейся от своеобразного почерка моего знакомого, что я лишь с некоторым затруднением мог признать их как принадлежащие ему:

Ты была мне – услада страданий,*
Все, чего я желал в забытьи,
Ты как остров была в океане,
Как журчащие звонко ручьи,
И как храм, весь в цветах, весь в тумане.
И цветы эти были мои.

Слишком радостный сон, чтобы длиться!
Упованье, что жило лишь миг!
Чей-то зов из грядущего мчится,
«Дальше! Дальше!» – слабеющий крик.
Но над прошлым (где туча дымится!)

Дух мой дрогнул – замедлил – поник.

Потому что – о, горе мне! горе! —
Блеск души отошел навсегда,
Мне поет беспредельное море —
«Никогда – никогда – никогда
У подстреленной птицы во взоре
Не засветится жизни звезда.»

И часы мои – призраки сказки,
И ночные тревожные сны; —
Там, где взор твой, исполненный ласки,
Где шаги твои тайно слышны —
О, в какой упоительной пляске —
У какой итальянской волны!

Да, в одном из морских караванов,
Ту, чей образ так юн и красив,
От Любви увлекли для обманов,
От меня навсегда отлучив! —
От меня, и от наших туманов,
И от наших серебряных ив!

Что эти строки были написаны по-английски — язык, относительно которого я не думал, что

автор их его знает — меня не очень удивило. Я слишком хорошо был осведомлен относительно размеров его познаний и его особенной наклонности скрывать их от постороннего наблюдения, чтобы быть изумленным таким открытием: но обозначение места, сопровождавшее дату, признаюсь, немало меня озадачило. Сперва было написано *Лондон,* потом это слово было тщательно вычеркнуто — не настолько однако, чтобы быть скрытым от внимательного взгляда. Я говорю, что это немало меня озадачило, так как я хорошо помню, что, однажды в разговоре с моим другом, я как раз спросил его, встречался ли он когда-нибудь в Лондоне с маркизой ди Ментони (жившей за несколько лет до её замужества в этом городе), и ответ его, если я не ошибаюсь, дал мне понять, что он никогда не был в столице Великобритании. Я мог бы здесь также упомянуть, что я не раз слыхал (я, конечно, не верил такому неправдоподобному рассказу), будто бы тот, о ком я сейчас говорю, был не только по рождению, но и по воспитанию, *англичанин.*

* * *

— Здесь есть одна картина, — сказал он, не замечая, что я нашел трагедию, — здесь есть

еще одна картина, которую вы не видали. — И, откинув одну из занавесей, он открыл портрет маркизы Афродиты во весь рост.

Человеческое искусство не могло бы достигнуть большого в закреплении черт её сверхчеловеческой красоты. Та же самая воздушная фигура, которая стояла передо мною в прошлую ночь на ступенях Герцогского Дворца, опять стояла передо мной. Но в выражении лица, залитого сиянием улыбок, таился (непостижимая аномалия!) тот налет печали, который всегда неразлучно слит с совершенством красивого. Её правая рука лежала на груди. Левой рукой она указывала вниз на причудливую урну. Маленькая призрачная нога, только одна зримая глазу, едва касалась земли; и едва различимые в блистательном воздухе, облекавшем её красоту и как бы замыкавшем ее в святилище, реяла два воображаемые крыла, самой изысканной утонченности. Взор мой, отойдя от картины, упал на лицо моего друга, и мощные слова из *Bussy d'Ambois* Чапмана* невольно затрепетали на моих губах:

Подобно римской статуе стоит он,
И будет так стоять, покуда Смертью
Не будет в мрамор превращен.

— Ну, — сказал он наконец, обернувшись к роскошно эмалированному столу из массивного серебра, на котором было несколько бокалов, фантастически окрашенных, и две большие этрусские вазы, по образцу своему, совершенно такия же необыкновенные, как та, что находилась на переднем плане на портрете, и наполненные вином, которое я принял за иоганнисбергское*. —Ну, — сказал он отрывисто, — давайте пить! *Конечно,* теперь рано, — продолжал он, с задумчивостью, между тем как херувим золотым тяжелым молотом заставил прозвучать в комнате первый час после восхода солнца, — конечно, теперь рано — но что нам до этого? давайте пить! Совершим возлияние в честь того далекого торжественного солнца, которое эти пышные лампы и кадильницы так ревностно стараются победить. — И, чокнувшись со мной кубком, налитым до краев, он быстро выпил, один за другим, несколько бокалов вина.

— Жить снами, — продолжал он, впадая в свои тон бессвязного разговора, и ставя против богатого света кадильницы одну из великолепных ваз, — жить снами, это было единственным делом моей жизни. Потому я и создал для себя, как видите, это колыбельное царство снов. В сердце

Венеции мог ли я создать что-нибудь лучшее? Я согласен, вы видите вокруг себя пеструю смесь архитектурных украшений. Целомудренная чистота Ионии оскорблена допотопными замыслами, и Египетские сфинксы распростерты на золотых коврах. Но впечатление кажется несовместимым лишь для робкого. Отличительные свойства места, и в особенности времени, это страшилища, которые отпугивают людей от созерцания великолепного. Раньше я сам был приличным декоратором; но утончение безумия облекло мою душу. Все это теперь как нельзя более подходит к моему замыслу. Как эти покрытые арабесками кадильницы, извивающийся дух мой обвит пламенем, и бред этой обстановки подготовляет меня для более безумных видений той страны реальных снов, куда я теперь быстро ухожу». Он вдруг остановился, склонил свою голову на грудь и, по-видимому, прислушивался к какому-то звуку, которого я не мог услыхать. Наконец, выпрямившись во весь рост, он поднял глаза и, воскликнув, произнес строки Епископа Чичестерского:

«О, я не замедлю! Послушай. Постой.

Мы встретимся вместе в долине пу-

стой».

В следующее мгновение, уступая действию вина, он бросился на оттоманку, и вытянулся на ней.

В это время на лестнице послышались быстрые шаги, и кто-то громко и поспешно постучался в дверь. Я торопливо направился к ней, чтобы предупредить вторичное возникновение шума, как вдруг в комнату не вошел, а ворвался паж из дома Ментони, и, задыхаясь от волнения, запинающимся голосом пролепетал несвязные слова:

— Моя госпожа! — моя госпожа! — отравилась! — отравилась! О, прекрасная — о, прекрасная Афродита!

Ошеломленный, я бросился к оттоманке и стал будить спящего, чтобы вернуть его чувства к поразительному известию. Но члены его были неподвижны — губы его посинели — его так еще недавно горевшие глаза были заведены в *смерти.* Шатаясь, я подошел опять к столу — моя рука упала на треснувший почерневший бокал — и в душе моей внезапно вспыхнуло сознание полной и ужасной правды.

Береника

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.
***Ebn Zaiat*[9]**

Несчастье многообразно. Земное горе является в видах бесчисленных. Обнимая обширный горизонт, подобно радуге, блещет оно столь же разнообразными, столь же яркими, столь же ослепительными красками! Обнимая обширный горизонт, подобно радуге! Как мог я красоту сделать мерой безобразия, знаменье мира — подобием скорби! Но как в области нравственной зло является следствием добра, так из радости родится скорбь. Скорбь настоящего дня — или воспоминание о минувшем блаженстве, или мука смертная, рожденная восторгом, который мог быть.

Я хочу рассказать повесть, полную ужаса; я охотно скрыл бы ее вовсе, если бы не была она летописью не столько дел, сколько чувств.

---

[9] Примечания: 9

Мне говорили товарищи, что если я навещу могилу подруги — горе мое облегчится. *Ибн Зайат* (лат.).*

Я крещен Эгеем, а об имени рода своего умолчу. Но в нашей местности нет здания древнее моего угрюмого, серого родового замка. Издревле наш род слыл родом ясновидящих; и многие особенности в замке, в стенной живописи главной залы, в занавесах спален, в резных украшениях оружейной, а главное, в галерее старинных картин, в устройстве книгохранилища и подборе книг — оправдывали эту славу.

Воспоминания моего раннего детства связаны с этой комнатой и с ее томами, о которых я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но и говорить нечего, что я жил раньше, что душа уже существовала в другой оболочке. Вы отрицаете это? Не буду спорить. Веря сам, я не стараюсь уверить других. Но есть воспоминание о воздушных формах, о неземных и глубоких очах, о певучих грустных звуках — воспоминание неизгладимое, изменчивое, непостоянное, смутное и зыбкое, как тень.

И как тень — оно со мной не расстанется, пока будет светить солнце моего разума.

В этой комнате я родился. Неудивительно, что, пробудившись после долгой ночи, расставшись с сумраком того, что казалось небытием, и вступив в волшебное царство светлых видений, в чертог

воображения, в суровые владения отшельнической мысли и учености, я глядел вокруг себя глазами изумленными и жадными, проводил детство за книгами, а юношеские годы в мечтах. Но то удивительно, что с годами, когда расцвет мужества застал меня в замке предков моих, источники жизни моей точно иссякли, и полный переворот произошел в природе моего мышления. Явления существенного мира действовали на меня, как призраки и только как призраки, а дикие грезы воображения сделались не только содержанием моей повседневной жизни, но и самой этой жизнью, в ее существе.

* * *

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы росли вместе в отеческом доме. Но росли не одинаково: я — болезненный и погруженный в меланхолию; она — веселая, легкая, полная избытком жизни. Ей — блужданья по холмам, мне — труды в монашеской келье. Я — поглощенный жизнью сердца своего, душой и телом прикованный к упорным и тягостным помыслам; она — беспечно отдающаяся жизни, не заботясь о тенях на пути своем, о безмолвном полете крылатых часов. Береника! — я произношу имя ее

— Береника! — и при этом звуке из серых развалин памяти возникает смутный рой видений! Образ ее восстает предо мною так же ясно, как в былые дни ее безоблачного счастья. О, величавая и сказочная прелесть! О, сильфы* Аргеймских* рощ! О, наяда тех ручьев! А потом, потом — всё тайна и ужас, повесть, которая не хочет быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь, настигла ее как смерч; на глазах у меня дух перемены веял над нею, захватывая ум ее, привычки, движения и разрушая, неуловимо и ужасно, самое тождество личности ее! Увы! разрушитель приходил, уходил! а жертва, что с ней сталось? Я не узнавал ее, или, по крайней мере, не узнавал в ней Беренику!

В длинной веренице болезней, следовавших за этим роковым и первоначальным недугом, так страшно изменившим телесно и духовно двоюродную сестру мою, заслуживает упоминания одна, самая плачевная и упорная: род падучей, нередко приводившей к столбняку, очень близко напоминавшему подлинную смерть, за которым следовало пробуждение, большей частью внезапное. Тем временем моя собственная болезнь еще быстрее развивалась и наконец приняла характер новой и необычайной мономании, усилившейся

не по дням, а по часам — и получившей надо мной непонятную власть. Эта мономания — если можно так назвать ее — состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называются *вниманием.* По всей вероятности, меня не поймут; и я боюсь, что мне так и не удастся сообщить обыкновенному читателю точное представление о той болезненной *напряженности внимания,* с которой мои умственные способности (избегая языка научного) увлекались и поглощались созерцанием самых обыкновенных явлений внешнего мира. Размышлять по целым часам над какой-нибудь вздорной фигурой или особенностью шрифта в книге; проводить лучшую часть летнего дня в созерцании причудливой тени на обоях или на полу; следить целую ночь, не спуская глаз, за пламенем лампы или искрами в камине; грезить по целым дням над благоуханием цветка; повторять какое-нибудь самое обыкновенное слово, пока, от частого повторения, оно не перестанет вызывать какую бы то ни было мысль в уме; утрачивать всякое сознание движения или физического существования в совершенном телесном покое, упорном и длительном, — вот некоторые из самых обыкновенных и наименее губительных

причуд, вызванных этим состоянием души, быть может, не беспримерным, но, во всяком случае, недоступным исследованию или объяснению. Сделаю, однако, оговорку во избежание недоразумений. Это бесцельное, пристальнейшее и мучительнейшее внимание, возбуждаемое ничтожными предметами, не следует смешивать со способностью забываться в размышлениях, свойственной всем вообще людям, а в особенности тем, кто одарен воображением пламенным. Оно не было, как может казаться с первого взгляда, крайним проявлением той же способности; оно существенно и в самой основе отличалось от нее. Мечтатель или энтузиаст, увлекшись каким-нибудь предметом, большею частью не ничтожным, незаметно теряет его из виду в вихре мыслей и выводов, и в конце этого сна наяву, *часто исполненного роскошных видений,* убеждается, что *incitamentum,* или первая причина его размышлений, совершенно забыта и стерта. Мое же внимание *всегда* привлекал *ничтожный* предмет, правда, принимавший неестественные размеры в моих болезненных мечтах. Я не делал никаких выводов или делал очень немногие — и они упорно вращались около первоначального предмета. Мысли мои *никогда* не были отрад-

ными, и при конце моих грез первая причина не только не исчезала, но приобретала неестественное значение, представлявшее главную отличительную черту болезни моей. Словом, у меня действовала главным образом сила *внимания,* а не способность *умозрительная,* как у мечтателя.

Мое тогдашнее чтение если не усиливало недуг, то, во всяком случае, своей фантастичностью и непоследовательностью соответствовало этому недугу. Припоминаю, в числе других книг, трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона* «De Amplitudine Beati Regni Dei»[10]; великое творение блаж. Августина* «О государстве Божием» и Тертуллиана* «De Carne Christi»[11], парадоксальное изречение которого: «Mortuus est Dei filius; crebidile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»[12] — стоило мне многих недель упорного, но бесплодного размышления.

---

[10] Примечания: 10

«О величии блаженного царства Божия» *(лат.).*

[11] Примечания: 11

«О теле Христовом» *(лат.).*

[12] Примечания: 12

«Умер Сын Божий, это достойно веры, потому что нелепо; и погребенный воскрес, это достоверно, потому что невозможно» *(лат.).*

Таким образом, рассудок мой, равновесие которого постоянно нарушалось самыми пустыми вещами, стал походить на утес, описанный Птоломеем Гефестионом*, утес, который упорно противостоит человеческому насилию и еще более свирепому бешенству волн и ветра и дрожит только от прикосновения цветка, называемого златоцвет*. И хотя поверхностный человек может подумать, что изменения, порожденные болезнью в духовном существе Береники, часто служили предметом для той болезненной и упорной мечтательности, чью природу я старался уяснить, — но в действительности этого не было. Правда, в минуты просветления, во время перерывов моей болезни, несчастие ее мучило меня, и, принимая глубоко к сердцу гибель этой светлой и прекрасной жизни, я часто и горько размышлял над причинами такой странной и внезапной перемены. Но мысли эти не имели ничего общего с болезнью моей и ничем не отличались от мыслей, которые явились бы у всякого при подобных обстоятельствах. Сообразно своей природе, моя болезненная мечтательность останавливалась на менее важных, но более разительных телесных изменениях, которыми сопровождалась болезнь Береники.

В дни расцвета ее несравненной прелести я, без сомнения, не был влюблен в нее. По болезненной странности моей природы, чувства мои *никогда не были* чувствами сердца, и страсти мои всегда были отвлеченными. В полусвете раннего утра, в причудливых тенях леса, в тиши моей библиотеки она реяла перед моими глазами, и я видел ее — не живую, дышащую Беренику, а Беренику-тень; не земное, плотское существо, а *отвлеченность* этого существа; предмет не восхищения, а исследования; не любви, а сложных и бессвязных помыслов. *Ныне же, ныне* я дрожал в ее присутствии и бледнел от близости ее; и, горько сокрушаясь о смертельном недуге ее, вспоминал, что она любила меня давно и что в недобрый час я предложил ей руку.

Приближался день нашей свадьбы, когда однажды зимою, под вечер, в один из тех необычайно теплых, тихих и туманных дней, которые называются кормилицами прекрасной Альционы[13], я сидел (и сидел, кажется, один) в библиотеке. Но, подняв глаза, увидел пред собою Беренику.

Расстроенное ли воображение мое, или туман-

---

[13] Примечания: 13

«Юпитер посылает зимою два раза по семи теплых дней, и люди назвали это мягкое теплое время кормилицей прекрасной Альционы*». *Симонид**.

ный воздух, или обманчивый полусвет сумерек, или серая одежда, ниспадавшая вокруг ее тела, придавали ей такие неясные, зыбкие очертания.

Она молчала, а я… я не мог бы выговорить слова ни за что в мире. Леденящий холод пробежал по телу моему; чувство невыносимой тревоги томило меня; пожирающее любопытство переполнило душу мою; и, откинувшись на спинку стула, я несколько времени сидел, не шевелясь, затаив дыхание и не спуская глаз с Береники. Увы, как она исхудала, никаких следов прежнего существа не оставалось хотя бы в одной черте ее облика. Наконец, мои пламенные взоры остановились на ее лице.

Лоб был высокий, бледный и необычайно ясный; прядь волос, когда-то черных, свешивалась над ним, бросая тень на впалые виски, с бесчисленными мелкими локонами, теперь ярко-желтыми и представлявшими своей странностью резкую противоположность печальному выражению лица. Глаза без жизни, без блеска казались лишенными зрачков, и я невольно перевел взгляд на тонкие, искривленные губы. Они разомкнулись; и зубы изменившейся Береники медленно выступили передо мною в улыбке загадочной. Лучше бы мне никогда не видать их или,

увидев, умереть!

* * *

Звук затворившейся двери заставил меня встрепенуться, и, оглянувшись, я увидел, что моя кузина оставила комнату. Но беспорядочную комнату ума моего не оставил, увы! и не мог быть изгнан из нее бледный и зловещий *призрак* зубов. Ни единого пятнышка на их поверхности, ни одной тени на эмали, ни одной зазубринки на краях — все это запечатлелось в памяти моей в короткий промежуток улыбки ее. Я видел их *теперь* даже отчетливее, чем *тогда.* Зубы! зубы! Они были здесь, и там, и всюду предо мною; длинные, узкие, необычайно белые, окаймленные линией губ, как в ужасный миг появления. Безумье мое превратилось в бешенство, и тщетно боролся я со странным и неодолимым действием его. В бесчисленных предметах внешнего мира я видел только зубы. По ним я тосковал безумно. Все другие явления, все другие чувства исчезли в этом вечном созерцании зубов. Они… они одни носились перед моими духовными очами; на них сосредоточилась вся моя духовная жизнь. Их видел я при всевозможных освещениях, во всевозможных сочетаниях. Я определял их свой-

ства. Различал особенности. Размышлял об их строении. Думал об изменениях в природе их. Содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать. О мадемуазель Салль* говорили, que tous ses pas åtaient des sentiment[14], а о Беренике я серьезно думал, que tous ses dents åtaient des idåes. Des idåes![15] А, так вот сумасшедшая мысль, смутившая меня! Des idåes, — а, *так вот почему* я безумно стремился к ним! Я чувствовал, что только обладание ими могло вернуть мне покой, восстановить мой рассудок.

Так кончился для меня вечер, и наступила тьма и рассеялась; и вновь забрезжил день, и тень следующей ночи сгущалась вокруг, а я все еще сидел недвижно в моей одинокой келье, все еще сидел, погруженный в думы, и *призрак* зубов по-прежнему реял предо мной с изумительной и отвратительной ясностью. Наконец, крик ужаса и отчаяния прервал мою грезу; за ним последовал гул тревожных голосов вперемежку с тихими стонами скорби или боли. Я встал и, отворив дверь, увидел в соседней комнате девушку-служанку, которая со слезами сообщила мне, что Береника

---

[14] Примечания: 14
Что все шаги ее суть чувства *(фр.).*

[15] Примечания: 15
Что все ее зубы суть мысли! *(фр.).*

скончалась! Припадок эпилепсии случился рано утром, а теперь, с наступлением ночи, гроб уже готов был принять жильца своего, и все приготовления к погребению были сделаны.

* * *

Я сидел в библиотеке, и по-прежнему сидел в ней один. Казалось, что я только что очнулся от смутного и страшного сна. Я знал, что теперь была полночь и что с закатом солнца Беренику похоронили. Но о коротком промежутке времени между этими двумя мгновеньями я не имел ясного представления. А между тем в памяти моей хранилось что-то ужасное, — вдвойне ужасное по своей неясности, вдвойне страшное по своей двусмысленности. То была безобразная страница в летописи моего существования, исписанная тусклыми, отвратительными и непонятными воспоминаниями. Я старался разобрать их — напрасно; в ушах моих, точно отголосок прекратившегося звука, без умолку раздавался резкий и пронзительный крик женщины. Я сделал что-то, но что я сделал? Я громко задавал себе этот вопрос, и эхо комнаты шепотом отвечало мне! *Что я сделал?*



То была безобразная страница в летописи моего существования, исписанная тусклыми, отвратительными и непонятными воспоминаниями

На столе передо мной горела лампа, а подле нее лежал маленький ящик. В нем не было ничего особенного, и я часто видал его раньше, так как он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал сюда, на мой стол и почему я дрожал, глядя на него? Все это оставалось для меня необъяснимым. Случайно мой взгляд упал на развернутую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были странные, но простые слова поэта Ибн Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Почему же, когда я прочел их, волосы поднялись дыбом на моей голове и кровь застыла в жилах?

Кто-то тихонько постучал в дверь, и вошел слуга, бледный, как жилец могилы. Взор его помутился от ужаса, он что-то говорил дрожащим, тихим голосом. Что сказал он? Я слышал отрывочные слова. Он говорил о диких криках, возмутивших тишину ночи, о собравшейся дворне, о поисках в направлении, откуда раздался крик; и голос его стал пронзительно ясен, когда он шептал об осквернённой могиле, об обезобра-

женном теле, еще дышащем, еще трепещущем, *еще живом.*

Он указывал на мое платье; оно было в грязи и в крови. Я ничего не отвечал, и он тихонько взял меня за руку: на ней были следы человеческих ногтей. Он указал мне на какой-то предмет, стоявший у стены; я взглянул, это был заступ! Я с криком кинулся к столу и схватил ящичек. Но я не мог открыть его; он выскользнул из рук моих, упал, разбился на куски, и из него со звоном выкатились инструменты зубного врача и тридцать два маленьких, белых, точно из слоновой кости, предмета, рассыпавшиеся по полу.

Морелла

Сам, самим собою, вечно один-единственный.

Платон*. «Пир»

С чувством глубокой и самой необыкновенной привязанности смотрел я на мою подругу Морелла. Когда случай столкнул меня с нею много лет тому назад, душа моя с первой нашей встречи зажглась огнем, которого до тех пор она никогда не знала; но то не был огонь Эроса, и горестно и мучительно было для меня, когда мне постепенно

пришлось убедиться, что я никак не могу определить необычайный характер этого чувства или овладеть его смутной напряженностью. Однако мы встретились; и судьба связала нас перед алтарем; и никогда я не говорил о страсти и не думал о любви. Тем не менее она избегала общества и, привязавшись всецело ко мне, сделала меня счастливым. Удивляться — это счастье; мечтать — это счастье.

Морелла обладала глубокой ученостью.* Я твердо убежден, что ее таланты были незаурядными — что силы ее ума были гигантскими. Я чувствовал это, и во многих отношениях сделался ее учеником. Однако вскоре я заметил, что она, быть может, в силу своего пресбургского образования*, нагромоздила передо мной целый ряд тех мистических произведений, которые обыкновенно рассматривались как накипь первичной немецкой литературы. Они, не могу себе представить почему, были предметом ее излюбленных и постоянных занятий — и если с течением времени они сделались тем же и для меня, это нужно приписать самому простому, но очень действительному влиянию привычки и примера.

Во всем этом, если я не ошибаюсь, для моего разума представлялось малое поле действия.

Мои убеждения, если я не утратил верного о себе представления, отнюдь не были основаны на идеале, и, если только я не делаю большой ошибки, ни в моих поступках, ни в моих мыслях нельзя было бы найти какой-либо окраски мистицизма, отличавшего книги, которые я читал. Будучи убежден в этом, я слепо отдался влиянию жены и без колебаний вступил в запутанную сферу ее занятий. И тогда — когда склонившись в раздумье над отверженными страницами, я чувствовал, что отверженный дух загорается во мне, — Морелла клала на мою руку свою холодную руку и собирала в потухшей золе мертвой философии несколько глубоких загадочных слов, которые своим многозначительным смыслом, как огненными буквами, запечатлевались в моей памяти. И часы уходили за часами, я томился рядом с ней и впивал музыку ее голоса, пока, наконец, эта мелодия не окрашивалась чувством страха, и тогда на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался, внимая таким слишком неземным звукам. И восторг внезапно превращался в ужас, и самое прекрасное делалось самым отвратительным, подобно тому, как Гинном превратился в Геенну.*

Было бы бесполезно устанавливать точный

характер тех изысканий, которые, будучи навеяны этими старинными томами, являлись в течение такого долгого времени почти единственным предметом моих бесед с Мореллой. Люди, сведущие в том, что может быть названо богословской нравственностью, понимают меня, а люди несведующие все равно поняли бы очень мало. Безумный пантеизм Фихте*; видоизмененная Палингенезия пифагорейцев*; и, прежде всего, учение о *Тождестве*, в том виде, как его развивает Шеллинг*, — таковы были главные исходные точки рассуждений, представлявшие наибольшую заманчивость для богатой фантазии Мореллы. Как мне кажется, Локк* делает верное определение личного тождества, говоря, что оно состоит в самости разумного существа. То обстоятельство, что мы понимаем под личностью мыслящее существо, одаренное разумом, и что мышление постоянно сопровождается сознанием, именно и делает нас *нами самими*, отличая нас этим от других существ, которые мыслят, и давая нам наше личное тождество. Но *principium individuationis*[16], т. е. представление о том тождестве, *которое в самой смерти оста-*

[16] Примечания: 16
Индивидуальное начало *(греч.)*.

ется или утрачивается не навсегда, было для меня постоянно вопросом высокого интереса, не столько в силу волнующей и сложной природы его последствий, сколько в силу той особенной возбужденности, с которой Морелла упоминала о нем.

Однако настало время, когда таинственность, отличавшая нрав моей жены, стала угнетать меня, как чары колдовства. Я не мог более выносить прикосновения ее бледных пальцев, не мог слышать грудных звуков ее музыкального голоса, видеть блеск ее печальных глаз. И она знала все это, но не упрекала меня; она как будто сознавала мою слабость или мое безумие, и, улыбаясь, говорила, что это судьба. Она, по-видимому, знала также причину моего постепенного отчуждения от нее, причину, которая для меня самого осталась неизвестной; но она не давала никакого объяснения, никакого намека. И все же она была женщиной, и потому увядала с каждым днем. Наконец, ярко-красные пятна навсегда остановились на ее щеках, и голубые вены выступили на чистой белизне ее лба. И иногда существо мое размягчилось, и вот на мгновение прониклось жалостью, но тотчас же я встречал ее блестящий взгляд, исполненный глубокого значения,

и вот уже душа моя смутилась, и меня охватило неопределенное волнение, подобное тому, которое испытывает человек, когда, охваченный головокружением, он смотрит вниз, в какую-нибудь угрюмую и неизмеримую пропасть.

Нужно ли говорить, что я жадно, со страстным нетерпением, ждал того мгновения, когда Морелла умрет? Я ждал; но хрупкий дух цеплялся за свою земную оболочку долгие дни, долгие недели, долгие нестерпимые месяцы, и, наконец, мои истерзанные нервы получили полную власть над моим рассудком, и я приходил в ярость при мысли об отсрочке и, затаив в своем сердце демона, проклинал дни и часы и горькие мгновенья, которые как будто все удлинялись и удлинялись, по мере того как нежная жизнь Мореллы все тускнела, точно тени умирающего дня.

Но в один из осенних вечеров, когда ветры безмолвно спят в небесах, Морелла подозвала меня к своему изголовью. Над землей лежал густой туман, над водой блистало теплое сиянье, а в лесу среди пышной октябрьской листвы как будто рассыпалась упавшая с небесного свода многоцветная радуга.

— Вот настал день дней, — сказала она, когда я приблизился, — день всех дней — и для жизни и

для смерти. Чудесный день для сыновей земли и жизни — и насколько более чудесный для дочерей небес и смерти!

Наклонившись к ее лбу, я поцеловал ее, и она продолжала:

— Я умираю, но я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда бы ты мог любить меня — но ту, кем ты в жизни гнушался, ты в смерти будешь обожать.

— Морелла!

— Я говорю тебе, я умираю. Но во мне таится залог той привязанности — о, как она ничтожна! — которую ты чувствовал по отношению ко мне, Морелле. И когда мой дух отойдет, начнет дышать ребенок — твой ребенок и мой, Мореллы. Но дни твои будут днями скорби, которая среди ощущений длится более всех, как среди деревьев дольше, чем все, живет кипарис. Ибо часы твоего блаженства миновали. И нельзя дважды собирать в жизни радость, как розы Пестума* дважды в году. Ты не будешь больше, уподобляясь теосцу, наслаждаться временем, как игрой, но, позабыв о миртах и виноградниках, ты всюду на земле будешь влачить свой саван, как это делают мусульмане в Мекке.

— Морелла! — вскричал я, — Морелла! откуда знаешь ты это? — но она отвернулась от меня, и легкий трепет прошел по ее членам, и так она умерла, и я не слышал ее голоса больше никогда.

Но как она и предсказала, начал жить ее ребенок, ее дочь, которой она дала рождение, умирая, и которая стала дышать лишь тогда, когда мать перестала дышать. И странно росла она, как внешним образом, так и в качествах своего ума, и велико было сходство ее с усопшей, и я любил ее любовью более пламенной, чем та любовь, которую, как думал я, возможно, чувствовал к кому-либо из обитателей земли.

Но лазурное небо этой чистой привязанности быстро омрачилось, и печаль, и ужас, и тоска окутали его как туча. Я сказал, что ребенок странно вырастал как внешним образом, так и в качествах своего ума. О, поистине, странным было быстрое развитие тела, но страшными, — о, страшными! — были взволнованные мысли, которые овладевали мной, когда я наблюдал за ее духовным расцветом. Могло ли это быть иначе, когда я каждый день открывал в представлениях ребенка зрелые силы и способности женщины? Когда слова, исполненные опыта, нисходили с младенческих уст? И когда каждый час я видел,

как в ее больших глазах блистала мудрость, и горели страсти, достигшие срока? Когда, говорю я, все это сделалось очевидным для моих устрашенных чувств, когда я не мог более утаивать этого от собственной души, когда я не мог отбросить от себя представлений, приводивших меня в трепет, нужно ли удивляться, что в мой ум прокрались страшные и беспокойные подозрения, что мысли мои вновь обратились с ужасом к зачарованным сказкам и волнующим помыслам моей погребенной Мореллы? Я утаил от людского любопытства существо, которое судьба мне велела обожать, и в строгом уединении моего жилища со смертельной тоскою следил за всем, что касалось возлюбленной.

И по мере того, как уходили годы, и я глядел день за днем на это святое, и кроткое, и исполненное красноречия лицо, смотрел на эти созревающие формы, день за днем я открывал новые черты сходства между ребенком и матерью, между печальной и умершей. И с каждым часом эти тени сходства все темнели, становились все полнее и определеннее, все более смущали и ужасали своим видом. Если улыбка дочери была похожа на улыбку матери, это я еще мог выносить, но я трепетал, видя, что это сходство было слишком

полным *тождеством.* Я не в силах был видеть, что ее глаза были глазами Мореллы, и, кроме того, они нередко смотрели в глубину моей души с той же странной напряженностью мысли, которой были зачарованы глаза Мореллы. И в очертаниях высокого лба, и в локонах ее шелковистых волос, и в бледных пальцах, которые она в них прятала, и в печальной напевности ее речей, и более всего, — о, более всего, — в словах и в выражениях умершей, возрожденных на устах любимой и живущей, я видел много того, что наполняло меня снедающей мыслью и ужасом, — давало пищу для червя, который не хотел умереть.



Все земные обрат проходили близ меня как улетающие тени, и среди них я видел лишь одну — Мореллу

Так минули два пятилетия ее жизни, и дочь моя еще оставалась безымянной на земле. «Дитя мое» и «любовь моя» — таковы были обычные наименования, внушенные чувством отеческой привязанности, а строгая уединенность ее дней устраняла все другие отношения. Имя Морелллы умерло вместе с ней. Я никогда не говорил с дочерью о ее матери, невозможно было говорить. И действительно, в продолжение короткого периода своего существования она не получила никаких впечатлений от внешнего мира, исключая тех немногих, которые были обусловлены тесными границами ее уединенности. Но наконец при моем нервном и возбужденном состоянии обряд крещения представился мне как счастливое освобождение от ужасов моей судьбы. И у купели я колебался, какое выбрать ей имя. И целое множество имен, обозначающих мудрость и красоту, имен древних и новых эпох, моей родной страны и стран чужих, пришло мне на память вместе с многими-многими прекрасными именами, указывающими на благородство, и на счастье, и на благо. Что же подтолкнуло меня

тогда возмущать память погребенной покойницы? Какой демон заставил меня произнести тот звук, который в самом воспоминании всегда отгонял пурпурную кровь от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из потаенных глубин моей души, когда под этими мрачными сводами, среди молчания ночи я прошептал святому человеку это слово — *Морелла?* Кто, как не демон, исказил черты лица моей дочери и покрыл их красками смерти, когда, дрогнув при этом едва уловимом звуке, она обратила свои блестящие глаза от земли к небу, и, упав распростерлась на черных плитах нашего фамильного склепа, ответив «я здесь!».

Явственно, холодно, со спокойной отчетливостью, упали в мою душу эти звуки и, словно расплавленный свинец, понеслись со свистом в пределах моего мозга. Уйдут года — года! — но память об этой эпохе останется навеки! И не был я лишен цветов и виноградных лоз — но цикута и кипарис* затемняли меня своею тенью в часы ночи и дня. И я не помнил ни времени, ни места, и звезды моей судьбы поблекли на небесах, и потому земля потемнела, и все земные образы проходили близ меня как улетающие тени, и среди них я видел лишь одну — Мореллу. Ветры,

прилетая с небесного свода, наполняли мой слух одним звуком, и рокочущие волны подернутого рябью моря неизменно шептали мне — Морелла. Но она умерла; и собственными руками я снес ее в могилу, и засмеялся долгим и горестным смехом, когда увидал, что не осталось ни малейших следов от первой в том склепе, где я схоронил вторую — Мореллу.

Знаменитость

Все встали на цыпочки от изумления.

Сатиры епископа Холла*

Я великий человек (точнее, был великим человеком), хотя я не автор писем Юниуса и не Железная Маска*: мое имя, если не ошибаюсь, Роберт Джонс, а родился я где-то в городе Ври Больше*.

Появившись на свет Божий, я первым делом схватил себя за нос обеими руками. Моя матушка, увидев это, объявила, что я гений; мой отец прослезился от радости и подарил мне курс носологии. Я изучил его прежде, чем надел штаны.

Я рано почувствовал призвание к науке и скоро сообразил, что если только у человека имеется достаточно солидный нос, го, следуя его

указаниям, нетрудно достигнуть славы. Но я не ограничивался теорией. Каждое утро я давал себе два щелчка по носу и пропускал рюмок шесть горячительного.

Когда я вырос, мой отец пригласил меня однажды в свой кабинет.

— Сын мой, — сказал он, — какая цель твоего существования?

— Отец мой, — отвечал я, — изучение носологии.

— А что такое носология, Роберт? — спросил он.

— Сэр, — отвечал я, — это наука о носах.

— А можешь ты объяснить мне, — продолжал отец, — что такое нос?

— Нос, отец мой, — ответил я с увлечением, — весьма различно определяется различными авторами. (Тут я посмотрел на часы.) Теперь полдень или около того; до полуночи я успею изложить вам все мнения по этому вопросу. Начнем с Бартолина*; по его определению, нос — это та выпуклость, тот желвак, тот нарост, тот…

— Будет, Роберт, — перебил добрый старик. — Я поражен твоими громадными знаниями, ей-Богу, поражен. (Тут он зажмурился и приложил руку к сердцу.) Поди ко мне! (Он взял меня за руку.) Твое

воспитание можно считать законченным, пора тебе встать на ноги, и самое лучшее, если ты последуешь за своим носом — итак… (Отец спустил меня с лестницы и вытолкал за дверь.) — Итак, убирайся вон из моего дома и да благословит тебя Бог.

Чувствуя в себе божественное предопределение, я посчитал это происшествие скорее благоприятным, чем плачевным. Я намеревался исполнить отеческое наставление. Я решил последовать за своим носом. Я тут же дал ему два-три щелчка, а затем, написал памфлет о носологии.

Весь наш народ Ври Больше пришел в волнение.

— Изумительный гений! — сказал Quarterly*.

— Превосходный физиолог! — сказал Westminster*.

— Тонкий ум! — сказал Foreign*.

— Прекрасный писатель! — сказал Edinburgh*.

— Глубокий мыслитель! — сказал Dublin*.

— Великий человек! — сказал Bentley*.

— Божественный дух! — сказал Frazer*.

— Из наших! — сказал Blackwood*.

— Кто бы это мог быть? — сказала миссис Синий Чулок.

— Кто бы это мог быть? — сказала толстая мисс Синий Чулок.

— Кто бы это мог быть? — сказала тоненькая мисс Синий Чулок.

Но я знать не хотел этих господ, — я прямо направился в мастерскую художника.

Герцогиня Ах-Боже-Мой позировала, маркиз Так-И-Так держал ее пуделя, граф И-То-И-Се подносил ей флакончик с солью, а его королевское высочество Не-Тронь-Меня прислонился к спинке ее стула.

Я подошел к художнику и вздернул нос.

— О, какая прелесть! — вздохнула ее светлость.

— О, Господи! — прошептал маркиз.

— О, безобразие! — простонал граф.

— О, чудовище! — проворчал его королевское высочество.

— Сколько вы за него возьмете? — спросил художник.

— За его нос! — воскликнула ее светлость.

— Тысячу фунтов, — сказал я, садясь.

— Тысячу фунтов! — повторил художник задумчиво.

— Тысячу фунтов! — подтвердил я.

— С ручательством? — спросил он, поворачивая нос к свету.

— Да, — отвечал я, высморкавшись.

— Это настоящий оригинал? — спросил художник, почтительно прикасаясь к моему носу.

— Хе! — отвечал я, скрутив нос набок.

— Не было ни одного снимка? — продолжал художник, рассматривая его в лупу.

— Ни одного, — отвечал я, задрав нос еще выше.

— Удивительно! — воскликнул он, пораженный изяществом этого маневра.

— Тысячу фунтов! — сказал я.

— Тысячу фунтов! — повторил он.

— Именно! — сказал я.

— Тысячу фунтов! — опять повторил он.

— Ни более, ни менее! — сказал я.

— Вы их получите! — сказал он. — Хороший экземпляр.

И тут же выдал мне чек и срисовал мой нос. Я нанял квартиру на Джермин-стрит* и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом обонятельного органа. Повеса принц Уэльский пригласил меня на обед. Мы собрались — все львы, все recherches[17].

Был тут современный Платоник*. Он цитиро-

---

[17] Примечания: 17
Изысканные *(фр.).*

вал Порфирия*, Ямвлиха*, Плотина*, Прокла*, Гиерокла*, Максима Тирского* и Сириана*.



Не было ни одного снимка? — продолжал художник, рассматривая его в лупу

Был тут сторонник идеи человеческого прогресса. Он цитировал Тюрго*, Прайса*, Пристли*, Кондорсе*, Сталь* и «Честолюбивого студента со слабым здоровьем».

Был тут сэр Положительный Парадокс. Он объявил, что все дураки были философами и все философы дураками.

Был тут Эстетикус Этике. Он говорил об огне, единстве и атомах; о двойственной и предсуществовавшей душе*; о сродстве и разъединении; о первичном уме и гомеомерии*.

Был тут Теологос Теолог. Он толковал о Евсевии и Арии*; о ересях и Никейском соборе*; о пьюзеизме* и субстанциализме*; о гомузиос и гомойузиос*.

Был тут Фрикасе из Rocher de Cancale[18]. Он рассказывал о цветной капусте с соусом veloute; о телятине a la St. Menehoult; о маринаде a la St. Florentin; об апельсинном желе en mozai'ques.

Был тут Бибулюс О'Полштоф. Он распространялся о латуре и маркобруннене, о мюссе и шамбертене, о ришбуре и сен-жорже, о гобрионе,

---

[18] Примечания: 18
«Роше де Канкаль» *(фр.)* — ресторан в Париже.

лионвилле и медоке; о бараке и преньяке; о граве, о сотерне, о лафите, о сен-перэ. Он покачивал головой, смакуя клодвужо, и отличал с закрытыми глазами херес от амонтильядо.*

Был тут синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он рассуждал о Чимабуэ*, Арпино*, Карпаччо* и Агостино*; о сумрачном тоне Караваджо*, о грации Альбано*, о колорите Тициана*, о женщинах Рубенса* и о шалостях Яна Стена*.

Был тут ректор местного университета. Он высказал мнение, будто луна называлась Бендис* во Фракии, Бубастис* в Египте, Дианой в Риме и Артемидой в Греции.

Был тут турецкий паша из Стамбула. Он не мог себе представить ангелов иначе, как в виде лошадей, петухов и быков, и полагал, что на шестом небе есть некто с семью тысячами голов; земля покоится на корове небесно-голубого цвета с бесчисленными рогами.

Был тут Дельфинус Полиглот. Он рассказал нам, какая судьба постигла восемьдесят три потерянные трагедии Эсхила*; пятьдесят четыре речи Исея*; триста девяносто один спич Лисия*; сто восемьдесят трактатов Теофраста*; восемь книг о конических сечениях Аполлония*; гимны и дифирамбы Пиндара* и сорок пять трагедий

Гомера Младшего*.

Был тут Фердинанд Фиц-Фоссилиус Полевой Шпат. Он сообщил нам об огненно-жидком ядре и третичной формации; газообразном, жидком и твердом; о кварце и мергеле; о шифере и шерле; о гипсе и трапе; об извести и тальке; о порфире и мелафире; о слюдяном сланце и пуддинговом камне; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и обо всем остальном.

Был тут я. Я говорил о себе, — о себе, о себе, о себе, — о носологии, о моем памфлете и о себе. Я задрал нос кверху и говорил о себе.

— Поразительно умный человек! — сказал принц.

— Удивительно! — подхватили гости.

А на другое утро ее светлость Ах-Боже-Мой явилась ко мне с визитом.

— Будете вы у Альмака*, милое создание? — сказала она, ущипнув меня за подбородок.

— Честное слово, — сказал я.

— С носом? — спросила она.

— Непременно, — отвечал я.

— Так вот карточка, жизнь моя. Могу я сказать, что вы будете?

— Дорогая герцогиня — с радостью.

— Э, нет! Лучше с носом.

— И его захвачу, радость моя, — сказал я, повел им туда-сюда и очутился у Альмака.

Комнаты были битком набиты.

— Он идет! — крикнул кто-то на лестнице.

— Он идет! — крикнул другой.

— Он идет! — крикнул третий.

— Он пришел! — воскликнула графиня. — Он пришел, мой ненаглядный!

И схватив меня крепко обеими руками, она трижды чмокнула меня в нос.

Это вызвало сенсацию.

— Diavolo![19] — воскликнул граф Каприкорнутти.

— Dios guarda![20] — проворчал дон Стилетто.

— Mille tonnerres![21] — крикнул принц де-Гренуйль.

— Tousand Teufel![22] — пробурчал электор Блудденнуфф.

---

[19] Примечания: 19
Дьявол! *(ит.)*

[20] Примечания: 20
Боже сохрани! *(исп.)*

[21] Примечания: 21
Гром и молния! *(фр.)*

[22] Примечания: 22
Тысяча чертей! *(нем.)*

Этого я не мог вынести. Я рассердился. Я обратился к Блудденнуффу:

— Милостивый государь! — сказал я. — Вы павиан!

— Милостивый государь! — возразил он после некоторого размышления — Dormer und Blitzen![23]

Больше ничего не требовалось. Мы обменялись карточками. На другое утро я отстрелил ему нос, а затем отправился к своим друзьям.

— Bete![24] — сказал первый.

— Дурак! — сказал второй.

— Олух! — сказал третий.

— Осел! — сказал четвертый.

— Простофиля! — сказал пятый.

— Болван! — сказал шестой.

— Убирайся! — сказал седьмой.

Я огорчился и пошел к отцу.

— Отец, — сказал я, — какая цель моего существования?

— Сын мой, — отвечал он, — изучение носологии, как и раньше; но, попав электору в нос, ты промахнулся. Конечно, у тебя прекрасный

---

[23] Примечания: 23
Гром и молния! *(нем.)*

[24] Примечания: 24
Животное, скотина! *(фр.)*

нос, но у Блудденнуффа теперь совсем нет носа. Ты провалился, а он стал героем дня. Бесспорно, знаменитость льва пропорциональна длине его носа, но, бог мой! возможно ли соперничать с львом совершенно безносым?

Король Чума
Рассказ, содержащий аллегорию

Чего в королях вполне потерпят боги,

Того для черни вовсе не хотят.

Бакхерст. «Трагедия о Феррексе и Поррексе»*

Около двенадцати часов ночи в месяце октябре, в рыцарское царствование Эдуарда Третьего*, два моряка, принадлежащие к экипажу «Легковольного», торговой шхуны, крейсирующей между Слюисом и Темзой и тогда стоявшей на якоре в этой реке, были весьма изумлены, увидев себя заседающими в кабачке, уставленном пивными бочками, в приходе св. Андрея в Лондоне — каковой кабачок в виде вывески был украшен портретом «Веселого Моряка».

Помещение, хоть и дурно сколоченное, зачер-

ненное дымом, с низким потолком, и во всех отношениях вполне согласующееся с общим характером таких мест в данный период — было, тем не менее, по мнению причудливых групп, рассеянных в нем тут и там, вполне достаточно приспособлено для своей цели.

Из этих групп два наши моряка являли, думаю я, самую интересную, если не самую бросающуюся в глаза.

Один, по видимости старший, которого товарищ в обращении титуловал определительным прозвищем «Снасти»[25], был в то же самое время и значительно выше ростом. Он мог быть шести футов с половиной, и обычная сутуловатость, казалось, была естественным следствием роста такого огромного. Излишества в росте, однако, были более чем возмещены недостачей в других отношениях. Он был до чрезвычайности тонок; и мог бы, как утверждали его товарищи, заменять в пьяном виде вымпел на топе у мачты, в трезвом же состоянии служить как утлегарь. Но эти шутки, и другие подобные, явно не оказывали ни в какое время какого-либо действия на хохочущие мускулы испытанного моряка. С

[25] Примечания: 25

Legs имеет два значения в английском языке — ноги и снасти, или, точнее, разветвления снасти.

выдающимися скулами, с длинным ястребиным носом, с убегающим подбородком, с отпавшею нижнею челюстью и огромными выпуклыми белыми глазами, выражение его лица, хотя и всегда окрашенное известного рода упорным равнодушием ко всему и всем вообще, было тем не менее крайне торжественно и серьезно превыше каких-либо попыток подражания или описания.

Младший моряк был, во всем своем внешнем виде, обратной теоремой своего товарища. Рост его не мог бы превысить четырех футов. Пара коренастых кривых ног поддерживала его увесистую неуклюжую фигуру, в то время как его необычно короткие и толстые руки, завершавшиеся кистями далеко не обыкновенными, свисали, болтаясь по его бокам, как плавники морской черепахи. Маленькие глаза, цвета неопределенного, мигали где-то далеко там сзади в его голове. Нос его пребывал схороненным в массе плоти, которая облекала его круглое, полное и пурпурное лицо; и толстая верхняя его губа покоилась на еще более толстой нижней с видом благосклонного самоудовлетворения, еще более усиливавшегося привычкою собственника время от времени их облизывать. Видимо, он смотрел на своего высокого корабельного товарища,

наполовину дивясь, наполовину насмешливо; и смотря иногда прямо на его лицо, как красное заходящее солнце смотрит на утесы Бен-Невиса*.

Многоразличны и полны событий были, однако, блуждания этой почтенной четы вокруг и около разных кабачков по соседству в более ранние часы вечера. Фонды, даже и самые обширные, но неисчерпаемы; и с карманами вовсе пустыми друзья наши рискнули заглянуть в данную харчевню.

Итак, в тот самый период в точности, когда собственно начинается эта история, Снасти и товарищ его Хью Брезент сидели, каждый опершись обоими локтями о широкий дубовый стол, находившийся посредине комнаты, и подпирая ладонями ту и другую щеку. Из-за огромной бутыли неоплаченного «шипучего вещества»[26] они глазели на зловещие слова «Мела нет»[27], которые к их негодованию и удивлению были начертаны над входом с помощью того самого минерала, присутствие коего они пытались отрицать. Не то, чтобы дар расшифровки письменных знаков — считавшийся среди простонародья того

---

[26] Примечания: 26
Пенистый эль.

[27] Примечания: 27
То есть «В кредит не дают».

времени даром несколько менее кабалистическим, нежели искусство их составления — мог быть, по строгой справедливости, поставлен на счет тому и другому воспитаннику моря; но, сказать по правде, был некий изгиб в начертании букв — было во всем, в них, некое неописуемое качанье судна в волнение хлебающего воду — которое предвещало по мнению обоих моряков долгий ток скверной погоды и сразу исполнило их решимостью, по аллегорическим словам самого знатока, чье имя было Снасти, ринуться «к помпам», поднять паруса и убегать от ветра.

Распорядившись, соответственно, с тем, что оставалось еще в бутыли, и застегнув хорошенько короткие свои куртки, они стрелою вылетели на улицу. Правда, Брезент дважды вкатился в очаг, ошибкою приняв его за дверь, все же ускользание их, наконец, счастливо осуществилось — и в половину первого ночи герои наши, вполне созрев для злодеяния, бежали, спасая свою жизнь, через темный переулок по направлению к лестнице св. Андрея, преследуемые по горячим следам владетельницей «Веселого Моряка».

В эпоху этого обильного событиями рассказа и периодически в течение целого ряда лет до и после вся Англия, в особенности же ее столица,

была полна отзвуков страшного крика «Чума!» Город в значительной мере обезлюдел — и в этих ужасающих областях по соседству с Темзой, где среди темных, узких и грязных уличек и закоулков, как предполагали, имел свое месторождение Демон Недуга, разгуливали только Страх, Ужас и Суеверие.

Повелением и властью короля такие местности были преданы опале, и кому бы то ни было, под страхом смерти, было возбранено проникать в их зловещее уединение. Но ни повеление монарха, ни огромные загородки, воздвигнутые при входе на улицы, ни предвкушение той омерзительной смерти, которая с почти безусловной достоверностью захватывала злосчастного, которого никакая опасность не могла удержать от приключения, не предохраняли разгромленные и необитаемые жилища от ночного грабежа, чья алчная рука тащила из них железо, медь, свинец, словом все, что способно стать предметом доходности.

Более всего, при зимнем открытии загородок, находили обычно, что замки, засовы и тайные погреба оказывали лишь слабую защиту этим богатым запасам вин и крепких напитков, которые, в виду риска и трудности их перевозки, многие из

виноторговцев, весьма численных, имея лавки по соседству, соглашались доверить на время изгнания столь недостаточной безопасности.

Но мало кто среди пораженного ужасом народа приписывал эти деяния вмешательству человеческих рук. Духи Чумы, бесы поветрия и дьяволы лихорадки были в народном представлении демонскими пособниками злого дела, и каждый час в народе рассказывали такие леденящие кровь в жилах рассказы, что вся громада запретных зданий была, наконец, окутана страхом как саваном, и сам грабитель нередко бежал прочь, напуганный ужасами, которые он же создал собственными грабительствами, предоставляя весь обширный округ запретной местности мраку, молчанию, заразе и смерти.

Именно одной из таких устрашающих, уже упомянутых, загородок, указывающих область, находящуюся под чумной опалой, Снасти и достойный Хью Брезент, чуть не на четвереньках сбегавшие вниз по уличке, увидели себя внезапно задержанными в своем беге. О возвращении назад не могло быть речи, и нельзя было терять ни минуты, ибо преследователи гнались за ними по пятам. Для бывалых моряков вскарабкаться на грубо сколоченную загородку из досок бы-

ло делом пустяшным; и, обезумев от двойного возбуждения, — гимнастического упражнения и поглощенных напитков — они без колебания прыгнули вниз по ту сторону загородки и, продолжая свой пьяный бег с криками и воплями, вскоре потерялись в этих нездоровых и запутанных уединениях.

Если бы они, на деле, не были опьянены до потери морального чувства, их неверные шаги были бы парализованы ужасами их настоящего положения. Воздух был холодный и туманный. Камни мостовой, расшатавшиеся на своих местах, лежали в диком беспорядке среди высокой густой травы, в которой их ноги тонули до щиколоток. Рушившиеся дома загромождали улицы. Везде господствовали самые зловонные и ядовитые запахи; и при помощи того призрачного света, который даже в полночь всегда выделяется из чадной заразной атмосферы, можно было бы различить лежащие в уличках и закоулках или гниющие в безоконных зданиях, трупы не одного ночного грабителя, захваченного рукою Чумы в самый миг свершения грабежа.

Но это было не во власти таких образов, ощущений или препятствий задержать бег людей, которые, будучи по природе храбрыми, а в это

время особливо полные до краев смелостью и «шипучим веществом», покатились бы так прямо, как только позволило бы их состояние, с полной бесстрашностью в самую пасть Смерти. Вперед — все вперед шагал угрюмый Снасти, будя в торжественной пустынности звуки и переклички эха дикими воплями, подобными устрашающим бранным вскрикам индейцев: и вперед, все вперед катился приземистый Брезент, держась за куртку своего более деятельного товарища и далеко превосходя отважнейшие достижения этого последнего в области вокальной музыки бычачьим басовым ревом, вылетавшим из глубины его могучих легких.

Видимо, они прибыли к главному оплоту заразы. Дорога при каждом шаге их становилась все более зловонной и ужасной — пути были все более узки и запутаны. Огромные камни и балки, падавшие поминутно с разрушающихся кровель над ними, свидетельствовали угрюмым и тяжелым своим нисхождением об обширной высоте окружающих домов; и, в то время как самое деятельное усилие становилось необходимым, чтобы проложить проход сквозь частые груды мусора, отнюдь нередко рука их падала на скелет или покоилась на более мягком мертвом теле.

Вдруг, когда моряки споткнулись о порог высокого здания, похожего на громадное привидение, на более чем обычный пронзительный вопль, вырвавшийся из глотки возбужденного Снасти, последовал ответ изнутри, в виде быстрой смены диких, похожих на хохот, дьявольских криков. Нимало не устрашенные звуками, которые, будучи такого рода, и в такое время, и в таком месте, могли сгустить самую кровь в сердцах не столь безвозвратно преданных пламени, пьяная парочка, очертя голову, кинулась к двери, взломала ее и ринулась в средоточие вещей с целым залпом проклятий.

Комната, в которой они очутились, оказалась лавкой гробовщика — предпринимателя похоронных процессий; но через открытую опускную дверь на полу, в углу около входа, виднелся длинный ряд винных погребов, глубь коих, как свидетельствовал о том звук случайно разбившихся бутылок, была хорошо снабжена соответствующим материалом. Посредине комнаты стоял стол — в центре стола возвышался огромный жбан того, что казалось пуншем. На столе в изобилии были рассеяны бутылки с различными винами и крепкими напитками, а равно кружки, кувшины и бутыли всяческой формы и разного

качества. Вокруг стола, на гробовых станках, сидела вшестером некая компания. Эту компанию я постараюсь описать, каждого по очереди.

Против входной двери и несколько возвышаясь над своими сотоварищами, восседала фигура, каковая по видимости была председателем праздника. Эта особа была худощава и высока, и Снасти был смущен, увидя фигуру еще более отощалую, чем он сам. Лицо председателя было желто, как шафран — но ничего в нем, кроме одной черты, не было достаточно примечательно, чтобы заслужить подробное описание. Этой одной чертой являлся лоб, столь необычно и отвратительно высокий, что имел он вид колпака или короны из плоти, данной в прибавку к естественной голове. Рот его был собран в складки и играл ямочками в выражении чудовищной любезности, и глаза его, правда как и глаза всех сидевших за столом, были стекловидны от винных паров. Этот джентльмен с головы до ног был одет в богато вышитую гробовую мантию из черного шелкового бархата, небрежно наброшенную вокруг его тела наподобие испанского плаща. Голова его вся была утыкана черными перьями из гробового султана, он ими покачивал из стороны в сторону с веселым и понимающим видом; а в правой руке

своей он держал огромную человеческую берцовую кость, которою, как кажется, он только что легонько ударил кого-то из сочленов общества, дабы принудить к песне.

Напротив него, и спиною к двери, сидела дама, свойства ничуть не менее чрезвычайного. Хотя совершенно такого же высокого роста, как особа только что описанная, она не имела права жаловаться на неестественную худобу. Она была, очевидно, в последнем градусе водянки; фигура ее весьма походила на огромный бочонок октябрьского пива, который стоял совсем около нее, с вдавленным верхом, в углу комнаты. Лицо ее было необыкновенно кругло, красно и полно; и та же самая особенность или, вернее, отсутствие особенности, сочеталась с ее наружностью, как и в ранее описанном случае с председателем, то есть лишь одна черта ее лица была достаточно отличительна, чтобы нуждаться в особой характеристике: правду сказать, островидящий Брезент немедленно заметил, что то же самое замечание могло бы быть применено к каждой отдельной особе, принадлежавшей к данной компании; каждый в ней, казалось, имел монополию на какую-нибудь отдельную часть физиономии. Что касается упомянутой

дамы, ее частью был рот. Начинаясь у правого уха ужасающей расщелиной, он соскользнул до левого — короткие серьги, которые она носила в каждом ухе, болтаясь, беспрерывно попадали в отверстие. Она, однако, делала всяческие усилия держать свой рот закрытым и соблюдала достойный вид, будучи одета в свеженакрахмаленный и выутюженный саван, подпиравший ее под подбородком, с гофрированными рукавчиками из батистовой кисеи.

По правую ее руку сидела маленькая-премаленькая дама, которой она, по-видимому, покровительствовала. Это деликатное созданьице, дрожанием своих исхудалых пальцев, синим цветом своих губ и легким лихорадочным румянцем, который пятнами окрашивал ее, вообще говоря, свинцового цвета лицо, давало явные указания на галопирующую чахотку. Вся ее наружность, однако, была проникнута весьма высоким тоном; с грациозностью и совершенною непринужденностью она была одета в широкие и красивые смертные пелены из тончайшего индийского линобатиста; волосы ее колечками упадали на ее шею; мягкая улыбка играла вокруг ее рта; но ее нос, чрезвычайно длинный, тонкий, извилистый, гибкий и угреватый, свисал вниз гораздо ниже ее

нижней губы и, несмотря на деликатную манеру, с которою она время от времени отодвигала его языком то в одну сторону, то в другую, придавал ее лицу несколько двусмысленное выражение.

Насупротив нее и но левую сторону от дамы в водянке сидел одутловатый, сопящий и подагрический старый человечек, щеки коего покоились на плечах их обладателя, как два огромные меха с портвейном. Со своими сложенными руками и с одной ногой, обвязанной бандажами и лежащей на столе, он, казалось, считал себя имеющим права на некоторое к нему внимание. Он явно гордился, и превесьма, каждым дюймом свой наружности, но совершенно особенно услаждался тем, что обращал внимание на свой пестроцветный сюртук. Этот последний, правду говоря, должен был стоить ему немалых денег и сделан был так, что должен был идти к нему чрезвычайно — материалом для него послужил один из тех любопытно вышитых шелковых чехлов, что принадлежат славным гербам, которые, в Англии и других местах, обычно вывешивают где-нибудь на виду на жилищах отбывшей аристократии.

Рядом с ним, и по правую руку от председателя, находился джентльмен в длинных белых чулках и в кальсонах из бумажной материи. Все тело

его содрогалось смешным образом от приступов того, что Брезент назвал «ужасами» [*белая горячка*]. Челюсти его, свежевыбритые, были туго подвязаны кисейным бандажом; и руки его, будучи подобным же образом закреплены в кистях, возбраняли ему слишком свободное пользование напитками, находившимися на столе — предосторожность, сделавшаяся по мнению длинноногого Снасти необходимой, в виду глупо-пьяного оттенка лица его, оголтелого лица пропойцы. Два волшебно-огромные уха, которые, без сомнения, невозможно было подвергнуть заключению, возвышались, тем не менее, вздымаясь в воздухе комнаты, и время от времени сжимались в спазме при звуке откупориваемой бутылки.

Против него, шестой и последний, помещался некий персонаж, имевший совсем особенный окоченелый вид; будучи поражен параличом, он должен был, говоря серьезно, чувствовать себя очень не по себе в своих весьма несговорчивых одеяниях. Одет он был в некотором роде единственно и несравненно, в новый красивый красного дерева гроб. Верхушка гроба, или шлем, жалась к его черепу и простиралась над ним наподобие клобука, придавая лицу в его целостности вид неописуемой интересности. Прорези

для рук были сделаны по бокам, в целях не столько элегантности, сколько удобства, но одежда, тем не менее, возбраняла ее собственнику сидеть так прямо, как его сотоварищи; и в то время как он лежал, откинувшись на своем гробовом станке под углом в сорок пять градусов, пара огромных выпученных глаз вращала и устремляла свои чудовищные белки по направлению к потолку в абсолютном изумлении на свою собственную огромность.

Перед каждым из компании лежала доля черепа, которою он пользовался как заздравною чаркой. Над головами висел человеческий скелет, он подвешен был на веревке, обмотанной вокруг одной из его ног и прикрепленной к кольцу в потолке. Другая нога, не ограниченная такою оковой, отступала от тела под прямым углом, заставляя весь качающийся и потрескивающий остов красуясь болтаться и делать пируэты по прихоти каждого дуновения ветра, проникавшего в комнату. В черепе этого отвратительного создания было некоторое количество раскаленного древесного угля, бросавшего колеблющийся, но яркий свет на всю сцену; между тем как гробы и другие товары, принадлежавшие к лавке гробовщика-предпринимателя похоронных про-

цессий, были высоко нагромождены кругом в комнате и против окон, не дозволяя ни одному проблеску ускользнуть на улицу.

При виде такой экстраординарной ассамблеи и уборов, еще более чем экстраординарных, два наших моряка не явили в своем поведении той степени декорума, какой можно было бы от них ожидать. Длинноногий Снасти, прислонившись к стене, около которой он случайно находился, уронил свою нижнюю челюсть ниже обыкновенного и расширил свои глаза до полного их объема, между тем как Хью Брезент, наклонившись настолько, что нос его был на уровне со столом, и распространивши ладони обеих своих рук на коленях, разразился долгим, громким и горланящим ревом весьма несвоевременного и неумеренного хохота.



— Стоп, погоди-ка немножко, и скажи, что вы тут все за дьяволы, и что вы тут делаете…

Не принимая, однако же, за оскорбление поведение столь чрезмерно грубое, высокий председатель улыбнулся непрошеным гостям весьма милостиво — с большим достоинством кивнул им головой, увенчанной черными перьями, — и, встав с места, взял того и другого за руку и подвел каждого к сиденью, каковое тем временем кое-кто другой из компании приготовил для них. Длинноногий Снасти не оказал на все это ни малейшего противодействия, но сел, куда ему было указано; между тем, галантный Хью, отодвинув свой гробовой станок от главного конца стола поближе к маленькой чахоточной даме в саване, шлепнулся около нее в великом веселье и, угостив себя черепом красного вина, выпил его в честь ближайшего знакомства. Но при таком притязании окоченелый господин в гробу явил себя чрезвычайно раздосадованным; и серьезные могли бы произойти последствия, если бы председатель, постучав по столу своим жезлом, не отвлек всеобщего внимания к следующей речи:

— Приличествует долгу нашему при настоящем счастливом случае…

— Стоп, — прервал его Снасти с весьма серьезным видом, — стоп, погоди-ка немножко, и скажи, что вы тут все за дьяволы, и что вы тут делаете, разрядившись, как бесы нечистые, и лакая тут бессловесную синюю погибель, сложенную впрок на зиму честным моим корабельным товарищем, Виллем Вимбли, гробовщиком Коловоротом!

При таком непростительном образце дурного воспитания вся оригинальная компания привскочила на ноги и испустила стремительную череду диких демонских криков, которая раньше привлекла к себе внимание моряков. Председатель, однако, первый овладел своим спокойствием и, наконец, обращаясь к длинноногому Снасти с большим достоинством, снова начал:

— Вполне охотно мы удовлетворим всякое разумное любопытство, выказанное гостями столь высокими, хотя бы и явившимися без приглашения. Знайте же, что в этих владениях я монарх и правлю здесь нераздельною властью, нося титул Король Чума Первый.

Эти апартаменты, которые вы весьма нечестиво считаете лавкою Коловорота гробовщика, — человека, коего мы не знаем, чье плебейское имя никогда до этой ночи не оскорбляло наших царственных ушей, — эти апартаменты, говорю

я, Тронный Зал нашего Дворца, посвященный заседаниям Совета нашего королевства и другим священным и возвышенным целям.

Благородная дама, что сидит насупротив, есть Королева Чума, наша Светлейшая Супруга. Другие высокие особы, коих вы видите, — все из нашей фамилии и носят знаки отличия королевской своей крови, имея соответствующие титулы — «Его Светлость Эрцгерцог Чумоносный» — «Его Светлость Герцог Чумозаразный» — «Его Светлость Герцог Вихречума» и «Ее Светлейшее Высочество Эрцгерцогиня Троескок-Чума».

— Что касается, — продолжал он, — вашего вопроса, по какому делу мы заседаем здесь в совете, мы могли бы быть извинены, ответив, что оно касается, и лишь касается нашего собственного частного и царственного интереса, и никоим образом не может быть важно для кого-либо другого, кроме нас. Но, во внимание к тем правам, на которые, как гости и чужеземцы, вы можете притязать, мы имеем изъяснить, что мы находимся здесь в эту ночь, подготовленные глубоким исследованием и точным рассмотрением, для испробования, подробного разбора и исчерпывающего определения неопределимого духа — непостижимых свойств и природы —

этих неоцененных сокровищ вкусовой области, вин, пива и крепких напитков этой счастливой столицы: дабы, так сделав, не столько двинуть вперед наши собственные замыслы, сколько содействовать истинному благополучию того неземного владыки, коего царство над нами всеми, чьи владения суть безграничны и чье имя есть «Смерть».

— Чье имя есть Деви Джонс! — возопил Брезент, наливая даме, бывшей с ним рядом, полный череп вина и наполняя другой для себя.

— Низкий плут! — сказал председатель, обращая теперь свое внимание на достойного Хью, — Низкий и отвратительный отверженец! Мы сказали, что во внимание к тем правам, которые, даже в твоей грязной личности мы не чувствуем никакой склонности нарушать, мы снизошли до ответа на твои грубые и несвоевременные расспросы. Мы, тем не менее, в виду непрошеного и навязчивого вторжения на заседание нашего совета, почитаем нашею обязанностью наложить пеню на тебя и на твоего товарища, на каждого в размере трех штофов Черной Браги — каковые должны вы выпить в честь нашего королевства — единым духом — и коленопреклоненные — а засим вы свободны или продолжать вашу до-

рогу, или оставаться и быть допущенными к привилегиям нашего стола, согласно с вашим соответственным и личным благоусмотрением.

— Это было бы вещью крайней невозможности, — ответил длинноногий Снасти, которому важные манеры и достоинство Короля Чумы Первого видимо внушили некоторое чувство уважения, и который встал и оперся о стол, пока он говорил, — это было бы, с позволения вашего величества, вещью крайней невозможности нагрузить в мой трюм даже и четвертую часть той жидкости, которую ваше величество только что упомянуло. Ничего уже не говоря о том материале, что помещен был на борт в полдень в качестве балласта, и не упоминая о различных видах эля и крепких напитков, нагруженных сегодня вечером в различных портах, я в настоящее время взял полный груз «шипучего вещества», принятого и должным образом оплаченного под вывеской «Веселый Моряк». Да соизволит поэтому ваше величество быть столь добрым и принять добрую волю за деяние — ибо никоим и никаким образом не могу я и не хочу проглотить еще хоть одну каплю — менее же всего хоть каплю этой мерзкой грязной влаги, наполняющей подводную часть судна и вполне соответствую-

щей зову «Черная Брага».

— Закрепи-ка глотку, — прервал его Брезент, не менее удивленный длительностью речи своего товарища, нежели самым свойством его отказа, — закрой-ка, моряк пресной воды — говорю тебе, Снасти, будет твоей болтовни. Мой кузов еще налегке, хоть у тебя, признаюсь, перевес на верхней части; а что до твоей доли в грузе, чего же там, — чем поднимать шквал, я лучше найду чулан для нагрузки у себя, но только…

— Такой прием, — вмешался председатель, — отнюдь не согласуется с термином пеня или приговор, каковой по природе своей непреложен, как мидийский закон, и не может быть ни изменен, ни отменен. Условия, нами на вас наложенные, должны быть выполнены буквально, и это без малейшего промедления, — в случае же несвершения их, мы постановляем что связанные шея и пятки вместе, вы должным образом будете потоплены, как бунтовщики, в той бочке октябрьского пива.

— Приговор! приговор! справедливый приговор, правый — великолепное постановление! — самое достойное, прямое и святое осуждение! — завопила вся Чумная фамилия. Король подъял свой лоб, сложив его в бесчисленные складки;

подагрический господинчик сопел, как пара мехов; госпожа в саване повивала своим носом из стороны в сторону; джентльмен в бумажных кальсонах сжимал свои уши и подергивал ими; женщина в смертных пеленах глотала воздух, как умирающая рыба; а гробовой человек глядел оцепенело и катал свои глаза.

— Хи-хи-хи! — хихикал Брезент, не обращая внимания на всеобщее возбуждение, — Хи-хи-хи-хи! Я говорил, — сказал он, — я говорил, когда сей сударь Король Чума поднял свой трезвон, что три штофа или шесть штофов Черной Браги больше или меньше, это сущие пустяки для неподверженного течи морского судна, вроде меня, ежели оно не перегружено, — но, раз дело идет о том, чтобы пить за здоровье дьявола (с которого да снимет Бог проклятие), и чтобы на моих костях с мозгом ползать перед тем сквернорожим величеством, который, — что я знаю так же хорошо, как то, что я грешный человек, — есть не что иное, как Тим Херлигерли, суматошный комедиант, — это уже, пардон, дело будет совсем другого рода, и этого уже разуму моему никак не постичь и не уразуметь.

Ему не было даровано окончить свою речь в спокойствии. При имени «Тим Херлигерли су-

матошный» вся ассамблея повскакала со своих мест.

— Измена! — воскликнуло Его Величество Король Чума Первый.

— Измена! — сказал человечек с подагрой.

— Измена! — завизжала Эрцгерцогиня Троескок-Чума.

— Измена! — пробормотал господин с подвязанными челюстями.

— Измена! — прорычал гробовой человек.

— Измена! Измена! — прокричала Ее Величество Пасть; и, схватив злополучного Брезента за заднюю часть его брюк, меж тем как он только что начал наливать себе череп вина, она подняла его высоко на воздух, и без дальнейших церемоний предоставила ему упасть в огромный открытый бочонок его любимого эля. Поболтавшись несколько секунд вверх и вниз, как яблоко в чаше с грогом, он, наконец, совершенно исчез среди водоворота пены, которую, в уже шипучей жидкости, быстро создали его усилия высвободиться.

Не с кроткой покорностью, однако, узрел высокорослый моряк поражение своего товарища. Сошвырнув толчком Короля Чуму в открытый трап, доблестный Снасти с божбою захлопнул за

ним дверь и шагнул к середине комнаты. Здесь, сорвав скелет, висевший над столом, он начал размахивать им вокруг себя с такою энергией и с таким проявлением доброй воли, что, в то время как в комнате умирали последние вспышки света, ему удалось выбить мозги из малого господина с подагрой. Ринувшись тогда со всею своею силой на фатальный бочонок, наполненный октябрьским пивом и Хью Брезентом, он покатил его во мгновение кувырком. Оттуда вырвался потоп жидкости такой яростный — такой порывистый — такой захватывающий — что вся комната была залита от стены до стены — загроможденный стол был опрокинут — гробы рушились — жбан с пуншем упал в очаг, а дамы впали в истерику. Нагромождения предметов, надлежащих до похорон, бились и барахтались кругом. Кружки, кувшины и сосуды с едкими жидкостями смешались в безразборной свалке, а бутылки, овитые ивовым прутом, отчаянно сталкивались с бутылями из толстого стекла. Человек ужасов был потоплен на месте, окоченелый господинчик дрейфовал в своем гробу — а победоносный Снасти, схватив за талию жирную даму в саване, ринулся с нею на улицу и направился по кратчайшей линии к «Легковольному»,

в сопровождении шедшего не на всех парусах грозного Хью Брезента, который раза три-четыре чихнул, тяжело дышал и пыхтел, влача за собою Эрцгерцогиню Троескок-Чуму.

Лигейя

Тут воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и ее силу? Сам Бог – великая всепроникающая воля.
Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость его воли!

Джозеф Гленвилл*

Клянусь душою, я не могу припомнить, как, когда, ни даже где я впервые познакомился с леди Лигейей. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от перенесенных мною страданий. Или, быть может, я потому не могу *теперь* вспомнить этого, что характер моей возлюбленной, ее редкие познания, ее особенная и ясная красота, упоительное красноречие ее сладкозвучного голоса так упорно и нечувствительно закрадывались в мое сердце, что я сам того не замечал и не сознавал. Но, кажется, впервые я встретил ее и часто потом встречал в каком-то большом,

старинном, ветшающем городе на Рейне. Она, конечно, говорила мне о своей семье. Древность ее происхождения не подлежит сомнению. Лигейя!

Лигейя! Погруженный в занятия, которые по самой природе своей как нельзя более способны заглушить все впечатления внешнего мира, я одним этим словом — Лигейя — вызываю перед моими глазами образ той, которой уже нет. И теперь, когда я пишу, у меня вспыхивает воспоминание о том, что *я никогда не знал* родового имени той, которая была моим другом и невестой, участницей моих занятий и, наконец, моей возлюбленной женой. Было ли то прихотью моей Лигейи или доказательством силы моей страсти, не интересовавшейся этим вопросом? Или, наконец, моим собственным капризом, романтическим жертвоприношением на алтарь страстного обожания? Я лишь смутно припоминаю самый факт, мудрено ли, что я забыл, какие обстоятельства породили или сопровождали его? И если правда, что дух, называемый *Возвышенным,* если правда, что бледная, с туманными крылами, *Аштофет** языческого Египта председательствовала на свадьбах, сопровождавшихся зловещими предзнаменованиями, то, без всякого сомнения, она председательствовала и на моей.

Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего моя память не ошибается. Это *наружность Лигейи.* Она была высокого роста, стройна, а впоследствии даже несколько худощава. Тщетны были бы попытки описать ее величавую осанку, спокойную вольность движений, неизъяснимую стройность и мягкость походки. Она являлась и исчезала как тень. Когда она входила в мой кабинет, я узнавал о ее появлении только по сладкой музыке нежного грудного голоса ее или по прикосновению к моему плечу мраморной руки ее. Прелестью лица никакая девушка не могла бы сравниться с нею. Это было лучезарное сновидение, рожденное опиумом; воздушное и возвышающее душу сновидение, исполненное более волшебной красоты, чем сказочные сны, реявшие над дремотными душами дочерей Делоса*. Но черты лица ее не представляли той условной соразмерности, которой мы совершенно напрасно приучились восхищаться в древних изваяниях язычников. «Нет красоты изысканной, — говорит Бэкон*, лорд Веруламский, в своих совершенно справедливых рассуждениях о различных видах и *родах* красоты, — без некоторой *странности* в пропорциях». Но хотя я видел, что черты Лигейи не представляют классической правильности,

хотя я сознавал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что в ней много «странного», однако я тщетно пытался найти эту неправильность и определить свое собственное представление о «странном». Я всматривался в очертания высокого бледного лба ее — он был безупречен; как холодно звучит это слово в применении к такому божественному величию! Кожа, не уступающая белизной чистейшей слоновой кости, величавая широта и безмятежность, легкие выступы над висками, и волосы, черные как вороново крыло, блестящие, рассыпавшиеся густыми, роскошными кольцами, к которым вполне подходил гомеровский эпитет «гиацинтовые»! Я всматривался в тонкие очертания носа ее — нигде, кроме изящных еврейских медальонов, не видал я такого совершенства. Та же изумительно гладкая поверхность, тот же едва заметный намек на орлиный профиль, те же гармонически изогнутые ноздри — признак свободы духа. Я вглядывался в нежный рот ее. Вот где было истинное торжество небесной прелести — в великолепном изгибе короткой верхней губы, в сладострастной дремоте нижней, в смеющихся ямочках, в игре красок, которая говорила без слов, в зубах, отражавших с почти нестерпимым

блеском каждый луч света, падавший на них, когда они открывались в спокойной и ясной, но лучезарнейшей из всех улыбок. Я вглядывался в подбородок ее.

И здесь находил я эллинскую прелесть, нежность и величавость, полноту духовности, — тот облик, который бог Аполлон только во сне открыл Клеомену*, сыну Клеоменову, афинянину. Наконец, устремлял я взор в глубину огромных глаз ее.

Для глаз не нахожу я образца и в глубочайшей древности. Может быть, в глазах моей возлюбленной и скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Кажется, они были гораздо больше обыкновенных глаз человеческих, с более совершенным разрезом, чем у газелей долин Нурджахада*. Но только иногда, в минуты возбуждения крайнего, особенность эта становилась поразительной. В эти-то минуты красота ее — по крайней мере, в пламенном воображении моем — была красотою сказочных гурий. Зрачки черно-блестящие оттенялись агатовыми ресницами длиннейшими. Брови, слегка неправильного очерка, такого же черного цвета. Но *«странность»*, которую я находил в глазах ее, таилась не в очертании, не в цвете, не в блеске, а толь-

ко *в выражении.* О, слово бессмысленное! Звук пустой! Неопределенность, за которою прячется наше непонимание духовности. Выражение глаз ее! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Сколько летних ночей провел без сна, стараясь измерить их глубину. Что же такое, более глубокое, чем колодец Демокрита*, таилось в глазах моей возлюбленной? Что это? Я томился желанием разгадать эту тайну. Глаза ее! Эти огромные, сияющие, божественные зрачки! Они сделались для меня близнецами созвездия Леды*, а я для них — звездочетом набожным.

Среди многих непонятнейших странностей в науке о духе нет более непонятной, более захватывающей, чем то, что, кажется, еще не отмечено школьным знанием, что, стараясь вспомнить что-либо давно забытое, мы часто находимся *на самом краю* воспоминания и все-таки не можем вспомнить. Так и я: сколько раз, в упорных усилиях мысли, я чувствовал, что вот-вот откроется мне тайна глаз ее, вот-вот откроется, но не открывалась, и, наконец, совсем закрылась! И (странная, о, самая странная из тайн!) нередко я находил в обыкновеннейших явлениях сходство с этими глазами. Я хочу сказать, что после того, как прелесть Лигейи проникла в душу мою и во-

царилась в ней, как в святилище, многие явления мира величественного вызывали во мне то же чувство, которое я всегда испытывал при виде ее широких, светлых зрачков. И тем не менее я не могу определить это чувство, или понять его, или исследовать. Но я испытывал его, глядя на быстро растущую виноградную лозу, на бабочку, на мотылька, на куколку, на струи водопада. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Во взглядах людей, достигших глубочайшей старости. Также одна или две звезды (особенно одна, шестой величины, двойная и переменная, близ большой звезды в созвездии Лиры*) пробуждали во мне то же чувство, когда я рассматривал их в телескоп. Оно охватывало меня при известном сочетании звуков струнных инструментов и при чтении книг. Среди бесчисленных примеров помню одно место в книге Джозефа Гленвилла, которое (быть может, вследствие странности своей) всегда вызывало во мне это чувство: «Тут — воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и силу ее? Сам Бог есть великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».

Годы раздумий дали мне возможность установить отдаленную связь между этим замечанием

английского мыслителя и некоторыми свойствами Лигейи. Может быть, *напряженность* мыслей ее, действий, слов была следствием или, по крайней мере, свидетельством той исполинской воли, которая во время наших долгих отношений не успела проявиться в чем-нибудь более действительном. Из всех женщин, которых я знал, она, Лигейя, такая спокойная, невозмутимая, была добычей самых безжалостных коршунов самой лютой страсти. Но силу этой страсти я мог измерить только по чудесному расширению глаз ее, пугавших и восхищавших меня, по небесной музыке, ясности, тихости глубокого голоса ее и по дикой силе странных слов, еще удвоенной противоречием с тихостью голоса.

Я упомянул о познаниях Лигейи; они были огромны, и таких я никогда не встречал в женщине. Она в совершенстве изучила древние языки, и я никогда не мог заметить у нее пробелов по части языков современных, насколько я сам с ними знаком. Да и в *какой* отрасли знаний, даже самых сложных и потому наиболее уважаемых школьной ученостью, замечал я пробелы у Лигейи? Как странно, как поражающе действовала на меня в последнее время именно эта черта в характере жены моей. Я сказал, что мне не случа-

лось встречать женщину с такими познаниями, но где тот мужчина, который с успехом овладел *всеми* обширными сферами моральных, физических и математических знаний? Я не замечал в то время того, что вижу теперь ясно, — что познания Лигейи были огромны, изумительны; но чувствовал ее превосходство настолько, что подчинился с детской доверчивостью ее руководству в хаосе метафизических исследований, которыми усердно занимался в первые годы после нашей свадьбы. С каким торжеством, с каким жадным восторгом, с какой небесной надеждой я чувствовал — в то время, как она наклонялась надо мною при моих попытках проникнуть в область слишком мало затронутую, слишком мало исследованную, — что восхитительные дали мало-помалу открываются мне, что, устремившись по этому долгому, неизвестному пути, я достигну, наконец, высшей мудрости, слишком божественной, слишком драгоценной, чтобы не быть запретной!

И как язвительна была моя скорбь, когда, спустя несколько лет, увидел я, что мои надежды рассеялись. Без Лигейи я был ребенок, блуждающий во мраке ощупью. Только ее присутствие, ее толкование проливали свет жизни на тайны за-

предельных знаний, в которые мы углублялись. Не озаренная лучезарным блеском глаз ее, вся эта книжная мудрость, казавшаяся раньше светлой, как золото, становилась тусклой и тяжелой, как свинец. А глаза эти все реже и реже сияли над страницами, которые я изучал. Лигейя была больна. Странные глаза блестели слишком ярким блеском; в бледных пальцах была восковая прозрачность, цвет смерти, и голубые жилки на высоком лбу бились при малейшем волнении. Я видел, что она должна умереть, — и отчаянно боролся в душе с жестоким Азраилом*. К моему удивлению, борьба ее была еще отчаянней. Сила духа ее позволяла мне надеяться, что смерть придет к ней без ужасов своих, но не то оказалось на деле. Слова не могут выразить, как свирепо боролась она с Тенью. Я стонал при виде этого жалкого зрелища. Пытался утешать, убеждать, но для ее неутолимого желания жить, жить — *только жить* — все утешения, все доводы разума были верхом безумия. И до последней минуты, в борениях и судорогах дикого духа ее, лицо ее сохраняло безмятежное спокойствие. Слова ее звучали все нежнее, все тише и тише, но я не смел задумываться над странным значением этих спокойно сказанных слов. Голова моя кружилась,

когда я в восторге внимал этой сверхчеловеческой музыке, этим дерзновениям и чаяниям, которых никогда еще не ведали смертные.

В ее любви не сомневался я, а любовь такой женщины не могла быть обычной страстью. Но только смерть открыла мне всю бесконечность этой любви. Целыми часами, рука об руку, она изливала предо мной избыток сердца своего, полного страстью боготворящею. Чем заслужил я блаженство слушать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в минуту таких признаний? Но я не в силах говорить об этом. Скажу только, что в слишком женской страсти Лигейи — страсти мной незаслуженной, увы, дарованной мне, недостойному, — я усмотрел наконец причину ее безумного сожаления о жизни, убегавшей так быстро. Это дикое алкание, это лютое желание жизни — только жизни — я не в состоянии описать, не в силах выразить.

В глубокую полночь — в ночь ее кончины — она подозвала меня и велела прочесть стихи, сочиненные ею несколько дней назад. Я прочел. Вот они:

«Вот он! Последний праздник! Толпа крылатых ангелов в трауре, в слезах, собралась в театр,

посмотреть на игру надежд и страха, меж тем как оркестр исполняет музыку сфер.

Скоморохи, носящие образ вышнего Бога, ворчат и бормочут, снуют туда и сюда; это простые куклы, они приходят и уходят по повелению безликих существ, что реют над сценой, разливая со своих орлиных крыльев невидимое горе.

Жалкая драма! О, будь уверен, она не забудется! За ее призраком вечно будет гнаться толпа, никогда не овладевая им, в безвыходном кругу, который вечно возвращается на старое место; и много безумия, и еще более греха и ужаса в этой трагедии.

Но взгляни, в толпу гаеров крадется что-то ползучее, что-то красное, — извивается, корчится, грызет и пожирает гаеров, — и серафимы рыдают, видя, как червь упивается человеческою кровью.

Гаснут… гаснут… гаснут… огни! И на дрожащие образы падает занавес, погребальный саван, и ангелы встают, бледные, истомленные, и говорят, что зрелище это — трагедия «Человек», а герой — «Победитель Червь»*.

— Боже, — воскликнула Лигейя, вставая и поднимая руки с судорожным усилием. — Боже! Отец небесный! Неужели это будет длиться вечно? Неужели червь победитель не будет побежден?

Разве мы не часть Твоя? Кто, кто познал тайны воли и силу ее? Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его.

И как будто изнеможенная этим усилием, она опустила свои белые руки и торжественно вернулась на ложе смерти. И, когда она испускала последний вздох, он сливался с тихим шепотом уст ее. Я наклонил к ним ухо и снова услышал слова Гленвилла: *«Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».*

Она умерла, а я, раздавленный горем, не мог выносить угрюмого одиночества в доме моем, в старом, разрушающемся городе на Рейне. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем обыкновенно выпадает на долю смертных. После нескольких месяцев тоскливого и бесцельного шатания я купил аббатство в одном из самых диких и безлюдных уголков веселой Англии. Угрюмое и холодное величие здания, полудикий вид местности, мрачные легенды, связанные с тем и другим, согласовались с безотрадным чувством, загнавшим меня в эту глухую пустыню. Оставив в прежнем виде внешность этого ветхого здания, поросшего мхом и травами, я с ребяческим своенравием и, может

быть, с тайной надеждою рассеять тоску свою принялся убирать внутренность дома с царственной роскошью. Я еще в детстве питал страсть к таким причудам, теперь она возродилась во мне, точно я поглупел от горя. Увы, я чувствую, какие ясные признаки начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и сказочных завесах, в торжественных египетских изваяниях, в причудливых карнизах и мебели, в нелепых узорах затканных золотом ковров! Я стал рабом опиума, и мои распоряжения и занятия приняли окраску грез моих. Но не стану говорить об этих безумствах. Скажу только о той комнате, куда в минуту затмения мыслей я привел от алтаря мою молодую жену — преемницу незабвенной Лигейи, — золотокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион Тримейн.

Вижу как сейчас эту свадебную комнату со всеми ее мелочами, со всеми украшениями. Куда девался рассудок вельможных родителей жены моей, когда, ослепленные блеском золота, они позволили ей, своей любимой дочери, переступить порог комнаты с таким убранством. Я сказал, что помню до мельчайших подробностей эту комнату, хотя я крайне забывчив на вещи гораздо большей важности, а в этой фантасти-

ческой обстановке не было никакого порядка, никакой системы, которая могла бы удержаться в памяти. Комната в высокой башне аббатства, выстроенного в виде замка, была пятиугольной формы и обширных размеров. Вся южная сторона пятиугольника занята окном, состоявшим из одного огромного цельного венецианского стекла свинцовой окраски, так что лучи солнца и луны, проникая сквозь него, озаряли комнату зловещим, странным светом. Над верхней частью этого высокого окна вилась старая виноградная лоза, взбиравшаяся по массивным стенам башни. Потолок из темного дуба поднимался высоким сводом и был украшен причудливой резьбой полуготического, полудруидического стиля*. В центре этого мрачного свода висела на золотой цепи, с длинными кольцами, кадильница, из того же металла, с мавританским узором и многочисленными отверстиями, расположенными так, что разноцветные огни беспрерывно выскальзывали, как змеи, то из одного, то из другого.



В горячке грез, порожденных опиумом... я громко призывал ее в ночной тиши или днем в уединенных долинах

Оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе помещались в разных углах комнаты; здесь же находилось брачное ложе — в индийском стиле, низкое, черного дерева, резной работы, с балдахином, напоминавшим погребальный покров. Но главная фантазия заключалась, увы, в драпировках комнаты. Высокие, гигантские, даже непропорциональные стены были сплошь обиты плотной, тяжелой тканью, падавшей широкими складками. Из той же ткани был ковер, обивка кровати и оттоманок, балдахин и роскошные занавеси, отчасти закрывавшие окно. Ткань, богато затканная золотом, испещрена была арабесками* в виде агатово-черных фигур, беспорядочно разбросанных. Но эти фигуры казались арабесками, только когда их рассматривали с известной точки. С помощью приспособления, ныне очень распространенного, которое можно проследить до глубокой древности, они были сделаны так, что постоянно меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они казались в первую минуту просто уродливым узором, но впечатление это скоро исчезало, и, подвигаясь

дальше, посетитель видел вокруг себя бесконечное шествие зловещих образов, подобных тем, которые зарождались в норманнских суевериях или в грешном сне монахов. Это сказочное действие усиливалось током воздуха, постоянно колебавшим завесы и придававшим всему отвратительную, беспокойную живость.

Вот в каком помещении, в каком брачном чертоге проводил я с леди Ровеной Тримейн счастливые первые месяцы нашего брака, проводил без всякой тревоги. Я не мог не заметить, что жена моя опасалась бурных порывов моего нервного характера, избегала меня и не питала ко мне особенно нежной страсти, но это доставляло мне скорее удовольствие, чем огорчение. Я сам ненавидел ее адской, нечеловеческой ненавистью. Мои воспоминания уносились назад (о, с каким глубоким раскаянием), к Лигейе, к ней, возлюбленной, святой, прекрасной, погребенной. Я забывался в воспоминаниях о чистоте ее, мудрости, возвышенности, о небесной природе ее и страстной, боготворящей любви. Теперь мой дух пылал еще сильнейшим пламенем, чем дух Лигейи. В горячке грез, порожденных опиумом (так как я почти постоянно находился под его влиянием), я громко призывал ее в ночной тиши

или днем в уединенных долинах, точно дикая страсть, возвышенная сила чувства, пожирающий жар моей тоски по усопшей могли вернуть ее на жизненный путь, покинутый, о, ужели навсегда ею покинутый?

Спустя месяц после нашей свадьбы леди Ровена поражена была внезапной болезнью, от которой оправлялась очень медленно. Лихорадка не давала ей покоя по ночам, и в тревожном полусне своем она говорила о звуках и шорохах в комнате, что я приписывал ее расстроенному воображению или, быть может, влиянию сказочной обстановки. Наконец она стала выздоравливать, и выздоровела. Но скоро новый, еще более сильный приступ болезни заставил ее вернуться на ложе страданий, и после этого нового приступа слабое тело ее уже никогда не могло вполне оправиться.

С течением времени припадки ее и неожиданное возвращение их приняли угрожающий характер, как бы издеваясь над знаниями и опытностью врачей. С усилением этой возвратной болезни, укоренившейся в теле ее так прочно, что человеческое искусство, по-видимому, не могло изгнать ее, нрав ее также заметно изменился: усилились раздражительность и боязливость.

Теперь она еще чаще говорила о звуках, слабых звуках и странных движениях среди драпировок комнаты.

Однажды ночью, в конце сентября, настойчивее, чем обыкновенно, старалась она обратить мое внимание на этот докучный предмет. Она только что очнулась от беспокойного сна, и я с чувством тревоги и смутного страха следил за ее исхудалым лицом. Я сидел подле постели на индийской оттоманке. Она приподнялась и говорила шепотом, с выражением глубокого убеждения, о звуках, которые она *теперь* слышит, а не о движениях, которые она теперь видит, а я не вижу. Ветер шелестел в завесах, и я старался убедить ее (но признаюсь, и сам *не вполне* верил этому), что эти чуть слышные вздохи и легкие изменения фигур на стенах — естественное следствие движения воздуха. Но смертная бледность, покрывшая лицо ее, доказала бесплодность усилий моих. По-видимому, она готова была лишиться чувств, а поблизости не было слуг. Вспомнив, где стоит графин с легким вином, которое ей прописали врачи, я бросился за ним через комнату. Но когда я вступил в полосу света, падавшего от кадильницы, два поразительных обстоятельства привлекли внимание мое. Я по-

чувствовал, что кто-то невидимый, но осязаемый прошел мимо меня, и заметил на освещенном пространстве золототканого ковра тень, легкую, неясную тень ангела, как бы тень тени. Но, находясь под влиянием неумеренной дозы опиума, я не обратил внимания на эти явления и ни слова не сказал о них Ровене. Отыскав вино, я вернулся к постели и, наполнив бокал, поднес его к губам изнемогавшей леди. Впрочем, она уже оправилась и приняла от меня бокал, а я опустился на оттоманку, не спуская глаз с лица ее. В эту минуту услышал я легкие шаги по ковру близ кровати, и мгновение спустя, когда Ровена подносила бокал к губам, я увидел или мне померещилось, что в него упали, точно из невидимого источника в воздухе, три или четыре крупные капли сверкающей рубиново-красной жидкости. Я видел это, Ровена не видела. Она не задумываясь выпила вино, а я не стал говорить ей об этом странном явлении, решив, что оно было простым бредом моего расстроенного воображения, возбужденного ужасом больной, опиумом и поздним часом.

Но я не мог не заметить, что вслед за падением рубиновых капель состояние жены моей стало быстро ухудшаться, так что на третью ночь слуги уже приготовляли к погребению тело ее, а на чет-

вертую я сидел перед окутанным в саван трупом в той же сказочной комнате, которая принимала новобрачную. Дикие, рожденные опиумом видения, подобно теням, реяли в глазах моих. Беспокойным взором смотрел я на саркофаги по углам, на изменчивые фигуры завес, на разноцветные огни кадильницы над головой моей. Потом, вспомнив о странных явлениях той ночи, опустил глаза на освещенное пространство, где заметил легкие очертания тени. Теперь ее не было, и, вздохнув с облегчением, я устремил глаза на бледную окоченелую фигуру, лежавшую на постели. Тут нахлынули на меня воспоминания о Лигейе, и в сердце моем пробудилась с неудержимою силой бурного потока несказанная скорбь, терзавшая меня, когда я увидел ее в саване. Часы летели, а я, с сердцем, полным горьких воспоминаний о бесконечно любимой, я все сидел, не сводя глаз с тела Ровены.

Около полуночи, а может быть, и раньше или позже, потому что я не следил за временем, тихое, слабое, но явственно слышное рыдание пробудило меня от моей задумчивости. Я чувствовал, что оно доносилось с ложа — с ложа смерти. Я прислушался в агонии суеверного ужаса, но звук не повторился. Я напрягал зрение, стараясь уло-

вить хотя бы малейшее движение тела, но оно не шевелилось. А между тем я не мог ошибаться. Я слышал звук, хотя слабый, и душа моя встрепенулась от этого звука. Я решительно и упорно уставился на тело. Прошло несколько минут, но ничего не случилось, что могло бы разъяснить эту загадку. Наконец ясно увидел я, что на щеках трупа и вдоль жилок опущенных век выступила краска, легкая, бледная, чуть зримая. В припадке несказанного ужаса, для которого нет слов в языке человеческом, я почувствовал, что сердце мое перестало биться и члены отнялись.

Но чувство долга вернуло мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились: Ровена жива. Необходимо было немедленно принять какие-нибудь меры, но башня находилась в части замка, удаленной от помещения слуг, мне некого было кликнуть, пришлось бы оставить комнату на несколько минут, а на это я не мог решиться. Я попробовал один привести ее в чувство. Вскоре, однако, признаки жизни снова исчезли и румянец на щеках и на веках угас, уступив место мраморной бледности, губы еще более сжались и исказились зловещей гримасой смерти, кожа приобрела отвратительную ледяную скользкость, и снова труп окоченел.

Я с ужасом отшатнулся от ложа и вновь предался страстным мечтам о Лигейе.

Прошел час, и опять — Боже великий! возможно ли это? — опять услыхал я слабый звук, исходивший от ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук повторился; то был вздох. Бросившись к телу, я увидел — ясно увидел, — что губы его дрожат. Минуту спустя они разомкнулись, обнажив блестящий ряд жемчужных зубов. Теперь изумление боролось в душе моей с ужасом, который один переполнял ее раньше. Я чувствовал, что в глазах моих темнеет, рассудок мешается, и только страшным усилием воли я принудил себя взяться за дело, к которому призывал меня долг. Румянец появился на щеках, на лбу, на шее Ровены; теплота разлилась по всему телу; я чувствовал даже слабое биение сердца. Леди была жива, и я с удвоенной решимостью принялся приводить ее в чувство. Я тер и смачивал виски и руки ее, применял все меры, какие мог подсказать мне опыт и основательное знакомство с врачебной наукой. Все было тщетно. Внезапно румянец исчез, сердце перестало биться, губы приняли выражение, свойственное мертвому, и спустя мгновение труп оледенел, посинел и скорчился. Я снова предался мечтам о Лигейе и

снова — мудрено ли, что я дрожу, вспоминая об этом, — снова легкое рыдание донеслось до слуха моего. Но зачем подробно описывать ужасы этой ночи? Зачем рассказывать, как снова и снова, до самого рассвета, повторялась эта чудовищная игра оживления; как всякий возврат к жизни кончался возвратом к еще более жестокой и неодолимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то невидимым врагом и как после каждой борьбы вид трупа странно изменялся. Тороплюсь кончить.



Какое несказанное безумие овладело мной при этой мысли! Одним прыжком я очутился у ног ее

Ночь уже почти прошла, и мертвая снова зашевелилась — и сильнее, чем прежде, хотя перед этим состояние трупа казалось еще более безнадежным, чем раньше. Я давно уже перестал бороться и двигаться и сидел, прикованный к оттоманке, беспомощная жертва вихря бешеных чувств, среди которых чувство невыразимого страха было, пожалуй, наименее ужасным, наименее потрясающим. Повторяю, тело зашевелилось, и сильнее, чем прежде. Румянец жизни вспыхнул еще ярче на лице, члены ожили, и, если бы не опущенные веки, не саван, придававший телу мертвенный вид, я мог бы подумать, что Ровена стряхнула наконец узы смерти. Но если я все еще сомневался, то всякое сомнение исчезло, когда, поднявшись с ложа, шатаясь, шагами нетвердыми, с закрытыми глазами и видом лунатика существо, закутанное в саван, вышло на середину комнаты.

Я не вздрогнул, не пошевелился, потому что рой неизъяснимых впечатлений, связанных с наружностью, ростом, осанкой этого видения, сразил меня, превратил в камень. Я не шевелился,

я смотрел не спуская глаз на видение. Бессвязные, безумные мысли роились в уме моем. Неужели это *живая* Ровена была предо мною? Неужели это Ровена? Златокудрая, голубоокая леди Ровена Тревенион Тремен? Почему же, *почему* я сомневался в этом? Тяжелая повязка давила губы ее — разве это не губы леди Тремен? А щеки — на них цвели розы, как в полдень жизни ее — да, без сомнения, эти щеки могли быть щеками леди Тремен. А подбородок с ямочками, как во дни ее здоровья, — отчего бы ему не быть ее подбородком? — да, но, значит, *она выросла со времени своей болезни?* Какое несказанное безумие овладело мной при этой мысли! Одним прыжком я очутился у ног ее! Она отшатнулась, освободила голову от страшного савана, который окутывал ее, и в веющем воздухе комнаты разметались густыми прядями длинные-длинные волосы; *они были чернее вороновых крыльев полночи!* И медленно-медленно открылись глаза ее.

— Так вот они, наконец! — воскликнул я громким голосом. — Теперь я уже не могу ошибиться: вот они, огромные, черные, дикие глаза моей погибшей любви — леди, *леди Лигейи!*

Разговор между Эйросом и Хармионой*

Я принесу тебе огонь

Эврипид. «Андромаха».*

Эйрос. Почему ты зовешь меня Эйросом?

Хармиона. Так отныне ты будешь называться всегда. Ты должен, кроме того, забыть и *мое* земное имя и говорить со мной, как с Хармионой.

Эйрос. Так это действительно не сон!

Хармиона. Для нас нет больше снов;– но об этих тайнах мы будем говорить сейчас. Как я рада, что ты имеешь вид живого и мыслящего. Завеса тени уже ниспала с твоих глаз. Будь мужественным и не бойся ничего. Назначенные тебе дни оцепенения исполнились, и завтра я сама введу тебя в полноту блаженства и чудесности нового твоего существования.

Эйрос. Это правда — я совсем не чувствую оцепенения. Странное недомогание и страшная темнота оставили меня, я не слышу больше этого безумного, стремительного, ужасного гула, подобного «голосу многих вод»*. Но чувства мои зачарованы, Хармиона, остротою восприятия

нового.

Хармиона. Через несколько дней все это пройдет;– но я вполне понимаю тебя и чувствую за тебя. Вот уже десять земных лет прошло с тех пор, как я испытала то, что испытываешь ты — но воспоминание об этом все еще не покидает меня. Впрочем, ты уже перенес теперь все то страдание, которое тебе суждено было испытать в Эдеме.

Эйрос. В Эдеме?

Хармиона. В Эдеме.

Эйрос. О, Боже! пощади меня, Хармиона! — Я подавлен величием всего окружающего — неизвестного, сделавшегося известным — умозрительного Будущего, погрузившегося в торжественное и достоверное Настоящее.

Хармиона. Не прикасайся теперь к таким мыслям. Мы будем говорить об этом завтра. Твой ум колеблется, и его волнение утихнет, если ты предашься простым воспоминаниям. Не гляди кругом, ни вперед — но назад. Я горю нетерпением, так мне хочется услышать о подробностях того поразительного события, которое перебросило тебя к нам. Расскажи мне о нем. Поговорим о знакомых вещах, старым знакомым языком мира, погибшего так страшно.

Эйрос. О, страшно, страшно! — Это действи-

тельно не сон.

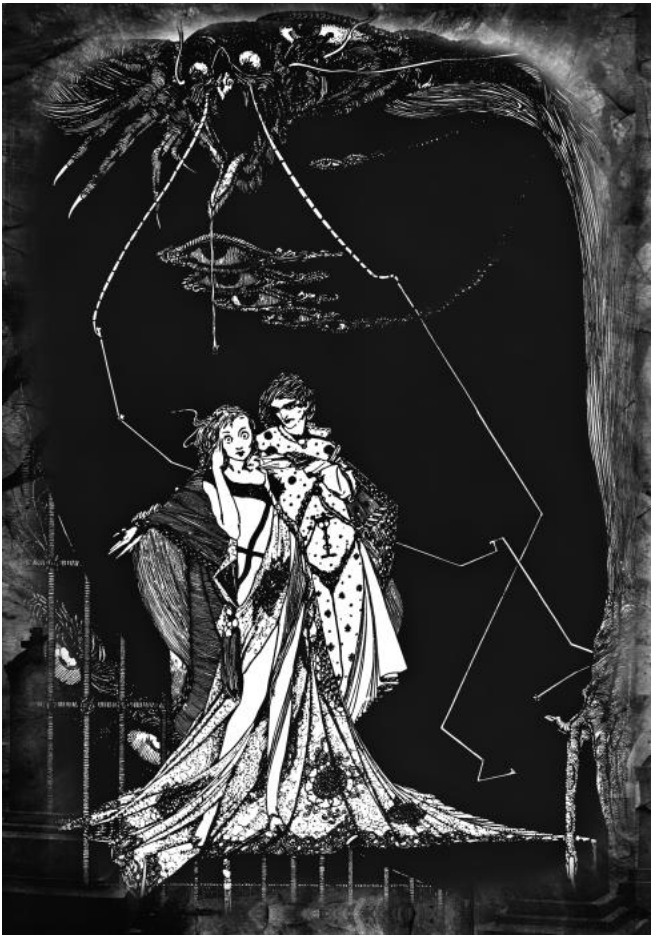
Хармиона. Снов больше нет. Очень меня оплакивали, милый Эйрос?

Эйрос. Оплакивали, Хармиона? — о, горько. До этого последнего часа над твоими родными тяготела, как туча, неотступная печаль и благоговейная скорбь.

Хармиона. А этот последний час — расскажи мне о нем. Вспомни, что, кроме самого факта гибели, я не знаю ничего. Когда, уйдя из среды человечества, я перешла сквозь могилу в Ночь — в это время, если память мне не изменяет, несчастие, постигшее вас, не было предвидено никем. Но, правда, я была мало знакома с умозрениями тех дней.

Эйрос. Это индивидуальное несчастие, действительно, как ты говоришь, было совсем непредвиденным; но подобные злополучия долгое время уже были предметом обсуждения среди астрономов. Вряд ли мне нужно говорить тебе, друг мой, что даже в то время, когда ты нас покинула, люди согласились понимать те места в священнейших писаниях, которые говорят о конечном разрушении всех вещей огнем, как имеющие отношение лишь к земному шару. Но касательно того, что́ явится непосредственной

причиной гибели, умозрение было без указаний, с той эпохи, когда астрономическое знание лишило кометы их пламенных ужасов. Весьма малая плотность этих тел была прочно установлена. Наблюдения показали, что они проходили среди спутников Юпитера, не причиняя какого-либо ощутимого изменения ни в массе, ни в орбитах этих второстепенных планет. Долгое время мы смотрели на этих странников как на туманные создания, непостижимой разреженности, и считали их совершенно неспособными нанести какой-либо ущерб нашей прочной планете, даже в случае соприкосновения. Но соприкосновения не опасались нимало, ибо элементы всех комет были в точности известны. Что среди *них* мы должны были искать посредника, грозившего разрушением через огонь, в течении нескольких лет считалось мыслью недопустимой. Но чудесное и безумно-фантастическое в последние дни страшно возросло среди человечества; и хотя лишь между немногих невежественных людей укоренилось истинное предчувствие, когда *новая* комета была возвещена астрономами, однако эта весть всеми была принята с каким-то особенным волнением и недоверием.



А этот последний час — расскажи мне о нем. Вспомни, что, кроме самого факта гибели, я ничего не знаю

Элементы этого странного небесного тела были немедленно вычислены, и всеми наблюдавшими тотчас было признано, что его прохождение через перигелий* должно будет привести его в тесное соседство с землей. Было два-три астронома, из числа второстепенных, решительно утверждавших, что соприкосновение было неизбежно. Я не могу хорошо изобразить тебе впечатление, оказанное этим сообщением на толпу. В течение немногих кратких дней никто не хотел поверить в предположение, которого никак не мог принять разум, так долго бывший среди повседневного. Но истина факта, имеющего жизненный интерес, вскоре находит себе доступ и в разум людей самых глупых. В конце все увидели, что астрономическое знание не обманывало, и кометы стали ждать. Ее приближение сначала не было, по-видимому, быстрым, и вид ее, как казалось, не представлял ничего особенного. Она была темно-красная, и хвост ее был едва заметен. В течение семи или восьми дней мы не замечали существенного увеличения в ее диаметре, и могли наблюдать лишь частичное изменение в цвете.

Между тем, обычные занятия людей подверглись небрежению, и все интересы сосредоточились на разраставшихся обсуждениях природы кометы, возникших между философами. Даже люди наиболее невежественные пробудили свои дремотные умы, чтобы предаться этим размышлениям. Ученые *теперь* отдавали свой ум, свою душу — не на то, чтобы успокоить страх, или чтобы поддержать излюбленную теорию. Нет. Они отыскивали — они жадно искали истины. Они с мучением рвались к усовершенствованному знанию. *Правда* возникла во всей чистоте своей силы и необыкновенного величия, и мудрые поклонились ей.

Чтобы от ожидавшегося столкновения получился существенный ущерб для нашей планеты или для ее обитателей, это мнение с каждым часом теряло почву среди мудрых; и мудрые получили теперь полную свободу в управлении рассудком и фантазией толпы. Было доказано, что плотность кометного *ядра* была гораздо менее плотности самого разреженного из наших газов; и безвредное прохождение такого гостя среди спутников Юпитера было важным пунктом, на котором настаивали и который в значительной степени успокоил опасения. Теоло-

ги, с ревностью, зажженной страхом, указывали на библейские пророчества и излагали их перед народом с прямотой и простотой, каким не было раньше примера. Что конечное разрушение земли должно последовать через воздействие огня, эта истина была указываема с необыкновенным жаром, везде усилившим эту убежденность. И так как кометы по природе своей были не огненными (как знали теперь все), эта истина в значительной степени избавляла всех от предчувствия предсказанного великого бедствия. Следует заметить, что распространенные предрассудки и вульгарные заблуждения касательно чумы и войн — заблуждения, обыкновенно овладевавшие умами при каждом новом появлении кометы — были теперь совершенно неизвестны, точно разум каким-то внезапным судорожным движением сразу сбросил суеверие с его престола. Самые слабые умы почерпнули энергию в пробудившемся чрезмерном интересе.

Какие меньшие невзгоды могут последовать за столкновением, об этом говорили тщательно и подробно. Ученые рассуждали о незначительных геологических переворотах, о вероятных изменениях климата и, в результате, растительности; о возможных магнетических и электрических

влияниях. Многие утверждали, что никакого видимого или ощутимого воздействия не получится никоим образом. В то время как подобные рассуждения шли своим порядком, предмет рассуждения постепенно приближался, делаясь шире в видимом диаметре и усиливаясь в яркости блеска. По мере того как он приближался, человечество стало бледнеть. Все людские занятия прекратились.

Был замечательный момент в течении общего чувства, когда комета, в длине своей, достигла размеров, превосходящих размеры каждого из подобных явлений, сохранившихся в памяти. Отбросив теперь всякую шаткую надежду на то, что астрономы ошибались, все чувствовали достоверность беды. Химерический вид отошел от ужаса. Сердца самых смелых из нашей расы бились яростно в их груди. Немногих дней было, однако, достаточно, чтобы превратить эти ощущения в чувства еще более нестерпимые. Мы не могли больше связывать эту странную сферу ни с какими *обычными* мыслями. Ее *исторические* атрибуты исчезли. Она подавляла нас отвратительною *новизною* ощущений. Это было для нас не астрономическое явление на небесах, а как бы инкубус на сердцах наших, как бы тень на нашем

мозге. С невообразимою быстротой она приняла вид гигантской мантии из разреженного пламени, простирающейся от горизонта до горизонта.

Но прошел день, и люди вздохнули свободнее. Было ясно, что мы уже находимся в полосе влияния кометы, но мы жили. Мы даже чувствовали необыкновенную эластичность тела и живость ума. Чрезмерная разреженность предмета нашего ужаса была очевидна; ибо все, что было на небе, ясно было видно через него. Между тем наша растительность видимо изменилась; и благодаря этому предсказанному обстоятельству мы уверовали в предвидение мудрых. Безумная роскошь листвы, до тех пор совершенно неизвестная, вспыхнула на всех произрастаниях.

Наступил новый день — а бич еще не достиг нас. Теперь было очевидно, что сперва нас должно было коснуться его ядро. Безумная перемена совершилась с людьми; и первое ощущение *боли* было безумным сигналом для всеобщих воплей и ужаса. Это первое чувство боли выразилось в сильном стеснении груди и легких, и в невыносимой сухости кожи. Нельзя было отрицать, что атмосфера наша радикально изменилась; ее строение и возможные грозившие изменения были теперь предметом всеобщих толков. Резуль-

таты исследования отозвались электрическим ударом напряженнейшего страха, дрогнувшего во всемирном сердце человека.

Давно было известно, что окружавший нас воздух состоял из газов кислорода и азота в отношении двадцати одной сотой кислорода и семидесяти девяти сотых азота на каждую единицу атмосферы. Кислород, являвшийся основой горения и проводником тепла, был безусловно необходим для поддержания телесной жизни и был самым могучим и энергичным проводником в природе. Напротив, азот был неспособен поддерживать ни телесную жизнь, ни пламя. Было удостоверено, что неестественный избыток кислорода должен был сказаться именно в таком повышении телесной живости, какую мы испытали за последнее мгновение. Логическое развитие этой мысли, ее продление и было тем, что породило ужас. Что должно было явиться результатом *полного удаления азота*? Воспламенение неудержимое, всепожирающее, всевластное, немедленное;– полное осуществление во всех точных и страшных подробностях — пламенных и внушающих ужас пророчеств, которыми грозила Святая Книга.

Нужно ли мне изображать, Хармиона, безу-

мие человечества, лишившееся теперь всяких уз? Та разреженность кометы, которая сперва внушала нам надежду, была теперь источником самого горького отчаяния. В ее неосязаемой газообразности мы ясно увидели свершение Рока. Между тем прошел еще день — унося с собой последний отблеск надежды. Мы задыхались в быстро изменявшемся воздухе. Красная кровь бурно билась в своих узких каналах. Бешеный бред овладел всеми людьми; и, судорожно протянув руки к грозившим небесам, все дрожали и оглашали воздух криками. Ядро разрушителя было теперь на нас;– даже здесь, в Эдеме, я трепещу, говоря это. Позволь мне быть кратким — кратким, как застигнувшая нас гибель. В течение мгновения везде был дикий, зловещий свет, всего коснувшийся и во все проникший. Потом — преклонимся, о, Хармиона, пред чрезмерным величием Бога! — потом возник пронесшийся повсюду, исполненный вскрика, гул, как бы голос из самых уст Его, и вся нависшая масса эфира, в котором мы существовали, сразу вспыхнула особым напряженным пламенем, для чьего чрезмерного блеска и всевоспламеняющего зноя даже у ангелов нет имени в вышних Небесах чистого знания. Так окончилось все.

Падение дома Ашеров

Son coeur est un luth syspendu,
Sitît qu'on le touche il råsonne.

***De Béranger*[28]**

Весь этот день — тусклый, темный, беззвучный осенний день — я ехал верхом по необычайно пустынной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Ашера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю невыносимая, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувством, которое вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу — на одинокий дом и угрюмые стены, на зияющие глазницы выбитых окон, чахлую осоку, седые стволы дряхлых деревьев — с чувством гнетущим, которое могу

---

[28] Примечания: 28

Его сердце – висящая лютня.
Коснешься – и она зазвучит.

*Беранже**

сравнить только с пробуждением курильщика опиума, горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии.

То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях; и воображение тщетно силилось настроить душу на более возвышенный лад. «Что же именно, — подумал я, — что именно так удручает меня, когда я смотрю на дом Ашера?» Я не мог разрешить этой тайны; не мог разобраться в тумане нахлынувших на меня смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим выводом, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас особым образом, но исследовать это влияние — задача непосильная для нашего ума. «Возможно, — думал я, — что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменит или уничтожит столь гнетущее впечатление». Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным, мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась перед самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидев чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые глазницы окон,

отраженные в воде.

Тем не менее я предполагал провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Ашер, был моим другом детства; но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо — очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Ашер описывал свои жестокие физические страдания, свое душевное расстройство, он хотел непременно повидать меня, своего лучшего, даже единственного, друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний; но, хотя я и последовал ему, оно все же казалось мне странным.

Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал своего друга очень мало. Крайняя замкнутость вошла у него в привычку. Мне было известно, однако, что он принадлежит к очень древнему роду, представители которого с незапамятных времен отличались особенно тонкой восприимчивостью, — она сказывалась и в различных произведениях искусства, создававшихся Ашерами в течение многих веков и всегда

носивших отпечаток восторженности, а позднее — в щедрой, но отнюдь не навязчивой благотворительности и в страстной любви к музыке — скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также примечательный факт, что этот род при всей своей древности не породил ни одной сколько-нибудь живучей боковой ветви; иными словами, что все его члены, за весьма немногими и случайными отклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я размышлял об удивительном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову: не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединила эти последние, что первоначальное название усадьбы местные крестьяне заменили странным и двусмысленным прозвищем: Дом Ашеров, под которым они разумели как самих владельцев, так и их родовое поместье.

Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка приободриться, — заглянув в пруд, — только углубила первые впечатления. Не сомневаюсь, что мысль о каком-то суеверном страхе людей перед

этим домом — почему не употребить мне слово «суеверный»? — усилила его воздействие. Таков — я давно убедился в этом — парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса. Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, появившаяся у меня, когда я перевел взгляд с отражения на усадьбу, — фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не свидетельствовала об осаждавших меня ощущениях. Мне почудилось, будто и дом, и вся усадьба окружены совершенно особенной, только им присущей, тяжелой атмосферой, нисколько не похожей на окружающий вольный воздух, словно над гниющими деревьями, ветхой стеной, молчаливым прудом стояли какие-то загадочные испарения — смутные, едва уловимые, но удушливые.

Стряхнув с души все эти образы, которые, конечно, были бредом, я стал внимательно рассматривать сам дом. Прежде всего бросалась в глаза его глубокая древность. Века обесцветили его, наложив свою неизгладимую печать. Мох и плесень почти сплошь покрывали дом, свешиваясь косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления.

Ни одна часть дома не обвалилась — тем более поражало несоответствие общей, уцелевшей во всех своих частях постройки с обветшалостью раскрошившихся кирпичей. Такой вид имеет иногда изъеденная годами старинная деревянная резьба в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает свежий воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости ничто не говорило о грозящем разрушении. И только очень внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая потом в мутных водах пруда.

Рассмотрев все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в вестибюль. Отсюда лакей, неслышно ступая, провел меня по темным извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я уже говорил. Все это — резные потолки, темные обои, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, — было мне знакомо с детства; но, хотя я сразу узнал эти комнаты, столь знакомые предметы возбуждали во мне совершенно незнакомые

ощущения. На одной из лестниц я встретил домашнего врача Ашеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он, видимо, спешил и только кивнул мне мимоходом. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приезде.

Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна находились так высоко от черного дубового пола, что были совершенно недоступны. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетки, так что наиболее крупные предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и выемки сводчатого расписного потолка. Стены были задрапированы темными тканями. Роскошная старинная мебель была неудобной и ветхой. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Самый воздух, казалось, был напоен тоской. Угрюмая, бесконечная, безнадежная — висела она надо всем, пронизывала все.

Когда я вошел, Ашер встал с дивана, на котором лежал вытянувшись, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной и искусственной, как у светских людей, которым наскучило все на свете. Но, взгля-

нув на него, я убедился в его полной искренности. Мы сели; с минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Ашер! Я едва мог признать в этом изможденном создании друга моих детских игр. А между тем наружность его была примечательна. Мертвенно-бледная кожа; огромные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза; губы тонкие, бледные, но необычного рисунка; изящный еврейский нос с чересчур широкими ноздрями; маленький изящный подбородок, однако лишенный энергических очертаний (признак душевной слабости); мягкие волосы, тонкие-тонкие, как паутинки; лоб, расширяющийся над висками и необычайно высокий — такую наружность трудно забыть. Своеобразие этого лица и присущее ему выражение теперь обозначились еще отчетливее, — но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я даже усомнился, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже испугали меня призрачная бледность его лица и влажный блеск глаз. Шелковистая паутина волос, очевидно, давно уже не знавших ножниц, обрамляла лицо легкими, словно паря-

щими прядями и тоже придавала ему какой-то нездешний вид.

В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то судорожность, порывистость — следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но беспомощной и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь в этом роде не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых чертах его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся: дрожь нерешительности (когда жизненные силы, по-видимому, совершенно иссякали) сменялась стремительной уверенностью тона — отрывистого, резкого, не терпевшего возражений, и той грубоватой, веской и размеренной манерой говорить, с точными певучими модуляциями, какая бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.

Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это

был, по его словам, наследственный недуг, против которого, кажется, нет лекарства… «Нервное расстройство, — прибавил он поспешно, — которое, без сомнения, очень скоро пройдет само собою». Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, действовали и его манера рассказывать, и выразительность его слов. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, мог принимать только самую безвкусную пищу, носить только определенные ткани, не терпел запаха цветов; самый слабый свет раздражал его глаза, и лишь немногие звуки — только струнных инструментов — не внушали ему ужаса.

Оказалось также, что на него находят приступы беспричинного неестественного страха.

— Я погибну, — говорил он, — я *должен* погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне умереть. Я страшусь будущих событий; и не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, оттого что они могут повлиять на это невыносимое возбуждение. Боюсь не самой опасности, а ее неизбежного следствия — ужаса. Чувствую, что это развинченное, это

жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком — страхом!

Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную болезненную черту: его преследовали суеверные представления, связанные с жилищем, в котором он провел безвыездно столько лет; мысль о каком-то влиянии, сущность которого он излагал так неясно, что смысл его слов было бы трудно передать. Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы в течение многих лет мало-помалу приобрели странную власть над его душой: предметы чисто физического порядка — серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, — влияли на духовную сторону его существования.

Впрочем, он допускал, хоть и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, возможно, является следствием гораздо более естественной и осязаемой причины: тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, бывшей в течение многих лет его другом и товарищем, — единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире.

— После ее смерти, — продолжал он с горечью, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, — я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Ашеров.

Когда он говорил это, леди Магдалина (так звали его сестру) медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я взглянул на нее с удивлением, к которому примешивался какой-то страх. Почему? Я не могу этого объяснить. Пока я следил за ней глазами, меня охватило странное оцепенение. Наконец она исчезла за дверью. Я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые потекли горячие слезы.

Болезнь леди Магдалины давно уже приводила в недоумение врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хоть и кратковременные, явления каталептического характера — таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним и ни за что не хотела лечь в постель; но вечером, после моего приезда, все же слегла (брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью) — так что я, по всей вероятности, видел

ее живой в последний раз.

В течение нескольких дней ни Ашер, ни я не упоминали ее имени. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали, читали, или я слушал, как во сне, его бурные импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась мне безнадежность всяких попыток развеселить этот скорбный дух, который словно отбрасывал мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира.

Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные наедине с хозяином Дома Ашеров. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о тех занятиях, участником которых он делал меня. Беспредельная отвлеченность фантазии Ашера озаряла все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные музыкальные импровизации навсегда врезались мне в душу. Между прочим, мне мучительно запомнилась странная осложненная вариация на бурный мотив последнего вальса Вебера*. Произведения живописи, создаваемые его изысканным воображением и с каждым мазком переходившие во что-то все более смутное, заставляли меня трепетать тем сильнее, что я не понимал причин

подобного впечатления, — эти картины (хоть я как будто вижу их перед собой) решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если смертный когда-либо живописал *мысль*, то этим смертным был Родерик Ашер. На меня — по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, — чисто абстрактные концепции, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фюзели*.

Одно из фантасмагорических созданий моего друга, не столь отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного сводчатого коридора или туннеля, с низкими стенами, гладкими и белыми, без всяких впадин и выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель лежал на огромной глубине под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода, и не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, — а между тем поток ярких лучей струился

в него, все затопляя зловещим и неестественно ярким светом.

Я уже упоминал о болезненном состоянии слуховых нервов моего друга, вследствие чего он не выносил никакой музыки, кроме звучаний некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость ограничивать себя малым диапазоном гитары в значительной мере и обусловливала фантастический характер его импровизаций. Но легкость, с какой он сочинял свои impromptus[29], не объясняется только этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, результатом самоуглубления и сосредоточения, которые, как я уже говорил, наблюдаются у людей в минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Мне легко запомнились слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу: мне казалось, будто Ашер вполне ясно сознает — и притом впервые, — что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Вот

---

[29] Примечания: 29
Экспромты, импровизации *(фр.).*

слова этой песни* — она звучала примерно так:

В самой зеленой из наших долин,
Где обиталище духов добра,
Некогда замок стоял властелин,
Кажется, высился только вчера.
Там он вздымался, где Ум молодой
Был самодержцем своим.
Нет, никогда над такой красотой
Не раскрывал своих крыл Серафим!

Бились знамена, горя, как огни,
Как золотое сверкая руно.
(Все это было – в минувшие дни,
Все это было давно.)
Полный воздушных своих перемен,
В нежном сиянии дня,
Ветер душистый вдоль призрачных стен
Вился, крылатый, чуть слышно звеня.

Путники, странствуя в области той,
Видели в два огневые окна
Духов, идущих певучей четой,

Духов, которым звучала струна,
Вкруг того трона, где высился он,
Багрянородный герой,
Славой, достойной его, окружен,
Царь над волшебною этой страной.

Вся в жемчугах и рубинах была
Пышная дверь золотого дворца,
В дверь все плыла, и плыла, и плыла,
Искрясь, горя без конца,
Армия Откликов, долг чей святой
Был только – славить его,
Петь, с поражающей слух красотой,
Мудрость и силу царя своего.

Но злые созданья, в одеждах печали,
Напали на дивную область царя.
(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,
Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)
И вкруг его дома та слава, что прежде
Жила и цвела в обаянье лучей,
Живет лишь как стон панихиды надежде,

Как память едва вспоминаемых дней.

И путники видят, в том крае туманном,

Сквозь окна, залитые красною мглой,

Огромные формы, в движении странном,

Диктуемом дико звучащей струной.

Меж тем как, противные, быстрой рекою,

Сквозь бледную дверь, за которой Беда,

Выносятся тени и шумной толпою,

Забывши улыбку, хохочут всегда[30].

* * *

Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Ашер высказал мысль, которую я отмечаю не вследствие ее новизны (многие высказывали то же самое)[31], а потому, что он защищал ее с необычайным упорством. Сущность этой мысли сводится к тому, что растительные организмы

---

[30] Примечания: 30

Перевод К. Бальмонта.

[31] Примечания: 31

Уотсон*, д-р Персиваль*, Спалланцани* и в особенности епископ Ландафф. См. «Очерки по химии», т. V.

также обладают чувствительностью. Но его расстроенное воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в неорганический мир. Не знаю, в каких словах выразить глубину и силу его утверждений. Все было связано (как я уже намекал) с серыми камнями обиталища его предков. Причины своей чувствительности он усматривал в самом размещении камней — в порядке их сочетания, в изобилии мхов, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг пруда, а главное — в неподвижности и неизменности их сочетаний и также в том, что они повторялись в спокойных водах пруда. «Доказательством этой чувствительности, — прибавил он, — может служить особая атмосфера (я невольно вздрогнул при этих словах), постепенно сгустившаяся вокруг стен и над прудом». О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние, которое в течение столетий оказывала усадьба на характер его предков и на него самого, — ибо именно это влияние сделало его таким, каков он есть. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я воздержусь от них.

Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, соответствовали — да

иначе и быть не могло — фантастическому складу его ума. Мы вместе читали «Вер-вер» и «Монастырь» Грессэ*, «Бельфегора» Макиавелли*, «Небо и Ад» Сведенборга*, «Подземное путешествие Николая Климма» Хольберга*, «Хиромантию» Роберта Флюда*, Жана Д'Эндажинэ* и Делашамбра*; «Путешествие в голубую даль» Тика* и «Город солнца» Кампанеллы*. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку листа, издание «Directorium Inquisitorium»[32] доминиканца Эймерика де Жиронна*; а над некоторыми отрывками из Помпония Мелы* о древних африканских божествах гор, лесов и полей Ашер раздумывал часами. Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкую и любопытную книгу — готическое ин-кварто, служебник одной забытой церкви — «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae»[33].

И я невольно вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на

---

[32] Примечания: 32
«Руководство по инквизиции» *(лат.).*

[33] Примечания: 33
«Бдения по усопшим, как их поет хор майнцкой церкви» *(лат.).*

две недели (до окончательного погребения) в одном из многочисленных склепов, находящихся под центральной частью дома. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду тех причин, которые мне привел мой друг. По словам Ашера, его побуждали к этому необычайный характер болезни и некоторые весьма странные и назойливые вопросы врачей, а также отдаленность и заброшенность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло возражать против этой, во всяком случае, безобидной предосторожности.

По просьбе Ашера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели (его так долго не открывали, что наши факелы чуть мерцали в спертом воздухе и мы не могли осмотреть его обстоятельно), оказался тесным и сырым подвалом, куда свет не проникал, так как подвал располагался очень глубоко и как раз под той частью здания, где находилась моя спальня.



Склеп… располагался очень глубоко и как раз под той частью здания, где находилась моя спальня

В Средние века он, без сомнения, служил тюрьмой, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты листами меди. Массивная дверь была обшита железом. Она тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный скрежещущий звук.

Опустив носилки с телом в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба, которая еще не была завинчена, и взглянули в лицо покойницы. И тут поразительное сходство брата и сестры впервые бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Ашер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что они были близнецами и что между ними всегда существовала какая-то таинственная связь. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, характерные для каталептических заболеваний: слабую краску на груди и на щеках и ту особую томную улыбку, которая так ужасает нас, когда человек уже мертв.

Мы завинтили крышку, заперли железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.

Прошло несколько горестных дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменилось. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бесцельно бродил из комнаты в комнату торопливыми, нетвердыми шагами. Землистое лицо его приняло, если только это было возможно, еще более зловещий оттенок; но блеск его глаз померк; голос окончательно утратил резкость, которая иногда в нем появлялась, — теперь в нем неизменно слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам безумия, замечая, что он по целым часам сидит недвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало меня, даже передавалось мне. Я чувствовал, как влияние его диких, но заразительных грез сказывается и на мне — медленно, но неотразимо.

Когда на седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины я ложился поздней ночью спать, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное состояние, старался убедить себя, что оно всецело — или, по крайней мере, в значительной степени — вызвано мрачной обстановкой комнаты: темными ветхими драпировками, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все усилия были тщетны. Неодолимый страх все глубже проникал в мое существо, и наконец демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием освободился от него, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную тьму, начал прислушиваться, сам не зная зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим, неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я торопливо набросил платье, ибо чувствовал, что в эту ночь не придется спать, и, пытаясь побороть овладевшее мной жалкое малодушие, принялся расхаживать взад и вперед по комнате.

Сделав два-три поворота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Ашера. Минуту спустя он легко постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Лицом он, как всегда, напоминал труп, но на этот раз какое-то безумное веселье светилось в его глазах, — очевидно, он был в состоянии *истерии*. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству и поэтому даже обрадовался его приходу.

— А вы еще не видали *этого?* — сказал он отрывисто, бросив вокруг себя отсутствующий взгляд. — Не видали? Так вот смотрите! — С этими словами он тщательно завесил лампу и, подбежав к окну, разом распахнул его.

Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь в своем мрачном величии была действительно великолепной. По-видимому, ураган со всей своей силой обрушился именно на усадьбу; ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они касаются башенок), мчались друг другу навстречу с неимоверной быстротой, сталкивались друг с другом, но не удалялись на значительное расстояние.

Несмотря на то что тучи нависли сплошной

черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было и молния не озаряла их своим блеском. Нижние слои туч и все окружающие предметы светились каким-то неестественным светом, который излучали газообразные испарения, видимые совершенно ясно и окутывающие весь дом.

— Вы не должны, вы не будете смотреть на это, — сказал я Ашеру, отводя его от окна ласково, но решительно. — То, что смущает вас, — довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно, холодный воздух вам вреден. Вот один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте, — и мы скоротаем эту ужасную ночь.

Книга, о которой я говорил, была «Безумная надежда» сэра Ланселота Кэннинга*, но мои слова о том, что это один из любимых романов Ашера, были скорее горестной шуткой, ибо неуклюжее и вялое многословие этой книги едва ли могло представлять интерес для моего друга с его возвышенным идеализмом. Как бы то ни было, но больше никакой книги под рукой не оказалось, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что самый избыток безумия, о котором я буду читать,

подействует успокоительно на чрезмерно возбужденного ипохондрика (история умственных расстройств знает много подобных странностей). И точно, судя по напряженному вниманию, с каким он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.

Я дошел до того места, когда Этельред*, видя, что нельзя проникнуть в жилище отшельника добром, решается войти силой. Если читатель помнит, эта сцена описывается так:

«Этельред, который по природе был отважен, а к тому же находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, ибо тот был упрям и хитер, но, чувствуя, что его плечи промокли от дождя, и опасаясь, что вот-вот разразится буря, поднял свою палицу и живо пробил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в (железную) перчатку, за створки, так рванул их, что гулкий треск досок разнесся по всему лесу».

Кончив этот абзац, я вздрогнул и приостановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), — мне почудилось, будто из какой-то отдаленной части дома донеслось глухое, неясное эхо того

самого звука, который так обстоятельно описан у сэра Ланселота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, ибо сам по себе звук был слишком слаб, чтобы заметить его, — буря выла и свистела, и весь дом ходил ходуном.

Я продолжал:

«Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуей дракон с огненной пастью; он сидел на страже перед серебряными дверями золотого дворца, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:

Кто в дверь сию войдет – тот замок покорит;

Дракона кто убьет – получит славный щит.

Тогда Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным воплем, что витязь поскорее заткнул уши, ибо никогда еще не слышал ничего подобного».

Я снова остановился — на этот раз с чувством

ужаса и изумления: до меня донесся уже совершенно явственно, хоть я и не мог разобрать откуда, слабый и отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый и скребущий звук, подобный неестественному визгу, который почудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.

Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении наплывом самых разнородных чувств, особенно же изумлением и ужасом, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя обнаружил в нем странную и внезапную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я видел только часть его лица, хотя и заметил, что его губы дрожат и как будто что-то беззвучно шепчут. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел его профиль — глаз его был широко раскрыт. К тому же он не сидел спокойно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал читать рассказ сэра Ланселота:

«Избежав свирепости дракона, витязь хотел

овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища и смело направился по серебряным плитам к стене, на которой висел щит; но щит не дождался, чтобы витязь подошел, упал и покатился к ногам Этельреда с громким и грозным звоном».

Не успел я произнести эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее явственный звон металла — точно и впрямь в эту минуту медный щит упал на серебряные плиты. Потеряв всякое самообладание, я вскочил на ноги, а Ашер по-прежнему сидел, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он неподвижно уставился в пространство и как будто окоченел. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по всему его телу, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал что-то торопливым, дрожащим голосом, по-видимому не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему — и понял наконец его безумную речь.

— Слышу ли?.. Да, я слышу… Конечно, слышу… Давным-давно… Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел — о, горе мне, несчастному!.. — не смел… *не смел* сказать! *Мы похоронили ее живою!* Разве я не говорил, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам: я слышал

ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их… много, много дней тому назад… но не смел… *не смел сказать.* А теперь… сейчас… Этельред… ха-ха!.. треск двери в келье отшельника, предсмертный вопль дракона, звон щита… скажите лучше — треск гроба, скрежет железной двери и судорожная борьба под медной аркой подвала… О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда, чтобы упрекнуть меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных ударов ее сердца? Безумец! — Тут он в бешенстве вскочил и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его отлетела вместе с этим криком: — *Безумец! Говорю вам, она стоит сейчас за дверью.*



В дверях стояла высокая, одетая в саван фигура леди Магдалины Ашер

И словно нечеловеческая сила этих слов имела власть заклинания: высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные челюсти. Ее мог распахнуть порыв ветра, — но в дверях стояла высокая, одетая в саван фигура леди Магдалины Ашер. Белая одежда ее была запятнана кровью, на всем ее изможденном теле видны были следы отчаянной борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, уже последней агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело этой жертвы ужаса, предугаданного заранее.

Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Вдруг на тропинке мелькнул какой-то странный свет; я обернулся лицом к дому, желая понять, откуда свет мог появиться, так как знал, что дом погружен во мрак. Оказалось, что свет исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал, — она шла зигзагом от кровли до основания. На моих глазах трещина быстро расширилась,

налетел сильный порыв урагана, полный лунный круг внезапно засверкал мне в глаза, мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Ашеров.

Вильям Вильсон

Что мне сказать? Что говорит грозная Совесть – это привидение на моем пути?

Чемберлен*. «Фаронида»

Позвольте мне называть себя Вильямом Вильсоном. Чистая страница, лежащая передо мной, не должна быть осквернена моим настоящим именем. Оно уже достаточно долго было предметом гнева, ужаса, отвращения моих ближних. Разве не разнес ветер негодования его беспримерный позор из края в край земли? О, отверженный из отверженных, не умер ли ты навсегда для земли, для ее почестей, для ее цветов, для ее золотых надежд, и не повисла ли густая, мрачная, безгранная туча между твоими надеждами и небом?

Я не стал бы, если бы даже мог, излагать здесь, теперь, историю моих последних лет — моих несказанных бедствий и непростительных пре-

ступлений. Эта эпоха — последние годы моей жизни — была только завершением позора, начало и происхождение которого я намерен описать. Люди обыкновенно падают со ступеньки на ступеньку все ниже. С меня же всякая добродетель упала сразу, как платье с плеч. От простой испорченности я одним гигантским шагом перешел к чудовищности Элагабала*. Какое обстоятельство, какое событие послужило толчком к этому несчастью, — об этом я и хочу рассказать. Смерть приближается, ее тень умягчает мою душу. Готовясь перейти в долину сумрака, я жажду сочувствия — чуть не сказал, сожаления — моих ближних. Я желал бы убедить их, что был до известной степени рабом обстоятельств, не лежащих в пределах человеческой власти. Я желал бы, чтобы люди усмотрели в тех мелочах, о которых я сейчас расскажу, маленький оазис рока в пустыне заблуждений. Я желал бы, чтобы они поняли, — и они не могут не понять, что если и существовало раньше такое великое искушение, то человек никогда так искушаем не был и никогда так не падал. Не значит ли это, что он никогда не страдал? Да уж не жил ли я во сне? Не жертва ли я ужаснейшего и таинственнейшего из всех подлунных видений?

Я потомок рода, всегда отличавшегося своей фантазией и нервным темпераментом. Уже в раннем детстве проявились у меня эти наследственные черты. С годами они обнаруживались все резче и резче, причиняя немало беспокойства моим друзьям и неприятностей мне самому. Своенравный, необузданный в своих диких капризах, я был жертвой неудержимых страстей. Слабохарактерные и болезненные, как и я, родители почти ничего не могли сделать, чтобы подавить мои дурные задатки. Кое-какие неумелые и слабые попытки в этом направлении привели только к их полному поражению и моему вящему торжеству. С тех пор слово мое стало законом в семье, я в возрасте, когда детей водят на помочах, был предоставлен самому себе и стал господином своих поступков.

Мои первые воспоминания о школьной жизни связаны с большим ветхим зданием времен Елизаветы, в туманной английской деревушке, где росло много громадных тенистых деревьев и где все дома были очень стары. Дремотой и спокойствием веяло от этого тихого старинного городка. Даже теперь, забывшись в мечтах, я чувствую освежающую прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат бесчисленных кустарни-

ков и снова вздрагиваю от неизъяснимо сладкого чувства при глубоких глухих звуках церковного колокола, тяжелые удары которого так неожиданно разбивают тусклый и заснувший воздух.

Вспоминать о школе и школьной жизни, — быть может, единственная радость, которую я могу испытывать в моем теперешнем положении. Удрученному несчастьем — увы, слишком реальным несчастьем! — мне простительно искать хотя бы слабого и мимолетного облегчения в воспоминаниях. Они обыкновенны, подчас смешны, но для меня имеют особое значение, так как связаны с временем и местом, где я впервые услышал зов судьбы, так безжалостно поразившей меня впоследствии. Обратимся же к воспоминаниям.

Как я уже сказал, дом был старинной и неправильной постройки. Обширная усадьба окружалась высокой и плотной кирпичной стеной со слоем извести и битого стекла наверху. Эта стена, напоминавшая острог, была границей наших владений; за нее мы выходили только три раза в неделю: в субботу вечером, когда нам разрешалось под надзором двух надзирателей прогуляться всем вместе по соседним полям, и дважды в воскресенье, когда мы таким же по-

рядком шли к утренней и вечерней службе в приходскую церковь. Директор школы был пастором этой церкви. С каким глубоким чувством изумления и смущения смотрел я на него из нашего уголка на хорах, когда он торжественной, мерной поступью поднимался на кафедру! Этот почтенный муж — с благосклонным взором, в пышном облачении, в громадном, напудренном, завитом парике, — неужели это тот самый господин с кислой физиономией, в запачканном платье, с линейкой в руках, так свирепо приводящий в исполнение драконовские законы школы? О, великий парадокс, — чудовищно нелепый и неразрешимый!

В массивной стене чернели еще более массивные ворота. Они были обиты железными брусьями и усажены железными остриями. Что за мрачный вид! Они открывались только три раза в неделю для вышеупомянутых путешествий на прогулку и в церковь; и в визге их мощных петель ощущалась тайна, наводившая на глубокие размышления.

Ограда была неправильной формы с более или менее обширными выступами. Три или четыре самых обширных служили местом наших прогулок и игр. Они представляли площадку,

усыпанную мелким гравием. Я хорошо помню, что тут не было ни деревьев, ни скамеек. Без сомнения, эта площадка находилась позади дома. К переднему фасаду примыкало место, усаженное буксом и другими кустарниками; но в этот священный уголок мы попадали очень редко; разве случалось проходить через него при поступлении или окончательном выходе из школы или в рождественские и летние каникулы, когда, полные веселья, мы разъезжались к родным или знакомым.

Но дом — что за любопытное старое здание! Мне он казался настоящим волшебным дворцом! Не было конца его закоулкам, его непонятным пристройкам! Никогда нельзя было решить, в котором из двух его этажей находишься. Переходя из комнаты в комнату, нужно было всякий раз спускаться или подниматься ступеньки на три, на четыре. Бесчисленные боковые пристройки так изгибались и перепутывались, что наше представление о доме в его целом сливалось с нашим представлением о бесконечности. В течение моего пятилетнего пребывания в школе я никогда не мог решить с точностью, в какой части здания находится спальня, отведенная для меня и других восемнадцати или двадцати школьников.

Самая большая комната в доме — мне все кажется, что и в целом свете — была классная: длинная, узкая, низенькая зала с остроконечными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном и наводящем ужас углу ее находилась квадратная загородка — *sanctum*[34] нашего директора, достопочтенного доктора Бренсби, — с массивной дверью. Мы бы скорее умерли *par peine forte et dure*[35], чем решились отворить ее в отсутствие доктора. В других углах находились две подобные же загородки, внушавшие нам гораздо меньше почтения, но все-таки немалый страх. Одна из них была кафедра «классика», другая — «английского языка и математики». По всей комнате были рассеяны в беспорядке скамьи и пюпитры — черные, старые, изъеденные временем, заваленные растрепанными книгами и до того изрезанные начальными буквами, целыми фамилиями, уродливыми фигурами и тому подобными образчиками работы перочинного ножа, что совершенно утратили свою первоначальную форму. Большая кадка с водой помещалась на одном конце комнаты, а чудовищных размеров

[34] Примечания: 34
Святилище *(лат.).*

[35] Примечания: 35
Страшная и мучительная смерть *(фр.).*

колокол — на другом.

Замкнутый в стенах этой почтенной академии, — но отнюдь не изнывая от скуки или отвращения, — я провел годы третьего люстра* моей жизни. Творческий мозг ребенка не нуждается во внешнем мире или внешних впечатлениях для своей работы и деятельности, и томительное с виду однообразие школьной жизни давало мне более сильные ощущения, чем роскошь в молодости или преступление в зрелые годы. Но, должно быть, первые стадии моего умственного развития представляли много особенностей, много outrå[36]. Впечатления от событий раннего детства редко сохраняются в зрелом возрасте. Все подернуто серой тенью — всплывают только слабые, отрывочные воспоминания пустых радостей и воображаемых страданий. У меня не так. Должно быть, мои детские ощущения были сильны, как ощущения взрослого человека, потому что тогдашние впечатления врезались в мою память глубоко, живо и прочно, словно надписи на карфагенских медалях*.

А между тем как незначительны эти воспоминания на деле: укладывание спать вечером,

---

[36] Примечания: 36
Чрезмерный *(фр.)*.

уроки, зубренье, периодические отпуска, экзамены, рекреационный двор с его играми, ссорами, дрязгами — вот что в силу какого-то давно забытого волшебства являлось источником всяких чувств, целым миром происшествий, разнообразных волнений, страстного возбуждения. *«O, le bon temps, que ce si?*[37]

Мой пылкий, восторженный, властный характер быстро выделил меня в среде моих товарищей и мало-помалу, но совершенно естественно, дал мне влияние над всеми школьниками, не слишком превосходившими меня возрастом, над всеми — за одним исключением. Этим исключением оказался ученик, который, не будучи моим родственником, носил те же самые имя и фамилию, что, впрочем, не представляет ничего странного: несмотря на древнее происхождение, моя фамилия — одно из тех распространенных имен, которые, кажется, с незапамятных времен были общим достоянием толпы. Я потому и назвал себя в этом рассказе Вильямом Вильсоном — это вымышленное имя немногим отличается от действительного. Мой однофамилец, единственный из всех учеников, вздумал тягаться со

---

[37] Примечания: 37

О, доброе время, этот железный век! *(фр.).*

мною в науках, в играх и ссорах на рекреационной площадке, не верил моим утверждениям, не подчинялся моей воле, словом, ни в каком отношении не признавал моего авторитета. Если есть на земле деспотизм в полном смысле слова, так это деспотизм школьника над менее энергичными товарищами.

Непокорность Вильсона была для меня источником величайших неприятностей; несмотря на презрение, с которым я перед другими относился к нему и его претензиям, втайне я чувствовал, что боюсь его, и не мог не видеть в равенстве, которое ему удавалось так легко сохранять по отношению ко мне, доказательство превосходства, — недаром же мне приходилось напрягать все свои силы только для того, чтобы не быть побежденным. Но это превосходство — даже это равенство — замечал только я, наши товарищи, в силу непонятного ослепления, по-видимому, ничего не подозревали. В самом деле, его соперничество, его упорство и в особенности его наглое и грубое вмешательство в мои распоряжения имели ядовитый, но чисто личный характер. По-видимому, ему было чуждо как честолюбие, так и страстная энергия ума, заставлявшие меня соперничать с ним. В своем соперничестве он

точно руководился капризным желанием уязвить, ошеломить или оскорбить меня лично; хотя по временам я не мог не заметить — с чувством удивления, досады и унижения — какую-то неуместную ласковость манер, соединявшуюся у него с оскорблениями, насмешками или противоречиями. Я мог объяснить это странное поведение только вульгарным самодовольством, принимающим покровительственный вид.

Может быть, эта последняя черта в характере Вильсона, в связи с одинаковостью фамилии и тем случайным обстоятельством, что мы поступили в школу в один и тот же день, заставила старших учеников школы считать нас братьями. Старшие вообще не особенно интересуются делами младших. Но если бы мы *были* братьями, то лишь близнецами, так как впоследствии, оставив школу доктора Бренсби, я случайно узнал, что мой однофамилец родился девятнадцатого января 1813 года. Действительно странное совпадение, так как и я родился в тот же день*.

Странно, что, несмотря на постоянные неприятности, причиняемые мне соперничеством Вильсона и его несносной страстью противоречить, я решительно не мог возненавидеть его. Разумеется, между нами происходили ежеднев-

ные стычки, в которых, уступая мне пальму первенства, он тем или иным образом давал понять, что, собственно говоря, она принадлежит ему; но моя гордость и его достоинство не позволяли нам заходить дальше слов, а вместе с тем многие родственные черты в наших характерах возбуждали во мне чувство, которому только наши острые взаимные отношения мешали превратиться в дружбу. Трудно описать или определить мои действительные чувства к нему. Они были изменчивы и смешаны; страстность — однако не ненависть; уважение, почтение с примесью страха и несказанное любопытство. Нужно ли говорить, что я и Вильсон были неразлучны?

Эта ненормальность наших отношений придавала всем моим нападениям на него (а их было много, явных и тайных) скорее характер насмешливых шуток, чем серьезной и решительной вражды. Но мои насмешки часто не попадали в цель, и задуманный хотя бы очень искусно план — не удавался: в характере моего однофамильца было много того несокрушимого и холодного спокойствия, которое, упиваясь собственным остроумием, — неуязвимо для чужого и решительно не поддается насмешке. Я нашел у Вильсона толь-

ко одно слабое место, зависевшее от физического недостатка, которое всякий противник, менее истощивший свои средства борьбы, наверное, пощадил бы: мой соперник, вследствие какого-то особого устройства голосовых связок, мог говорить только *весьма тихим шепотом.* Я не замедлил воспользоваться жалким преимуществом, которое давал мне этот недостаток.

Вильсон не оставался в долгу, и одна из его обычных шуток в особенности досаждала мне. Как он догадался, что этот пустяк будет раздражать меня, я понять никогда не мог, — но, догадавшись, он не преминул воспользоваться своим открытием. Я всегда чувствовал отвращение к своей фамилии и вульгарному, чтобы не сказать — плебейскому, имени. Это имя резало мне ухо, и когда, в день моего поступления, явился в школу второй Вильям Вильсон, я рассердился и на него, и еще более возненавидел самое имя за то, что его носит посторонний, который вечно будет со мной и которого, как водится в школах, вечно будут смешивать со мной.

Зародившееся таким образом неприятное чувство усиливалось каждый раз, когда обнаруживалось новое моральное и физическое сходство между мною и моим соперником. Я еще не знал

тогда, что мы родились в один и тот же день, но я видел, что мы одинакового роста и удивительно похожи друг на друга фигурой и чертами лица. Меня раздражало также распространившееся в старших классах убеждение, что мы родственники. Словом, ничто так не могло расстроить меня (хотя я всячески скрывал это), как намек на какое-либо сходство в нашей биографии, наружности, складе ума. Впрочем, я не видел, чтобы (если не считать слухов о нашем родстве) это сходство служило предметом чьих-либо разговоров или даже замечалось нашими товарищами. Что Вильсон замечал его, как и я, было ясно; но что он сумел найти в этом обстоятельстве богатый источник шуток по моему адресу, — можно приписать только его необычайной проницательности.

Его система состояла в передразнивании моих слов и действий, и он исполнял это мастерски. Скопировать мою одежду было нетрудно; мою походку и манеры он также перенял быстро и, несмотря на свой физический недостаток, сумел подделаться даже под мой голос. Разумеется, он не мог передать его звука, но интонацию перенял в совершенстве; *и его обычный шепот был эхом моего голоса.*

Как жестоко терзал меня этот двойник (потому

что его нельзя было назвать карикатурой), — я и передать не в силах. Единственным утешением для меня было то, что никто не замечал этого передразнивания, и только я один понимал многозначительные и саркастические улыбки моего однофамильца. Довольный своей выдумкой и произведенным на меня впечатлением, он лишь втихомолку посмеивался и пренебрегал возможным успехом этой остроумной шутки перед толпой. Каким образом остальные ученики не подметили его планов, не обратили внимания на их исполнение, не приняли участия в его насмешках, оставалось для меня загадкой в течение многих мучительных месяцев. Может быть, причиной тому была *постепенность*, медленное усиление подражания или, что вернее, мастерство подражателя, который, оставляя в стороне мелочи (а их только и замечают дюжинные наблюдатели), схватывал лишь общий характер, доступный моему наблюдению и возбуждавший мою досаду.

Я уже не раз говорил о покровительственном тоне, который он принимал по отношению ко мне, и о постоянном вмешательстве в мои дела. Вмешательство часто принимало ненавистную форму совета — совета, высказанного не пря-

мо, а намеком, обиняком. Я относился к этому с отвращением, и оно возрастало с годами. Но теперь, после стольких лет, я должен отдать справедливость моему противнику: намеки его никогда не имели целью склонить меня к ошибкам и заблуждениям, свойственным незрелому возрасту и неопытности; нравственное чувство его — если не таланты и житейская мудрость — было развито тоньше, чем у меня; и, может быть, я был бы ныне лучшим, а следовательно, и более счастливым человеком, если бы пореже отвергал советы, высказанные этим значительным шепотом, который я так пылко ненавидел и так злобно осмеивал.

Этот неизменный контроль надо мной доводил меня до исступления, и я все с большим и большим раздражением относился к его, как мне казалось, невыносимому нахальству. Я говорил, что в первые годы нашего знакомства мои чувства к нему легко могли бы превратиться в дружбу; но в течение последних месяцев моего пребывания в училище, — хотя его приставания в это время значительно ослабели, — мое отношение к нему в такой же мере приблизилось к ненависти. Однажды он, кажется, заметил это и с тех пор начал избегать меня или делать вид,

что избегает.

Как раз около этого времени, — если не обманывает память, — в одной крупной ссоре, когда он, противно своей природе, разгорячился до того, что стал говорить и действовать напрямик, мне почудилось в его тоне, в его наружности нечто такое, что сначала поразило меня, а потом глубоко заинтересовало, пробудив в моей душе смутное ощущение, будто мы уже встречались с этим человеком — когда-то давно, в бесконечно далекие времена. Ощущение это, впрочем, исчезло так же быстро, как явилось, и я упоминаю о нем лишь для того, чтобы отметить день последнего разговора с моим странным однофамильцем.

В громадном старом доме с его бесчисленными закоулками было несколько больших комнат, сообщавшихся между собой и служивших спальнями для учеников. Было также (что вполне естественно при странной распланировке здания) множество маленьких комнаток и клетушек, которые изобретательная экономия доктора Бренсби тоже превратила в спальни, хотя в этих чуланах могло помещаться лишь по одному человеку. Одну из таких клетушек занимал Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года школьной жизни и тотчас после упомянутой выше ссоры,

ночью, когда все спали, я встал с постели и с лампой в руках пробрался по лабиринту узких коридоров к спальне моего соперника. Я давно уже обдумывал одну из тех злобных шуток, которые до сих пор не удавались мне. Теперь я решился привести в исполнение мой план и дать сопернику почувствовать всю силу моей злобы. Добравшись до его комнатки, я вошел без шума, оставив лампу, прикрытую колпаком, за дверьми. Я прислушался, войдя, к его спокойному дыханию. Убедившись, что он спит, я вернулся в коридор, взял лампу и снова подошел к его постели. Она была закрыта занавесками, я спокойно, не торопясь, их раздвинул; яркий свет лампы упал на спящего, мои глаза в ту же минуту устремились на его лицо. Я глядел на него, и страшное, ледяное чувство охватило меня. Колени дрожали, беспредметный, невыносимый ужас охватил мою душу. Задыхаясь, я еще приблизил лампу к его лицу. Неужели это черты Вильяма Вильсона? Я видел его черты, но я дрожал как в лихорадке, мне казалось, что это не он. Что же поразило меня до такой степени? Я смотрел — и тысячи бессвязных мыслей проносились в моей голове. Не таким, не таким он являлся в обычное время. То же имя, те же черты лица, тот же день

поступления в училище, затем его нелепое и бессмысленное подражание моей походке, моему голосу, моим привычкам и моим манерам… Возможно ли, чтобы то, *что я теперь видел,* было простым результатом этого передразниванья? Пораженный ужасом, дрожа, я погасил лампу, тихонько удалился из комнаты — и из школы, с тем, чтобы никогда не возвращаться в нее.

Проведя несколько месяцев дома в ленивой праздности, я поступил в Итон. Этого короткого промежутка времени было довольно, чтобы ослабить мои воспоминания о школе доктора Бренсби или, по крайней мере, существенно изменить ощущения, с которыми я вспоминал о ней. Трагедии, драмы больше не было. Я сомневался теперь в собственных чувствах, и если вспоминал иногда о своем последнем приключении, то лишь для того, чтобы подивиться человеческому легковерию и посмеяться над живостью моего воображения. Это скептическое состояние духа поддерживалось образом моей жизни в Итоне. Безумный разгул, которому я предался быстро и без оглядки, смыл все воспоминания прошлого, потопил все глубокие или серьезные впечатления, оставив только пустые и ничтожные.

Не стану описывать моего жалкого беспутства,

доходившего до прямого вызова закону, хотя мне удавалось обходить бдительность итонских властей. Три года минули для меня без всякой пользы, укоренив только привычку к пороку да значительно прибавив мне росту; однажды, после целой недели беспутного разгула, я пригласил небольшую компанию самых отчаянных студентов на тайную пирушку. Мы сходились всегда поздно вечером, так как наша гульба неизменно продолжалась до утра. Вино лилось рекою, немало было и других, более опасных развлечений, — восток уже посерел, а у нас еще стоял пир горой. Разгоряченный вином и картами, я собирался провозгласить крайне нечестивый тост, но вдруг внимание мое было привлечено приотворившейся дверью и тревожным голосом слуги. Он объявил, что какой-то человек требует меня по делу, по-видимому, очень спешному.

В моем возбужденном состоянии это неожиданное посещение скорее развлекло, чем удивило меня. Пошатываясь, я вышел в переднюю. В ней не было лампы, она освещалась только слабым светом наступающего утра, чуть брезжившим в полукруглое окно. Переступив через порог, я заметил фигуру молодого человека приблизительно моего роста, в белом утреннем костюме,

сшитом по тогдашней моде, таком же, какой был в эту минуту на мне. Я не мог рассмотреть его лица. Но едва я вошел, он бросился ко мне, нетерпеливо схватил меня за руку и шепнул мне на ухо: «Вильям Вильсон!»

Я отрезвел в то же мгновение.

В манерах этого незнакомца, в дрожащем пальце, которым он грозил мне, было что-то ошеломившее меня, но не этим я был так страшно взволнован. Торжественность, выразительность этого странного, низкого, шипящего голоса и, главное, характер, *интонация* этих немногих, простых, знакомых, произнесенных *шепотом* слов разом вызвали тысячи смутных воспоминаний давно минувшего времени и поразили мою душу, точно удар гальванической батареи. Прежде чем я успел очнуться, он исчез.

Этот случай оказал сильное, но быстро изгладившееся действие на мое расстроенное воображение. В течение нескольких недель я старался разобраться в случившемся, предавался угрюмым и туманным размышлениям. Я не мог не узнать странного субъекта, который упорно вмешивался в мои дела и надоедал мне двусмысленными советами. Но кто и что такое этот Вильсон, откуда он взялся, чего ему нужно?

Ни одного из этих пунктов я не мог выяснить; узнал только, что какое-то семейное несчастье заставило его покинуть школу доктора Бренсби в самый день моего бегства. Впрочем, я скоро забыл о нем, поглощенный предстоявшим мне переездом в Оксфорд, куда я вскоре и поступил. Нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня такими средствами, что я мог вести там роскошную жизнь, уже близкую моему сердцу, — жизнь безумной расточительности в обществе высокомернейших наследников первых богачей Великобритании.

При таких условиях моя натура развернулась вполне, в безумии разгула я пренебрегал даже элементарными требованиями приличия. Но было бы нелепо описывать подробно мои похождения. Довольно сказать, что я заткнул за пояс самых отчаянных бездельников и, как герой множества новых безумств, значительно увеличил список пороков, обычных в самом распущенном из европейских университетов.

Трудно поверить: я уже до того опустился, до того утратил достоинство джентльмена, что стал якшаться с самым низменным сортом профессиональных игроков, перенял их приемы и пользовался ими для увеличения моих доходов

за счет простаков-товарищей. Это факт, однако, и самая чудовищность подобного поведения, немыслимого для мало-мальски порядочного человека, была главной, если не единственной, причиной его безнаказанности. Кто из беспутных моих товарищей не усомнился бы в своих собственных чувствах, прежде чем заподозрить в подобном поведении веселого, честного, щедрого Вильяма Вильсона — благороднейшего и великодушнейшего из студентов Оксфорда, чьи безумства (говорили его прихлебатели) — только увлечения юности и необузданной фантазии, ошибки — только неподражаемое своенравие, а худший из пороков — только беззаботная и блестящая эксцентричность?

Два года я с успехом подвизался на этом поприще, когда поступил в университет молодой аристократ *parvenu*[38], Глендиннинг, богатый — гласила молва — как Крёз*. Я скоро убедился, что он очень недалекий малый, и, разумеется, наметил его в качестве подходящего субъекта для моих целей. Я часто приглашал его поиграть в карты и, как водится у шулеров, проигрывал порядочные суммы, чтобы вернее заманить его в

---

[38] Примечания: 38
Выскочка (*фр.*).

мои сети. Наконец, подготовив почву, я встретился с ним (заранее решив, что эта встреча будет окончательной и решительной) в помещении одного студента (мистера Престона)*, который хорошо знал нас обоих, но, надо ему отдать справедливость, совершенно не подозревал о моем замысле. Желая обойти богача получше, я искусно напросился к мистеру Престону на вечер и позаботился, чтобы карты явились случайно, по просьбе самого Глендиннинга. Словом, я не упустил ни одной из низких хитростей, столь неизменных в подобных случаях; можно только удивляться, что еще не перевелись дураки, которые им верят.

Мы засиделись далеко за полночь, и, в конце концов, мне удалось устроить так, что Глендиннинг остался моим единственным противником. Игра была моя любимая: åcartå[39]. Остальная компания, заинтересованная нашей крупной игрой, бросила карты и столпилась вокруг нас. Parvenu, которого мне удалось незаметным образом напоить в начале вечера, тасовал, сдавал, бросал карты с каким-то судорожным волнением, которое я только отчасти мог объяснить

---

[39] Примечания: 39
Экарте (вид карточной игры; *фр.*).

действием вина. Проиграв мне в самое короткое время значительную сумму, он залпом выпил стакан портвейна и сделал то, чего я давно ожидал: предложил удвоить и без того огромную ставку. Я согласился — с неохотой, очень искусно разыгранной, с кажущейся досадой — и лишь после того, как мой отказ вызвал с его стороны несколько резкостей. Результат доказал только, как основательно жертва запуталась в моих сетях: не прошло часа, как проигрыш учетверился. Лицо его, давно утратившее багровую окраску, вызванную вином, теперь, к моему изумлению, покрылось страшной бледностью. Я говорю: к моему изумлению. Мне наговорили бог знает чего о несметном богатстве Глендиннинга, и я был в полной уверенности, что его проигрыш, хотя и весьма значительный, не может сколько-нибудь серьезно расстроить его и так страшно взволновать. В первую минуту я готов был объяснить его состояние действием вина, и скорее для того, чтобы поддержать себя в глазах товарищей, чем из какого-либо доброго побуждения, собирался решительно потребовать прекращения игры. Но отрывочные замечания моих товарищей и отчаянное восклицание Глендиннинга дали мне понять, что я разорил моего партнера, и притом

при обстоятельствах, которые сделали его предметом сожаления всех окружающих и должны были обезоружить даже его врагов.

Не берусь описать свое состояние. Жалкое положение моей жертвы смутило всех; воцарилось глубокое молчание, и я чувствовал, что мои щеки горят от гневных и негодующих взглядов наиболее порядочных из гостей. Признаюсь даже, что невыносимая тяжесть на мгновение свалилась с моего сердца при внезапном и необычайном перерыве, о котором сейчас расскажу. Большие тяжелые двери распахнулись так порывисто, что все свечи в комнате разом, точно по волшебству, погасли. Мы лишь увидели, что в комнату вошел какой-то незнакомец, приблизительно моего роста, закутанный в шубу. Но тут наступила темнота, и мы могли только ч*увствовать*ь, что он стоит среди нас. Прежде чем кто-нибудь из нас успел опомниться от изумления, мы услышали голос незнакомца.

— Джентльмены, — сказал он низким, тихим, слишком хорошо знакомым мне *шепотом*, звук которого потряс меня до мозга костей, — джентльмены, я не стану извиняться перед вами, я только исполняю свой долг. Вы, без сомнения, недостаточно знаете человека, который сегодня

вечером выиграл в åcartå значительную сумму у лорда Глендиннинга. Я укажу, каким образом вы можете получить о нем необходимые сведения. Потрудитесь осмотреть подкладку его обшлага на левом рукаве и заглянуть в его поместительные карманы.

Пока он говорил, стояла такая тишина, что муху было бы слышно. Кончив, он исчез так же внезапно, как появился. Могу ли, решусь ли описать мои чувства? Нужно ли говорить, что я испытывал все ужасы адской муки? Но мне некогда было размышлять. Множество рук схватили меня, свечи были тотчас зажжены. Начался обыск. За обшлагом оказались фигуры, важные для åcartå, в карманах несколько колод fac-simile[40] тех, которые употреблялись в нашей игре, с единственным различием: мои принадлежали к типу, известному под техническим названием arrondåes[41]: онеры слегка выпуклые на углах, простые карты слегка выпуклые по краям. При таких колодах обманутый снимает, по принятому обычаю, вдоль колоды и неизменно дает своему противнику онера, а тот, снимая поперек,

---

[40] Примечания: 40
Точное воспроизведение, копия (*лат.*).

[41] Примечания: 41
Округленные (*фр.*).

не дает ничего.

Самый бешеный взрыв негодования подействовал бы на меня не так ужасно, как презрительное молчание и саркастическое спокойствие, которым сопровождалось изобличение моих плутней.

— Мистер Вильсон, — сказал хозяин, толкнув ногой великолепную шубу. — Мистер Вильсон, это ваша собственность (погода стояла холодная и, отправляясь в гости, я надел шубу). Полагаю, что нам не нужно более (при этом он с презрением взглянул на дорогой мех) искать доказательств вашего искусства. Довольно с нас. Надеюсь, вы сами сочтете необходимым оставить Оксфорд — и, во всяком случае, оставить немедленно мою комнату.

Раздавленный, смешанный с грязью, я, по всей вероятности, ответил бы на эту ядовитую речь личным оскорблением, если бы все мое внимание в эту минуту не было привлечено поразительным фактом. Моя шуба была из редкого, дорогого меха почти баснословной цены, фантастического покроя, изобретенного мною самим, так как я питал нелепое пристрастие к подобного рода франтовству. И вот, когда мистер Престон протянул мне шубу, подняв ее с пола близ дверей, я заметил с

изумлением, доходившим до ужаса, что моя уже висит у меня на руке (должно быть, я поднял ее машинально), а та, которую мне предлагают, — ее точная, до мельчайших подробностей, копия. Я очень хорошо помнил, что странный человек, так безжалостно выдавший меня, был в шубе, а из нашей компании ни у кого, кроме меня, таковой не было. Опомнившись, я взял ту, которую протягивал мне мистер Престон, накинул ее незаметно на свою и вышел с презрительной усмешкой, а на рассвете бежал из Оксфорда на континент, — бежал в агонии ужаса и стыда.

Тщетно бежал я. Моя злая судьба преследовала меня с какой-то бешеной радостью, доказывавшей, что ее таинственная власть только начинала осуществляться. Не успел я осмотреться в Париже, как уже получил ясное доказательство, что этот Вильсон продолжает мешаться в мои дела. Прошли годы, а я не знал минуты покоя. Негодяй! — как некстати и с какой адской назойливостью он становился между мною и моими честолюбивыми замыслами в Риме! В Вене — тоже, и в Берлине, и в Москве! Где только не приходилось мне проклинать его всем сердцем? От его неизъяснимой тирании я бежал, как от чумы, в паническом ужасе, на край света — но

тщетно бежал я.

Снова и снова, в тайной беседе с самим собою, я спрашивал: «Кто он?.. откуда?.. что ему нужно?..» Но ответа не было. Я разбирал до мельчайших подробностей приемы, способы, основные черты этого наглого вмешательства. Но тут было не много материала для заключений. Правда, я заметил, что в последнее время он становился мне поперек дороги только в тех случаях, разрушал только такие планы, мешал только таким действиям, осуществление которых могло бы привести к самым худым последствиям для меня. Слабое оправдание для власти, так нагло захваченной! Слабая награда за такое упорное, оскорбительное нарушение естественного права самодеятельности!

Я не мог не заметить также, что мой мучитель (продолжая до мелочей и с изумительною точностью подражать моему облику) ухитрялся являться так, что я ни разу не видел его лица. Кто бы он ни был — это, во всяком случае, было с его стороны чистое издевательство или глупость. Не мог же он предположить, что я не узнаю в итонском госте, явившемся ко мне с угрозой, в оксфордском незнакомце, погубившем мою честь, в том, кто уничтожил мои честолюбивые планы

в Риме, мои мстительные замыслы в Париже, мою страстную любовь в Неаполе, мои попытки обогащения в Египте, — что я не узнаю в нем, моем лютом враге и злом гении, Вильяма Вильсона школьных дней — моего однофамильца, товарища, ненавистного и страшного соперника в школе доктора Бренсби? Невозможно. Но поспешим перейти к последней и важнейшей сцене этой драмы.



Я притиснул его к стене и, поставив в безвыходное положение, со зверской жестокостью вонзил ему шпагу в грудь

До сих пор я беспрекословно подчинялся его власти. Чувство глубокого почтения к возвышенному характеру, величавой мудрости, кажущемуся всемогуществу и вездесущию Вильсона в связи с ужасом, который внушали мне некоторые другие черты его характера и притязаний, до того потрясали меня, что, убежденный в своей слабости и беспомощности, я с отвращением, с горечью, но беспрекословно покорялся его воле. Но в последнее время я без удержу предался вину, и его влияние в соединении с моим наследственным темпераментом заставляли меня все сильнее и сильнее возмущаться этим контролем. Я начинал роптать… медлить… сопротивляться. Было ли это на самом деле или мне только казалось, что с укреплением моей воли ослабевала воля моего мучителя. Не знаю, но надежда загорелась в моем сердце, и я лелеял в мыслях твердое и отчаянное намерение отделаться от этого рабства.

Во время карнавала 18… в Риме* я был на маскараде в палаццо неаполитанского герцога Ди Бролио. Я выпил больше, чем обыкновенно, и

духота переполненных гостями комнат раздражала меня выше меры. Давка и толкотня еще усиливали это раздражение; тем более что я отыскивал (не стану говорить, с каким недостойным умыслом) молодую, веселую красавицу, жену старого, выжившего из ума Ди Бролио. Она сама, с недвусмысленной откровенностью, заранее описала мне свой костюм. Заметив его наконец, я поспешил к ней. В эту минуту чья-то рука опустилась на мое плечо, и вечно памятный, низкий, проклятый шепот раздался в моих ушах.

Вне себя от бешенства я обернулся и схватил моего гонителя за ворот. Как я и ожидал, на нем был такой же костюм, как на мне: голубой бархатный испанский плащ, опоясанный пунцовым шарфом, на котором висела шпага. Черная шелковая маска закрывала его лицо.

— Мерзавец! — прошипел я, задыхаясь от злобы и чувствуя, что каждый слог, который я произношу, усиливает мое бешенство, — мерзавец! предатель! гнусный негодяй! ты не будешь, — нет, ты *не будешь* преследовать меня до смерти! Следуй за мной или я заколю тебя на месте! — и я бросился, увлекая за собой врага из залы в соседнюю комнату.

Там я с бешенством отшвырнул его от себя.

Он ударился о стену, а я с ругательством запер дверь и потребовал, чтобы он обнажил шпагу. Он помедлил с минуту, слегка вздохнул и молча приготовился к защите.

Поединок был непродолжителен. Воспламененный бешенством, я чувствовал в своей руке ловкость и силу тысячи бойцов. В одну секунду я притиснул его к стене и, поставив в безвыходное положение, со зверской жестокостью вонзил ему шпагу в грудь, — потом еще и еще.

В эту минуту кто-то постучал в дверь. Я опомнился и поспешил к умирающему противнику. Но может ли человеческий язык передать изумление, ужас, охватившие меня при виде того, что внезапно предстало передо мною? Когда я обернулся к двери, странная перемена произошла в комнате. Огромное зеркало — так, по крайней мере, казалось мне, — которого я не замечал раньше, стояло передо мною; и по мере того, как я приближался к нему вне себя от ужаса — мое собственное отображение, только с бледными и окровавленными чертами, шло мне навстречу неровным и неверным шагом.

Так мне казалось, но не так было на самом деле. Это мой противник, Вильсон, был передо мною в последней агонии. Его маска и плащ лежали на

полу, там, где он бросил их. Каждая мелочь в его костюме, каждая черта в его выразительном и странном лице — до полного, абсолютного тождества — были *мои собственные.*

Это был Вильсон, но он говорил таким неслышным шепотом, что мне легко было думать, что я сам произнес:

— Ты победил, и я сдаюсь! Но отныне ты тоже умер — умер для Мира, для Небес, для Надежды! Во мне ты существовал — и убедись по этому образу, твоему собственному, что моей смертью ты убил самого себя.

Из сборника «Рассказы»
Человек толпы

Ce grand Malheur, de ne pouvoir être seul.
La Bruyère[42]

Очень хорошо сказано об одной немецкой книге: *«es lässt sich nicht lesen»*[43]. Так точно есть тайны, которые не узнаются. Люди умирают ежедневно и на смертном одре ломают руки перед своим духовником, жалобно смотря ему в глаза; они умирают с отчаянием в сердце, с конвульсиями в горле; причиной этого — страшные тайны, которых они не в состоянии открыть. Да, иногда совесть берет на себя тяжелое бремя, тяжелое по тому ужасу, которое оно заключает в себе, так что остается только унести его с собой в могилу; и таким образом, часто, сущность важного преступления остается неразглашенною.

Недавно, в осенний вечер, я сидел в одной из лучших лондонских кофеен, у огромного окна

---

[42] Примечания: 42

Это великое несчастие — не иметь возможности быть наедине с самим собой (*фр.*). *Лабрюйер.*

[43] Примечания: 43

Она не позволяет себя читать (*нем.*).

со сводом. Несколько месяцев перед тем я был болен, а потом стал понемногу поправляться. Силы мои постепенно возвращались, и потому я был в прекрасном расположении духа. На душе у меня было как-то особенно легко и весело; это была одна из тех минут, когда человек способен принимать все горячо, способен сильно желать чего-нибудь; когда мрак с духовного зрения спадает, и ум, наэлектризованный, превосходит настолько себя в обыкновенном своем состоянии, насколько живой, светлый рассудок Лейбница* превосходит бессмысленную и пошлую риторику Горгия*. Свободно дышать — было для меня наслаждением; я даже находил истинное удовольствие во многих ощущениях, обыкновенно бывающих источником боли. Во всем принимал я спокойное, но живое участие. С сигарой во рту и с газетой на коленях, я провел очень приятно все послеобеденное время до вечера: читал объявления, наблюдал за разнокалиберным обществом в кофейне и смотрел из окна на улицу.

Улица эта одна из главных и самых многолюдных во всем городе. Целый день народ на ней толпится. С наступлением сумерек, толпа мгновенно увеличилась. Стали зажигать фонари, и народу накоплялось все более и более. Мне до сих

пор никогда не случалось быть в такой час вечера на этой улице, и потому взволнованное море человеческих голов заняло меня, со всею прелестью нового впечатления. Я бросил всякие попечения о том, что происходило в самой кофейне, и вполне предался наблюданию уличных сцен.

Сначала наблюдения мои были отвлеченные, общие. Я смотрел на целые массы прохожих вместе, и думал о том, в каких отношениях каждый из них находится к другому. Скоро, однако, меня стали занимать подробности, и я, с минуту, внимательно смотрел на бесчисленное множество разнообразных лиц, выражений, одежд и походок.

Бóльшею частью, проходящие имели вид самодовольный и, вместе с тем, деловой; они как будто думали только о том, как бы скорее пробраться сквозь толпы. Брови у них были нахмуренные, и глаза бегали с живостью; когда им вдруг кто-нибудь не давал дороги, они не показывали нетерпения, а только поправляли на себе платье и продолжали свой путь. Другой разряд, тоже довольно многочисленный, был не менее оригинален. У людей этого класса было какое-то постоянное беспокойство в движениях и лица красные; они разговаривали сами с со-

бой, и жестам не было конца. Когда толпа вдруг останавливалась и мешала им идти дальше, они переставали бормотать себе под нос, но зато удвоивали жесты. Минуты, когда им можно будет продолжать свой путь, они ожидали спокойно, с бессмысленной улыбкой на устах. Если кому-нибудь случалось их толкнуть, то они ему щедро платили за это поклонами, и казались в сильном смущении.

Кроме того, что я сказал, в прохожих этих двух многочисленных разрядов нет ничего отличительного. Одеты они, что называется, прилично. Между ними есть джентльмены, купцы, комиссионеры, торговцы; люди, спекулирующие на государственные облигации, эвпатриды*, которые в обществе встречаются на каждом шагу, люди праздные и люди деятельно занятые собственными делами, которые для них слишком важны, и потому поглощают всю их заботливость. На них внимание мое останавливалось недолго.

Сословие англиканского духовенства легко отличить, но я заметил, что оно разделяется на два замечательные класса. К одному принадлежат младшие лица духовного звания, которые бывают приняты в аристократических домах:

платье на них узкое, сапоги широкие, волосы старательно напомажены и рот с вечно-надменной улыбкой. Им недостает только кареты, а с нею эти молодые люди были бы в полном смысле слова fac-simile всего того, что считалось хорошим тоном год или полтора года тому назад. Одним словом, это образчики прошлых мод, уже оставленных аристократией: лучше нельзя охарактеризовать этот разряд.

Второй класс духовенства резко отличается от первого. Принадлежащие к нему не подражают новым модам, а придерживаются старых. На них, обыкновенно, черное или темно-коричневое платье, довольно просторное, чтобы не стесняло; белые галстуки и жилеты, широкие прочные башмаки и толстые чулки или штиблеты. У всех у них головы с легкой лысиной, и правое ухо, привыкшее постоянно держать за собой перо, немного оттопыривается, в ожидании привычного гостя.

Я заметил, что они снимают и надевают шляпы всегда обеими руками; при них часы на коротких золотых цепочках — старомодных, но имеющих положительную ценность.

Они имеют самый почтенный вид — притворно-почтенный, может быть, но хорошо, что есть

хоть и притворный.

Много было личностей, резко выдающихся из толпы, и я скоро понял, что они принадлежали к классу искусных опустошителей карманов, к классу, который всегда бывает очень многочислен в больших городах. На этих людей я смотрел с большим любопытством, и никак не мог понять как настоящие джентльмены могут так непростительно ошибаться и принимать этих плутов за таких же джентльменов, как они сами. Огромность их рукавной обшивки очень откровенно и наивно изобличает их с первого раза.

Записных игроков, которых было не мало, тоже очень легко было узнать. На них было платье всевозможных покроев и цветов: на одних бархатные жилеты, фантастические галстухи, золотые цепочки, какие-то неслыханные пуговицы; на других, напротив, одежда самая скромная, и все это разнообразие — умышленное, для того, чтобы их трудно было узнавать. Но, сколько они ни хлопотали об этом, все-таки у них оставалось очень много общего. Все они одинаково бледны до желтизны, с тусклыми глазами и с судорожным подергиванием губ. Были у них еще две отличительные черты, по которым узнать их было еще легче: умышленное понижение голоса в

разговоре и необыкновенное вытягивание большого пальца, так, чтобы он образовал прямой угол с прочими пальцами. Часто я в этом обществе встречал людей с другими, как будто более утонченными, манерами, но и это были птицы одного полета. Много было денди, которые отличались длинными волосами и презрительной, самодовольной улыбкой.

Много, много предметов было мне для наблюдений. Мелькали жиды с блестящими глазами и с лицами, выражающими подлое унижение, отвратительные уличные нищие, самозванцы, нахмуривающие брови при виде настоящих несчастных, которых одно отчаяние, а не обман, привлекает ночью на улицу, чтобы просить о помощи. Слабые и жалкие инвалиды, на которых была уже видна рука смерти, умоляющим взором смотрели всем в глаза. Их толкали со всех сторон, они чуть держались на ногах, но на все это они не обращали внимания, потому что имели надежду на помощь. Скромные молодые девушки радостно возвращались в родительский дом после долгих дневных трудов; они трепетали пред взорами нахалов и отвечали им слезами, а не презрением. Много было женщин: были красавицы в полном цвете лет, напоминающие,

наружностью, статуи из паросского мрамора*, внутри не отличающиеся чистотою; омерзительные, совершенно погибшие, отверженные существа в лохмотьях; сморщенная, накрашенная дама в брильянтах, истощающая последние попытки казаться молодою; женщина — ребенок еще, но уже испорченная постоянным примером дурного, уже искусница во всех кокетливых приемах, которые нужны для ее ремесла; она горит от желания стать скорее наравне со старшими в пороке; не ужасно ли? она в этом полагает свое достоинство!.. Идут, шатаясь, пьяницы, ободранные, в заплатах и что-то бормочут про себя; лица у них разбитые, глаза дико блестят; на иных одежда и крепкая еще, но грязная, у всех же вообще толстые губы, выказывающие чувственность и раскрасневшиеся лица с приторно-любезным выражением. Заметил я также людей с шагом неестественно твердым, бледных, с красными и страшно дикими глазами; занятием этих людей было — ударять дрожащими пальцами по всякому предмету, который попадался им под руку. Шли пирожники, носильщики, поденщики, трубочисты, органщики, фокусники с обезьянами, ободранные уличные музыканты и истощенные земледельцы. Много было оживления и шуму;

в ушах слышался невыносимый гул и глаза уставали смотреть. Чем темнее делалось, тем интереснее становилась картина, во-первых, потому, что общий характер толпы изменялся: все хорошее мало-помалу исчезало, потому что было уже поздно, и все порядочные люди отправились домой, а дурное рельефнее прежнего выдавалась на сцену; с каждым лишним часом появлялся в этом вертепе лишний разврат. Во-вторых: лучи газовых фонарей, сначала, борясь со светом умирающего дня, были очень слабы, теперь же они были в полном могуществе и освящали ярко все и всех.

У меня явилось желание всматриваться в каждое лицо; но быстрота, с которою свет мелькал перед окном, мешала наблюдениям, и я не успевал бросать более одного взгляда на каждого человека. Мне, однако, казалось что в странном, особенном расположении духа, в котором я находился в ту минуту, у меня явилась новая способность — одним взглядом прочитывать на лице человека историю многих лет его жизни.

Прислонясь лбом к стеклу, я продолжал наблюдать за толпой. Вдруг мне представилась личность дряхлого старика, лет шестидесяти пяти или семидесяти; личность, которая привлекла

и поглотила все мое внимание своею оригинальностью. Никогда в жизни мне не случалось видеть что-нибудь хотя бы несколько похожее на этого человека. Помню очень хорошо, что при первом же взгляде на него, я подумал: если бы его увидел какой-нибудь гениальный живописец, то, верно, не стал бы искать лучшего образца для изображения воплощенного дьявола. Между тем как я старался анализировать эту личность, в уме моем являлись несвязные и парадоксальные заключения: что на лице этого человека ясно видно умственную силу, осторожность, скупость, холодность, злобу, кровожадность, торжество, веселость, безграничный страх и безнадежное отчаяние. Я был странно взволнован, поражен, околдован. Какая ужасная тайна, сказал я про себя, написана в этой груди! Потом явилось пожирающее желание не потерять этого человека из виду, узнать о нем более. Вмиг я надел плащ, схватил шляпу, трость и выбежал на улицу; там я начал толкаться сквозь толпу в том направлении, по которому шел незнакомец. Я с трудом отыскал его, наконец, и пошел рядом с ним с большою осторожностью, чтобы не обратить на себя его внимания.

Теперь я мог очень хорошо рассмотреть его.

Он был небольшого роста, очень худощав и, казалось, очень слаб. Одежда на нем была грязная и изорванная; при ярком свете одного из газовых фонарей я заметил, что белье на нем, хоть и грязное, но чрезвычайно тонкое; если не ошибся, на нем был бриллиантовый перстень. Плащ его распахнулся так, что я мог заметить бывший при нем кинжал. Все это усилило мое любопытство, и я решился следить всюду за незнакомцем.

Дело шло к ночи; густой сырой туман наполнял воздух. Скоро пошел проливной дождь. Эта перемена погоды, разумеется, имела влияние на толпу: началось новое волнение, и появился целый океан зонтиков. Толкотня и шум увеличились вдесятеро. Обыкновенно я не боялся дождя, но на этот раз, чувствуя еще после болезни лихорадочное состояние, знал, что сырость могла быть для меня очень вредна. Итак, я обвязал себе горло носовым платком и продолжал свой путь. В продолжение часа незнакомец шел вместе с толпою, и я все время шел рядом с ним, боясь потерять его из виду. Он ни разу не обернулся и не заметил меня. Наконец он повернул в другую улицу, где хотя тоже было очень много народу, но все-таки не столько, как в первой. Тут я заметил перемену в его походке. Он стал идти тише, как

бы нерешительнее. Он несколько раз прошел по всей улице, взад и вперед, без всякой видимой цели.



Плащ его распахнулся так, что я мог заметить бывший при нем кинжал

Улица была узка и длинна, и он ходил по ней, между тем как толпа постепенно редела. Потом мы вышли на площадь, великолепно освещенную и полную жизни. Незнакомец опять переменил походку. Его подбородок опускался на грудь, глаза дико блуждали из-под нахмуренных бровей на все стороны. Он шел твердыми шагами. Я был очень удивлен, что он обошел кругом площадь, потом опять и так несколько раз — все время в задумчивости и не принимая ни в чем участия. Так прошел еще час. Дождь все усиливался; воздух становился холоднее, и гуляющие стали отправляться по домам.

Незнакомец сделал нетерпеливый жест и бросился в соседнюю улицу, которая была сравнительно пуста. Она была длиною с четверть мили, и он пробежал ее с такою быстротою, какую редко можно встретить в старике; даже я с трудом мог поспевать за ним. Через несколько минут мы очутились на огромном, шумном рынке; моему незнакомцу эта местность, казалось, была очень хорошо знакома. Он без цели суетился между толпой покупателей и продавцов.

Тут мы провели часа полтора, и мне здесь

труднее всего было скрываться от незнакомца. К счастью, на мне были калоши из каучука, и потому шагов моих не было слышно. Он ходил из одной лавки в другую, ни к чему не приценялся, ничего не говорил и на все предметы смотрел диким, праздным взором. Я окончательно был поставлен в тупик его поведением и утвердился в решимости — не разлучаться с ним, пока не узнаю, что́ это за человек.

На больших городских часах пробило одиннадцать; все стали уходить с рынка. Один из лавочников, запирая ставень, толкнул старика, и я видел, как по нем пробежала дрожь. Он поспешил в другую улицу, где остановился на минуту и боязливо посмотрел вокруг, а потом бросился бежать с необыкновенной быстротой. Он пробежал несколько пустых, кривых переулков, и мы опять очутились на главной улице, у той самой кофейни, откуда я его увидал в первый раз, с тою только разницею, что теперь нам представилась совершенно другая картина. Газ по прежнему ярко горел, но шел крупный дождь, и народу было очень мало. Незнакомец побледнел. Он несколько раз прошелся по этой улице, а потом с тяжелым вздохом отправился по направлению к реке; через несколько закоулков мы дошли, нако-

нец, до одного из главных театров. Представление кончилось, и народ толпился у выхода. Старик, задыхаясь, бросился в толпу, и мне показалось, что беспокойство с его лица исчезло. Голова его опять упала на грудь. Он шел за толпой, и я никак не мог понять цели всех его действий.

Мало-помалу народ разбрелся, и беспокойство опять показалось на лице старика. Он несколько времени шел вслед за десятком франтов, но и те понемногу разошлись, остались только трое из них в узком, темном, безлюдном переулке. Незнакомец остановился и с минуту был в недоумении; потом в волнении пошел дальше, и мы добрели до самой отдаленной части города. Это было такое бедное, такое жалкое место, с таким отпечатком отвержения, что становилось страшно тут оставаться. При слабом свете одного несчастного случайного фонаря можно было разглядеть маленькие, старинные деревянные домики, близкие к разрушению. Они все капризно наклонялись в разные стороны, так что едва можно было пройти между ними. Камни от бывшей когда-то мостовой встречались как редкость; на их месте уже выросла густая трава. Канавки были запружены разным сором, так что в атмосфере был очень дурной запах. Вдруг

послышались человеческие голоса, и показалось несколько людей, вероятно принадлежащих к самому жалкому, всеми отвергнутому классу. Старик опять оживился, как лампада, для которой близка минута погаснуть. Он пошел дальше, завернул за угол, мы увидели сильный свет от большого питейного дома.

Это было перед рассветом; несколько жалких пьяниц толпилось у входа. С криком радости старик пробрался в толпу и начал тесниться в ней. Но это было непродолжительно: хозяин стал запирать дверь на ночь. На лице странного существа, за которым я так упорно следил, показалось что-то сильнее отчаяния. Но он все-таки недолго был в нерешимости и с бешеной энергией бросился в шумный центр Лондона. Долго и скоро он бежал, и я в величайшем удивлении следовал за ним: я имел твердое намерение не оставлять своих наблюдений, в которых находил так много поглощающего интереса. Солнце взошло, когда мы вышли опять на главную улицу, где уже начиналась суматоха и деятельность. И здесь я, посреди прибывающей толпы, продолжал преследовать незнакомца. Он по-прежнему ходил взад и вперед, и так он провел целый день на этой улице. Наступили сумерки следу-

ющего вечера; я почувствовал окончательное изнурение и, остановясь прямо против старика, пристально посмотрел ему в лицо. Он не замечал меня и продолжал свою таинственную прогулку, я же перестал за ним следить и погрузился в размышления. — Этот старик, сказал я, наконец, про себя: тип величайшего преступника. Он не может оставаться наедине с самим собою. *Он — человек толпы.* Напрасно я буду его преследовать, — никогда не узнаю ничего ни о нем, ни о его поступках. Сердце самого закоренелого злодея в мире — книга более гнусная, нежели «Hortulus Anumae»[44], и может быть, нужно считать за величайшую благость Божию, что *«er lasst sich nicht lesen»*.

Нисхождение в Мальстрём*

[44] Примечания: 44
«Садик души»*.

Пути Господа в Природе, как и в Провидении, не то, что наши пути; и слепки, которые мы создаем, отнюдь не соизмеримы с обширностью, глубиной, и неисследимостью дел Его, которые содержат в себе бездну, более глубокую, чем колодец Демокрита.*

Джозеф Гленвилл*

Мы достигли теперь вершины самого высокого утеса. В течение нескольких минут старик, по-видимому, был настолько утомлен, что не мог говорить.

— Еще недавно, — промолвил он наконец, — я мог бы вести вас по этой дороге совершенно так же, как самый младший из моих сыновей; но года три тому назад со мной случилось нечто, что не случалось доныне никогда ни с одним из смертных — или, по крайней мере, что ни один из смертных не пережил, чтобы рассказать — и шесть часов, которые я провел тогда в состоянии смертельного ужаса, надломили и мою душу, и мое тело. Вы думаете, что я *очень* стар — вы ошибаетесь. Не нужно было даже целого дня, чтобы эти волосы, черные, как смоль, побелели, чтобы все члены мои ослабли, и нервы расшатались до

такой степени, что я пугаюсь тени, и дрожу при малейшем напряжении. Вы не поверите, я почти не могу смотреть без головокружения с этого небольшого утеса!

«Небольшой утес», на краю которого он беспечно улегся, так что более тяжелая часть его тела свесилась вниз, и он удерживался от падения, опираясь локтями о скользкий и покатый край обрыва — этот «небольшой утес», возносясь крутой глянцевито-черной громадой, выделялся на пятнадцать или шестнадцать сотен футов из толпы скал, теснившихся под нами. Ни за что в мире не решился бы я приблизиться и на шесть ярдов к его краю. Мало того, я до такой степени был взволнован рискованным положением спутника, что во всю длину своего тела упал на землю, уцепился за кустарники, окружавшие меня, и даже не решался посмотреть вверх на небо — напрасно боролся с самим собой, стараясь освободиться от мысли, что самые основания горы могут рушиться под бешенством ветров. Прошел значительный промежуток времени, прежде чем я сколько-нибудь мог овладеть собой и решился сесть и посмотреть в пространство.

— Бросьте вы это ребячество, — сказал проводник, — я привел вас сюда нарочно, чтобы вы

лучше могли видеть сцену события, о котором я упомянул, и чтобы рассказать вам всю историю, имея перед глазами самое место действия.

— Теперь, — продолжал он с той обстоятельностью, которая была его отличительной чертой, — теперь мы находимся на самом берегу Норвегии — на шестьдесят восьмом градусе широты — в обширной провинции Нордланд — в угрюмом округе Лофодена*. Гора, на вершине которой мы сидим, называется Носительницей Туч, Хельсегген. Теперь привстаньте немного выше — держитесь за траву, если вы чувствуете головокружение — вот так — взгляните теперь туда, в море, за полосу туманов.

Я взглянул, и голова у меня закружилась. Я увидал мощный простор океана, воды его были так черны, что сразу вызвали в моем воспоминании рассказ нубийского географа* о *Mare Tenebrarum*[45]. Панорамы более скорбной и безутешной никогда не могла бы себе представить человеческая фантазия. Справа и слева, насколько глаз мог видеть, лежали, раскинувшись, точно оплоты мира, очертанья страшно-черной нависшей скалы, и мрачный вид ее еще больше

---

[45] Примечания: 45
Море мрака (лат.).*

оттенялся буруном, который, высоко вскидываясь, с бешенством бился о нее своей седою гривой, крича и завывая неумолчно. Как раз против мыса, на вершине которого мы находились, на расстоянии пяти или шести миль в море, угрюмо виднелся небольшой открытый остров; или, точнее говоря, его очертания можно было различить сквозь смятение буруна, который окутывал его. Мили на две ближе к берегу возвышался другой островок, меньших размеров, чудовищно обрывистый и каменистый, и окруженный там и сям грядою темных скал.

В самом виде океана, на пространстве между более отдаленным островом и берегом, было что-то особенное. Дул ветер, по направлению к берегу, настолько сильный, что бриг, находившийся в открытом море, держался под трайселем с двойным рифом, и весь его корпус постоянно терялся из виду; и, однако же, здесь не было ничего похожего на правильное волнение, здесь было только сердитое всплескивание воды по всем направлениям, короткое, быстрое, и косвенное. Пены почти не было, она только белелась около самых скал.

— Дальний остров, — снова начал старик, — называется у норвежцев Вуррго́м. Тот, что находится

на середине дороги, зовется Москё. На милю к северу лежит Амборен. Вон там раскинулись Ислесен, Готхольм, Кейльдхельм, Суарвен, и Буккольм. Далее — между Москё и Вуррго́м — Оттерхольм, Флимен, Сантфлесен, и Стокхольм. Таковы истинные наименования этих мест — но почему вообще их нужно было именовать, этого не понять ни вам, ни мне. Вы слышите что-нибудь? Вы видите какую-нибудь перемену в воде? Мы были теперь минут около десяти на вершине Хельсегген, к которой поднялись из нижней части Лофодена, таким образом, что мы ни разу не могли взглянуть на море, пока оно вдруг не вспыхнуло перед нами, когда мы взошли на высоту. Между тем как старик говорил, я услышал громкий и постепенно возраставший гул, подобный реву огромного стада буйволов на американских прериях; и в то же самое мгновение я увидал под нами то, что моряки называют *водяной сечкой*; она быстро превращалась в крутящийся поток, который убегал по направлению к востоку. Пока я смотрел на него, этот поток приобретал в своем стремленьи чудовищную быстроту. Каждый момент прибавлял что-нибудь к его скорости — к его слепому бешенству. В течение пяти минут все море до Вуррга, как

нахлестанное, исполнилось непобедимой ярости; но главное волненье клокотало в пространстве между берегом и Москё. Здесь обширная водная поверхность, испещренная и изрубцованная тысячью встречных потоков, внезапно охватывалась бешеными конвульсиями — кипела, свистела, вздымалась, как будто тяжело дыша — вставала круговым движеньем гигантских и бесчисленных водоворотов, и, крутясь, уносилась и падала, все вперед, на восток, с той необузданной быстротой, с которой воды убегают, покидая горный скат.

Через несколько мгновений в этой картине произошла другая резкая перемена. Вся поверхность сделалась несколько более гладкой, и водовороты один за другим исчезли, и огромные полосы пены забелелись там, где до сих пор их не было совсем. Эти полосы, распространяясь на громадное расстояние, и сплетаясь между собою, восприняли, наконец, в себя круговое движение осевших водоворотов и как бы образовали зародыш нового водоворота, более обширного. Вдруг — совершенно внезапно — он принял явственные, резко определенные очертания круга, имевшего более мили в диаметре. Край водоворота обозначился в виде широкого пояса из блестящей пены;

но ни одна из частиц ее не ускользала в пасть чудовищной воронки, внутренность которой, насколько глаз мог ее измерить, являлась гладкой, блестящей, и агатово-черной водной стеной, наклоненной к горизонту приблизительно под углом в сорок пять градусов; эта водная стена с ошеломляющей стремительностью вращалась своим выпуклым наклоном, и посылала ветрам ужасающие возгласы, не то крик, не то рев, такие вопли, каких даже мощный водопад Ниагары, в своей агонии, никогда не посылает Небесам.

Гора колебалась в своем основании, и утес содрогался. Я бросился на землю, лицом вниз, и уцепился за чахлую траву, охваченный крайним нервным возбуждением.

— Это, — проговорил я, наконец, обращаясь к старику, — это, *конечно*, знаменитый водоворот Мальмстрём.

— Да, — отвечал старик, — он так иногда называется. Мы, норвежцы, называем его Москестрём, потому что на полдороге здесь находится остров Москё.

Обычные описания этого водоворота нимало не подготовили меня к тому, что я увидал. Описание, которое сделал Ионас Рамус*, быть может, самое обстоятельное изо всех, не дает ни

малейшего представления о величавом ужасе этой картины — о безумном очаровании *новизны*, захватывающем зрителя. Я не знаю в точности, с какого именно пункта, и в какое время, упомянутый писатель наблюдал водоворот; но, во всяком случае, не с вершины Хельсегген, и не во время бури. В его описании есть, однако, места, которые могут быть приведены ради отдельных подробностей, хотя они крайне слабы в смысле обрисовки впечатления всей картины.

«Между Лофоденом и Москё, — говорит он, — глубина воды составляет от тридцати пяти до сорока саженей; но, с другой стороны, по направлению к Веру (Вурргу) эта глубина уменьшается настолько, что не дает надлежащего пути для морского судна́, рискующего разбиться о скалы, что случается и при самой тихой погоде. Когда наступает прилив, поток с бурной стремительностью спешит ринуться в пространство между Лофоденом и Москё, но рев его свирепого отлива, бегущего в море, превышает гул самых громких и самых страшных водопадов — шум слышен за несколько лиг, и водовороты или водные пропасти отличаются такой обширностью и глубиной, что если корабль вступит в область его притяжения, он неизбежно поглощается и уносится

на дно, и там расщепляется о подводные скалы, когда же вода стихает, обломки выбрасываются вверх. Но эти промежутки спокойствия наступают только от отлива до прилива, и в ясную погоду, продолжаются не более четверти часа, и затем бешенство водоворота постепенно опять возрастает. Когда он бушует наиболее яростно, и когда его свирепость усиливается штормом, к нему опасно подходить на расстояние норвежской мили*. Лодки, и яхты, и корабли, бывают увлечены течением, если они заранее не остерегутся, до вступления в сферу его притяжения. Подобно этому, нередко случается, что киты подходят слишком близко к течению, и бывают захвачены его яростным порывом; невозможно описать, как они ревут тогда и стонут в своих бесполезных попытках освободиться. Случилось раз, что медведь, пытаясь переплыть из Лофодена к Москё, был захвачен потоком и поглощен им; при этом он выл так страшно, что его слышали на берегу. Громадные стволы сосен и елей, будучи поглощены потоком, снова выплывают вверх изломанными и расщепленными до такой степени, что как будто на них выросла щетина. В этом ясное доказательство, что дно состоит из острых подводных камней, среди которых они

бьются, подчиняясь силе течения. Поток этот регулируется приливом и отливом моря, — по истечении каждых шести часов. В 1645 году, рано утром, в Воскресенье на Мясопустной Неделе*, поток свирепствовал с такой яростью и с таким необузданным грохотом, что камни отрывались на прибрежных домах и падали на землю».

Относительно глубины воды, я не понимаю, каким образом можно было ее измерить в непосредственной близости от водоворота. «Сорок саженей» дожны относиться только к частям канала, примыкающим вплоть к берегу Москё или к берегу Лофодена. В центре Москестрёма глубина воды должна быть неизмеримо больше; чтобы убедиться в этом — достаточно бросить косвенный взгляд в пропасть водоворота с самого высокого утеса Хельсегген. Глядя вниз с этой вершины на ревущий Флегетон*, я не мог не улыбнуться на простоту, с которой добрейший Ионас Рамус рассказывает, как о вещах трудно допустимых, анекдоты о китах и медведях; ибо мне представлялось совершенно очевидным, что самый громадный линейный корабль, какой только может быть в действительности, войдя в сферу этого убийственного притяжения, мог бы бороться с ним не более, чем перышко с ура-

ганом, и должен был бы исчезнуть мгновенно и целиком.

Попытки объяснить данное явление — некоторые из них, я помню, казались мне, при чтении, достаточно убедительными — теперь представлялись очень трудными и малоудовлетворительными. Общепринятое объяснение заключается в том, что этот водоворот, так же как три небольшие водоворота, находящиеся между островами Ферё*, «обусловливается ничем иным, как столкновением волн, поднимающихся и опускающихся, во время прилива и отлива, против гряды скал и рифов, теснящих воду таким образом, что она обрушивается, подобно водопаду; и таким образом, чем выше поднимается течение, тем глубже должно оно упасть, и естественным результатом всего этого является водоворот, сила поглощения которого, со всей ее громадностью, достаточно может быть узнана по опытам менее значительным». — Так говорит Encyclopaedia Britannica[46]. Кирхер* и другие воображают, что в центре канала Мальстрёма находится бездна, проникающая сквозь земной шар, и выходящая в какой-нибудь очень отдаленной

[46] Примечания: 46
Британская экциклопедия *(англ.).*

части его — например, в Ботническом заливе*. Такая мысль, сама по себе пустая, показалась мне теперь, пока я смотрел, очень правдоподобной; и когда я сообщил о ней моему проводнику, я был не мало удивлен, услышав, что, хотя почти все норвежцы держатся такого воззрения, он его не разделяет. Что касается первого представления, он признался, что он неспособен его понять, и в этом я согласился с ним; потому что, как ни убедительно оно на бумаге, оно делается совершенно непостижимым и даже нелепым среди грохота пучины.

— Ну, теперь вы видели водоворот, — сказал старик, — и, если вам угодно, проползите кругом по скале; на подветренной стороне нас не будет оглушать грохот воды, и я расскажу вам историю, которая убедит вас, что я кое-что должен знать о Москестрёме.

Я последовал его указанию, и он продолжал.

Мне и двум моим братьям принадлежал когда-то сообща смак*, оснащенный как шкуна, приблизительно в семьдесят тонн. На этом судне мы обыкновенно ловили рыбу среди островов, находящихся за Москё, близь Вуррга. Во время сильных приливов на море всегда бывает хороший улов, если только выбрать подходящую

минуту, и иметь мужество для смелой попытки; но из всех Лофоденских рыбаков только мы трое сделали постоянным ремеслом такие поездки за острова. Обычная рыбная ловля происходит гораздо ниже к югу. Рыба там есть всегда, и можно ее брать без большого риска; потому эти места и предпочитаются. Но избранные места, находящиеся выше, среди скал, доставляют рыбу не только более тонкого качества, но и в гораздо большем изобилии, так что нередко за один день мы добывали столько, сколько осторожный рыбак не мог бы наскрести и за целую неделю. В конце концов, мы как бы устроили отчаянную спекуляцию — вместо труда у нас был жизненный риск, и вместо капитала отвага.

Мы держали наше судно в небольшой бухте, приблизительно на пять миль выше здешней по берегу; и в хорошую погоду мы неукоснительно пользовались затишьем, наступавшим на четверть часа между приливом и отливом, чтобы пересечь главный канал Москестрёма, значительно выше прудка, и затем бросить якорь где-нибудь близь Оттерхольма, или неподалеку от Сантфлесена, где приливы не так сильны, как в других местах. Здесь мы обыкновенно оставались приблизительно до того времени, когда опять

наступало затишье, затем снимались с якоря и возвращались домой. Мы никогда не пускались в такую экспедицию, если не было устойчивого бокового ветра, для поездки и возвращения — такого ветра, относительно которого мы могли быть уверены, что он не спадет до нашего возвращения — и мы редко ошибались в расчетах. Дважды, в течение шести лет, мы были вынуждены целую ночь простоять на якоре по причине мертвого штиля — явление здесь поистине редкостное; и однажды мы пробыли на рыболовном месте почти целую неделю, умирая от голода, благодаря тому, что вскоре после нашего прибытия поднялся шторм, и канал сделался слишком беспокойным, чтобы можно было думать о переезде. В этом случае мы были бы увлечены в море, несмотря ни на что (ибо водовороты кружили нас в разных направлениях так сильно, что, наконец, мы запутали якорь и волочили его), если бы нас не отнесло в сторону одним из бесчисленных перекрестных течений — что сегодня здесь, а завтра там — после чего попутный ветер привел нас к Флимену, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу рассказать вам и двадцатой доли разнообразных затруднений, которые мы встречали в местах рыбной ловли — это скверные места

даже в хорошую погоду — но мы всегда пускались на разные хитрости и умели благополучно избегать ярости Москестрёма; хотя иногда душа у меня уходила в пятки, если нам случалось на какую-нибудь минуту опередить затишье или опоздать. Ветер иногда был не так силен, как мы полагали при отправлении, и мы двигались медленнее, чем хотели бы, между тем как поток делал управление лодкой совершенно немыслимым. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже были два славные молодца. Они очень были бы нам полезны в подобных случаях — они могли бы нам грести, и помогали бы нам во время рыбной ловли, но хоть сами мы рисковали, все же у нас как-то не хватало духу подвергать опасности еще и детей, — потому что, в конце концов, ведь, действительно, опасность *была*, и очень большая.

Вот уже, без нескольких дней, ровно три года, как произошло то, о чем я хочу вам рассказать. Это было 10-го июля 18..., день этот здешние жители не забудут никогда — такого страшного урагана здесь никогда еще не было; и, однако же, все утро, и даже несколько часов спустя после полудня, с юго-запада дул легкий и постоянный ветерок, между тем как солнце ярко светило, так

что самый старый моряк не мог бы предусмотреть того, что должно было случиться.

Около двух часов пополудни мы втроем — два мои брата и я — прошли через острова, и вскоре почти нагрузили нашу лодку прекрасной рыбой, которой в этот день, как мы все заметили, было больше, чем когда-либо. Было ровно семь часов *на моих часах*, когда мы снялись с якоря и отправились домой, чтобы перейти самое опасное место Стрёма при затишьи — которое, как мы знали, будет в восемь часов.

С правой стороны кормы на нас дул свежий ветерок, и в течении некоторого времени мы шли очень быстро, совсем не помышляя об опасности, так как у нас не было ни малейшей причины предчувствовать ее. Вдруг — совершенно врасплох — мы были застигнуты ветерком, пришедшим к нам с Хельсеггена. Это было что-то совсем необыкновенное — никогда ничего подобного с нами раньше не случалось — и я начал немного беспокоиться, не зная, в сущности, почему. Мы пустили лодку по ветру, но совершенно не двигались, благодаря приливу, и я уже хотел предложить пристать к якорному месту, как, взглянув за корму, мы увидали, что весь горизонт окутан какой-то странной тучей медного цвета,

выраставшей с изумительной быстротой.

Между тем ветер, зашедший к нам с носа, исчез, настало мертвое затишье, и мы кружились по всем направлениям. Такое положение вещей продолжалось, однако, слишком недолго, чтобы дать нам время для размышлений. Менее чем через минуту на нас налетел шторм — еще минута, и все небо окуталось мраком — и стало так темно, и брызги начали прыгать так бешено, что мы не видели друг друга в нашей лодке.

Безумно было бы пытаться описать такой ураган. Самый старый моряк во всей Норвегии никогда не испытывал ничего подобного. Мы успели спустить паруса прежде, чем вихрь вполне захватил нас; но, при первом же порыве ветра, обе наши мачты, как подпиленные, перекинулись через борт — вместе с грот-мачтой упал мой младший брат: он привязал себя к ней для безопасности.

Как игрушка, как перышко, носилась наша лодка по воде. На ровной ее палубе был только один маленький люк около носа, и мы всегда имели обыкновение заколачивать его, перед тем как отправлялись через Стрём. Мы делали это из опасения перед бурным морем, но теперь, если бы это не было сделано, мы должны были бы сразу

пойти ко дну, потому что в течение нескольких мгновений мы были совершенно погребены в воде. Как мой старший брат ускользнул от смерти, я не могу сказать, ибо я не имел случая осведомиться об этом. Что касается меня, едва только я выпустил фок-зейль*, как плашмя бросился на палубу, упираясь ногами в узкий носовой планшир*, и цепляясь руками за рым-болт* около низа фок-мачты. Я сделал это совершенно инстинктивно, но, без сомнения, это было лучшее, что можно было сделать — думать же о чем бы то ни было я не мог — я был слишком ошеломлен.

Несколько мгновений, как я сказал, мы были совершенно погружены в воду; и все это время я сдерживал дыхание, и не выпускал болта. Потом, чувствуя, что я более не могу оставаться в таком положении, я стал на колени, все еще держа болт, и таким образом мог свободно вздохнуть. Наша лодочка сама отряхивалась теперь, как собака, только что вышедшая из воды, и таким образом до некоторой степени высвободилась из моря. Я старался теперь, как только мог, стряхнуть с себя оцепенение, овладевшее мной, и собраться с мыслями настолько, чтобы посмотреть, что теперь нужно делать, как вдруг почувствовал, что кто-то уцепился за мою руку. Это был мой старший брат,

и сердце мое запрыгало от радости, потому что я был уверен, что он упал за борт — но в следующее мгновение эта радость превратилась в ужас — он наклонился к моему уху и выкрикнул одно слово: *«Москестрём!»*

«Никто никогда не узнает, что́ я чувствовал в это мгновение. Я дрожал с головы до ног, как будто у меня был сильнейший приступ лихорадки. Я хорошо знал, что́ он разумел под этим словом — я знал, что́ он хотел сказать мне. Ветер гнал нас к водовороту Стрёма, мы были привязаны к нему, и ничто не могло нас спасти!

Вы понимаете, что, пересекая *канал* Стрёма, мы всегда совершали наш путь значительно выше водоворота, даже в самую тихую погоду, и тщательно выслеживали и выжидали затишье — а теперь мы мчались прямо к гигантской водной яме, и это при таком урагане! «Наверно, — подумал я, — мы придем туда как раз во время затишья — есть еще маленькая надежда» — но через мгновенье я проклял себя за такую глупость, за такую бессмысленную надежду. Я слишком хорошо понимал, что мы погибли бы даже и в том случае, если бы мы были на корабле, снабженном девятьюстами пушек.

В это время первый порыв бешеной бури

прошел, или, быть может, мы уже не так его чувствовали, потому что убегали от него; во всяком случае, волны, которые сперва лежали низко под ветром и бессильно пенились, теперь выросли в настоящие горы. Странная перемена, кроме того, произошла на небе. Везде кругом оно по-прежнему было черным, как смоль, но почти как раз над нами оно разорвалось, внезапно обнаружился круглый обрыв совершенно ясной лазури, — ясной, как никогда, и ярко, ярко голубой — и сквозь это отверстие глянул блестящий полный месяц, струивший сияние, какого я никогда раньше не видал. Все кругом озарилось до полной отчетливости — но, Боже, что за картина была освещена этим сиянием!

Раза два я пытался заговорить с братом — но, непонятным для меня образом, шум увеличился до такой степени, что я не мог заставить его расслышать хотя бы одно слово, несмотря на то, что кричал ему прямо в ухо изо всех сил. Вдруг он покачал головой, побледнел, как смерть, и поднял вверх палец, как бы желая сказать *«слушай»!*

Сперва я не мог понять, что он хочет этим сказать — но вскоре чудовищная мысль вспыхнула во мне. Я вынул свои часы. Они стояли. Я взглянул на них, подставляя циферблат под лучи месяца,

и мгновенно залился слезами, и швырнул часы далеко в океан. *Они остановились на семи часах! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрёма свирепствовал теперь с полной силой!*

Если лодка хорошо сделана, надлежащим образом снаряжена, и не слишком обременена грузом, волны, при сильном шторме, в открытом море, кажутся всегда ускользающими из-под нее — для человека, привыкшего к суше, это представляется очень странным, и мы, моряки, называем это — *верховой ездой*. До сих пор мы очень быстро ехали таким образом по волнам, но теперь гигантский подъем моря подхватил нас из-под кормы, и вырастая, взмахнул с собой — выше — выше — как будто под самое небо. Я не мог бы поверить, чтобы когда-нибудь морской вал мог подняться так высоко. И потом мы качнулись вниз, и соскользнули, и нырнули, так быстро, что у меня закружилась голова, как будто я падал во сне с вершины огромной горы. Но в то время как мы были вверху, я успел бросить быстрый взгляд кругом — и этого взгляда было совершенно достаточно. В одно мгновенье я рассмотрел наше точное положение. Москестрём был приблизительно на четверть мили прямо перед нами — но он был столько же похож на всегдашний

Москестрём, как водоворот, который вы сейчас видите, на мельничный лоток. Если бы я не знал, где мы были, и что нас ожидало, я совсем не узнал бы места. Теперь же я, в невольном ужасе, закрыл глаза. Веки сжались сами собой, как от судороги.

Не более как через две минуты, мы внезапно почувствовали, что волны осели, и нас окутала пена. Лодка сделала резкий полуоборот с левой стороны, и затем ринулась в этом новом направлении с быстротой молнии. В то же самое мгновенье оглушительный рев воды был совершенно заглушен каким то пронзительным криком — вы бы подумали, что это несколько тысяч паровых судов свистят своими выпускными трубами. Мы были теперь в полосе буруна, всегда окружающего водоворот; и я, конечно, подумал, что в следующее мгновение мы погрузимся в бездну — заглянуть в которую хорошенько мы не могли, потому что с ошеломляющей быстротой неслись вперед. Лодка совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правая сторона судна примыкала вплоть к водовороту, а слева высился покинутый нами гигантский простор океана. Подобно огромной судорожно искривляющейся стене, он высился между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы были в самой пасти водного обрыва, я был гораздо более спокоен, чем тогда, когда мы только приближались к нему. Убедившись, что надежды больше нет, я в значительной степени освободился от того страха, который сначала подавил меня совсем. Я думаю, что это — отчаяние напрягло мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь — но я говорю вам правду — я начал размышлять о том, как чудно умереть таким образом, и как безумно было бы думать о такой ничтожной вещи, как моя собственная личная жизнь, перед этим чудесным проявлением могущества Бога. Мне кажется, что я покраснел от стыда, когда эта мысль сверкнула в моем уме. Вскоре после этого мной овладело непобедимо-жгучее любопытство относительно самого водоворота. Я положительно чувствовал *желание* исследовать его глубины, хотя бы ценой той жертвы, которая мне предстояла; и о чем я больше всего сожалел, это о том, что никогда я не буду в состоянии рассказать о тайнах, которые должен буду увидеть, моим старым товарищам, что находятся там, на берегу. Странные, конечно, это мысли в уме человека, находящегося в такой крайности, и я часто думал потом, что вращение

лодки по окружности бездны могло вызвать в моем уме легкий бред.

Было еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой, это — исчезновение ветра; он не мог теперь достигать до нас — потому что, как вы видите сами, полоса буруна значительно ниже общей поверхности океана, и этот последний громоздился теперь над нами, высокой, черной, громадной грядой. Если вы никогда не были на море во время настоящей бури, вы не можете себе представить, как помрачаются мысли, благодаря совокупному действию ветра и брызг. Вы слепнете, вы глохнете, вы задушены, и у вас исчезает всякая способность что-либо делать или о чем-либо размышлять. Но теперь мы, в значительной степени, освободились от таких затруднений — совершенно так же, как преступнику, осужденному на смерть, дозволяются в тюрьме разные маленькие снисхождения, запретные, пока его участь еще не решена.

Сколько раз мы совершили круг по поясу водоворота, этого я не могу сказать. Мы мчались кругом и кругом, быть может, в течение часа, мы не плыли, а скорее летели, постепенно все более и более приближаясь к центру зыби, и все ближе и ближе к ее страшной внутренней кайме. Все

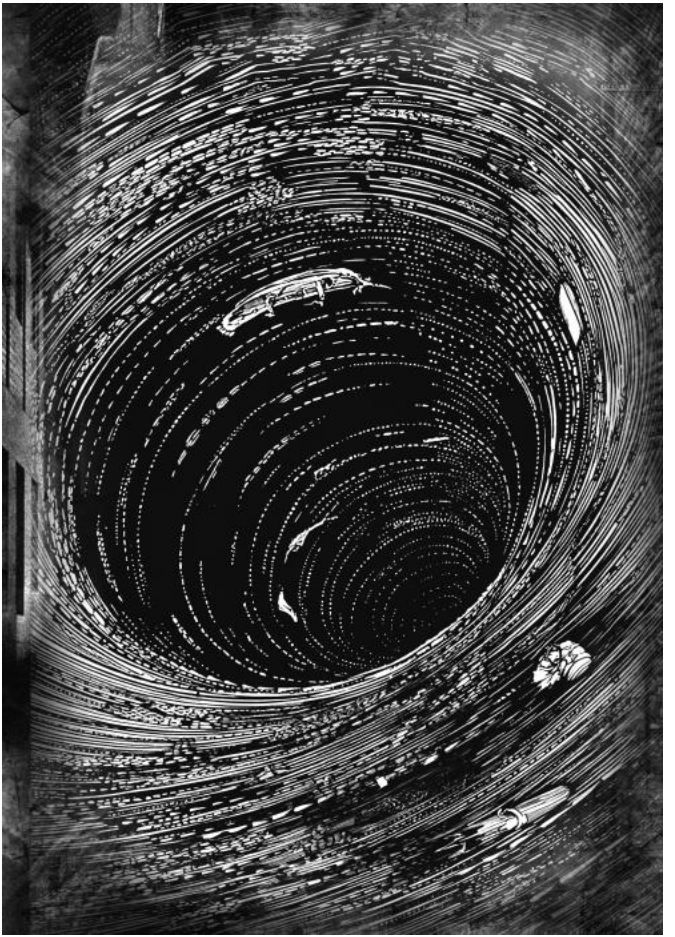
это время я не выпускал из рук рым-болта. Брат мой был на корме, он держался за небольшой пустой бочонок, в котором мы брали с собой воду, и который тщательно был привязан под сторожевой вышкой; это была единственная вещь на палубе, не смытая валом, когда вихрь впервые налетел на нас. Как только мы приблизились к краю водного колодца, брат мой выпустил из рук бочонок и схватился за кольцо, стараясь, в агонии ужаса, вырвать его из моих рук: нам обоим оно не могло служить одновременно, потому что было недостаточно широко. Я никогда не чувствовал такой глубокой тоски, как в тот момент, когда увидел его попытку — хотя я знал, что он был сумасшедшим, когда делал это — что это был бешеный маниак, охваченный чувством острого испуга. Я, однако, не стал спорить с ним из-за места. Я знал, что не может быть никакой разницы в том, мне или ему будет принадлежать кольцо, я выпустил болт, и ухватился за бочонок у кормы. Сделать это мне было не особенно трудно, потому что лодка бежала кругом достаточно устойчиво и держалась на ровном киле, покачиваясь только туда и сюда вместе с изменениями в направлении гигантских взмахов водоворота. Едва я уселся на своем новом месте, как лодка быстро накре-

нилась правой стороной, и бешено помчалась в водную пропасть. Я быстро прошептал какую-то молитву, и подумал, что все кончено.

Чувствуя тошноту от быстрого спуска вниз, я инстинктивно уцепился за бочонок с еще бóльшей энергией, и закрыл глаза. Несколько секунд я не решался открыть их, каждый миг ожидая конца, и удивляясь, что я еще не испытываю смертной борьбы с водой. Но мгновенье уходило за мгновеньем. Я все еще был жив. Ощущение паденья прекратилось; и движение лодки, по-видимому, было почти таким же, как раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она более накренялась. Я овладел собой, и опять взглянул на картину, раскинувшуюся кругом.

Никогда мне не забыть ощущенья испуга, ужаса, и восхищения, с которыми я посмотрел тогда. Лодка казалась подвешенной, как бы действием какой-то магической силы, в средине пути своего нисхождения, на внутренней поверхности водной воронки, обширной в окружности, гигантской по глубине — и такой, что ее совершенно гладкие бока можно было бы принять за черное дерево, если бы не удивительная быстрота, с которой они крутились, и не мерцающий призрачный блеск, исходивший от них — то были

отраженные лучи полного месяца, струившиеся из описанного мною круглого отверстия между туч — вырастая в целый поток золотого сияния, лучи эти шли вдоль черных стен и проникали вниз до самых отдаленных углублений бездны.



Лодка казалась подвешенной… в средине пути своего нисхождения, на внутренней поверхности водной воронки

Сначала я испытывал слишком большое замешательство, чтобы быть в состоянии отчетливо заметить что-нибудь. Все, что я увидел, это — какой-то всеобщий взрыв ужасающего величия. Однако когда я немного пришел в себя, взор мой инстинктивно устремился вниз. В этом направлении перед глазами моими не было никакого препятствия, благодаря тому положению, в каком лодка висела на наклонной поверхности водного провала. Она держалась на совершенно ровном киле — т. е., палуба ее лежала в плоскости, параллельной с плоскостью воды — но эта последняя делала наклон, под углом более чем в сорок пять градусов, таким образом, что мы как будто были опрокинуты на бок. Я не мог все же не заметить, что у меня вряд ли было больше затруднений держаться руками и ногами, чем если бы мы находились на горизонтальной плоскости, я думаю, что это обстоятельство было обусловлено быстротой, с которой мы вращались.

Лучи месяца как будто искали самого дна глубокой пучины; но я еще не мог ничего рассмотреть явственно; все было окутано в густой туман; а над

туманом висела великолепная радуга, подобная тому узкому и колеблющемуся мосту, который, как говорят мусульмане, является единственной дорогой между Временем и Вечностью. Этот туман или эти брызги возникали, без сомнения, благодаря сталкиванию огромных стен водной воронки, встречавшихся на дне, но что за страшный вопль поднимался из этого тумана к Небесам, я не берусь описывать.

Едва только мы впервые скользнули в самую бездну, удаляясь от пояса пены вверху, как мы двинулись на большое расстояние вниз по уклону, но наше дальнейшее нисхождение отнюдь не было пропорциональным. Мы стремились кругом и кругом — но то было не какое-нибудь однообразное движение — а головокружительные взмахи и швырки — иногда они бросали нас только на какую-нибудь сотню ярдов — иногда заставляли нас обойти почти полную окружность водоворота. С каждым новым вращением, мы опускались вниз, медленно, но очень заметно.

Бросая взор кругом на обширную пустыню этой текучей черноты, по которой мы неслись, я заметил, что лодка была не единственным предметом, находившимся в пасти водоворота. И сверху, и снизу, виднелись корабельные облом-

ки, громадные массы бревен и стволы деревьев, а вместе с тем более мелкие вещи, предметы домашней утвари, разломанные ящики, бочонки, и доски. Я уже описывал неестественное любопытство, сменившее мои прежние страхи. Оно, по-видимому, все росло, по мере того как я ближе и ближе подходил к своей страшной участи. Я начал теперь, с странным интересом, рассматривать разнообразные предметы, плывшие в одной с нами компании. *Должно быть*, у меня был бред, потому что я положительно *забавлялся*, размышляя об относительной скорости их разнородного нисхождения к пене, мерцавшей внизу. Я, например, поймал себя на такой мысли: «вот эта сосна, вероятно, прежде всего рухнется в пучину и исчезнет», — и был очень разочарован, когда увидел, что ее обогнал обломок голландского торгового корабля и первый потонул. Наконец, после целого ряда подобных наблюдений, причем все были ошибочными, я почувствовал, что этот факт — факт моей неизменной ошибки в расчетах — натолкнул меня на целый ряд размышлений, от которых я опять задрожал всеми членами, и сердце мое тяжело забилось.

То, что на меня так подействовало, не было новым ужасом — то была заря самой кипучей

надежды. Она возникла частью на почве воспоминания, частью благодаря теперешним наблюдениям. Я припомнил целую массу разных легких предметов, которыми был усеян Лофоденский берег: они были втянуты Москестрёмом и затем снова выброшены им. Предметы эти в громадном большинстве были разбиты самым необыкновенным образом — они были так ссажены — они были до такой степени шероховаты, точно кто сплошь утыкал их лучинками — но тут я отчетливо припомнил, что *некоторые* из них совсем не были обезображены. Теперь я не мог объяснить такое различие ничем иным, как предположением, что только предметы, сделавшиеся шероховатыми, были *поглощены вполне* — другие же предметы были втянуты в водоворот в такой поздний период прилива, или, по какой-нибудь причине, опускались вниз так медленно, что они не достигли дна, прежде чем пришла смена прилива и отлива. Возможно, подумал я, что в том и в другом случае они, таким образом, опять были выкинуты на верхний уровень океана, не претерпевши участи предметов, втянутых раньше или поглощенных более быстро. Я сделал также три важные наблюдения. Во-первых, общим правилом являлся тот факт,

что чем больше были тела, тем быстрее было их нисхождение; во-вторых, между двумя массами равного размера, причем одна была сферической, а другая *какой-нибудь другой формы*, преимущество в скорости нисхождения было на стороне сферической; в-третьих, между двумя массами одинакового объема, причем одна была цилиндрической, а другая какой-нибудь другой формы, цилиндрическая погружалась более медленно. После того как я спасся, я много раз говорил об этом с старым школьным учителем нашего округа, и это от него я научился употреблению таких слов, как «цилиндрический» и «сферический». Он объяснил мне — хотя я забыл его объяснения — каким образом явление, мною замеченное, было естественным следствием форм плавучих предметов, и каким образом случилось, что цилиндр, вращаясь в водовороте, оказывал большее противодействие силе поглощения, и был втягиваем с бóльшей трудностью, нежели предмет какой-нибудь другой формы тех же самых размеров[47].

Было еще одно поразительное обстоятельство, в значительной степени подкрепившее мои на-

---

[47] Примечания: 47

См. Archimedes, *«De Incidentibus in Fluido»*— lib. 2.*

блюдения, и заставившее меня с тревогой искать подтверждения их, именно, при каждом новом вращении мы проходили мимо таких предметов, как бочонок, или рей, или корабельная мачта, и многие из таких предметов, бывших на одном уровне с нами, когда я в первый раз устремил свой взор на чудеса водоворота, были теперь высоко над нами, и, по-видимому, отодвигались лишь очень мало от своего прежнего положения. Я более не сомневался, что́ мне делать. Я решился тщательно привязать себя к пустому бочонку, за который держался, отрезать его от кормы, и броситься вместе с ним в воду. Знаками я привлек внимание брата, указал ему на бочонки, плывшие около нас, и сделал все, что было в моей власти, чтобы дать ему понять мое намерение. Наконец, он, кажется, понял меня, но было ли это в действительности так, или нет, он с отчаянной решимостью начал отрицательно качать головой, и отказался покинуть свое место у рым-болта. Я не мог дотянуться до него, крайние обстоятельства не допускали ни малейшей отсрочки, и, с чувством горестной борьбы в сердце, я предоставил брата собственной его участи, привязал себя к бочонку веревкой, прикреплявшей его к корме, и без малейших колебаний бросился в море.

Я совершенно верно рассчитал результат. Вы видите, я сам вам рассказываю эту историю — вы видите, я *ускользнул* от смерти — и так как вы знаете, каким образом я спасся, и должны предвидеть все, что я могу еще сказать, я позволю себе поскорее кончить. Прошел, быть может, час, или около, после того как я бросился с лодки, как вдруг, отойдя вниз на значительное расстояние подо мной, она быстро сделала, одно за другим, три безумные круговые движения и, унося с собой моего возлюбленного брата, бешено ринулась, сразу и навсегда, в хаос пены, кипевшей внизу. Мой бочонок дошел немного более, чем до половины расстояния между дном пучины и тем местом, где я выскочил за борт, и громадная перемена произошла в характере водоворота. Наклон стен гигантской воронки с каждой минутой стал делаться все менее и менее крутым. Круговые движенья водоворота становились все менее и менее свирепыми. Пена и радуга мало-помалу исчезли, и самое дно бездны постепенно как бы поднялось. Небо было ясно, ветер стих, и полный месяц пышно садился на западе. Я находился на поверхности океана, в виду берегов Лофодена, и над тем самым местом, где *была* зловещая яма Москестрёма. Наступил час затишья — но море

все еще вздымало гигантские, подобные горам, волны, оставленные ушедшим ураганом. Меня бешено мчало к каналу Стрёма, и через несколько минут я был прибит к берегу, где производилась рыбная ловля. Одна из лодок подобрала меня; я был совершенно истощен, благодаря усталости, и (теперь, когда опасность прошла) я онемел от воспоминания об ее ужасах. Рыбаки, подобравшие меня, были моими старыми товарищами, мы встречались изо дня в день, но они меня не узнали, как не узнали бы странника, пришедшего из мира духов. Волосы мои, бывшие за день до этого черными, как вороново крыло, совершенно побелели, они стали такими, как теперь. Говорят, что и все выражение моего лица переменилось. Я рассказал им мою историю — они не поверили. Я рассказываю ее теперь *вам*, и вряд ли могу надеяться, что вы поверите мне более, нежели веселые лофоденские рыбаки.

Беседа между Моносом и Уной

То, что грядет.

Софокл. «Антигона».

Уна. «Вновь рожденная»?*

Монос. Да, прекраснейшая и нежно любимая

моя Уна, «вновь рожденная». Таковы были слова, о мистическом значении которых я так долго размышлял, отвергая истолкования, данные жречеством, пока Смерть сама не разрешила для меня тайну.

Уна. Смерть!

Монос. Как странно, милая Уна, ты вторишь моим словам! Я вижу какое-то колебание в твоих шагах, в глазах твоих какое-то радостное беспокойство. Ты смущена и подавлена величественной новизною Вечной Жизни. Да, я говорил о Смерти. И как необычно звучит здесь это слово, издавна вносившее ужас во все сердца, пятная ржавчиной все наслаждения!

Уна. А, Смерть, призрак, присутствовавший при всех празднествах! Как часто, Монос, терялись мы в размышлениях об ее природе! Как таинственно вставала она помехою для людского благословения, говоря ему — «до сих пор, и не дальше!»* Эта правдивая взаимная любовь, горевшая в груди у нас, милый мой Монос, — как тщетно мы тешили себя мыслью, что, если мы счастливы при ее первом возникновении, наше счастье возрастет с ее возрастанием! Увы, по мере того как она росла, рос в наших сердцах и страх пред тем недобрым часом, который спешил, чтобы разлучить нас

навсегда! И, таким образом, с течением времени, любить стало мучением. Самая ненависть была бы тогда милосердием.

Монос. Не говори здесь об этих печалях, дорогая Уна — моя, теперь моя навеки.

Уна. Но память о прошлой печали не составляет ли радость в настоящем? Мне многое еще хочется сказать о вещах, которые были. Прежде всего, я горю нетерпением узнать об обстоятельствах твоего перехода через темную Долину и Тень.

Монос. Когда же блистательная Уна спрашивала о чем-нибудь своего Моноса напрасно? Я буду подробен в своем повествовании, но с какого времени должен начаться зачарованный рассказ?

Уна. С какого времени?

Монос. Ты сказала.

Уна. Я понимаю тебя, Монос. В Смерти мы оба познали склонность человека определять неопределимое. Я не хочу сказать, начни с момента прекращения жизни — но начни с того грустного, грустного мгновения, когда, после того как лихорадка оставила тебя, ты погрузился в бездыханное и недвижное оцепенение, и я закрыла твои бледные веки, прикоснувшись к ним страстными перстами любви.



В Смерти мы оба познали склонность человека определять неопределимое

Монос. Одно слово сначала, милая Уна, об общих условиях в жизни человека той эпохи. Ты помнишь, что один или два мудреца среди наших предков — мудрые в действительности, хотя не в глазах мира — посмели усомниться в верности выражения «прогресс» применительно к развитию нашей цивилизации. В каждом из пяти или шести столетий, непосредственно предшествовавших нашему распадению, бывали периоды, когда возникал какой-нибудь могучий ум, смело ратуя за те основоположения, истинность которых является теперь для нашего освобожденного разума столь неотразимо очевидной — основоположения, которые должны были бы научить нашу расу скорее покорствовать руководству законов природы, нежели пытаться управлять ими. Через долгие промежутки времени являлись первоклассные умы, смотревшие на каждое приобретение в области практического знания, как на шаг назад в сфере истинной полезности. Иногда поэтический разум — тот разум, что теперь предстает для нашего чувства, как самый возвышенный из всех — ибо истины, имевшие для нас наиболее важное значение, могли быть

достигнуты лишь с помощью той *аналогии*, которая говорит убедительно одному воображению, а для беспомощного рассудка не имеет смысла — иногда этот поэтический разум делал шаг дальше в развитии смутной идеи философского понимания, и в мистической притче, гласящей о древе познания и об его запретном смертоносном плоде, он находил явственные указания на то, что знание не приличествует человеку при младенческом состоянии его души. Эти люди — поэты — живя и погибая среди презрения «утилитаристов»*, грубых педантов, присвоивших себе наименование, подходившее лишь к тем, кто был презираем — эти люди, поэты, мучительно, но мудро, размышляли о старинных днях, когда наши потребности были настолько же простыми, насколько наши наслаждения острыми — о днях, когда *веселость* была словом неизвестным, так торжественно и полнозвучно было счастье — о тех святых, величественных и благословенных днях, когда голубые реки привольно бежали среди холмов, нетронутых ничьей рукой, в далекие лесные уединения, первобытные, душистые и неисследованные. Но такие благородные исключения из общей междоусобицы служили лишь к тому, чтобы увеличить ее силою сопротивления.

Увы, к нам пришли самые недобрые из всех наших недобрых дней. Великое «развитие»* — так лицемерие назвало его — шло своим чередом: недужное сотрясение, моральное и физическое. Искусство — Искусства — воцарились и, раз занявши трон, набросили цепи на разум, вознесший их ко власти. Человек, не могший не признавать величия Природы, пришел в ребяческое ликование по поводу достигнутого им и все увеличивавшегося господства над ее стихиями. И как раз тогда, когда он рисовался себе в своем воображении Богом, младенческое тупоумие овладело им. Как можно было предположить по началу его недуга, он заразился системой и абстракцией. Он запутался в обобщениях. Среди других неуклюжих идей мысль о всеобщем равенстве завладела вниманием: и пред лицом аналогии и Бога — вопреки громко предостерегающему голосу законов *градации*, столь видимо проникающей все, что есть на Земле и на Небе — были сделаны безумные попытки установить всеглавенствующую Демократию. Но это зло неизбежно проистекало из зла руководящего, Знания. Человек не мог одновременно знать и подчиняться. А между тем возникли огромные дымящиеся города, неисчислимые. Искажен-

ные, сжались зеленые листья перед горячим дыханием печей. Прекрасный лик Природы был обезображен как бы губительным действием какой-то омерзительной болезни. И мне кажется, милая Уна, что даже наше дремотное чувство искусственности и неестественности могло бы остановить нас здесь. Но теперь явствует, что мы сами создали наше разрушение, извратив наш *вкус* или, скорее, слепо предав небрежению его воспитание в школах. Ибо поистине, во время такого кризиса, один только вкус — эта способность, которая, занимая среднее положение между чистым разумом и моральным чувством, никогда бы не должна была упускаться из внимания — только вкус мог бы мягко возвратить нас к Красоте, к Природе и к Жизни. Но, увы, где был этот чистый созерцательный дух и величественная интуиция Платона! Увы, где была эта μουσική[48], в которой он справедливо видел некое всеудовлетворяющее воспитание для души. Увы, и в том и в другом была самая крайняя нужда, когда и то и другое было самым безраздельным образом забыто или презрено.

Паскаль*, философ которого мы оба любим, ска-

---

[48] Примечания: 48
μουσική — музыка.*

зал — и как верно! — *«que tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment»*[49]; и не вполне невозможно, что чувство естественности, если бы время позволило, снова захватило бы свое старинное господство над жестким школьным математическим рассудком. Но этого не случилось. Наступила преждевременная старость мира, обусловленная излишествами знания. Масса человечества этого не увидала, или, живя чувственно, хотя и несчастливо, не хотела видеть. Что касается меня, повествования Земли научили меня видеть в полной гибели награду самой высокой цивилизации. Я почерпнул предведение нашей Судьбы в сопоставлении Китая, простого и терпеливого, с архитектурной Ассирией, с Египтом, чей гений — астрология, с Нубией, более утонченной, чем две эти страны, с беспокойной матерью всех Искусств. В истории* этих стран я встретил проблеск из Будущего. Индивидуальные явления искусственности в области трех этих последних были местными недугами Земли, и в индивидуальном их ниспровержении мы видели применение местных целительных средств; но для зараженного мира во всем его

---

[49] Примечания: 49
Все наши рассуждения сводятся к тому, чтобы уступить чувству.

объеме я не мог предвидеть возрождения иначе, как в смерти. И так как человек, в смысле расы, не мог прекратиться, я увидел, что он должен быть *«вновь рожденным»*.

Тогда-то, моя прекрасная, моя возлюбленная, мы в свете дней окутывали наши души снами, мы в сумеречном свете говорили о днях грядущих, когда изуродованная Искусственностью поверхность Земли, подвергнувшись тому *purification*[50], которое лишь одно могло бы стереть ее прямоугольные непристойности, вновь оденется зеленью и горными склонами и смеющимися водами Рая, и сделается, наконец, достойным обиталищем для человека — для человека, очищенного Смертью, для человека, возвышенный ум которого в знании не будет больше находить отравы — для освобожденного, возрожденного, блаженного и отныне бессмертного, хотя все еще *материального*, человека.

Уна. Я хорошо помню эти беседы, милый Монос; но эпоха ниспровержения огнем была не так близка, как мы думали, и как указанный тобой упадок достоверно предвозвещал нам. Люди жили и умирали в пределах индивидуальности. И

---

[50] Примечания: 50
purification — очищение.*

ты сам занемог и перешел в могилу; в могилу же быстро за тобой последовала и твоя верная Уна. И хотя столетие, которое прошло с тех пор и своим заключением еще раз соединило нас, не терзало наши дремлющие чувства нетерпеливым ощущением длительности, однако, милый Монос, это было все-таки столетие.

Монос. Скажи лучше — точка в смутной бесконечности. Бесспорно, я умер во время одряхления Земли. Сердце мое было истомлено тревогой, благодаря всеобщей смуте и упадку; я сделался жертвой жестокой лихорадки. После нескольких немногих дней страданий, и многих дней исполненного сновидений бреда, насыщенного экстазом, проявления которого ты приняла за страдания, между тем как я жаждал, но был бессилен рассеять твое заблуждение — после нескольких дней, как ты сказала, мной овладело бездыханное и неподвижное оцепенение; и те, что стояли вокруг меня, нарекли это *Смертью*.

Слова — существа смутные. Мое состояние не лишило меня способности восприятия. Оно представилось мне не очень отличающимся от крайнего успокоения того человека, который, после долгого и глубокого сна, неподвижно лежа, весь распростертый, в полуденный час жгучего

лета, начинает медленно возвращаться к сознанию, не будучи пробужден никакой внешней помехой, но лишь в силу достаточности своего сна.

Я более не дышал. Пульс был недвижим. Сердце перестало биться. Хотение не исчезло, но было бессильно. Чувства были необыкновенно деятельными, хотя деятельность их проистекала из разных центров — нередко они исполняли свои отправления вперемежку, одно вместо другого. Вкус и обоняние были неразрешимо смешаны и превратились в одно чувство, ненормальное и напряженное. Розовая вода, которою ты ласково увлажнила мои губы в последнее мгновение, наполнила меня нежными видениями цветов — фантастических цветов, гораздо более красивых, чем какой-либо из цветков старой Земли, но прообразы которых мы видим здесь цветущими вкруг нас. Прозрачные и бескровные веки не представляли полной преграды для зрения. Так как воля отсутствовала, глазные яблоки не могли вращаться в своих впадинах — но все предметы в области зрительного полушария были видимы с большей или меньшей явственностью; лучи, падавшие на внешнюю сетчатку или в углы глаза, производили более живое впечатление, чем те

лучи, которые касались лба или внутренней поверхности глаза. Но это впечатление было столь аномальным, что я воспринимал его только как *звук* — нежный или резкий, в соответствии с тем, были ли предметы, возникавшие возле меня, светлыми или темными в своей поверхности, закругленными или полными углов в очертаниях. В то же самое время слух, хотя и возбужденный до известной степени, не был неправильным в своем действии — он только оценивал реальные звуки с поразительной точностью и с столь же необыкновенной повышенностью восприятия. Осязание подверглось перемене более своеобразной. Впечатления, им воспринимаемые, принимались медленно, но задерживались с упорством, и каждый раз кончались самым высоким физическим наслаждением. Так, прикосновение твоих нежных пальцев к моим векам, сперва воспринятое лишь зрением, потом, после того как они давно уже были удалены, наполнило все мое существо безмерным чувственным восторгом. Я говорю, чувственным восторгом. *Все* мои восприятия были чисто чувственными. Материалы, доставлявшиеся бездейственному мозгу чувствами, ни в малейшей степени не облекались умершим разумением в форму. Страдания

было в этом очень мало; наслаждения много; но морального страдания или наслаждения — не было вовсе. Так, твои безумные рыдания волною проникли в мой слух со всеми переменами их скорбной певучести, и были восприняты в каждом изменении их печального ритма; но они были нежными музыкальными звуками — и только; они не внушали угасшему рассудку указания на скорбь, их родившую; между тем как обильные, крупные слезы, падавшие на мое лицо, говоря присутствующим о сердце, которое разбилось, наполняли каждую фибру моего существа только экстазом. И это было поистине — *Смертью*, о которой эти присутствовавшие говорили благоговейно, тихим шепотом, а ты, нежная Уна, задыхаясь и громкими криками.

Они одевали меня во гроб — три или четыре темные фигуры, озабоченно метавшиеся туда и сюда. Когда они пересекали прямую линию моего зрения, они действовали на меня как *формы*; но, проходя сбоку, их образы исполняли меня впечатлением криков, стонов, и других зловещих выражений страха, ужаса и горя. Ты одна, одетая в белое, двигалась вокруг меня по всем направлениям музыкально.

День убывал; и по мере того как его свет слабел,

мной стало овладевать смутное беспокойство — тревога, какую испытывает спящий, когда печальные, реальные звуки беспрерывно упадают в его слух — отдаленные, тихие, колокольные звоны, торжественные, разделенные долгими, но равными моментами молчания, и согласованные с грустными снами. Пришла ночь, и вместе с ее тенями чувство тягостной неуютности. Она налегла на мои члены бременем чего-то тупого и тяжелого, и была осязательна. В ней был также звук глухого стенания, подобный отдаленному гулу прибоя, но более продолжительный, который, начавшись с наступлением сумерек, возрос в силе с наступленьем темноты.

Внезапно в комнату были внесены свечи, и этот гул, прервавшись, немедленно возник частыми, неравными взрывами того же самого звука, но менее угрюмого и менее явственного. Гнет тяжелого бремени в значительной степени был облегчен; и, исходя от пламени каждой лампады (их было несколько), в мой слух беспрерывно вливалась волна монотонной мелодии. Когда же, приблизившись к ложу, на котором я был распростерт, ты тихонько села около меня, милая Уна, ароматно дыша своими нежными устами и прижимая их к моему лбу, в груди моей трепетно

пробудилось что-то такое, что, смешавшись с чисто физическими ощущениями, вызванными во мне окружающим, возникло как нечто родственное самому чувству — чувство, которое, наполовину оценив твою глубокую любовь и скорбь, наполовину ответило им; но это чувство не укрепилось в сердце, чуждом биений, и казалось скорее тенью, чем действительностью, и быстро поблекло, сперва превратившись в крайнее спокойствие, потом в чисто чувственное наслаждение, как прежде.

И тогда из обломков и хаоса обычных чувств во мне как бы возникло шестое чувство, всесовершенное. Я обрел безумный восторг, в его проявлениях — но восторг все еще физический, так как разумение не участвовало в нем. Движение в физической основе совершенно прекратилось. Ни один мускул не дрожал; ни один нерв не трепетал; ни одна артерия не билась. Но в мозге, по-видимому, возникло *то*, о чем никакие слова не могут дать чисто человеческому разуму даже самого смутного представления. Я хотел бы назвать это умственным пульсирующим маятником. Это было моральное воплощение отвлеченной человеческой идеи *Времени*. Абсолютным уравниванием этого движения — или

такого, как это — были выверены циклы самих небесных тел. С помощью его я измерил неправильности часов, стоявших на камине, и карманных часов, принадлежавших окружающим. Их тикания звучно достигали моего слуха. Малейшие уклонения от истинной пропорции — а эти уклонения были господствующим явлением — производили на меня совершенно такое же впечатление, какое нарушения отвлеченной истины на земле производят обыкновенно на моральное чувство. Хотя в комнате не было даже двух хронометров, индивидуальные секунды которых в точности совпадали бы, для меня, однако, не было никакого затруднения удерживать в уме тоны и относительные мгновенные ошибки каждого. И вот это-то чувство — это острое, совершенное, самосуществующее чувство *длительности*, чувство, существующее (человек, пожалуй, не мог бы этого понять) независимо от какой-либо последовательности событий — эта идея — это шестое чувство, восставшее из пепла погибших остальных, было первым, очевидным и достоверным шагом вневременной души, на пороге временной Вечности.

Была полночь, и ты еще сидела около меня. Все другие удалились из комнаты Смерти. Они по-

ложили меня в гроб. Лампады горели неверным светом; я знал это по трепетности монотонных струн. Вдруг эти звуковые волны уменьшились в ясности и в объеме. И вот, они совсем прекратились. Аромат исчез из моего обоняния. Формы не влияли больше на мое зрение. Гнет Темноты приподнялся от моей груди. Глухой толчок, подобный электрическому, распространился по моему существу, и за ним последовала полная потеря идеи соприкосновения. Все то, что люди называют чувством, потонуло в безраздельном сознании сущности и в единственном неотступном чувстве длительности. Смертное тело было, наконец, поражено рукою смертного *Распадения*.

Но еще не вся восприемлемость исчезла, потому что сознание и чувство, продолжая оставаться, заменяли некоторые из ее проявлений летаргической интуицией. Я оценил теперь зловещую перемену, совершившуюся в моем теле, и как спящий иногда сознает телесное присутствие того, кто над ним наклоняется, так я, о, нежная Уна, все еще смутно чувствовал, что ты сидела около меня. И когда пришел полдень второго дня, я тоже не был чужд сознания тех движений, которые отодвинули тебя от меня, и заключили меня в гробу, и сложили меня на погребальные дроги,

и отнесли меня к могиле, и опустили меня туда, и тяжко нагромоздили надо мною комья земли, и так оставили меня, в черноте и в разложении, отдав меня печальным и торжественным снам в сообществе с червем.

И здесь, в этой темнице, у которой мало тайн, чтобы их разоблачить, пронеслись дни и недели и месяцы; и душа тесно следила за каждой улетающей секундой, и без усилия запоминала ее полет — без усилия и без цели.

Прошел год. Сознание *бытия* с каждым часом становилось менее явственным, и сознание простого *местонахождения* в значительной степени заступило его. Идея сущности слилась с идеей *места*. Узкое пространство, непосредственно окружавшее то, что было телом, делалось теперь самым телом. Наконец, как часто случается со спящим (лишь посредством сна и его мира изобразима *Смерть*) — наконец, как иногда случается на Земле с тем, кто охвачен глубокой дремотой, когда какой-нибудь промелькнувший свет наполовину пробудил его, но оставил его наполовину погруженным в сны — ко мне, в тесном объятии с *Тенью*, достиг *тот* свет, что один должен был бы иметь силу пробуждать — свет непрерывной *Любви*. Над могилой, где я лежал, погружаясь во

тьму, — суетились люди. Они приподняли влажную землю. На мои ветшающие кости опустился гроб Уны.

И вот опять все было пусто. Этот облачный свет погас. Этот слабый трепет, вибрациями, перешел в покой. Одно за другим толпою прошли *пятилетия*. Прах возвратился к праху. Для червя больше не было пищи. Чувство бытия, наконец, совершенно исчезло, и, заменяя его, заменяя все, воцарились господствующие и беспрерывные — самодержцы, *Место* и *Время*. Для *того*, что уже *не было* — для того, что не имело формы — для того, что не имело мысли — для того, что не имело чувства — для того, что было беззвучным, но в чем материя не участвовала совсем — для всего этого ничтожества, для всего этого бессмертия, могила была еще домом, и разъедающие часы — сотоварищами.

Убийство на улице Морг

Какую песню пели Сирены или какое имя принял Ахилл, когда он скрывался среди женщин, – эти вопросы, хотя и ошеломительны, все же не вне всякой догадки.*

Сэр Томас Браун*
«Захоронения в урнах»

Умственные черты, обсуждаемые как аналитические, сами по себе мало способны к анализу. Мы оцениваем их только по их следствиям. Мы знаем о них, наряду с другими обстоятельствами, что они всегда являются для их обладателя, когда он обладает ими в неумеренном количестве, источником самого живого наслаждения. Как сильный человек наслаждается физической ловкостью, предаваясь таким упражнениям, которые приводят его мускулы в движение, так человек анализирующий извлекает для себя славу и восторг в той умственной деятельности, которая распутывает. Он извлекает наслаждение даже из самых тривиальных занятий, приводящих его талант в действие. Он увлечен загадками, игрою слов, иероглифами; ибо в разрешении каждой загадки он являет известную степень *тонкой проницательности*, кажущейся восприятию заурядному сверхъестественной. Получаемые

им результаты, обусловливаемые самою душою и сущностью метода, имеют, на самом деле, вид совершенной интуиции.

Способность разрешения, возможно, очень усиливается изучением математики и, в особенности той высшей ее отрасли, каковая несправедливо и главным образом на основании ее вспять идущих операций, была названа как бы par excellence[51], анализом. Шахматный игрок, например, делает одно без усилия в другом. Отсюда следует, что игра в шахматы в своих влияниях на умственную природу весьма неверно истолковывается. Я не пишу ныне какой-либо трактат, но просто — в виде предисловия к несколько своеобразному повествованию — весьма наудачу привожу различные соображения; я воспользуюсь по этому случаю возможностью утверждать, что непоказная игра в шашки требует более решительно и более планомерно высших способностей размышляющего понимания, нежели все утонченные суетности шахматной игры. В этой последней, где фигуры имеют различные и причудливые движения с различными и меняющимися ценностями, то, что лишь сложно, ошибкой (ошибка отнюдь

[51] Примечания: 51
По преимуществу (*фр.*).

не необычная) принимается за то, что глубоко. Внимание весьма сильно призывается здесь к действию. Если оно ослабевает на мгновение, совершается недосмотр, и отсюда ущерб или поражение. Так как возможные движения не только многообразны, но и развертываются по кривой линии, вероятия таких недосмотров многочисленны; и в девяти случаях из десяти выигрывает не более тонкий игрок, а, скорее, более сосредоточенный. В шашках, напротив, где движения единообразны и лишь мало видоизменяются, вероятия недосмотра уменьшены, и так как простое внимание сравнительно не призывается к пользованию, выгоды, получаемые той и другой партией, достигаются превосходной степенью тонкого понимания. Чтобы быть менее отвлеченным — предположим игру в шашки, где фигуры сведены до четырех дамок и где, конечно, нельзя ожидать никакого недосмотра. Явно, что здесь победа может быть решена (при полном равенстве игроков) лишь каким-нибудь изысканным движением, как результатом какого-нибудь сильного напряжения ума. Лишенный обычных ресурсов, человек анализирующий опрокидывается в дух своего противника, отожествляет себя с ним и нередко видит, таким образом, единым

взглядом единственную возможность (иногда поистине нелепо простую), с помощью которой он может вовлечь в ошибку или подтолкнуть в неверный расчет.

Долгое время обращал на себя внимание вист, благодаря своему влиянию на то, что зовется способностью рассчитывать; и люди с умственными способностями высокого разряда, как известно, находили в этой игре, но видимости, необъяснимое наслаждение, избегая в то же время игры в шахматы, как вещи пустой. Без сомнения, нет никакой игры, по природе родственной, которая бы в такой степени захватывала способность анализа. Лучший на свете игрок в шахматы может быть мало чем большим, чем лучший игрок в шахматы; успешность же игры в вист связана со способностью к успеху во всех тех более важных предприятиях, где ум борется с умом. Когда я говорю успешность, я разумею то совершенство в игре, которое включает в себя постижение всех источников, из коих законным образом можно извлекать выгоду. Они не только многоразличны, но и многообразны, и часто скрываются в уголках ума, совершенно недоступных для заурядного понимания. Наблюдать внимательно, значит явственно припоминать; и в этом смысле

сосредоточенный игрок в шахматы окажется очень хорошим игроком в вист; ибо правила Хойла* (сами основанные на простом механизме игры) достаточно и легко постижимы. Таким образом, иметь тренированную память и поступать по указаниям «правил», это суть пункты вообще рассматриваемые как полная сумма хорошего умения играть. Но способность анализа выясняется именно в вещах, лежащих за пределами простого правила. Человек, способный к анализу, делает, молча, целое множество наблюдений и выводов. Так, быть может, поступают и его соучастники в игре; и различие в объеме получаемых выводов заключается не столько в доброкачественности способности выводить, сколько в качестве наблюдения. Необходимое знание есть знание того, что нужно наблюдать. Наш игрок отнюдь не ставит себе ограничений; и так как целью является игра, он отнюдь не отбрасывает выводов из вещей, игре совершенно чуждых. Он исследует лицо своего партнера, сравнивая его тщательно с лицом каждого из противников. Он рассматривает способ подбирания карт в каждой руке, часто считая козырь за козырем и фигуру за фигурой по взглядам, бросаемым на каждую карту их обладателями.

Он подмечает каждое изменение лица но мере того, как игра идет, накопляя целый капитал мысли из различий в выражении уверенности, удивления, торжества и огорчения. Из манеры брать взятку он делает заключение, способно ли данное лицо взять новую взятку при следующем ходе. Он узнает то, что сыграно ложным маневром, по виду, с которым карты брошены на стол. Случайное или неосторожное слово, случайно упавшая или повернутая карта, в сопровождении тревожного или небрежного желания ее скрыть; считание взяток, с порядком их распределения; затруднение, колебание, живость или трепетный порыв — все доставляет для его, на вид интуитивного, восприятия указания истинного положения вещей. Когда сыграны два-три тура, он вполне владеет приемами каждой руки и засим играет своими картами с такой совершенною точностью замысла, как если бы остальные игроки показали свои собственные карты лицом.

Аналитическая способность не должна быть смешиваема с простой находчивостью; ибо, в то время как человек анализирующий необходимым образом находчив, человек находчивый часто достопримечательным образом неспособен к анализу. Способность построения или сочета-

ния, через которую обыкновенно проявляется находчивость и которая, по мнению френологов* (полагаю, ошибочному), имеет свой собственный отдельный орган, при допущении, что это способность первичная, часто наблюдалась у тех, чем разум в других отношениях граничил с идиотизмом, возбуждая всеобщее внимание среди писателей-моралистов. На самом деле, между находчивостью и аналитической способностью существует разница гораздо большая, чем между фантазией и воображением, но по характеру строго аналогичная. Действительно, рассматривающий это найдет, что человек находчивый всегда фантастичен, а человек с истинным воображением никогда не есть что-нибудь иное, нежели человек анализа.

Следующее повествование будет служить читателю как бы некоторым пояснением к утверждениям, только что высказанным.

Живя в Париже во время весны и части лета 18… года, я познакомился с мосье Ш. Огюстом Дюпеном. Этот молодой человек был из хорошей — нет, даже из знатной — фамилии*, но разнообразием неблагоприятных обстоятельств он был приведен к такой бедности, что энергия его характера уступила, и он перестал делать

какие-нибудь усилия, чтобы достичь успеха или заботиться о восстановлении своего состояния. Благодаря любезности его кредиторов в его распоряжении еще оставалась небольшая доля его наследственного имения, и, пользуясь чрезвычайно экономно доходом с нее, он мог доставлять себе все необходимое для жизни, не заботясь об излишествах. Единственной его роскошью были, на самом деле, книги, а в Париже их получать легко.

Первое наше знакомство произошло в одной малоизвестной библиотеке на улице Монмартр, где мы были приведены к более тесному соприкосновению той случайностью, что мы оба отыскивали одну и ту же весьма редкую и весьма замечательную книгу. Мы увиделись друг с другом еще и еще. Я был чрезвычайно заинтересован его семейной историей, которую он мне рассказал подробно, с тем чистосердечием, что составляет особенность француза, когда темой разговора служит его собственное я. Я был удивлен, кроме того, обширными размерами его начитанности; и, превыше всего, я чувствовал, что душа моя загорается от причудливого пламени и живой свежести его воображения. Ища в Париже некоторых предметов, составлявших

тогда предмет моих алканий, я чувствовал, что общество такого человека было бы для меня неоцененным сокровищем, и в этом чувстве я чистосердечно ему признался. В конце-концов было условлено, что мы будем жить вместе во время моего пребывания в этом городе; и так как мои деловые обстоятельства были несколько менее запутаны, чем его, мне было возможно взять на себя расходы по содержанию и обстановке при найме, — в стиле, соответствовавшем несколько мрачной фантастичности нашего общего темперамента, — изъеденного временем и гротескного дома, давно заброшенного, благодаря суевериям, о коих мы не расспрашивали, и находившегося в полуразрушенном состоянии в уединенной и пустынной части Сен-Жерменского* предместья.

Если бы рутина нашей жизни в этом обиталище была известна миру, нас бы сочли за сумасшедших — хотя, быть может, сумасшедших безобидного свойства. Наша отъединенность была полная. Мы не допускали никаких посетителей. Местность нашего убежища тщательно соблюдалась в тайне от прежних моих знакомых; и уже несколько лет, как Дюпен перестал знать кого-либо или быть кому-либо известным в Париже. Мы существовали лишь сами в себе и

друг в друге.

У друга моего была прихоть фантазии (ибо как иначе мне это назвать?) быть влюбленным в Ночь во имя ее самой; и в эту причудливость, как во все другие его причуды, я спокойно вовлекся, отдаваясь его безумным выдумкам с полным увлечением. Черное божество не могло бы само по себе пребывать с нами всегда; но мы могли подделать его присутствие. При первых проблесках утренней зари мы закрывали все тяжеловесные ставни нашего старого жилища и зажигали две свечи, которые будучи сильно надушены, бросали лишь очень слабые и очень призрачные лучи. При помощи их мы после этого погружали наши души в сновидения — читали, писали или разговаривали, пока часы не возвещали нам пришествие настоящей Тьмы. Тогда мы устремлялись на улицу, рука об руку, продолжая беседу дня или блуждая и уходя далеко, до позднего часа ища среди диких огней и теней людного города той бесконечности умственного возбуждения, которой не может доставить спокойное наблюдение.

В такие часы я не мог не замечать с восхищением (хотя богатая идеальность моего друга должна была меня подготовить к этому) особой анали-

тической способности в Дюпене. По-видимому, он даже извлекал чрезвычайное наслаждение из применения ее — или, пожалуй, точнее говоря, из ее явного выказывания — и без колебаний признавался в извлекаемом, таким образом, наслаждении. Он нахваливал мне с тихим, довольным смехом, что у множества людей, по отношению к нему, есть окна в груди, и такие утверждения он обыкновенно тотчас подтверждал прямыми и весьма поразительными доказательствами его близкого знания моего собственного сердца. Его манера обращения в такие мгновения была скована и отвлеченна; в его глазах отсутствовало выражение, в то время как его голос, обыкновенно богатый тенор, доходил до дисканта, который звучал бы шаловливо, если бы не обдуманность и не полная отчетливость в способе выражений. Наблюдая его в таких настроениях, я часто размышлял о старинной философии — двойственности души*, души-двойника, и забавлялся фантазией о двойном Дюпене — творческом и разрешающем.

Да не будет предположено из того, что я только что сказал, что я развиваю какую-нибудь тайну или пишу роман. То, что я описал в данном французе, было просто следствием возбужденного и,

быть может, больного разума. Но относительно характера его замечаний, в описываемый период, наилучшее представление может дать пример.

Мы бродили однажды ночью вдоль по длинной, грязной улице, что находится по соседству с Пале-Рояль*. Мы были оба, по-видимому, погружены каждый в свои мысли, и ни один из нас не произнес ни слова, по крайней мере, в течении пятнадцати минут. Вдруг Дюпен, совершенно неожиданно, разразился словами:

— Он весьма малого роста, это правда, и более был бы он на своем месте в Theatre des Varietes[52].

— В этом не может быть сомнения, — ответил я не думая и не замечая сперва (настолько я был погружен в размышление) необыкновенной манеры, которою говорящий согласовал свои слова с моими размышлениями. Мгновение спустя я опомнился, и удивление мое было очень сильно.

— Дюпен, — сказал я очень серьезно, — это вне моего понимания. Скажу без колебаний, я ошеломлен, и едва могу верить моим чувствам. Как это было возможно, чтобы вы знали, что я думал о ...? — Здесь я помедлил, чтобы удостовериться

---

[52] Примечания: 52
В театре «Варьете»* (*фр.*).

несомненно, действительно ли он знал, о ком я думал.

— О Шантильи, — сказал он. — Зачем вы остановились! Вы сделали про себя замечание, что его уменьшенный рост делает его неподходящим для трагедии. Это было как раз то, что составляло предмет моих размышлений. Шантильи был некогда сапожником-кропателем на улице Сен-Дени и, помешавшись на сцене, испытал себя в роли Ксеркса, в одноименной трагедии Кребийона, и был достопримечательно, язвительно и жестоко освистан за свои пыточные старания.

— Скажите мне, ради Бога, — воскликнул я, — с помощью какого метода — если тут есть метод — вы были способны измерить мою душу в данном случае? — На самом деле, я был даже более поражен, чем хотел это выразить.

— Это торговец фруктами, — ответил мой друг, — привел вас к заключению, что починятель подошв — недостаточного роста для Ксеркса и для чего-либо в таком роде.

— Торговец фруктами! — вы удивляете меня, я не знаю никакого торговца фруктами.

— А тот человек, что набежал на вас, когда мы входили в улицу — должно быть, минут пятнадцать тому назад.

Я вспомнил, действительно, что торговец фруктами, неся на своей голове огромную корзинку с яблоками, почти уронил меня случайно, когда мы проходили с улицы К. на ту главную улицу, где мы находились; но что общего могло это иметь с Шантильи, я не считал возможным уразуметь.

В Дюпене не было ни малейшей примеси шарлатанства.

— Я объясню, — сказал он, — и чтобы вы могли понять все совершенно ясно, мы сначала проследим ход ваших размышлений от того мига, о котором я говорил, до мгновения встречи с упомянутым торговцем фруктами. Главные звенья цепи следуют таким образом — Шантильи, Орион, доктор Никольс*, Эпикур*, стереотомия (пресечение твердых тел), камни мостовой, торговец фруктами.

Мало есть людей, которые бы в тот или иной период их жизни не забавлялись тем, что пробегали обратным ходом шаги, коими были достигнуты особые заключения их ума. Занятие это часто полно интереса; и кто прибегнет к нему впервые, тот будет удивлен, по-видимому, безграничным различием и бессвязностью между исходной точкой и конечной. Каково же должно было быть тогда мое изумление, когда я услыхал, что фран-

цуз сказал то, что он только что сказал, и когда я не мог не признать, что он сказал правду. Он продолжал:

— Мы говорили о лошадях, если я припоминаю правильно, как раз перед тем, когда мы ушли с улицы К. Это было последней темой нашего разговора. Когда мы переходили на эту улицу, торговец фруктами с огромной корзинкой на голове, быстро пройдя мимо нас, толкнул вас на кучу камней, нагроможденных на том месте, где переделывают мостовую. Вы наступили на один из валяющихся обломков камня, поскользнулись, слегка вывихнули себе щиколотку, казались чувствующим боль или раздосадованным, пробормотали несколько слов, обернувшись посмотрели на кучу камней и после этого продолжали дорогу в молчании. Я не был особенно внимателен к тому, что вы делали: но наблюдение стадо для меня, за последнее время, известного рода необходимостью.

Вы продолжали держать свои глаза устремленными на землю, смотря с живым выражением на ямки и выбоины в мостовой (таким образом, я увидел. что вы все еще думаете о камнях), пока мы не достигли маленькой улочки Ламартина*, которая была вымощена в виде опыта заходящи-

ми один на другой, и закрепленными, большими камнями. Тут ваше лицо прояснилось и, заметив, что ваши губы движутся, я не мог сомневаться, что вы прошептали слово «стереотомия», термин весьма аффектированно применяемый к такому разряду мостовой. Я знал, что вы не могли бы сказать себе «стереотомия» без того, чтобы не подумать об атомах, затем о теориях Эпикура; и так как недавно, когда мы говорили о данном предмете, я обратил ваше внимание на то, как своеобразно (хота это мало отмечено) смутные догадки этого благородного грека встретились с последней теорией космогонии из туманных пятен, я почувствовал, что вы не могли не поднять глаз к великому туманному пятну Ориона, и с уверенностью я ждал, что вы так сделаете. Вы взглянули вверх; и я удостоверился, что я правильно следил за ходом вашей мысли. Но в той язвительной тираде относительно Шантильи, которая появилась во вчерашнем номере «Musee», сатирик, делая непочтительные намеки на перемену кропателем своего имени при надевании котурнов, цитировал латинский стих, о котором мы часто говорили. Я разумею строку:

Perdidit antiquum litera prima sonum[53].

Я говорил вам, что стих этот имел отношение к Ориону, раньше писавшемуся Урион, и благодаря известным язвительностям, связанным с этим объяснением, я был уверен, что вы не могли его забыть. Было ясно поэтому, что вы не могли преминуть сочетать два представления Ориона и Шантильи. Что вы их сочетали, я это увидел по характеру улыбки, скользнувшей по вашим губам. Вы подумали об умерщвлении бедного сапожника. До этих пор вы шли сгорбившись, но тут я увидел, что вы выпрямились во весь ваш рост. Я убедился тогда, что вы размышляли о неказистой фигуре Шантильи. В эту минуту я прервал ваше размышление замечанием, что действительно он весьма мал ростом, этот Шантильи, и что он более бы был на месте в Theatre des Varietes.

Недолго спустя после этого мы читали вечернее издание «Gazette de Tribunaux»[54], и следующие столбцы остановили наше внимание.

«Необыкновенное убийство

---

[53] Примечания: 53
Утратила былое звучание первая буква* (*лат.*).

[54] Примечания: 54
«Судебной газеты» (*фр.*).

Сегодня утром, около трех часов, жители квартала Сен-Рок были разбужены целым рядом ужасающих криков, исходивших, по-видимому, из четвертого этажа в доме, находящемся на улице Морг, который, как известно, занимали *мадам Л'Эспанэ* и ее дочь, *мадемуазель Камилла Л'Эспанэ*. После некоторого промедления, причиненного напрасной попыткой проникнуть в квартиру обычным образом, главная дверь была сломана ломом, и восемь или десять соседей вошли в сопровождении двух *жандармов*. Тем временем крики прекратились, и когда входившие бросились на первую лестницу, были различимы два или более грубые голоса в сердитом споре, шедшие, казалось, из верхней части дома. Когда достигли второй площадки, эти звуки сразу прекратились и все стало совершенно тихо. Вошедшие поспешно рассеялись, переходя из комнаты в комнату. Достигнув обширной задней комнаты в четвертом этаже (дверь в которую, будучи замкнута ключом изнутри, была взломана), люди увидели зрелище, поразившее каждого не только ужасом, но и изумлением.

В комнате был самый дикий беспорядок, мебель была взломана и разбросана но всем направлениям. Там была лишь одна кровать, и постель с

нее была сорвана и брошена на середину пола. На кресле лежала бритва, запачканная кровью. На очаге были две или три длинные и густые пряди седых человеческих волос, также обрызганные кровью и, по-видимому, вырванные с корнем. На полу лежали четыре золотые монеты в двадцать франков, серьга с топазом, три большие серебряные ложки, три меньших размеров ложки из мельхиора и два мешочка, содержавшие около четырех тысяч франков золотом. Ящики одного комода в углу были выдвинуты и, по-видимому, разграблены, хотя многие предметы были в них нетронуты. Под постелью (не под кроватью) был найден небольшой железный сундучок. Он был отперт, ключ находился еще в замке. В нем не было ничего, кроме нескольких старых писем и других незначительных бумаг.

В комнатах не было никаких следов мадам Л'Эспанэ, но в очаге заметили необыкновенное количество сажи; была осмотрена дымовая труба, и (страшно сказать!) тело дочери, головою вниз, было вытащено оттуда, — оно было втиснуто в узкое отверстие на значительное расстояние. Тело было совершенно теплым. При исследовании его было замечено много ссадин, без сомнения, причиненных тем насилием, с которым тело

было втиснуто в камин и высвобождено оттуда. На лице были разные глубокие царапины, а на горле темные кровоподтеки и глубокие вдавлины от ногтей, как если бы умершая была насмерть задушена.

После основательного исследования каждой части дома, без каких-либо дальнейшего открытия, вошедшие направились на небольшой вымощенный двор, находившийся сзади здания, где лежало тело старой дамы, с горлом настолько перерезанным, что при попытке поднять ее, голова отпала. И тело, и голова были страшно изуродованы, тело настолько, что едва сохраняло какое-либо подобие человеческого.

К этой чудовищной тайне пока еще нет, как мы думаем, никакого ключа».

Газета следующего дня давала такие дополнения:

«ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ

Целый ряд отдельных лиц был допрошен в связи с этим необычайнейшим и страшным делом (слово *affaire* не было еще во Франции таким легковесным по смыслу, как оно кажется теперь нам. *Э. П.*), но ничего еще не обнаружилось такого, что бросало бы на него свет. Мы даем ниже все

полученные существенные свидетельства.

Полин Дюбур, прачка, показывает, что она знала обеих покойниц в течение трех лет, в продолжении какового периода она стирала на них. Старая дама и ее дочь, казалось, находились в добрых отношениях и были весьма заботливы одна к другой. Платили они отлично. Ничего не могла сказать касательно способа их жизни или их средств к существованию. Думает, что мадам Л'Эспанэ была гадалкой и этим жила. Говорили, что у нее были кое-какие денежки. Никогда не встречала в доме никого, когда приносила белье или приходила взять его. Уверена, что у них не было никакой прислуги. Как кажется, жилой обстановки не было ни в какой части дома, кроме четвертого этажа.

Пьер Моро, торговец табаком, показывает, что он обыкновенно поставлял мадам Л'Эспанэ, вот уже почти четыре года, небольшие количества курительного и нюхательного табаку. Родился по соседству, в данном квартале, и жил здесь всегда. Покойница и ее дочь занимали дом, в котором найдены их тела, уже более шести лет. Раньше в нем жил ювелир, который верхние комнаты отдавал внаймы разным лицам. Дом был собственностью мадам Л'Эспанэ. Она была

недовольна жильцом, который злоупотреблял помещением, и переселилась в это здание сама, отказываясь отдать внаймы какую-либо его часть. Старая дама была в состоянии младенчества. Свидетель видел дочь ее лишь пять или шесть раз за все эти годы. Обе они жили чрезвычайно уединенно. Говорили, что у них были деньги. Слыхал, как говорили среди соседей, что мадам Л'Эспанэ предсказывала судьбу, но не верил в это. Никогда не видал, чтобы кто-нибудь входил в двери, кроме старой дамы и ее дочери; раз только или два приходил комиссионер, да восемь или десять раз доктор.

Многие другие лица из соседей дали показания в том же смысле. Не упоминалось ни о ком, кто посещал бы дом. Было неизвестно, были ли в живых какие-нибудь родственники мадам Л'Эспанэ и ее дочери. Ставни окон на передней части дома редко открывались. Ставни задней части дома всегда были закрыты, кроме большой задней комнаты, на четвертом этаже. Дом — хороший, не очень старый.

Исидор Мюзэ, жандарм, показывает, что он был позван в дом около трех часов утра и увидел, что человек двадцать или тридцать на улице стараются проникнуть в дом. Он наконец взломал

дверь — не ломом, а штыком. Сделать это ему не представлялось затруднительным благодаря тому, что двери были двустворчатые, и ни сверху, ни снизу не были задвинуты засовы. Крики продолжались, пока дверь не была взломана, и тогда внезапно прекратились. Казалось, что это были пронзительные крики какого-то (или нескольких), кто находился в великой пытке, они были громкие и протяжные, а не короткие и быстрые. Свидетель первым взошел на лестницу. Достигнув первой площадки, он услышал два голоса, в громком и гневном споре — один голос грубый, другой — гораздо пронзительнее — очень странный голос. Он мог различить несколько слов, сказанных первым голосом, который был голосом какого-то француза. Вполне убежден, что это был не женский голос. Мог различить слова «sacre»[55] и «diable»[56], «черт» и «дьявол». Пронзительный голос принадлежал какому-то иностранцу. Не мог бы сказать с уверенностью, был ли то голос мужчины или женщины. Не мог разобрать, что говорилось, но думает, что язык был испанский. В каком состоянии находилась

---

[55] Примечания: 55
Проклятье (*фр.*).

[56] Примечания: 56
Чёрт *(фр.*).

комната и в каком состоянии были тела, это было описано данным свидетелем так, как мы рассказали вчера.

Анри Дюваль, сосед, и по ремеслу серебрянник, показывает, что он был одним из тех, которые первыми вошли в дом. Подтверждает свидетельство Мюзэ в главном. Как только дверь была взломана, они снова притворили ее, чтобы удерживать толпу, которая собиралась очень быстро, несмотря на поздний час ночи. Пронзительный голос, как думает этот свидетель, принадлежал какому-нибудь итальянцу. Уверен, что это был не француз. Не мог бы с уверенностью сказать, что это был мужской голос. Он мог быть и женским. Не знает итальянского языка. Не мог различить слов, но, судя по интонации, убежден, что говоривший был итальянец. Знал мадам Л'Эспанэ и ее дочь. Часто разговаривал с обеими. Уверен, что пронзительный голос не принадлежал ни той, ни другой покойнице.

Оденгеймер, ресторатор. Этот свидетель по собственной воле дает показания. Не говорит по-французски, и потому был допрошен через переводчика. Родом из Амстердама. Проходил мимо дома в то время, когда там были крики. Они длились несколько минут, — вероятно, минут

десять. Крики были долгие и громкие — очень страшные и мучительные. Был одним из тех, кто вошел в здание. Подтвердил предыдущие показания во всех отношениях, кроме одного. Уверен, что пронзительный голос — мужской — и принадлежит французу. Не мог различить произносимых слов. Они были громкие и быстрые — неровные — говорили, по-видимому, не то в страхе, не то в гневе. Голос был резкий. Не мог бы сказать, что голос был пронзительный. Грубый голос сказал несколько раз «sacre», «diable», и однажды «mon Dieu»[57].

Жюль Миньо, банкир, фирмы «Миньо и Сын», улица Делорен. — Миньо Старший. У мадам Л'Эспанэ была некоторая собственность. Он ей открыл счет в своем банке, весною такого-то года (восемь лет тому назад). Делала частые вклады малыми суммами. Не предъявляла никаких чеков до двух дней с половиной перед смертью, когда самолично взяла сумму в 4000 франков. Эта сумма была уплачена золотом, и с деньгами был послан на дом клерк.

Адольф Лебон, клерк фирмы «Миньо и Сын», показывает, что в упомянутый день, около полудня,

---

[57] Примечания: 57
Боже мой (*фр.*).

он провожал мадам Л'Эспанэ в ее жилище с четырьмя тысячами франков, положенными в два мешочка. Когда дверь была открыта, появилась мадемуазель Л'Эспанэ и взяла из рук у него один мешочек, между тем как старая дама освободила его от другого. Он поклонился им тогда и отбыл. Не видал кого бы то ни было на улице в это время. Это глухой закоулок — очень уединенный.

Уильям Бёрд, портной, показывает, что он был одним из тех. которые вошли в дом. Он англичанин. Жил в Париже два года. Был одним из первых, кто вошел на лестницу. Слышал спорящие голоса. Грубый голос принадлежал французу. Мог разобрать несколько слов, но не может сейчас все их припомнить. Слышал ясно «sacre» и «mon Dieu». В этот миг был такой звук, как будто боролось несколько человек. Звуки схватки и скребущего шарканья ногами. Пронзительный голос был очень громок; громче, чем грубый. Уверен, что это не был голос англичанина. По видимости, это был голос немца. Это мог быть женский голос. Не понимает по-немецки.

Четверо из вышеназванных свидетелей, вторично допрошенные, показали, что дверь комнаты, в которой было найдено тело мадемуазель Л'Эспанэ, была заперта изнутри, когда

вошедшие достигли ее. Тишина была полная — ни стонов, ни каких-либо шумов. Когда дверь была взломана, они не увидели никого. Окна, как задней, так и передней комнаты были закрыты и плотно заперты изнутри. Дверь, соединяющая обе комнаты, была закрыта, но не заперта. Дверь, ведущая из передней комнаты в коридор, была заперта ключом изнутри. Небольшая комната, в передней части дома на четвертом этаже, при входе в коридор, была открыта и дверь была приотворена. Эта комната была загромождена старыми постелями, ящиками и т. п. Предметы эти были тщательно отодвинуты и осмотрены. Не было ни одного дюйма в какой-либо части дома, который не был бы тщательно обыскан. Каминные трубы были прочищены сверху донизу. Дом был четырехэтажный, с чердаками (мансардами), опускная дверь на крыше была забита гвоздями очень основательно — и, по-видимому, не открывался в течение целого ряда лет. Время между звуком спорящих голосов и взломом двери было установлено свидетелями различно. По словам некоторых оно длилось лишь три минуты, по словам других — пять. Дверь была открыта с трудом.

Альфонсо Гарсиа, предприниматель похорон-

ных процессий, показывает, что он живет в улице Морг. Родом из Испании. Был одним из тех, которые вошли в дом. Не поднимался на лестницу. Нервен и боялся последствий волнения. Слышал голоса в споре. Грубый голос принадлежал французу. Не мог различить, что говорилось. Пронзительный голос принадлежал англичанину — уверен в том. Не знает английского языка, но судит по интонации.

Альберто Монтани, кондитер, показывает, что он был среди первых, вошедших на лестницу. Слышал упомянутые голоса. Грубый голос принадлежал французу. Различил несколько слов. Говоривший, по-видимому, укорял. Не мог разобрать отдельных слов, произносимых пронзительным голосом. Этот голос говорил быстро и неровно. Думает, что это был голос русского. Подтверждает общие свидетельства. Сам — итальянец. Никогда не разговаривал ни с каким уроженцем России.

Некоторые свидетели, вторично допрошенные, засвидетельствовали, что каминные трубы во всех комнатах четвертого этажа слишком узки, чтобы дать проход какому-нибудь человеческому существу. Говоря о чистке труб, они разумели не трубочистов, а цилиндрические метущие щет-

ки, которые употребляются трубочистами при чистке каминов. Эти щетки были пропущены вверх и вниз по всем дымовым трубам в доме. В здании нет никакой задней лестницы, по которой бы кто-нибудь мог спуститься, в то время как входившие поднимались по лестнице. Тело мадемуазель Л'Эспанэ было так плотно втиснуто в каминную трубу, что его не могли вытащить назад, пока четверо или пятеро из пришедших не применили всю свою силу.

Поль Дюма, врач, показывает, что он был призван осмотреть тела на рассвете дня. Оба тела лежали на парусине, натянутой на станке кровати, в комнате, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ. Тело молодой дамы было сплошь покрыто кровоподтеками и ссадинами. Тот факт, что оно было втиснуто в каминную трубу, мог бы служить достаточным объяснением такому виду тела. Горло было сильно воспалено. На нем было несколько глубоких царапин как раз под подбородком, вместе с целым рядом синих пятен, которые были, очевидно, следами от пальцев. Лицо было страшно изменено в цвете, и глазные яблоки выступили наружу. Язык был частью прокушен. Большой кровоподтек был открыт в углублении желудка, получившийся, по-видимо-

му, от надавливания коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эспанэ была задушена насмерть кем-то неизвестным, или несколькими неизвестными. Тело матери было чудовищно изуродовано. Все кости правой ноги и руки были более или менее сломаны. Берцовая кость левой ноги была весьма расщеплена, так же как все ребра на левой стороне. Все тело было в страшных кровоподтеках и пятнах. Невозможно сказать, каким образом могли быть причинены такие повреждения. Тяжелая дубина или широкая полоса железа, ножка кресла — какое-либо большое, тяжелое, и тупое оружие могло произвести подобные результаты, если бы оно находилось в руках очень сильного человека. Никакая женщина не могла бы причинить таких ударов каким-либо орудием. Голова умершей, когда ее увидел свидетель, была совершенно отделена от тела и также, в значительной степени, была раздроблена. Горло было, очевидно, перерезано каким-нибудь очень острым инструментом, вероятно, бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был призван осмотреть тело вместе с месье Дюма. Подтвердил свидетельство и мнения месье Дюма.

Ничего важного более не было выяснено, хотя было допрошено еще несколько других лиц.

Убийства, такого таинственного, и такого смутительного во всех своих частностях, никогда раньше не совершалось в Париже — если, вообще, какое-либо убийство было, в действительности, здесь совершено. Полиция была в полнейшем недоумении — обычное обстоятельство в делах такого рода. Нет, надо сказать, ни намека на какую-либо разгадку».

Вечерняя газета подтвердила, что величайшее волнение продолжает царить в квартале Сен-Рок — и что помещения упомянутого дома снова были тщательно обысканы и были сделаны новые допросы свидетелей, но все без какого-либо результата. Постскриптум возвещал, однако, что Адольф Лебон был арестован и заключен в тюрьму — хотя против него не было, по-видимому, никаких обвиняющих указаний, кроме фактов уже описанных.

Дюпен, казалось, был особенно заинтересован ходом этого дела — по крайней мере, так я решил по его манере, ибо он не делал никаких пояснений. Лишь после того как было возвещено, что Лебон заключен в тюрьму, он спросил меня, что я думаю касательно убийства.

Я мог лишь согласоваться со всем Парижем, полагая, что тайна неразрешима. Я не видел

никаких средств, с помощью которых было бы возможно проследить убийцу.

— Мы не должны судить о средствах, — сказал Дюпен, — по этой шелухе исследования. Парижская полиция, столь прославленная *за тонкое понимание*, хитра, но не более. В приемах ее нет метода, кроме метода мгновения. Она делает обширный парад мер; но, нередко, они так дурно приспособлены к назначенной цели, что напоминают месье Журдена*, спрашивающего sa robe de chambre pour mieux entendre la musique[58] Получаемые результаты нередко удивительны, но, по большей части, они являются следствием простого прилежания и расторопности. Когда этих качеств недостаточно, ее планы рушатся. Видок*, например, был превосходный угадчик и человек упорный. Но, без воспитанной мысли, он постоянно был вводим в заблуждение, именно напряженностью своих расследований. Он наносил ущерб своему зрению тем, что держал предмет слишком близко. Он мог видеть, быть может, один или два пункта, с необыкновенной ясностью, но, делая так, он, по необходимости, терял общий вид рассматриваемого. Тут есть

---

[58] Примечания: 58
свой халат, чтобы лучше слышать музыку *(фр.)*.

нечто, что может быть названо — быть слишком глубоким. Истина не всегда обитает на дне колодца*. На самом деле, что касается знания наиболее важного, я полагаю, что истина находится неизменно на поверхности. Не в долах она, где мы ее ищем, а находится на горных вершинах. Способы и источники такого рода ошибки превосходно типизируются в созерцании небесных тел. Смотреть на звезду беглым взглядом — созерцать ее косвенным образом, поворачивая к ней внешние части сетчатки (более чувствительные к слабым восприятиям света, нежели части внутренние), это значит видеть звезду явственно — это значит иметь наилучшую оценку ее блеска — блеска, который затуманивается как раз в соответствии с тем, что мы целиком устремляем на нее наше зрение. На глаз, в последнем случае, действительно, падает большее число лучей, но в первом случае существует более утонченная способность восприятия. Ненадлежащей глубиной мы делаем мысль смутной и ослабленной; и даже Венеру можно заставить исчезнуть с небосвода рассмотрением слишком длительным, слишком сосредоточенным или слишком прямым.

Что до этого убийства, сделаем некоторое рассмотрение сами, прежде чем составлять о нем

какое-либо мнение. Следствие нас позабавит, — я нашел, в данном случае, этот термин довольно странным, но не сказал ничего, — и, кроме того, Лебон однажды оказал мне услугу, за которую я ему не буду неблагодарен. Мы пойдем и посмотрим помещения дома нашими собственными глазами. С префектом полиции Ж. я знаком и получу необходимое разрешение без затруднений.

Разрешение было получено, и мы тотчас отправились на улицу Морг. Это одна из тех жалостных улочек, которые соединяют улицу Ришелье и улицу Сен-Рок. Было уже изрядно пополудни, когда мы достигли ее, ибо этот квартал находится на большом расстоянии от того, в котором мы жили. Дом был быстро найден, так как около него еще стояли разные люди и смотрели на закрытые ставни с беспредметным любопытством, с противоположной стороны улицы. Это был обыкновенный парижский дом с воротами, на одной стороне которых была будка с выдвижным оконцем, так называемая loge de consierge[59]. Прежде чем войти, мы пошли дальше по улице, повернули в боковой переулок и потом, снова повернув, прошли мимо задней части дома — Дю-

[59] Примечания: 59
Привратницкая (*фр.*).

пен, тем временем, осматривал все по соседству, так же как дом, с той подробной тщательностью внимания, для которой я не усматривал никакого надлежащего предмета. Вернувшись назад, мы снова пришли к передней части здания, позвонили и, показав наше разрешение, были впущены полицейскими. Мы вошли на лестницу — в комнату, где было найдено тело мадемуазель Л'Эспанэ и где еще находились обе покойницы. В комнате, как обычно в этих случаях, было предоставлено царить первичному беспорядку. Я не увидел ничего, кроме того, что было описано в «Gazette de Tribunaux». Дюпен подробно осматривал решительно все — не исключая тел жертв. Затем мы пошли в другие комнаты и на двор; один жандарм сопровождал нас всюду. Мы были заняты осмотром, до того как стемнело, и после этого отправились назад. По дороге домой мой товарищ остановился на минутку около конторы одной из ежедневных газет.

Я сказал, что причуды моего друга были многообразны, и я их менажировал[60] — для этого слова нет равноценного на английском языке. Ему теперь пришло в голову отклонить всякий

[60] Примечания: 60
Je les ménageais — Я им потакал (*фр.*).

разговор об убийстве до полудня следующего дня. Затем он спросил меня внезапно, не заметил ли я чего-нибудь *особенного* на месте преступления. Было что-то в его манере, с какою он сделал ударение на слове «особенный», что заставило меня вздрогнуть, не знаю почему.

— Нет, ничего *особенного*, — сказал я, — ничего более, по крайней мере, кроме того, что мы оба уже видели описанным в газете.

— Газета, — продолжал он, — боюсь, не проникла в необычный ужас дела. Но отбросим праздные мнения этой печатной бумаги. Мне представляется, что эта тайна считается неразрешимой на том самом основании, которое должно было бы заставить считать ее легкой для разрешения — я разумею *чрезвычайный* характер отличительных ее черт. Полиция смущена кажущимся отсутствием побудительной причины — не самого убийства, но жестокости убийства. Она озадачена, кроме того, кажущейся невозможностью примирить спорящие голоса с тем фактом, что наверху никого не было найдено, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, и что не было никакой возможности выйти, без того, чтобы не быть увиденным теми, кто поднимался по лестнице. Дикий беспорядок в комнате; тело втиснутое

головою вниз в каминную трубу; страшное изуродование тела старой дамы; эти соображения, вместе с только что упомянутыми, и другими, о которых нет надобности упоминать, оказались достаточными, чтобы парализовать действия властей и совершенно поставить в тупик хваленую тонкость понимания правительственных агентов. Они впали в грубую, но обычную ошибку, смешав необыкновенное с отвлеченным. Но именно, следуя за такими отклонениями от плана обычного, разум ощупывает свою дорогу, если он находит ее вообще, в своих поисках истины. В изысканиях таких, какие предприняты нами ныне, не столько важно спрашивать «что случилось», как «что случилось из того, что никогда не случалось раньше». На самом деле, легкость, с которой я достигну, или уже достиг, разрешения этой тайны, находится в прямом соотношении с кажущейся глазам полиции, видимой ее неразрешимостью.

Я пристально посмотрел на говорившего с немым изумлением.

— Я жду теперь, — продолжал он, смотря на дверь нашей комнаты, — я жду теперь некоего человека, который, хотя, быть может, и не будучи свершителем этих зверств, должен быть, в неко-

торой мере, запутан в их свершении. В худшей части совершенных преступлений, вероятно, он неповинен. Надеюсь, что я прав в этом предположении, ибо на этом я строю все мое чаяние расшифровать загадку целиком. Я жду некоторого человека, здесь, в этой комнате, каждую минуту. Это верно, что он может не придти; но вероятие гласит за то, что он придет. Если он придет, необходимо его удержать. Вот пистолеты; мы оба знаем, как ими пользоваться, ежели случай требует их применения.

Я взял пистолеты, мало разумея, почему я это сделал, и едва веря своим ушам, между тем как Дюпен продолжал, точно бы беседуя с самим собой. Я уже говорил об его отвлеченной рассеянной манере в такие минуты. Его речь была обращена ко мне; но его голос, хотя отнюдь не громкий, отличался той интонацией, которую обыкновенно употребляют, когда говорят с кем-нибудь, находящемся на далеком расстоянии. Его глаза, лишенные выражения, глядели лишь на стену.

— Что голоса в споре, — сказал он, — услышанные теми, кто входил по лестнице, не были голосами самих женщин, вполне доказано свидетелями. Это освобождает нас от всякого сомнения

касательно вопроса, не могла ли старая дама сперва убить свою дочь и потом совершить самоубийство. Я говорю об этом пункте, главным образом, во имя метода, ибо сила мадам Л'Эспанэ была бы крайне недостаточной, чтобы втиснуть тело дочери в каминную трубу, как оно было найдено, и самое свойство ран, найденных на ее теле, целиком исключает мысль о ее самоубийстве. Убийство, таким образом, было совершено кем-то третьим; и голоса этих третьих были слышны спорящими. Позвольте мне теперь обратить ваше внимание не на все свидетельство касательно этих голосов, но на то, что было особенного в этом свидетельстве. Не заметили ли вы здесь чего-нибудь особенного?

Я указал, что, в то время как все свидетели согласовались в предположении, что грубый голос принадлежал французу, было много разногласий касательно пронзительного или, как определил один свидетель, резкого голоса.

— В этом заключается самое свидетельство, — сказал Дюпен, — но это не составляет особенности свидетельства. Вы не заметили ничего отличительного. Однако же тут *было* нечто для наблюдения. Свидетели, как вы видите, согласуются касательно грубого голоса; они были в этом еди-

ногласны. Но касательно пронзительного голоса особенность состоит — не в том, что свидетели разнствуют — а в том, что, когда какой-нибудь итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз пытаются описать его, каждый говорит о нем как о голосе *чужеземца*. Каждый уверен, что это не был голос кого-либо из его земляков. Каждый сравнивает его — не с голосом представителя какой-нибудь народности, язык которой ему ведом — но наоборот. Француз предполагает, что это голос испанца и «мог бы различить некоторые слова, *если бы понимал испанский язык*». Голландец утверждает, что это был голос француза; но мы видим сообщение, что «*не понимая по-французски, свидетель был допрошен через переводчика*». Англичанин думает, что это голос немца, но «*он не знает немецкого языка*». Испанец «уверен», что это был голос англичанина, но «судит лишь по интонации, *так как английского языка не знает*». Итальянец полагает, что это голос русского, но «*он никогда не разговаривал с каким-либо уроженцем России*». Другой француз спорит, кроме того, с первым, и уверен, что это был голос итальянца; но, не зная этого языка, он, как и испанец, «судит по интонации». Итак, сколь же необычно странен должен был быть в

действительности этот голос, если относительно него *могли* быть собраны такие свидетельства! Голос, в тонах которого обитатели пяти великих делений Европы не могли признать ничего им знакомого! Вы скажете, что это мог быть голос азиата — или африканца. Ни азиаты, ни африканцы не изобилуют в Париже; но, не отрицая указания, я хочу только обратить ваше внимание на три пункта. Голос, как определил один свидетель, «был скорее резкий, чем пронзительный». Он был, как его изображают два другие свидетеля, быстрый и *неровный*. Никаких слов — никаких звуков, похожих на слова, ни один свидетель не различил.

— Я не знаю, — продолжал Дюпен, — какое впечатление, до сих пор, я мог оказать на ваше понимание, но я не колеблясь скажу, что законные выводы даже из этой части свидетельства — части, касающейся грубого голоса и пронзительного голоса, — сами по себе достаточны, чтобы породить подозрение, которое должно было бы дать направление всему дальнейшему ходу в расследовании тайны. Я сказал «законные выводы», но этим не вполне выразил свое мнение. Я хотел указать, что такие выводы суть *единственно* надлежащие, и что из них, как особый

результат, *неизбежно* возникает некоторое подозрение. Что это за подозрение, я, однако же, пока еще не скажу. — Я только хочу закрепить в вашем уме, что для меня оно является таковым, что, достаточным образом, вынуждает меня придать законченную форму, определенное направление вниманию, при моем исследовании комнаты.

Перенесемся теперь в воображении в эту комнату. Чего прежде всего мы будем там искать? Тех средств, с помощью которых убийцы ускользнули. Не слишком много сказать, что никто из нас обоих особенно не верит в сверхъестественное событие. Мадам и мадемуазель Л'Эспанэ были убиты не духами. Свершители деяния были существами вещественными и ускользнули вещественным образом. Каким же именно образом? К счастью, относительно данного пункта есть лишь один способ размышления, и этот способ должен привести нас к определенному решению. Расследуем, по отдельности, возможные средства ускользнуть. Ясно, что убийцы были в комнате, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ или, по крайней мере, в комнате к ней прилегающей, когда вошедшие поднимались по лестнице. Таким образом, лишь в этих двух комнатах мы должны искать выходов. Полиция вскрыла полы, потолки

и стены во всех направлениях. Никакие *тайные выходы* не могли бы ускользнуть от ее бдительности. Но не доверяясь ее глазам я осмотрел все моими собственными. Тайных выходов, на самом деле, *нет*. Обе двери, ведущие из комнат в коридор, были достоверно заперты, и ключи были вставлены изнутри. Обратимся к каминным трубам. Эти последние, хотя обыкновенно в восемь или в десять футов ширины над очагами, не пропустят в дальнейшем восхождении даже тела сколько-нибудь крупной кошки. Невозможностью ускользнуть указанным путем, таким образом, безусловно установленной, мы приведены к окнам. Через окна передней комнаты никто не мог бы бежать, не обратив на себя внимание толпы, находившейся на улице. Убийцы *должны* были, таким образом, бежать через окна задней комнаты. Теперь, приведенные к такому заключению столь недвусмысленным образом, мы не можем, как размышляющие, отбросить этот способ, но причине кажущейся его невозможности. Нам остается лишь доказать, что эта кажущаяся «невозможность» в действительности не такова.

В комнате два окна. Одно из них не загромождено мебелью, и видно целиком. Нижняя часть другого окна скрыта изголовьем тяжелой крова-

ти, приставленной к ней вплотную. Первое окно, как было найдено, было плотно заперто изнутри. Оно оказывало сопротивление крайнему напряжению силы тех, которые пытались его поднять. В оконнице второго было усмотрено большое пробуравленное отверстие, и в него был вдвинут очень толстый гвоздь, почти до головки. При исследовании другого окна в нем был найден вогнанным подобный же гвоздь; и весьма сильная попытка поднять эту раму также не удалась. Полиция после этого вполне удовольствовалась заключением, что бегство не совершилось в данном направлении. И, поэтому, было сочтено излишним вытащить гвозди и открыть окна.

Мое собственное расследование было несколько более подробно, и это по причине, на которую я уже указал — ибо здесь, я знал, всякая видимая невозможность *должна* была быть доказана, как таковая, не существующею.

Я продолжал рассуждать á posteriori[61]. Убийцы *свершили* свое исчезновение через одно из этих окон. Раз это так, они не могли бы снова закрепить оконницы изнутри, как они были найдены закрепленными — соображение, очевидно-

---

[61] Примечания: 61
На основании опыта, исходя из опыта *(фр.)*

стью своей положившее конец расследованиям полиции в данной области. Однако оконницы *были* закреплены. Они тогда *должны* были иметь способность закрепляться сами. От такого заключения никак не уйти. Я шагнул к незагроможденному окну, высвободил с некоторым затруднением гвоздь и попытался поднять раму. Она воспротивилась всем моим усилиям; как я и предполагал. Я знал теперь, что тут должна была существовать скрытая пружина, и это подтверждение моей мысли убедило меня, что мои посылки были, по крайней мере, правильны, как бы ни таинственны казались обстоятельства относительно гвоздей. Тщательное расследование вскоре указало мне тайную пружину. Я нажал на нее и, удовлетворенный открытием, воздержался и не поднял раму.

Я вставил гвоздь на прежнее место и посмотрел на него внимательно, Тот, кто прошел бы через это окно, мог бы снова закрыть его, и пружина была бы закреплена; но гвоздь не мог бы быть помещен на прежнее место. Заключение было ясно и снова суживало поле моих исследований. Убийцы *должны* были бежать через *другое* окно. Предполагая затем, что пружины на каждой оконнице те же самые, как это было вероятно, *до́лжно*

было найти разницу между гвоздями или, по крайней мере, между способами их закрепления. Взобравшись на кровать, я заглянул через изголовье и тщательно осмотрел вторую оконницу. Проведя рукой вниз по дереву, я быстро нашел и нажал пружину, которая, как я предполагал, была по характеру тождественна с первой. Я посмотрел теперь на гвоздь. Он был толст, как и другой и, по-видимому, закреплен таким же образом, будучи вогнан почти до головки.

Вы скажете, что я был озадачен, но если вы так думаете, вы, значит, не поняли самой цели моих наведений. Пользуясь спортивным выражением, я ни разу не сделал «промаха». Чутье по горячему следу не было потеряно ни на мгновение. Во всей цепи, среди звеньев, не было ни одного пробела. Я проследил тайну до конечного ее предела; этим пределом был *гвоздь*. Он, как говорю я, во всех отношениях имел ту же видимость, что и его сотоварищ в другом окне; но этот факт был совершенно нулевым (как бы он, по-видимому, ни был убедителен), если поставить его в связь с соображением, что в данном пункте и кончалось указующее начало. С этим гвоздем, сказал я, должно быть что-нибудь неладное. Я прикоснулся к нему, и головка его, вместе с четвертью

дюйма его стрежня, осталась у меня в руке! Остальная часть стержня была в пробуравленном отверстии, где она обломилась. Этот перелом был старый (ибо края его были подернуты ржавчиной) и, по-видимому, здесь был произведен удар молотка, который частью вогнал в глубину оконницы головку гвоздя. Я тщательно поместил верхнюю часть гвоздя в то отверстие, из которого я его вынул, и сходство с цельным гвоздем было безупречным — трещина была невидима. Нажав пружину, я тихонько приподнял оконную раму на несколько дюймов; головка гвоздя поднялась вместе с нею, оставаясь на своем месте. Я закрыл окно, и общий вид гвоздя снова оказался цельным и законченным.

Загадка, до сих пор, была теперь разгадана. Убийца бежал через окно, что находится около кровати. Опустившись, в силу собственного устройства, после его выхода (или, быть может, умышленно закрытое), оно было закреплено пружиной; и как раз приняв но ошибке сопротивление пружины за сопротивление гвоздя, полиция сочла дальнейшее расследование бесполезным.

Ближайшим вопросом был вопрос, как спустился бежавший. Относительно этого пункта

я вполне осведомился во время моей прогулки с вами вокруг здания. Около пяти с половиною футов от упомянутой оконницы проходит громоотвод. От этого провода было бы невозможным для кого бы то ни было достигнуть до самого окна, не говоря уже о том, чтобы войти в него. Я обнаружил, однако, что ставни четвертого этажа были того особенного разряда, которых французские плотники называют ferrades[62], — ставни весьма редко употребляющиеся в настоящее время, но часто встречающиеся в очень старых домах в Лионе и в Бордо. Они имеют форму обыкновенной двери (цельной, не двустворчатой), с тем лишь отличием, что нижняя часть — решетчатая, или кончается орнаментом в виде открытого трельяжа, давая, таким образом, превосходную возможность рукам уцепиться. В данном случае, эти ставни были очень широки, в три с половиною фута ширины. Когда мы глядели на них, при осмотре задней части здания, они были полуоткрыты — т. е. стояли под прямым углом к стене. Вероятно полиция так же, как я, исследовала заднюю часть здания; но, если так, то смотря на эти ferrades в смысле их ширины (как она долж-

[62] Примечания: 62
Железом окованные (*фр.*).

на была это сделать), она не заметила самой их внушительной ширины или, во всяком случае, опустила этот пункт, не приняв его в должное соображение. На самом деле, убедившись однажды, что побег не мог быть совершен в данном месте, она естественно, удовлетворилась здесь лишь беглым осмотром. Для меня было ясно, однако, что ставни окна, находящегося у изголовья кровати, будучи распахнуты совершенно до стены, достигают расстояния двух футов от громоотвода. Было также явно, что с помощью весьма необычной степени усилия и храбрости, проникновение в окно с провода могло быть таким образом осуществлено. Протянув руку на расстояние двух с половиной футов (при нашем теперешнем предположении, что ставни открыты целиком), разбойник мог цепко ухватиться за решетчатый выступ. Выпустив потом из рук своих провод, прижав свои ноги плотно к стене, и смело прыгнув внутрь, он мог увлечь за собой ставню, так что она захлопнулась, и если мы допустим, что окно было в данный миг открыто, мог сам с размаху ворваться в комнату.

Я хочу, чтобы вы главным образом помнили, что я говорил о весьма необычайной степени усилия, потребной для успеха в проделке такой

рискованной и такой трудной. Мое намерение — показать вам, во-первых, что таковая вещь могла совершиться, что это возможно; но, во-вторых, и *главным* образом, я хочу запечатлеть в вашем понимании весьма *чрезвычайный*, почти сверхъестественный характер той ловкости, которая для этого потребовалась.

Вы скажете, без сомнения, употребляя судебный язык, что «для того, чтобы выиграть дело» я должен был бы скорее уменьшать значение усилия, потребного в данном случае, нежели настаивать на полной его оценке. Может быть, это практика закона, но не таково требование рассудка. Моя конечная цель — лишь истина. Моя непосредственная задача заставит вас сблизить это весьма необычное усилие, о котором я только что говорил, с тем совершенно особенным пронзительным (или резким) и неровным голосом, относительно принадлежности которого к какой-либо народности не было двух согласующихся свидетелей, и в котором не могли уловить слоговой членораздельности.

При этих словах смутное и полусложившееся представление о том, что разумеет Дюпен, проскользнуло в мой ум. Мне казалось, что я был на грани понимания, не имея силы понять, как

иногда люди находятся на краю воспоминания, не будучи способны окончательно припомнить. Мой друг продолжал свою речь.

— Вы видите, — сказал он, — что вопрос о способе исхождения я переменил на вопрос о вхождении. Моим намерением было внушить мысль, что и то и другое совершилось тем же самым способом и на том же самом месте. Вернемся теперь внутрь комнаты. Посмотрим, какой все имело там вид. Выдвижные ящики комода, как было сказано, были разграблены, хотя многие вещи из одежды оставались еще там. Заключение здесь нелепо. Это простая догадка — очень глупая — и не больше. Как можем мы знать, что предметы, найденные в ящиках, не представляют из себя всего того, что первоначально в этих ящиках находилось? Мадам Л'Эспанэ и ее дочь жили чрезвычайно уединенной жизнью — ни с кем не видались — выходили редко, имели мало случаев для многочисленной перемены одежды. То, что было найдено, было по крайней мере, такого же хорошего качества, как что-либо иное, что могло принадлежать этим дамам. Если вор взял что-нибудь, почему не взял он лучшее — почему не взял он все? Одним словом, почему оставил он 4 тысячи франков золотом и нагромоздил на себя связку

белья? Золото *было* оставлено. Почти вся сумма, упомянутая месье Миньо, банкиром, была найдена в мешках на полу. Я хочу поэтому устранить из ваших мыслей бессвязную догадку о *побудительной причине*, порожденную в умах полиции той частью свидетельства, которая говорит о деньгах, переданных из рук в руки у самых дверей дома. Совпадения в десять раз более замечательные, чем это (передача денег и убийство, совершенное три дня спустя), случаются с нами в нашей жизни ежечасно, не привлекая к себе даже минутного внимания. Совпадения, вообще, суть великий камень преткновения на дороге этого разряда мыслителей, которые так воспитаны, что ничего не знают о теории вероятностей — той теории, которой наиболее славные области человеческого изыскания были обязаны наиболее славными своими достижениями. В данном случае, если бы золото исчезло, факт передачи его три дня тому назад составил бы нечто большее, чем совпадение. Он подкреплял бы мысль о побудительной причине. Но при действительных обстоятельствах дела, если мы предположим, что золото было побудительной причиной этого злодеяния, мы должны также вообразить себе свершителя деяния столь нерешительным идиотом, что он

оставил золото и свою побудительную причину.

Теперь, твердо держа в памяти пункты, на которые я обратил ваше внимание — этот особенный голос, эта необычайная ловкость и это поразительное отсутствие побудительной причины для убийства, столь особенно жестокого, как это — посмотрим на самое злодеяние. Женщина задушена насмерть сильными руками и втиснута в каминную трубу головой вниз. Обыкновенные убийцы не прибегают к таким способам убиения, как этот. Менее всего они таким образом распоряжаются убитыми. В этой манере втиснуть труп в камин, вы должны допустить, было что-то *до чрезвычайности преувеличенное* — что-то совершенно несовместимое с нашими общими представлениями о человеческом действии, даже когда мы допустим, что действующие лица являются самыми извращенными людьми. Подумайте, кроме того, насколько велика должна была быть сила, которая смогла так втиснуть тело вверх в отверстие, столь насильственно, что соединенные усилия нескольких лиц оказались едва достаточными, чтобы стащить его вниз.

Обратимся теперь к другим указаниям, свидетельствующим о силе самой удивительной. В очаге были найдены густые пряди седых чело-

веческих волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна большая сила, чтобы вырвать таким образом из головы хотя бы двадцать или тридцать волос вместе. Вы видели упомянутые пряди так же, как я. Корни их (отвратительное зрелище) слиплись от запекшейся крови с кусочками черепного покрова — верный знак удивительной силы, которая была применена, чтобы вырвать, быть может, полмиллиона волос сразу. Горло старой дамы не просто было перерезано, но голова ее совершенно была отделена от тела — орудием была простая бритва. Я хочу, чтобы вы также обратили внимание на зверскую свирепость таких деяний. О кровоподтеках на теле мадам Л'Эспанэ я не говорю. Месье Дюма и достойный его помощник месье Этьен высказались, что они были причинены каким-либо тупым орудием; и в этом данные господа говорят вполне правильно. Тупым орудием была, очевидно, брусчатка двора, на который жертва упала из окна, находящегося на некотором расстоянии от постели. Эта мысль, как она ни проста, ускользнула от полиции по той же самой причине, по которой от них ускользнула мысль о ширине ставни — так как, благодаря обстоятельству с гвоздями, их восприятие было герметически за-

купорено для допущения возможности, что окно когда-либо открывалось.

Если теперь, в придачу ко всему этому, вы надлежащим образом помыслили о странном беспорядке в комнате, мы ушли вперед настолько, чтобы сочетать представления об удивительной ловкости, о сверхчеловеческой силе, о зверской свирепости, о злодеянии без побудительной причины, о гротескности и ужасе, совершенно чуждом человеческой природе, и о голосе, чуждом по тону слуху представителей разных народностей и чуждом какой-либо различимой слоговой членораздельности. Какой же получается отсюда результат? Какое впечатление произвел я на ваше воображение?

Я почувствовал, что по коже у меня поползли мурашки, когда Дюпен задал мне этот вопрос.

— Сумасшедший, — сказал я, — деяние это сделал какой-нибудь маньяк, объятый буйным помешательством — бежавший из какой-нибудь лечебницы по соседству.

— В некоторых отношениях, — ответил он, — ваша мысль не так уж неприемлема; но голоса сумасшедших, даже в припадках самого сильного исступления, никогда не согласуются с тем, что было особенного в этом голосе, послышав-

шемся наверху. Сумасшедшие принадлежат к какой-нибудь народности, и их язык, как бы он ни был бессвязен в словах, всегда имеет слоговую связность. Кроме того, волосы какого-либо сумасшедшего не таковы, как те, что я держу в моей руке. Я высвободил этот маленький клочок из окоченевших пальцев мадам Л'Эспанэ. Скажите мне, что вы думаете о них?

— Дюпен, — сказал я, совершенно потрясенный, — эти волосы необычны до чрезвычайности — это *не человеческие* волосы.

— Я не утверждал, что они человеческие, — сказал он, — но, прежде чем мы разрешим данный; пункт, я хочу, чтобы вы взглянули на небольшой рисунок, который я сделал вот здесь, на бумаге. Это факсимиле, точный рисунок того, что было описано в некоторой части показаний, как «темные кровоподтеки и глубокие вдавлины от ногтей» на горле мадемуазель Л'Эспанэ и, в другом показании (данном месье Дюма и Этьеном), описанном как ряд синих пятен, очевидно, от нажатия пальцев.

— Вы можете заметить, — продолжал мой друг, развертывая бумагу на столе перед нами, — что этот рисунок дает представление о твердой и крепкой хватке. Тут, на вид, нет ничего сколь-

зящего. Каждый палец сохранял — возможно, до самой смерти жертвы — страшную хватку, первоначально вдавившую его. Попытайтесь теперь поместить все ваши пальцы, в одно и то же время, в соответственные отпечатки пальцев, как вы их видите.

Моя попытка была безуспешной.

— Возможно, что мы делаем опыт не надлежащим образом, — сказал Дюпен. — Бумага распространена на ровной поверхности, а человеческое горло — цилиндрическое. Вот деревянный чурбан, окружность которого, приблизительно, та же, что окружность горла. Обверните рисунок вокруг, и сделайте опыт сначала.

Я сделал так, но трудность стала еще большей, чем прежде.

— Это, — сказал я, — отпечаток не человеческой руки.

— Прочтите теперь, — ответил Дюпен, — этот отрывок из Кювье*.

Это было подробное анатомическое и общее описание исполинского темно-бурого орангутанга восточных индонезийских островов. Гигантский рост, изумительная мощь и размах усилия, дикая свирепость, и подражательные наклонности этих млекопитающих достаточно

хорошо известны всем. Я понял весь ужас убийства, в его полноте, сразу.

— Описание пальцев, — сказал я, прочтя отрывок, — вполне согласуется с этим рисунком. Я вижу, что никакое животное, кроме орангутанга, из разряда здесь описанного, не могло сделать отпечатки подобные тем, как вы их здесь отметили. Этот клок бурых волос, кроме того, вполне тождественен по характеру с волосами зверя, описанного у Кювье. Но я не могу понять, как могли осуществиться подробности этой страшной тайны. Кроме того, там были слышны два голоса в споре, и один из них, бесспорно, принадлежал французу.

— Правда. И вы вспомните восклицание, которое приписывали почти единогласно свидетели этому голосу, восклицание «Боже мой»! Эти слова, при данных обстоятельствах, были справедливо определены одним из свидетелей (Монтани, кондитер), как выражение упрека или укора. На этих двух словах я потму построил, главным образом, все мои чаяния на полное разрешение загадки. Какой-то француз знает об убийстве. Возможно — и в действительности более чем вероятно — что он не виновен в каком-либо соучастии в этом кровавом деле. Орангутанг мог убежать от

него. Он мог гнаться за ним до самой комнаты; но при волнующих обстоятельствах, которые за сим последовали, он никак не мог овладеть им. Орангутанг еще на свободе. Я не хочу продолжать эти догадки — я не имею права назвать их более чем догадками — раз тени размышления, на котором они основаны, отличаются глубиной едва ли достаточной, чтобы быть оцененными собственным моим разумом, и раз я не мог бы притязать сделать их понятными для понимания другого. Итак, мы назовем их догадками и будем говорить о них, как о таковых. Если упомянутый француз действительно, как я предполагаю, неповинен в этом жестоком преступлении, это вот объявление, которое вчера вечером, при нашем возвращении домой, я оставил в конторе газеты «La Monde» (газета, посвященная корабельным интересам, и очень любимая моряками), приведет его к нам на квартиру.

Он протянул мне газету и я прочел:

«ПОЙМАН

в Булонском лесу, рано утром, такого-то числа (утро убийства), очень большой бурый орангутанг из разряда водящихся на Борнео. Собственник (как известно, моряк, принадлежащий к экипажу

мальтийского судна) может получить животное, удостоверив достаточно притязания, и заплатив небольшие расходы, возникшие из-за его поимки и содержания. Придти в дом No такой-то — улица такая-то — Сен-Жерменское предместье — на третьем этаже».

— Каким образом, — спросил я, — это было возможно, чтобы вы узнали, что данный человек моряк и принадлежит к экипажу мальтийского судна?

— Я не знаю этого, — сказал Дюпен. — Я *не уверен* в этом. Вот, однако же, маленький обрывок ленты, который, судя по его форме и по его засаленному виду, очевидно, служил для завязывания одной из queues[63] — тех длинных хвостов, которые столь излюблены моряками. Кроме того, завязать такой узел умеют лишь немногие, кроме моряков, и он составляет особую гордость мальтийцев. Я подобрал ленту внизу громоотвода. Она не могла принадлежать ни той, ни другой из покойниц. Если теперь, после всего, я ошибся в моей догадке относительно этой ленты, и француз не моряк, принадлежащий к экипажу какого-нибудь мальтийского судна, я все же ничего не сделал

[63] Примечания: 63
Здесь: косицы; буквально — хвосты (*фр.*).

злого, сказав это в своем объявлении. И если я ошибся, он просто предположит, что я введен в заблуждение каким-нибудь обстоятельством, а потому и задумываться не станет. Но, если я не ошибся, большой важности пункт здесь выигран. Зная об убийстве, хотя и не будучи в нем повинен, француз, естественно, будет колебаться ответить на объявление — и требовать своего орангутанга. Он будет рассуждать так: «Я не виновен; я беден; мой орангутанг весьма ценен для человека, находящегося в моем положении, это целое состояние — к чему бы я стал его терять из-за пустой боязни опасности. Вот он здесь, в моих руках. Он был найден в Булонском лесу на большом расстоянии от места преступления. Каким образом могло бы возникнуть подозрение, что глупое животное могло совершить такое дело? Полиция дала промах — она не смогла найти ни малейшего пути к разгадке. Если бы даже она и проследила животное, невозможно было бы доказать, что я знаю об убийстве, или впутать меня в преступление по причине такого знания. Прежде всего, я известен. Объявляющий определяет меня, как собственника зверя; я не уверен, до каких пределов может простираться его знание. Если я стану избегать притязаний на собственность такой большой

цены, относительно которой известно, что она принадлежит мне, я сделаю животное, по крайней мере, подозрительным. Благоразумие мое не велит мне привлекать внимание к себе или к зверю. Я отвечу на объявление, получу обратно орангутанга и буду держать его взаперти, пока это дело не будет забыто».

В это мгновение мы услыхали на лестнице шаги.

— Будьте наготове, — сказал Дюпен, — держите ваши пистолеты, но не пользуйтесь ими и не показывайте их до того, как я не дам вам сигнала.

Входная дверь дома была оставлена открытой, и посетитель вошел без звонка и поднялся на несколько ступенек по лестнице. После этого, однако, он заколебался. Вот мы услышали, что он начал сходить. Дюпен быстро направился к двери, как вдруг мы услыхали, что он опять всходит. Он не повернул назад вторично, но решительно подошел к двери нашей комнаты и постучал в нее.

— Войдите, — сказал Дюпен веселым и приветливым голосом.

Человек вошел. Это был, очевидно, моряк — высокий, статный и, как кажется, мускулистый, с некоторым дьявольски-дерзким выражением

в лице, нельзя сказать, чтобы отталкивающим. Лицо его, сильно загорелое, было более чем наполовину скрыто бакенбардами и усами, в руках у него была увесистая дубинка, но кроме этого он был, по-видимому, не вооружен. Он неловко поклонился и пожелал нам «доброго вечера», с французским акцентом, который хотя был несколько невшательский*, все же достаточно указывал на парижское происхождение.

— Садитесь, любезнейший, — сказал Дюпен. — Вы пришли, как я полагаю, за орангутангом. Честное слово, я почти завидую, что он вам принадлежит; очень красивое и, без сомнения, весьма ценное животное. Сколько ему лет, как вы думаете?

Моряк перевел дыхание с видом человека, освобожденного от какой-то невыносимой тяжести, и после этого ответил уверенным тоном:

— Не сумею вам сказать, но ему не может быть больше, чем четыре или пять лет от роду. Он у вас здесь?

— О, нет; у нас нет подходящего помещения, чтобы держать его здесь. Он на извозчичьем дворе, на улице Дюбур, по соседству. Вы можете получить его утром. Вы, конечно, имеете с собой бумаги, чтобы подтвердить притязание?

— Конечно, месье.

— Жаль мне с ним расставаться, — сказал Дюпен.

— Я не хочу, конечно, сказать, что вы взяли на себя все эти хлопоты зря, — сказал человек. — Не мог бы на это рассчитывать. Готов охотно заплатить за поимку животного чем-нибудь подходящим.

— Хорошо, — ответил мой друг, — все это весьма превосходно, поистине. Дайте мне подумать! — Что бы я хотел получить? О, я скажу вам. Моя награда будет вот какая. Вы дадите мне все указания, какие в вашей власти дать, относительно этого убийства на улице Морг.

Дюпен сказал последние слова очень пониженным тоном и очень спокойно. Так же спокойно он пошел к двери, замкнул ее и ключ положил к себе в карман. Он вынул после этого пистолет из бокового кармана и без малейшей тревоги положил его перед собою на стол.

Лицо моряка покрылось яркой краской, как будто он боролся с удушением. Он вскочил и схватил свою дубину, но в следующий же миг он упал назад на свое сиденье, охваченный страшной дрожью и имея лик самой смерти. Он не говорил ни слова. Я пожалел его от всего сердца.

— Послушайте, добрейший, — сказал Дюпен ласковым голосом, — вы тревожитесь без всякой нужды — поверьте. Мы не замышляем против вас никакого зла. Клянусь вам честью джентльмена и француза, что мы вовсе не намерены вам ничем повредить. Я отлично знаю, что вы не виновны в жестоких преступлениях улицы Морг. Бесполезно было бы, однако, отрицать, что вы, до известной степени, в них запутаны. Из того, что я уже сказал, вы должны знать, что я имел некоторые возможности получить сведения о данном деле — возможности, о которых вам никогда не могло и присниться. Теперь дело обстоит так. Вы не сделали ничего, чего бы вы могли избегнуть — ничего, во всяком случае, что сделало бы вас виновным. Вы даже были неповинны в воровстве, когда вы могли украсть безнаказанно. Скрывать вам нечего. У вас нет никаких причин для того, чтобы скрываться. С другой стороны, вы связаны всеми доводами чести, побуждающими вас признаться во всем, что вы знаете. Невинный человек заключен в тюрьму, его обвиняют в преступлении, совершителя которого вы можете указать.

В то время, как Дюпен говорил эти слова, к моряку в значительной степени вернулось его

присутствие духа; но первоначальная смелость его манеры совершенно исчезла.

— Да поможет мне Бог, — сказал он после короткой паузы, — я *расскажу* вам все, что я знаю об этом деле; но я не жду, чтобы вы поверили мне и наполовину — поистине, я был бы глупцом, если бы этого ждал. И все же я не виновен; я сброшу с своего сердца тяжесть, хоть бы мне пришлось умереть за это.

То, что он рассказал, было вкратце следующее. Он совершил недавно путешествие на индонезийский архипелаг. Компания, к которой он принадлежал, высадилась на Борнео и предприняла увеселительную экскурсию в глубь страны. Он и его товарищ поймали орангутанга, товарищ вскоре умер, и животное стало, таким образом, его безраздельною собственностью. После больших хлопот, причиненных несговорчивой свирепостью его пленника, во время возвратного путешествия домой ему, наконец, удалось поместить его благополучно у себя на квартире в Париже, где во избежание докучливого любопытства соседей он держал его в полном уединении до того времени, как он поправится от раны на ноге, полученной им от осколка кости на палубе корабля. Окончательной его мыслью

было продать орангутанга.

Возвращаясь домой с какой-то матросской пирушки в ночь или, вернее, в утро убийства, он нашел животное расположившимся в его собственной спальне, в которую оно ворвалось из соседнего помещения, где, как он думал, оно было надежным образом припрятано. С бритвой в руке, и все намыленное, оно восседало перед зеркалом, пытаясь совершить операцию бритья, в каковой, без сомнения, оно раньше подсмотрело своего хозяина через замочную скважину. Устрашенный видом такого опасного орудия, находящегося в распоряжении у животного столь свирепого и столь способного им воспользоваться, в течение нескольких мгновений он совершенно не знал, что делать. Он, однако, привык укрощать зверя, даже в самые свирепые его припадки, употреблением хлыста, и к нему он теперь прибег. При виде него орангутанг сразу выпрыгнул через дверь комнаты, вниз по лестнице, и оттуда через окно, к несчастью бывшее открытым, на улицу.

Француз последовал за ним в отчаянии; обезьяна, все еще держа бритву в руке, время от времени останавливалась, чтобы обернуться назад и проделать разные гримасы своему преследователю, когда последний уже почти настигал ее. Потом

она опять обращалась в бегство. Охота продолжалась, таким образом, довольно значительное время. Улицы были совершенно тихими, так как было около трех часов утра. При проходе через уличку, что находится за улицей Морг, внимание беглеца было приковано светом, исходившим из открытого окна в комнате мадам Л'Эспанэ, на четвертом этаже ее дома. Бросившись к этому зданию, животное заметило громоотвод, вскарабкалось по нему с непостижимой ловкостью, ухватилось за ставню, которая была раскрыта до самой стены и, с помощью ее, вспрыгнуло прямо на изголовье кровати. Вся проделка не продолжалась и минуты, ставня отхлопнулась на прежнее место, в то время как орангутанг толкнул ее, входя в комнату.

Моряк, тем временем, был сразу и обрадован и смущен. У него была теперь твердая надежда снова поймать животное, так как навряд ли оно могло ускользнуть из западни, в которую оно само дерзнуло устремиться, разве что оно опять воспользовалось бы громоотводом, где оно могло быть перехвачено. С другой стороны, было много оснований тревожиться о том, что оно могло сделать в доме. Это последнее соображение побудило моряка последовать за беглецом.

Он взобрался по громоотводу без затруднений, он же ведь моряк; но, когда он достиг до окна, находившегося высоко над ним слева, его путь был остановлен; самое большее, что он мог сделать, это дотянуться настолько, чтобы быть в состоянии заглянуть внутрь комнаты. Заглянув туда, он чуть не упал и чуть не выпустил из рук провод, благодаря чрезмерному своему ужасу. Это тогда раздались те ужасные крики в ночи, которые пробудили от дремоты жителей улицы Морг. Мадам Л'Эспанэ и ее дочь, одетые в ночные свои костюмы, по-видимому, были заняты приведением в порядок некоторых бумаг в уже упомянутом железном сундучке, который был выдвинут на средину комнаты. Он был открыт и то, что в нем находилось, лежало рядом, на полу. Жертвы, должно быть, сидели спиною к окну и, судя по времени, прошедшему между входом зверя и криками, надо думать, что он был замечен не немедленно. Хлопанье ставни, естественно, могло быть приписано ветру.

Когда моряк заглянул в окно, гигантское животное схватило мадам Л'Эспанэ за волосы (она их причесывала, и они были распущены) и размахивало бритвой возле ее лица в подражание движениям цирюльника. Дочь лежала на полу

распростертая и недвижная; она была в обмороке. Крики и судорожные движения старой дамы (причем с головы ее были сорваны волосы) оказали такое действие, что, по всему вероятию, мирные намерения орангутанга превратились во гнев. Быстро взмахнув своей мускулистой рукой, он одним движением почти отделил ее голову от туловища. Вид крови возбудил его гнев до ярости. Скрежеща зубами и меча пламень из глаз, он бросился на тело девушки и погрузил свои страшные когти в ее горло, сжимая его, пока она не умерла. Его блуждающие дикие взгляды упали в это мгновение на изголовье кровати, над которым как раз было различимо лицо его хозяина, застывшее от ужаса. Бешенство животного, еще помнившего, без сомнения, страшный хлыст, мгновенно обратилось в страх. Сознавая, что он заслужил наказание, орангутанг, по-видимому, хотел скрыть свои кровавые деяния и метался по комнате в агонии нервного возбуждения, опрокидывая и ломая попадавшуюся по пути мебель, и стащив постель с кровати. В заключение он схватил сперва тело девушки и втиснул в каминную трубу, где оно было найдено; потом — тело старой дамы, которое немедленно было вышвырнуто вниз головой через окно.



Быстро взмахнув своей мускулистой рукой, он одним движением почти отделил ее голову от туловища

Когда обезьяна приблизилась к оконнице с изуродованной своей ношей, моряк в ужасе отпрянул к громоотводу и, скорее скользя, чем карабкаясь по проводу вниз, тотчас бежал домой, страшась последствий злодеяния и, в страхе своем, с радостью отказываясь от всяких забот о судьбе орангутанга. Голоса, которые были услышаны входившими по лестнице, были восклицаниями ужаса и испуга, вырвавшимися у француза и перемешанными с дьявольскими бормотаниями зверя.

Мне почти нечего прибавить. Орангутанг должен был ускользнуть из комнаты, спустившись по проводу, как раз перед тем, когда дверь была взломана. Он должен был закрыть окно, пройдя через него. Позднее он был пойман самим собственником, получившим за него очень крупную сумму в Jardin des Plantes[64]. Лебон был немедленно выпущен, после того как мы рассказали о всех обстоятельствах (с некоторыми пояснениями, данными Дюпеном) в бюро префекта полиции.

---

[64] Примечания: 64
Ботанического сада (фр.).

Этот чиновник, хотя весьма расположенный к моему другу, не мог хорошенько скрыть своего огорчения по поводу такого оборота дела и не удержался от того, чтобы не сказать два-три сарказма о свойствах разных лиц, вмешивающихся в его дела.

— Пусть себе говорит, — сказал Дюпен, который не счел нужным отвечать. — Пусть разглагольствует. Это успокоит его совесть. Я удовольствуюсь тем, что побил его в собственных его владениях. Тем не менее, то, что он не смог разрешить эту тайну, отнюдь не является столь удивительным, как он предполагает; ибо, поистине, наш друг префект слишком хитер, чтобы быть глубоким. В его мудрости нет устоя. Он весь из головы без тела, как изображения богини Лаверны*, или, в лучшем случае, он весь голова и плечи, как треска. Но он доброе существо, в конце концов. Я в особенности люблю его за его мастерской прием лицемерия, с помощью которого он достиг своей репутации находчивости. Я разумею его манеру «de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas»)[65].

---

[65] Примечания: 65

Отрицать то, что есть, и изъяснять то, чего не существует* (фр.).

Тайна Мари Роже (Продолжение «Убийства на улице Морг»)

Существует ряд идеальных событий, которые совершаются параллельно с действительными. Люди и случайности обыкновенно изменяют идеальное событие, так что оно проявляется не вполне, и его последствия тоже оказываются неполными. Так было с Реформацией – вместо протестантизма явилось лютеранство.

Novalis. «Moral Ansichten» [66]

Немного найдется людей, даже из числа самых спокойных мыслителей, у которых бы не являлось когда-нибудь смутной, но непреодолимой веры в сверхъестественное, вызванной *совпадениями*, до того невероятными, что ум отказывался считать их *только* совпадениями. От этого чувства — ибо смутная полувера, о которой я говорю, никогда не приобретает силу мысли, — от этого

---

[66] Примечания: 66
Новалис*. «Нравственные воззрения» (*нем.*).

чувства можно отделаться, только обратившись к учению о случае, или, как его называют технически, к теории вероятностей. Теория же эта, по существу, математическая; таким образом, аномалии самых твердых и точных научных фактов приложимы и к самому призрачному духовному из наиболее духовных умозрений.

Необычайные происшествия, о которых я намерен сообщить, представляют в отношении последовательности времени первичную ветвь ряда почти невероятных *совпадений*, вторичную, или заключительную, ветвь которого читатели найдут в недавнем убийстве *Мэри Сесилии Роджерс* в Нью-Йорке.

Изобразив в статье «Убийство на улице Морг», напечатанной в прошлом году, некоторые замечательные черты характера моего друга шевалье К. Огюста Дюпена, я не имел в виду когда-либо возвращаться к той же теме. Моя цель исчерпывалась изображением характера, а странное стечение обстоятельств, благодаря которому мог проявиться особый дар Дюпена, давало возможность осуществить эту цель. Я мог привести и другие примеры, но они не выяснили бы новых черт. Однако недавние события в их поразительном сцеплении побудили меня прибавить еще

несколько штрихов к сказанному. После того, что мне привелось услышать недавно, странно было бы с моей стороны хранить молчание о том, что я слышал и видел много лет тому назад.

Распутав трагическую загадку, связанную с убийством госпожи Л'Эспане и ее дочери, шевалье перестал следить за этим делом и вернулся к своему прежнему угрюмому и мечтательному существованию. Склонный по натуре к мечтам, я охотно поддавался его настроению, и, проживая по-прежнему в Сен-Жерменском предместье, мы предоставили будущее воле судеб и мирно дремали в настоящем, набрасывая дымку грез на окружающий мир.

Но грезы эти иногда прерывались. Весьма понятно, что роль моего друга в драме улицы Морг произвела впечатление на умы парижской полиции. Имя его сделалось известным среди ее представителей. Ни префект, ни другие члены полиции не знали, каким простым рядом умозаключений он был приведен к разгадке, — все это казалось им почти чудесным, и аналитические способности шевалье приобрели ему славу почти ясновидящего. Его откровенность могла бы уничтожить этот предрассудок, но беспечный характер заставил его забыть о происшествии, раз

оно потеряло интерес в его собственных глазах.

Таким-то образом Дюпен очутился в положении звезды, неотразимо притягивающей взоры полицейских, и нередко префектура обращалась к нему за содействием. Один из самых замечательных примеров — убийство молодой девушки по имени Мари Роже.

Это происшествие случилось два года спустя после зверского убийства на улице Морг. Мари, имя и фамилия которой невольно наводят на мысль о несчастной жертве нью-йоркского убийства, была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Отец умер, когда девушка была еще ребенком, и со времени его смерти мать и дочь жили на улице Сент-Андре[67], откуда последняя переселилась только за полтора года до убийства, послужившего темой нашего рассказа. Вдова держала pension[68], дочь помогала ей. Так шло дело, пока дочери не исполнился двадцать один год. В это время ее красота привлекла внимание парфюмера, лавка которого помещалась в подвальном этаже Пале-Рояля, а покупатели принадлежали главным образом к числу отчаянных

---

[67] Примечания: 67
Nassau Street*.

[68] Примечания: 68
Пансион *(фр.)*.

авантюристов, которыми кишит этот квартал. Месье Леблан[69] очень хорошо понимал, как выгодно будет для его торговли присутствие хорошенькой Мари за прилавком; а девушка согласилась поступить в его магазин, хотя ее матери, видимо, это не нравилось.

Надежды торговца вполне оправдались — его лавочка вскоре приобрела известность благодаря красоте бойкой гризетки*. Она провела за прилавком около года, когда вдруг ее обожатели были поражены исчезновением хорошенькой продавщицы. Месье Леблан не мог объяснить ее отсутствия, а госпожа Роже была вне себя от беспокойства и страха. Газеты немедленно занялись этим предметом, и полиция намеревалась предпринять серьезное расследование, когда в один прекрасный день спустя неделю Мари, здоровая и невредимая, но несколько печальная, снова появилась за прилавком

---

[69] Примечания: 69
Андерсон.



Надежды торговца вполне оправдались — его

лавочка вскоре приобрела известность благодаря красоте бойкой гизетки

Разумеется, всякое расследование, кроме некоторых справок, было тотчас же прекращено. Месье Леблан по-прежнему уверял, что ничего не знает. Мари и мать ее отвечали на расспросы, что она, Мари, провела неделю в деревне у одного родственника. Так это дело и заглохло и было забыто, тем более что девушка, которой, очевидно, надоели назойливость и любопытство посетителей, вскоре распростилась с парфюмером и переселилась обратно под крылышко матери, на улицу Сент-Андре.

Спустя пять месяцев после возвращения под родительский кров друзья Мари были встревожены ее вторичным исчезновением. Прошло три дня, а о ней не было ни слуху ни духу. На четвертый тело ее было найдено в Сене[70] близ отмели против улицы Сент-Андре, недалеко от Barriere du Roule[71].

Жестокость этого убийства (факт убийства был очевиден), красота и молодость жертвы, а

---

[70] Примечания: 70
Гудзон.

[71] Примечания: 71
Weehawken.

главное — ее прежняя известность возбудили большое волнение в сердцах чувствительных парижан. Я не могу припомнить другого случая, который произвел бы такое сильное впечатление. В течение нескольких недель только и разговоров было, что об убийстве Мари, — даже о политике на время забыли. Префект из кожи лез, и парижская полиция напрягала все свои силы.

Когда нашли тело, никто не сомневался, что убийца вскоре попадется в руки сыщиков; только спустя неделю была назначена награда за поимку, да и то небольшая — в тысячу франков. Тем временем следствие продолжалось деятельно, но не всегда разумно, и много лиц было допрошено зря; а возбуждение публики, подстрекаемое неразгаданностью тайны, росло. На десятый день сочли нужным удвоить награду, а когда прошла еще неделя в бесплодных поисках и раздражение против полиции, всегда существующее в Париже, проявилось в нескольких серьезных åmeutes[72], префект решил назначить двадцать тысяч франков «за открытие убийцы» или, предполагая, что их было несколько, «за открытие одного из них». Обещалось также полное помилование соучаст-

[72] Примечания: 72
Уличные волнения (*фр.*).

нику, который выдаст товарища; а вместе с этим объявлением всюду расклеивалось другое, частное, от комитета граждан, назначивших десять тысяч франков в дополнение к официальной награде. Вся сумма, стало быть, достигала тридцати тысяч франков — награда, без сомнения, огромная, если принять во внимание скромное положение девушки и обычность подобных злодейств в больших городах.

Теперь никто не сомневался, что тайна немедленно раскроется. Но хотя и были произведены два-три ареста, обещавшие успех, однако никаких результатов не было, подозрения не подтвердились, и арестованные были отпущены на свободу. Как это ни странно, но три недели прошли в бесплодных поисках, прежде чем слухи о событии, так взволновавшем публику, достигли до меня и Дюпена. Погруженные в исследования, которые поглощали все наше внимание, мы уже более месяца никуда не выходили, никого не принимали и только мельком заглядывали в политический отдел газет. Первое известие об убийстве мы получили от самого Г. Он явился к нам собственною персоной под вечер 14 июля 18… года и просидел у нас до поздней ночи. Он был огорчен неудачей своих поисков. Репутация его,

говорил он с особенным парижским акцентом, висит на волоске. Даже честь его задета. Взоры публики устремлены на него, и он готов на какую угодно жертву для разъяснения этой тайны. Он закончил свою довольно забавную речь похвалами «такту» Дюпена и сделал ему откровенное и весьма щедрое предложение, которое я не считаю себя вправе передавать, да оно и не имеет прямого отношения к рассказу.

На комплименты друг мой отвечал, как умел, но предложение принял без отговорок. Покончив с этим, префект начал излагать свои собственные соображения, сопровождая их длинными комментариями к показаниям свидетелей, — показания еще не находились в наших руках. Он говорил пространно и, конечно, с большим знанием дела; наконец я решился заметить, что ночь уже на исходе. Дюпен, сидя в своем любимом кресле, казался воплощением почтительного внимания. Во время этого разговора он надел очки. Заглянув случайно за их синие стекла, я убедился, что он покоился тихим, но крепким сном в течение нестерпимых семи-восьми часов, пока сидел префект.

Утром я получил в префектуре протоколы свидетельских показаний и добыл в различных

редакциях все номера газет, где было помещено что-либо важное относительно этого грустного происшествия. Освобожденная от явных вздоров, вся эта масса данных сводилась к следующему.

Мари Роже оставила квартиру своей матери в Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье двадцать второго июня 18... г. Уходя, она сообщила господину Жаку Сент-Эсташу[73], и только ему одному, о своем намерении провести день этот у тетки на улице Дром. Дром — небольшой и узкий, но многолюдный переулок близ реки, в двух милях, по кратчайшей дороге, от pension госпожи Роже. Сент-Эсташ был признанный обожатель Мари и нанимал комнату со столом у ее матери. Он должен был отправиться под вечер за своей возлюбленной и проводить ее домой. Но к вечеру пошел сильный дождь, и, предполагая, что Мари останется ночевать у тетки, как это случалось раньше при подобных же обстоятельствах, он не счел нужным сдержать свое обещание. С наступлением ночи госпожа Роже (дряхлая семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что ей «никогда больше не придется увидеть Мари», но слова эти в то время были

[73] Примечания: 73
Пэн.

оставлены без внимания.

В понедельник узнали, что девушка не являлась на улицу Дром, и когда день прошел, а она не возвращалась, начались поиски по городу и в окрестностях. Но только на четвертый день после ее исчезновения поиски привели к определенному результату. В этот день (среда, 25 июня) некий господин Бовэ[74], разыскивавший девушку с одним из своих приятелей, в окрестностях Барьер дю-Руль на берегу Сены, против улицы Сент-Андре, услыхал, что рыбаки только что вытащили из воды труп. Увидев его, Бовэ после некоторых колебаний признал Мари. Его приятель узнал ее скорее.

Лицо налилось кровью. Пены на губах, какая бывает у утопленников, не было. Клетчатка не была обесцвечена. На шее виднелись синяки и следы пальцев. Руки были сложены на груди и окоченели. Правая рука оказалась сжатой, левая — полуоткрытой. На левой руке замечены две кольцеобразных ссадины, по-видимому, от веревок или от веревки, два раза обернутой вокруг руки. Ссадины оказались также на правой руке, на спине, а в особенности на лопатках. Чтобы

---

[74] Примечания: 74
Кроммелин.

вытащить тело на берег, рыбаки обвязали его веревкой, но она не оставила никаких ссадин. Шея сильно вздулась. Она была обмотана шнурком так туго, что он врезался в тело и не был заметен снаружи; узел приходился под левым ухом. Одно это уже могло причинить смерть. Медицинский осмотр засвидетельствовал целомудрие покойной. Она, по показанию медиков, подверглась грубому насилию. Тело находилось в таком состоянии, что друзья покойной признали ее без труда.

Одежда была изорвана и в беспорядке. Из платья вырвана полоса шириною в фут — от нижней каемки до талии, но не совсем оторвана. Она была три раза обернута вокруг талии и завязана петлей на спине. Под платьем находилась рубашка; из нее тоже вырван лоскут в восемнадцать дюймов шириной, вырван осторожно, ровным куском. Он был обмотан вокруг шеи и завязан узлом.

Поверх лоскута и шнурка повязаны ленты шляпки — морским узлом.

Когда тело было узнано, его не отправили в морг (эта формальность казалась излишней), а поспешили похоронить тут же поблизости.

Господин Бовэ старался избежать огласки этого происшествия, и прошло несколько дней, прежде

чем публика заволновалась. Наконец одна еженедельная газета[75] взялась за эту тему: тело было вырыто и подверглось новому осмотру, который, впрочем, ничего не прибавил к тому, что выяснилось раньше. Одежда была предъявлена матери и друзьям покойной и признана ими за ту, которая была на девушке, когда она уходила из дома.

Между тем возбуждение росло час от часу. Несколько лиц было арестовано. Особенное подозрение возбудил Сент-Эсташ, который сначала не мог объяснить, где он провел день, когда Мари ушла из дому. Впоследствии, впрочем, он представил господину Г. удовлетворительное объяснение.

По мере того как время шло, а тайна оставалась нераскрытой, тысячи слухов возникали в обществе, а журналисты придумывали всевозможные объяснения. Особенно взволновало предположение, что Мари Роже еще жива, что в Сене найдено тело какой-то другой несчастной. Считаю нелишним сообщить читателям некоторые из статей на эту тему. Статьи дословно

---

[75] Примечания: 75
«Нью-йоркский вестник».

переведены из «L'Åtoile»[76] — газеты вообще хорошо осведомленной.

«Мадемуазель Роже оставила квартиру своей матери утром в воскресенье двадцать второго июня 18..., с тем, чтобы идти к своей тетке или другой родственнице на улицу Дром. С этой минуты ее не видали. Никаких известий, никаких сведений о ней не получено... Никто из знакомых не видел ее в этот день после того, как она ушла от матери... Мы не имеем никаких доказательств, что Мари Роже была в живых после девяти часов в воскресенье, но можем сказать с уверенностью, что до девяти часов она была жива. В среду около полудня был найден труп женщины на отмели близ Барьер дю-Руль. Это составит — если даже мы предположим, что Мари Роже была брошена в реку не позже чем через три часа после того, как вышла из дому, — всего трое суток. Но было бы нелепо предположить, что убийство совершилось задолго до полуночи. Виновники таких злодейств ищут тьмы, а не света... Итак, если тело, найденное в реке, — тело Мари Роже, то оно пробыло в воде не более двух с половиной дней, самое большее три. Опыт показал, что тела

---

[76] Примечания: 76

«Звезда» (*фр.*). — «New York Brother Jonathan», издаваемый мистером Гастингсом Уэльдом*.

утопленников или тела, брошенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через шесть — десять, когда разложение достигнет значительной степени! Если даже пушка выстрелит над телом и оно всплывает ранее пяти-шести дней, то сейчас же погрузится снова. Почему же в данном случае произошло отступление от естественного хода явлений?.. Если изуродованное тело было спрятано где-нибудь на берегу до ночи со вторника на среду, нашлись бы следы убийц. Сомнительно также, чтоб оно всплыло так скоро, даже если бы было брошено в воду через два дня после смерти. И наконец, совершенно невероятно, чтобы негодяи, совершившие убийство, не догадались привязать к трупу какую-нибудь тяжесть, когда это было так легко сделать».

Далее автор старается доказать, что тело находилось в воде «не три дня, а добрых две недели», ибо успело разложиться до такой степени, что Бовэ узнал его лишь с трудом. Впрочем, этот последний пункт оказался неверным. Продолжаю перевод.

«На каком же основании господин Бовэ утверждает, что это был труп Мари Роже? Он отвернул рукав платья и нашел приметы, удостоверившие его в том, что он не ошибся. Публика предпо-

лагала, что эти приметы — родимые пятна или рубцы. В действительности господин Бовэ нашел на руке волоски, то есть нечто совершенно неопределенное, примету, на которой так же нельзя основать никакого заключения, как на том факте, что в рукаве оказалась рука. Господин Бовэ не возвращался в этот день домой, а к восьми часам вечера уведомил госпожу Роже, что следствие по поводу ее дочери продолжается. Если преклонный возраст и горе госпожи Роже не позволили ей самой выйти из дома (что вполне допустимо), то хоть кто-нибудь из близких явился бы на место действия, раз предполагали, что это труп Мари. Никто, однако, не явился. Никто из обитателей дома на улице Сент-Андре не слыхал и не знал об этом происшествии. Господин Сент-Эсташ, обожатель и жених Мари, проживавший в доме ее матери, узнал о нахождении тела своей возлюбленной только на следующее утро, когда господин Бовэ явился к нему и сообщил о происшествии. Странно, что подобное известие могло быть принято так равнодушно».

Газета старалась подчеркнуть равнодушие друзей и родных Мари, равнодушие совершенно неестественное в том случае, если бы они действительно верили в ее смерть. Намеки газеты

сводились к следующему:

Мари, с ведома своих друзей, уехала по делу, набрасывающему тень на ее нравственность, — и вот они воспользовались находкой тела, напоминавшего отчасти эту девушку, чтобы пустить слух о ее смерти. Но «L'Åtoile» чересчур поторопилась. Равнодушия, о котором она толковала, вовсе не было; напротив, старуха мать слегла от волнения, а Сент- Эсташ пришел в такое исступление от горя, что господин Бовэ просил друзей и родственников присматривать за ним и ни за что не допускать его к телу покойной. Далее, хотя газета уверяла, что погребение тела было совершено за общественный счет, что семья решительно отклонила предложение устроить частные похороны, что никто из родных не присутствовал при погребении, — хотя, говорю я, «L'Åtoile» приводила эти факты в подтверждение своей мысли, но все они были опровергнуты. В следующем номере газеты была сделана попытка набросить тень на самого господина Бовэ.

Автор статьи писал:

«Теперь дело представляется в ином свете. Мы слышали, что, когда госпожа Б. была у госпожи Роже, господин Бовэ, уходя из дома, просил ее в случае появления *жандарма,* которого ожидали

в доме, не сообщать ему ничего до возвращения его, господина Бовэ… По-видимому, господин Бовэ считает это дело своим личным. Без господина Бовэ нельзя шагу ступить… Он почему-то решил, что никто, кроме него, не должен мешаться в следствие и, судя по показаниям родственников, устранил их довольно странным образом. По-видимому, ему очень не хотелось, чтобы родные увидели тело».

Следующий факт придавал известный оттенок подозрению, наброшенному таким образом на господина Бовэ. Один из посетителей его конторы за несколько дней до исчезновения девушки и в отсутствие хозяина заметил *розу* в замочной скважине его двери и имя *«Мари»* на аспидной доске, висевшей подле.

По общему мнению газет, Мари сделалась жертвой *шайки* негодяев, которые изнасиловали и убили ее. «Le Commercial»[77], газета очень влиятельная, явилась наиболее серьезным представителем этого мнения. Цитирую ее статью:

«Мы убеждены, что следствие находится на ложном пути, раз оно сосредоточено в окрестностях Барьер дю-Руль. Особа, известная тысячам

---

[77] Примечания: 77
Торговая, коммерческая газета (*фр.*).

людей в этой местности, не могла бы и трех шагов ступить, не будучи узнана кем-либо; а всякий, узнавший ее, вспомнил бы об этом, так как она интересует всех. Когда она ушла из дому, улицы были полны народа… Невозможно, чтобы она дошла до Барьер дю-Руль или улицы Дром не замеченная, по крайней мере, десятком лиц, а между тем никто не видал ее вне дома матери, и нет никаких доказательств, кроме ее собственных слов, что она ушла из дому. Ее платье оказалось изорванным, обмотанным вокруг талии и завязанным на спине в виде петли, за которую, очевидно, тащили труп. Если бы убийство совершилось у Барьер дю-Руль, не было бы надобности в таком приспособлении. Правда, ее тело найдено около Барьер, но из этого вовсе не следует, что оно здесь же было брошено в воду… Из юбки несчастной девушки был вырван лоскут в два фута длиною и фут шириной и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков».

За день или за два до посещения нас господином Г. полиция узнала новый и весьма важный факт, по-видимому совершенно опровергавший мнение «Le Commercial». Два мальчугана, сы-

новья некоей госпожи Делюк, рыская по лесу вокруг Барьер дю-Руль, забрались в рощицу, в глубине которой три или четыре больших камня были сложены наподобие скамьи со спинкой и сиденьем. На верхнем камне лежала белая юбка, на втором — шелковый шарф. Тут же валялись зонтик, перчатки и носовой платок. На платке было вышито имя «Мари Роже». На окружающих кустарниках нашлись клочки платья. Трава была смята, почва притоптана — очевидно, здесь происходила борьба. Между рощицей и рекой изгородь была сломана, и на земле замечены следы, доказывавшие, что тут волокли какую-то тяжесть.

Еженедельная газета «Le Soleil»[78] посвятила этому открытию следующую статью, в которой отразилось общее настроение парижской прессы:

«Вещи, очевидно, лежали здесь три или четыре недели. Все покрылись плесенью; некоторые обросли травой. Шелковая материя зонтика еще крепка, но нитки совершенно истлели. Верхняя часть покрылась плесенью и ржавчиной и порвалась, когда зонтик был открыт… Лоскутья,

---

[78] Примечания: 78
«Солнце» (*фр.*).

вырванные из одежды кустарниками, достигают трех дюймов в длину и шести в ширину. Один из них — кусок оборки платья, другой — обрывок подола. Они висели на изломанном кусте, на фут от земли. Нет сомнения — место гнусного насилия найдено».

Вслед за этим открытием явилось новое показание. Госпожа Делюк заявила, что она держит гостиницу недалеко от берега реки против Барьер дю-Руль. Местность вокруг пустынная. По воскресеньям в гостиницу собираются разные головорезы из города, переезжая реку на лодках. Около трех часов пополудни в воскресенье двадцать второго июня явилась туда девушка в сопровождении молодого человека, брюнета. Оба посидели несколько времени в гостинице, затем ушли по направлению к соседней роще. Госпожа Делюк вспомнила, что на девушке было такое же платье, какое оказалось на убитой. В особенности ясно помнила она шарф. Вскоре после ухода молодых людей явилась толпа каких-то сорванцов; они шумели, ели и пили; ушли, не расплатившись, по тому же направлению, в котором скрылась парочка. В сумерки они вернулись в гостиницу и поспешно переправились на ту сторону.

В тот же вечер, вскоре после наступления темноты, госпожа Делюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от гостиницы. Крики были отчаянные, но скоро умолкли. Госпожа Делюк узнала не только шарф, найденный в рощице, но и платье покойницы. Затем кучер дилижанса Валенс[79] тоже показал, что Мари Роже переправлялась в то воскресенье через Сену на лодке в обществе какого-то смуглого молодого человека. Он, Валенс, хорошо знал Мари и не мог ошибиться. Вещи, найденные в рощице, были признаны ее родными.

Сумма этих справок и сведений, собранных мною в газетах по просьбе Дюпена, увеличилась еще только одним фактом, но, по-видимому, очень важным. Вскоре после открытий в вышеупомянутой рощице бездыханное или почти бездыханное тело Сент-Эсташа, жениха Мари, было найдено по соседству с предполагаемым местом преступления. Около валялась пустая склянка с надписью «Лауданум». Отравление было несомненно. Он умер, не произнеся ни слова. При нем нашли письмо, в котором он в немногих словах выражал свою любовь к Мари и намере-

---

[79] Примечания: 79
Адам.

ние отравиться.

— Вряд ли нужно говорить, — сказал Дюпен, прочитав собранные мною заметки, — что этот случай гораздо запутаннее убийства на улице Морг и отличается от него в одном весьма существенном отношении. Это *обыкновенное,* хотя и зверское преступление. В нем нет ничего outrå[80]. Заметьте, именно поэтому тайна и казалась легко разъяснимой, а между тем именно это и затрудняет ее разъяснение. Так, сначала даже не считали нужным назначить вознаграждение. Подручные Г. сразу догадались, как и почему такое зверское преступление могло совершиться. Им нетрудно было нарисовать в воображении картину, даже много картин убийства и много мотивов; а так как та или иная из их многочисленных догадок *могла* быть осуществлена, то они решили, что одна из них и *должна* была осуществиться. Но самая легкость изобретения этих многочисленных теорий и вероятность каждой из них свидетельствуют о трудности разъяснения тайны. Я уже говорил как-то, что отличия данного происшествия от других событий в том же роде служат путеводной нитью для разума в его поисках и

[80] Примечания: 80
Преувеличенный (*фр.*).

что в подобных случаях нужно спрашивать не «что случилось?», а «что случилось, чего никогда не случалось раньше?». При розысках в доме госпожи Л'Эспанэ[81] агенты Г. были обескуражены *необычайностью* происшествия; для хорошо направленного ума эта необычайность должна бы служить вернейшим залогом успеха, но тот же самый ум может прийти в отчаяние от обыкновенности всех обстоятельств дела Мари, даром что чиновникам префекта они внушают надежду на легкое торжество.

В происшествии с госпожой Л'Эспанэ и ее дочерью мы уже знали несомненно, едва приступив к изысканиям, что имеем дело с убийством. Идея самоубийства не могла иметь места. Здесь мы тоже с самого начала можем отбросить всякую мысль о самоубийстве. Тело, найденное подле Барьер дю-Руль, найдено при таких обстоятельствах, которые не оставляют и тени сомнения насчет этого важного пункта. Но было высказано предположение, что найденное тело — вовсе не тело Мари Роже, за открытие убийцы или убийц которой назначена награда; к Мари Роже исключительно относится и наш уговор с префектом.

---

[81] Примечания: 81
См.: «Убийство на улице Морг».

Мы оба хорошо знаем этого господина. Ему не слишком-то можно доверять. Если, начав наши розыски по поводу мертвого тела, мы отыщем убийцу и затем убедимся, что это труп какой-нибудь другой девушки, а не Мари, или если, предположив, что Мари жива, мы найдем ее, но не в виде мертвого тела, — вся наша работа пропадет даром, раз мы имеем дело с таким человеком, как господин Г. Итак, в наших личных интересах, если не в видах правосудия, необходимо прежде всего убедиться, что найденное тело есть тело исчезнувшей Мари Роже.

На публику аргументы «L'Åtoile» произвели впечатление; и сама газета убеждена в их важности, это видно по началу одной из ее статей: «Сегодня многие газеты толкуют об убедительной статье в прошлом номере «L'Åtoile». По-моему, статья убедительнее, чем это нужно. Надо помнить, что, вообще говоря, задача наших газетчиков — возбуждать сенсацию, производить эффект, а не служить делу истины. Последняя цель преследуется лишь в том случае, когда она совпадает с первой. Статья, выражающая общее мнение (как бы оно ни было основательно), не встречает доверия в толпе. Масса считает глубоким лишь резкое противоречие господствующему мнению.

В умозаключениях, как и в изящной литературе, наиболее быструю и общую оценку встречает *эпиграмма.* В том и другом случае это самый низменный род творчества.

Я хочу сказать, что гипотеза, согласно которой Мари Роже еще жива, нашла благоприятный прием у публики не вследствие своего правдоподобия, а благодаря тому, что в ней эпиграмма сливается с мелодрамой. Рассмотрим главные аргументы «L'Åtoile».

Автор старается доказать, ссылаясь на краткость промежутка времени между исчезновением Мари и нахождением тела, что оно не может быть телом Мари. Стараясь уменьшить, насколько возможно, этот промежуток, автор в своем усердии сразу хватает через край. «Было бы нелепо предположить, — говорит он, — что убийство совершилось достаточно рано и убийцы успели бросить труп в воду до полуночи». Спрашивается: *почему?* Почему нелепо предположить, что убийство совершилось *через пять минут* после ухода Мари из дома? Почему нелепо предположить, что убийство совершилось в любую пору дня? Убийства случались во всяком часу. Но если бы убийство случилось в какой угодно момент между девятью часами утра и двенадцатью ночи,

времени во всяком случае хватило бы для того, чтобы «бросить труп в воду до полуночи». Утверждения «L'Åtoile» сводятся, в сущности, к тому, что убийство не случилось в воскресенье, но если мы допустим это, то придется допустить все, что заблагорассудится газете. Статья, начинающаяся словами «было бы нелепо предположить etc.», в какой бы форме она ни вылилась, явилась в голове автора в следующей форме: «Было бы нелепо предположить, что убийство совершилось так рано, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Было бы нелепо, говорю я, предположить все это, и в то же время согласиться с мыслью, что тело не было брошено до полуночи — рассуждение, очевидно, непоследовательное, но далеко не столь нелепое, как появившееся в печати.

— Если бы, — продолжал Дюпен, — моей целью было только опровергнуть статью «L'Åtoile», я бы на этом и покончил. Но нас занимает не «L'Åtoile», а истина. Рассуждение, о котором идет речь, может иметь лишь одно значение, которое я и выяснил; но для нас важно, не ограничиваясь словами, рассмотреть мысль, которую эти слова стараются (неудачно) внушить. Журналист хотел сказать: в какой бы час дня или ночи в воскре-

сенье ни случилось убийство, виновники его не решились бы бросить тело в воду до полуночи. С этим выводом я совершенно не согласен. Предполагается, что убийство совершено в таком месте или при таких обстоятельствах, которые ставили виновника в необходимость *нести тело* в реку. Но убийство могло произойти на берегу реки или на самой реке, так что, случись это в любом часу дня или ночи, быстрейшим и вернейшим способом избавиться от тела было выбросить его в реку. Вы понимаете, что я отнюдь не высказываю какой-либо гипотезы или своего личного мнения. Я не занимаюсь в данном случае *фактами.* Я хочу только предостеречь вас против тона всей заметки «L'Åtoile», обратив ваше внимание на ее характер *ex parte*[82] с самого начала.

Отмежевав таким образом границу для своих предвзятых мнений, решив, что если это тело — тело Мари, то оно могло пробыть в воде лишь очень недолго, газета продолжает:

«Опыт показал, что тела утопленников или тела, брошенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через шесть — десять, когда разложение достигнет значительной сте-

---

[82] Примечания: 82
Предвзятый (*лат.*).

пени. Если даже пушка выстрелит над телом и оно всплывет раньше пяти-шести дней, то сейчас же погрузится снова».

Эти замечания были приняты без споров всеми газетами, кроме «Moniteur»[83]. «Moniteur» старается опровергнуть ту часть статьи, которая относится к «телам утопленников», приведя в пример пять или шесть случаев, когда тела утонувших всплывали раньше, чем указывает «L'Åtoile». Но попытка «Monuteur» опровергнуть общее утверждение «L'Åtoile» указанием на частные случаи — попытка совершенно не философская, не выдерживающая критики. Если бы можно было привести не пять, а пятьдесят примеров всплытия тела на второй или третий день, эти пятьдесят примеров все-таки остались бы лишь исключением из правила до тех пор, пока самое правило не опровергнуто. Если принимать правило (а «Moniteur» не отрицает его, указывая только на исключения), то аргументы «L'Åtoile» сохраняют всю свою силу, ибо они имеют в виду лишь вопрос о *вероятности* всплытия тела в промежуток времени менее трех дней; а вероятность останется в пользу «L'Åtoile», пока примеры, так

[83] Примечания: 83
Нью-йоркский «Commercial Advertiser».

ребячески приводимые, не накопятся в достаточном количестве, чтобы послужить основой противоположного правила.

Вы понимаете, что оспаривать этот аргумент можно, только опровергнув самое правило; а для этого мы должны рассмотреть *основание* правила. Человеческое тело вообще не может быть значительно легче или значительно тяжелее воды Сены; иными словами, вес человеческого тела в его нормальном состоянии почти равен весу вытесняемого им объема пресной воды. Тела тучных и полных особ с тонкими костями легче мужских; а удельный вес речной воды изменяется до некоторой степени под влиянием морского прилива. Но, оставив в стороне прилив, можно сказать, что лишь *очень немногие* человеческие тела потонут даже в пресной воде *сами собою.* Почти всякий, кто упадет в воду, поплывет, если только уравновесит удельный вес воды с весом своего тела, то есть если погрузится в воду, насколько возможно, оставив на поверхности лишь самую ничтожную часть. Лучшее положение для того, кто не умеет плавать, — вертикальное, причем голова должна быть закинута назад и погружена в воду, так что только рот и ноздри остаются на поверхности. В этой позе человек бу-

дет держаться без всяких затруднений и усилий. Но ясно, что если при этом тяжесть тела и воды почти уравновешены, то безделица может дать перевес тому или другому. Так, например, рука, поднятая над водой, представляет добавочную тяжесть, достаточную для того, чтобы совершенно погрузить голову, и, наоборот, ничтожная щепка позволит приподнять голову и выглянуть на поверхность. Но в судорожных усилиях не умеющего плавать руки неизменно поднимаются над водой, и голова стремится прийти в обычное вертикальное положение. В результате ноздри и рот оказываются под водой, вода попадает в легкие и в желудок; тело становится тяжелее на разность между весом этой воды и вытесненного ею воздуха. Такой прибавки веса бывает достаточно, чтобы потопить тело; исключение представляют только индивидуумы с тонкими костями и большим количеством жира. Они всплывают, даже захлебнувшись.

Тело, лежащее на дне реки, останется там до тех пор, пока в силу каких-либо причин его удельный вес не сделается меньше веса вытесняемого им объема воды. Это достигается разложением или как-нибудь иначе. Результат разложения — образование газа, который растягивает ткани

и полости тела, придавая ему столь отвратительный для глаз вздутый вид. Когда это растяжение доходит до того, что объем тела увеличивается без соответственного увеличения массы или веса, удельный вес тела становится меньше веса воды и оно всплывает на поверхность. Но разложение зависит от бесчисленных обстоятельств — оно замедляется или ускоряется действием бесчисленных факторов; например, холодного или теплого времени года, минеральных примесей или чистоты воды, ее глубины, быстроты течения, сложения тела, его болезненного или здорового состояния перед смертью. Очевидно, мы не можем установить сколько-нибудь точно период, когда тело всплывет на поверхность вследствие разложения. При известных условиях этот результат может быть достигнут через час, при других — никогда не будет достигнут. Есть химические соединения, с помощью которых животный организм может быть навсегда предохранен от разложения, — например, сулема. Но независимо от разложения может образоваться, и очень часто образуется, газ в желудке, вследствие брожения растительных веществ (или в других полостях тела от других причин) в достаточном количестве для того, чтобы тело поднялось на

поверхность. Действие сводится к простому сотрясению. Оно может или отделить тело от мягкой грязи или песка, в котором оно завязло, и таким образом позволить ему подняться на поверхность, если остальные факторы уже в достаточной степени подготовили его к этому, или преодолеть упругость тех или других гниющих тканей, вследствие чего полости тела растянутся от давления газов.

Выяснив таким образом суть явления, мы можем проверить утверждения «L'Åtoile». «Опыт показал, — говорит газета, — что тела утопленников или тела, брошенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через шесть — десять, когда разложение достигнет значительной степени. Если даже пушка выстрелит над телом и оно всплывет раньше пяти-шести дней, то сейчас же погрузится снова».

Все это рассуждение — ряд нелепостей и непоследовательностей. Опыт показал, что тела утопленников не требуют шести — десяти дней для того, чтобы разложение достигло достаточной степени и тело могло подняться наверх. Как наука, так и опыт доказывают, что срок всплытия не может быть точно установлен. Если, далее, тело всплывет вследствие пушечного выстрела,

то оно не «погрузится сейчас же вновь», пока разложение не дойдет до того, что газы начнут выходить из полостей тела. Но я хочу обратить ваше внимание на различие между «телами утопленников» и «телами, брошенными в воду тотчас после убийства». Автор допускает это различие, но все же включает оба разряда тел в одну категорию. Я уже говорил, почему тело захлебнувшегося человека становится тяжелее, чем вытесняемый им объем воды, почему он не утонул бы вовсе, если бы в судорожной борьбе не поднимал рук над поверхностью и если бы вода не проникла ему в рот и ноздри во время дыхания. Но судорожных усилий и дыхания не может быть в теле, «брошенном в воду тотчас после убийства». Итак, в этом последнем случае *тело вовсе не потонет* — таково *общее правило,* не известное газете «L'Åtoile». Когда разложение достигнет уже очень значительной степени, так что мясо отделится от костей, тогда, но не раньше, тело исчезнет под водой.

Что же сказать теперь об аргументации, которая силится доказать, будто найденное тело — не тело Мари Роже, потому что тело Мари Роже не могло бы всплыть на поверхность в такой короткий срок? Если Мари утонула, то как женщина

она могла вовсе не пойти на дно или, опустившись, всплыть через сутки, а то и скорее. Но никто не предполагает, что она утонула; а брошенное в воду после убийства тело могло быть найдено на поверхности в какой угодно следующий момент.

«Но, — говорит «L'Åtoile», — если бы изуродованное тело было спрятано где-нибудь на берегу до ночи со вторника на среду, нашлись бы следы убийц». Смысл этой фразы затрудняешься понять сразу. Автор хочет предупредить возражение против его теории — именно, что тело пролежало на берегу два дня, подвергаясь быстрому разложению, *более быстрому*, чем если бы оно находилось под водой. Он предполагает, что в этом — *и только в этом* — случае оно могло бы всплыть на поверхность в среду. Согласно с этим, он спешит доказать, что оно не могло быть спрятано на берегу, потому что в этом случае «нашлись бы следы убийц». Полагаю, что вы сами засмеетесь над таким sequitur[84]. Вы не можете понять, почему *более долгое нахождение тела* на берегу должно было умножить следы убийц. Я тоже не могу.

«И наконец, — продолжает газета, — совер-

---

[84] Примечания: 84
Вывод (*лат.*).

шенно невероятно, чтобы негодяи, совершив убийство, не догадались привязать к трупу тяжесть, когда это было так легко сделать». Заметьте, какое потешное заключение вытекает из этого соображения. Никто — ни даже сама «L'Åtoile» — не отрицает, что *над той, чье тело найдено,* было совершено убийство. Следы насильственней смерти слишком очевидны. Наш автор хотел только доказать, что это не Мари Роже. Он желает убедить читателей в том, что Мари не была убита, а не в том, что найденное тело — не труп убитой. Но его замечание доказывает только этот последний пункт. Вот тело, к которому не привязано никакой тяжести. Убийцы, бросая его в воду, привязали бы к нему тяжесть. Следовательно, оно не было брошено в воду. Если что доказано, так только это. Вопрос о тождестве даже не затронут, и «L'Åtoile» только опровергает сказанное ранее: «Мы совершенно убеждены, что найденное тело — тело убитой женщины».

Но это не единственный случай, когда автор опровергает самого себя. Его очевидная цель, как я уже заметил, — сократить, насколько возможно, промежуток времени между исчезновением Мари и нахождением тела. Однако он же *выставляет на вид обстоятельство,* что никто не

видал девушку с момента, когда она оставила дом матери. «Мы не имеем никаких доказательств, — говорит он, — что Мари Роже была в живых после девяти часов в воскресенье двадцать второго июня». Очевидно, это аргумент — ex parte; автор сам забывает о нем впоследствии; ведь если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или во вторник, период исчезновения оказался бы еще короче, и, с точки зрения автора, вероятность его взгляда на найденное тело увеличивалась бы еще более.

Разберем теперь ту часть аргументации, которая относится к признанию тела господином Бовэ. Относительно *волосков* на руке «L'Åtoile» обнаруживает крайнюю несообразительность. Не будучи идиотом, господин Бовэ не мог бы признать тело лишь потому, что *на руке оказались волоски.* Нет руки без волосков. *Общность* выражения «L'Åtoile» — просто неверное понимание слов свидетеля. Без сомнения, он имел в виду какую-нибудь *особенность* волосков. Особенность цвета, длины, количества, положения.

«У нее была маленькая нога», — говорит газета; но есть тысячи таких ног. Подвязка или башмак не могут служить доказательством, потому что подвязки и башмаки продаются целыми парти-

ями. То же можно сказать о цветах на шляпке. Господин Бовэ придает особенное значение тому обстоятельству, что пряжка на подвязке была переставлена. Это ничего не доказывает, так как большинство женщин, купив подвязки, примеряют и в случае надобности перешивают их дома, а не в магазине. Трудно поверить, что автор рассуждает серьезно. Если бы господин Бовэ, разыскивая труп Мари, нашел тело, сходное по общему виду и росту с исчезнувшей девушкой, он имел бы основание предположить (оставляя в стороне вопрос об одежде), что его поиски увенчались успехом. Если вдобавок к общему сходству он замечает на руке особенные волоски, какие видел у живой Мари, его мнение подтверждается и вероятность усиливается в прямом отношении к особенности или необычайности этой приметы. Если у Мари были маленькие ноги и у трупа оказываются такие же, вероятность увеличивается не в арифметической только, а и в геометрической прогрессии. Прибавьте сюда башмаки, такие же, как те, что были на ней в день исчезновения, и вероятность почти граничит с несомненностью. То, что само по себе не могло бы быть доказательством тождества, приобретает силу доказательства в связи с другими фактами.

Если еще прибавим сюда цветы на шляпке, такие же, как были у Мари, то больше нам ничего и не требуется. *Одного* цветка достаточно, а если их два, три и более? Каждый из них — умноженное доказательство, не *прибавленное* к другому, а *умноженное* на сотню, на тысячу. Если еще на теле оказываются подвязки такие же, какие были на покойной, то почти нелепо искать новых доказательств. Но на этих подвязках пряжка переставлена именно так, как переставила ее Мари незадолго до своего исчезновения. После этого сомневаться было бы безумием или лицемерием. Рассуждения «L'Åtoile» насчет того, что подобное перешивание подвязок вещь весьма обыкновенная, доказывают только упрямство газеты. Эластичность подвязки — лучшее доказательство *необыкновенности* подобного перешивания. То, что само собой приспособляется, должно лишь крайне редко требовать искусственного приспособления. Только случайность, в полном смысле слова, могла привести к тому, что подвязки Мари потребовалось сузить. Одного этого обстоятельства было бы достаточно для установления тождества. Но тут идет речь не о том, что на теле оказались подвязки пропавшей девушки, или ее башмаки, или ее шляпка, или ее

цветы на шляпке, или ее нога, или ее примета на руке, или ее рост и склад, а о том, что найденное тело соединяло *все и каждый* из этих признаков. Если бы можно было доказать, что издатель «L'Åtoile» при таких обстоятельствах *действительно* сомневался, то не нужно бы и назначать для него комиссии de lunatico inquirendo[85]. Он просто нашел остроумным повторять болтовню законников, которые в большинстве случаев довольствуются прямолинейностью общих судейских правил. Замечу здесь, что нередко самое убедительное и разумное доказательство отвергается судом. Ибо суд, руководствуясь общими принципами доказательства, признанными и *книжными*, неохотно пускается в рассмотрение частных случаев. И эта приверженность к теории и принципу — в связи с упорным отвращением к исключительному случаю — верный способ достижения maximum'а истины в течение значительного периода времени. Так что *в массе* эта практика весьма философична, но она же

[85] Примечания: 85
Для проверки умственных способностей (*лат.*).

приводит к грубым единичным ошибкам[86].

Инсинуации насчет господина Бовэ недолго опровергнуть. Вы, конечно, уже раскусили натуру этого добродушного джентльмена. Это хлопотун — с романтической жилкой, но малым запасом остроумия! Такой человек в случае *действительного* волнения всегда будет вести себя так, что может возбудить подозрение со стороны чересчур тонких или недоброжелательных людей. Господин Бовэ (как видно из собранных вами заметок) имел личное объяснение с издателем «L'Åtoile» и задел его за живое, решившись сказать, что, несмотря на все гипотезы издателя, тело-то очевидно Мари. «Он настаивает, — говорит газета, — что тело — Мари Роже, но не приводит никаких доказательств, кроме уже разобранных нами и убедительных для других». Не возвращаясь к тому, что более сильных доказательств и представить себе нельзя, заметим, что в подобном случае человек часто бывает убежден сам, не имея доказательств для убежде-

[86] Примечания: 86

Законодательство всякой нации показывает, что когда закон становится наукой и системой, то он перестает быть правосудием. Ошибки, к которым слепая преданность принципам классификации приводила закон, станут очевидны, если мы обратим внимание, как часто законодательная власть должна вступаться и восстанавливать правосудие, им нарушенное (*Лэндор*)*.

ния других. Нет ничего неопределимее личных впечатлений. Каждый узнает своего соседа, но лишь в редком случае объяснит почему, *на каком основании* признал он его за своего соседа. Издателю «L'Âtoile» нечего было упрекать господина Бовэ его необоснованной уверенностью.

Подозрительные обстоятельства, набрасывающие на него тень, гораздо более вяжутся с моей гипотезой *романтической суетливости*, чем с намеками автора статьи. Приняв мое более снисходительное объяснение, мы легко поймем и розу в замочной скважине, и имя «Мари» на доске, и «устранение родственников», и «нежелание допускать их к телу», и просьбу, чтобы госпожа Б. не объяснялась с жандармом до его (Бовэ) возвращения, и, наконец, его решение: никто, кроме него, не должен мешаться в следствие. Для меня несомненно, что Бовэ был обожателем Мари, что она с ним кокетничала и что он гордился ее дружбой и доверием, которыми, как ему казалось, пользовался в полной мере. Не буду распространяться об этом, и так как следствие совершенно опровергает утверждения «L'Âtoile» насчет равнодушия родных и матери — непонятного в том случае, если они узнали тело, — то мы и будем считать вопрос о *тождестве* решенным

в нашем смысле.

— А что вы думаете, — спросил я, — о мнениях «Le Commercial»?

— Они заслуживают большего внимания, чем все остальные статьи по этому делу. Выводы логичны и остроумны, но предпосылки, по крайней мере, в двух случаях, основаны на односторонних наблюдениях. «Le Commercial» доказывает, что Мари была схвачена шайкой негодяев подле дома матери. «Особа, известная тысячам людей в этой местности, — рассуждает газета, — не могла бы и трех шагов ступить, не будучи узнанной». Это представление человека, давно живущего в Париже, занимающего видное общественное положение, который, выходя из дома, посещает большею частью одни и те же учреждения. Он знает, что ему редко случается отойти на десять шагов от своей *редакции* и не повстречать кого-нибудь из знакомых. И вот он сравнивает свою известность с известностью девушки из парфюмерного магазина, не находит тут особенного различия и решает, что она во время своей прогулки должна так же часто натыкаться на знакомых, как он. Это могло бы быть лишь в том случае, если бы ее прогулки имели такой же неизменный, методический

характер, так же ограничивались бы известным районом. Человек выходит в определенные часы, прогуливается в известной части города, изобилующей лицами, связанными с ним общностью профессиональных занятий. Но прогулки Мари имели случайный характер. В данном случае она, вероятно, отправилась по другой дороге, чем обыкновенно. Параллель, которая, как я думаю, явилась у автора статьи, могла бы иметь основание лишь в случае прогулки этих двух лиц через весь город. В этом случае, если число знакомых у них одинаково, шансы встречи с одним и тем же числом знакомых тоже одинаковы. По-моему, не только возможно, но и более чем вероятно, что Мари могла в любое время пройти любым путем, соединяющим дом ее матери с домом тетки, не встретив ни одной знакомой души. Разбирая этот вопрос при надлежащем освещении, должно иметь в виду громадную непропорциональность между числом знакомых самого известного лица в Париже и всем парижским населением.

Тем не менее доводы «Le Commercial» кажутся не лишенными убедительности; но эта убедительность значительно ослабеет, если мы примем в соображение час ухода Мари из дома. «Когда она уходила из дома, — говорит «Le Commercial», —

улицы были полны народа». Это неверно. Она ушла в девять часов утра. В девять часов утра улицы действительно полны народа все дни, *кроме воскресенья.* По воскресеньям в девять часов народ дома, *готовится идти в церковь.* Всякий сколько-нибудь наблюдательный человек не может не заметить, как пусты городские улицы в воскресенье между восемью и десятью часами утра. Между десятью и одиннадцатью они снова наполняются, но между десятью и одиннадцатью, а не в то время, о котором идет речь.

Тем не менее доводы «Le Commercial» кажутся не лишенными убедительности; но эта убедительность значительно ослабеет, если мы примем в соображение час ухода Мари из дома. «Когда она уходила из дома, — говорит «Le Commercial», — улицы были полны народа». Это неверно. Она ушла в девять часов утра. В девять часов утра улицы действительно полны народа все дни, *кроме воскресенья.* По воскресеньям в девять часов народ дома, *готовится идти в церковь.* Всякий сколько-нибудь наблюдательный человек не может не заметить, как пусты городские улицы в воскресенье между восемью и десятью часами утра. Между десятью и одиннадцатью они снова наполняются, но между десятью и одинна-

дцатью, а не в то время, о котором идет речь.

Можно указать еще один пункт, в котором проявился недостаток *наблюдательности* со стороны «Le Commercial». «Из юбки несчастной девушки, — говорит газета, — был вырван лоскут в два фута длиной и фут шириной и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков». Насколько эта мысль основательна, мы еще увидим; но под «людьми, которые обходятся без носовых платков» автор разумеет самый низменный слой негодяев. Между тем у этих именно субъектов если не всегда найдется рубашка, непременно сыщется носовой платок. Вы должны были сами заметить, насколько необходимым сделался в последние годы носовой платок для уличного мошенника.

— А что вы думаете о статье «Le Soleil»? — спросил я.

— Я сожалею, что автор не родился попугаем, так как в качестве попугая он снискал бы себе блистательную славу. Ведь он лишь подвел общий итог уже высказанным мнениям, собрав их с похвальным прилежанием отовсюду. «Вещи, *очевидно,* лежали здесь по меньшей мере три или четыре недели, — говорит он. — *Нет сомнения* —

место, где совершено это гнусное преступление, найдено». Факты, приводимые газетой, отнюдь не уничтожают моих сомнений на этот счет, мы разберем их впоследствии, в связи с другими обстоятельствами дела. Теперь нам нужно самим исследовать некоторые пункты. Вы, конечно, обратили внимание, как небрежно произведен осмотр тела. Да, тождество установлено, но следовало выяснить ряд других обстоятельств. Было ли тело ограблено? Были ли на покойной какие-нибудь драгоценности в день, когда она ушла из дома? И если были, оказались ли они на трупе? Эти важные вопросы совсем не затронуты следствием; да и другие, не менее важные, оставлены без внимания. Рассмотрим их сами. Исследуем еще раз обстоятельства, касающиеся Сент-Эсташа. У меня нет подозрений на его счет, но будем действовать методически. Мы проверим показания, удостоверяющие, где он находился в воскресенье. В подобного рода показаниях мистификация — вещь весьма обыкновенная. Если же все окажется в порядке, то мы на этом и покончим с Сент-Эсташем. Его самоубийство, которое придало бы большую силу подозрениям в случае обнаружения обмана в упомянутых показаниях, вполне объяснимо, если обмана нет.

Я намерен теперь оставить в стороне внутренние элементы трагедии и сосредоточиться на внешних обстоятельствах. При исследованиях этого рода нередко делают ошибку, ограничиваясь прямыми фактами и не обращая внимания на побочные или второстепенные обстоятельства. Судебная практика суживает исследование пределами фактов, непосредственно относящихся к делу. Но опыт показал, и истинно философское мышление подтверждает это, что значительная, если не большая часть истины вытекает из фактов, по-видимому, не относящихся к делу. Подчиняясь духу этого принципа, современная наука разрешает *рассчитывать на непредвиденное.* Но вы, быть может, не понимаете меня. Вся история науки показывает, что побочным, случайным, нечаянным обстоятельствам мы обязаны многочисленными и наиболее ценными открытиями. Это проявляется до того неизменно, что теперь во всех соображениях о будущем приходится отводить не только важное, но важнейшее место изобретениям, которые возникают случайно и совершенно неожиданно. Теперь философия не позволяет ограничивать возможность грядущего уже бывшим. Случай допускается как часть оснований. Нечаянное становится объектом точного

вычисления. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое математическим формулам.

Повторяю, это факт: значительнейшая часть истины открывается из побочных обстоятельств, и, согласно духу этого принципа, я оставляю избитую и бесплодную почву самого события и обращаюсь к окружающим обстоятельствам. Займитесь делом Сент-Эсташа, а я переберу газетные сведения с более общей точки зрения, чем это сделали вы. Пока мы определили поле исследования, но странно было бы, если бы внимательный пересмотр газет не открыл нам каких-нибудь мелочей, которые укажут *направление* исследования.

Согласно желанию Дюпена, я самым тщательным образом проверил показания относительно Сент-Эсташа. Результатом было полное убеждение в их истине и, следовательно, в его невиновности. Тем временем друг мой просматривал газетные столбцы с мелочною и, как мне казалось, бесцельною тщательностью. Через неделю он показал мне следующие вырезки:

«С полгода тому назад подобная же суматоха была вызвана внезапным исчезновением Мари

Роже из parfumerie[87] господина Леблана в Пале-Рояле. Однако спустя неделю она появилась за конторкой, здоровая и невредимая, только более бледная, чем обыкновенно. Господин Леблан и ее мать заявили, что она попросту гостила у своих друзей в деревне. На том дело и кончилось. Мы полагаем, что теперешнее исчезновение такого же рода и что спустя неделю, может быть, месяц она снова окажется среди нас». *Вечерняя газета. Понедельник, 23 июня*[88].

«Вчера одна вечерняя газета указала на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Доказано, что во время своей отлучки из parfumerie Леблана она находилась в обществе одного молодого моряка, весьма известного своим дурным поведением. Предполагают, что ссора заставила ее вернуться домой. Нам известна фамилия этого господина, он находится в настоящее время в Париже, но по весьма понятным причинам мы не считаем возможным его назвать». *Вестник. Вторник, утро, 24 июня*[89].

---

[87] Примечания: 87
Парфюмерия (*фр.*).

[88] Примечания: 88
Нью-йоркский «Express».

[89] Примечания: 89
Нью-йоркский «Herald».

«Третьего дня в окрестностях города произошел случай возмутительного насилия. Господин с женой и дочерью предложил компании молодых людей человек в шесть, бесцельно болтавшихся в лодке у берега Сены, перевезти его на другую сторону за известное вознаграждение. Достигнув противоположного берега, трое пассажиров вышли и уже успели отойти на такое расстояние, что лодки не было видно, когда дочь хватилась своего зонтика. Вернувшись за ним к лодке, она была схвачена шайкой и отвезена на середину реки; там подвергли ее грубому насилию, затем высадили на берег недалеко от того места, где она вошла в лодку с родителями. Негодяям удалось скрыться, но полиция напала на след, и некоторые из шайки вскоре будут арестованы». *Утренняя газета. 28 июня*[90].

«Мы получили два-три сообщения, цель которых — взвалить обвинение в недавнем преступлении на Меннэ; но так как следствие не нашло никаких данных к его обвинению, а аргументация наших корреспондентов отличается больше усердием, чем основательностью, то мы не считаем нужным печатать их». *Утренняя газета.*

---

[90] Примечания: 90
Нью-йоркский «Courier and Inquirer».

28 июня[91].

«Мы получили несколько весьма энергично написанных сообщений от разных лиц, старающихся доказать, что несчастная Мари Роже сделалась жертвой шайки негодяев, которыми кишат окрестности города. Лично мы вполне присоединяемся к этому мнению. Некоторые из сообщений будут напечатаны». *Вечерняя газета. Вторник, 31 июня*[92].

«В понедельник один из лодочников, служащих в речной полиции, заметил лодку, плывшую вниз по Сене. Парус оказался на дне лодки. Она была поймана и привязана на пристани». *La Diligence. Четверг, 26 июня*[93].

Прочитав эти вырезки, я решительно не мог понять, что можно из них выжать для нашего дела. Я ждал объяснений Леграна.

— Не буду *останавливаться* на первой и второй заметке, — сказал он. — Я вырезал их лишь для того, чтобы показать вам крайнюю небрежность

---

[91] Примечания: 91

Меннэ был одним из заподозренных арестованных, но отпущенных вследствие полного отсутствия улик.

[92] Примечания: 92

Нью-йоркский «Evening Post».

[93] Примечания: 93

Нью-йоркский «Standard».

полиции, которая, насколько я мог понять из слов префекта, не потрудилась даже навести справки об этом моряке. А между тем было бы нелепо отрицать *возможность* связи между первым и вторым исчезновением. Допустим, что в первый раз побег кончился ссорой между любовниками и возвращением девушки. Это дает возможность предположить, что вторичный *побег* (раз мы *знаем*, что он действительно имел место) был вызван возобновлением ухаживаний со стороны прежнего обожателя, а не со стороны другого лица, что тут возрождение старой amour[94], не возникновение новой. Тот, кто сманивал Мари в первый раз, попытался сманить вторично — десять шансов против одного, что побег произошел именно так, а не иначе. Позвольте мне также обратить ваше внимание на промежуток времени между первым и вторым исчезновением: он почти совпадает с обычным сроком плавания наших военных судов. Быть может, низкие замыслы любовника были прерваны плаванием, а вернувшись, он немедленно принялся приводить их в исполнение. Обо всем этом мы ничего не знаем.

Вы скажете, пожалуй, что во втором случае

---

[94] Примечания: 94
Любовь (*фр.*).

вовсе не было побега. Конечно, но можем ли мы быть уверены, что он не замышлялся? Кроме Сент-Эсташа и, может быть, Бовэ, мы не знаем открытых, признанных, честных обожателей Мари. О других не было слышно. Кто же этот тайный обожатель, о котором родные *(по крайней мере большинство их)* ничего не знают, который встречает Мари в воскресенье утром и оказывается таким близким ее другом, что она остается с ним до вечера в уединенных рощах Барьер дю-Руль? И что означает странное пророчество госпожи Роже: «Боюсь, что мне не придется больше увидеть Мари»?

Но если мы не можем заподозрить госпожу Роже в соучастии, то можем, по крайней мере, предположить, что план побега был у девушки. Уходя из дома, она сказала, что идет к тетке на улицу Дром. Сент-Эсташ должен был прийти за ней. Это как будто говорит против моего предположения, но обсудим вопрос. Мы знаем, что она *встретилась* со своим знакомым и отправилась с ним через реку к Барьер дю-Руль около трех часов пополудни. Но, решившись сопровождать этого господина *(ради каких-то целей, известных или не известных матери),* она должна была подумать об удивлении и подозрениях своего жениха

Сент-Эсташа, когда он не застанет ее у тетки, а вернувшись в pension, узнает, что она целый день не была дома. Она не могла бы пренебречь этими подозрениями по возвращении домой; но они теряли для нее всякое значение, раз она решила не возвращаться.

Можно представить себе ход ее мыслей так: «Мне нужно видеть известное лицо с целью побега или с какими-нибудь иными целями; необходимо выиграть время; скажу, что я намерена провести день у тетки на улице Дром и чтобы Сент-Эсташ не приходил за мной до вечера; таким образом, мое отсутствие не возбудит ни в ком подозрения или беспокойства, и я выиграю больше времени этим способом, чем каким бы то ни было. Если я попрошу Сент-Эсташа прийти за мной вечером, он, конечно, не придет раньше, но если я ничего не скажу, меня будут ожидать домой к вечеру и мое отсутствие возбудит беспокойство. Но так как я не намерена возвращаться вовсе, или, по крайней мере, в течение нескольких недель, или до тех пор, пока не осуществятся какие-то секретные планы, то для меня и требуется только выиграть время».

Вы обратили внимание, читая газетные заметки, что общее мнение приписывает убийство

шайке негодяев. Это заслуживает внимания. Если бы такое мнение возникло само собой, появилось самопроизвольно, мы бы должны были считать его подобным вдохновению гениальной личности. В девяносто девяти случаях из ста я бы преклонился перед ним. Но для этого нужно быть уверенным, что мнение не было внушено. Оно должно быть безусловно *собственным мнением публики,* а это порою весьма трудно установить или доказать. В настоящем случае мне кажется, что «мнение публики» насчет *шайки* подсказано побочным обстоятельством, о котором трактует третья из моих вырезок. Париж взволнован находкой тела Мари — молодой девушки, известной красавицы. Тело найдено с признаками насилия в реке. Затем узнают, что в то время или около того времени, когда Мари была убита, подобное же насилие учинено шайкой негодяев над другой девушкой. Мудрено ли, что известие об этом новом преступлении повлияло на суждение публики о первом? Это суждение еще не сформировалось, не получило определенного направления; известие о новом насилии дало ему толчок! Мари найдена в реке, а на этой же самой реке заведомо совершилось насилие. Связь между двумя событиями настолько осязаема, что

было бы истинным чудом, если бы публика не схватилась за нее. В действительности же факт насилия, совершившийся известным образом, если и доказывает что-нибудь, так разве то, что другое насилие, почти совпадающее с первым по времени, совершилось иначе. В действительности было бы чудом, если бы рядом с одной шайкой негодяев, совершивших почти неслыханную гнусность, нашлась вторая такая же шайка — в той же местности, в том же городе и при тех же обстоятельствах, с теми же приемами, совершившая такую же гнусность почти в то же самое время! И случайно внушенное мнение публики требует, чтобы мы поверили именно такому чудесному совпадению обстоятельств.

Прежде чем идти дальше, представим себе предполагаемую сцену убийства в рощице близ Барьер дю-Руль. Эта рощица, хотя и густая, находится в близком соседстве с большой дорогой. Внутри оказались три или четыре больших камня, сложенные в виде стула со спинкой и сиденьем. На верхнем камне лежала белая юбка, на втором — шелковый шарф. Зонтик, перчатки и платок валялись на земле. На платке вышито имя: «Мари Роже». На соседних кустах оказались обрывки платья. Земля была истоптана, кусты

изломаны — очевидно, тут происходила отчаянная борьба.

Несмотря на единодушное мнение прессы, что здесь-то, в рощице, и совершилась сцена насилия, в этом позволительно усомниться. Я могу верить или не верить, что она *произошла* здесь, но, во всяком случае, есть сильный повод к сомнению. Допустим, что сцена произошла, как предположил «Le Commercial», по соседству с улицей Сент-Андре; виновники преступления должны были ужаснуться, видя, что общественное мнение направлено на истинный след; в таких случаях у известного рода людей является желание как-нибудь замести следы. Весьма естественно могла явиться мысль подбросить вещи покойной в рощу близ Барьер дю-Руль, местности уже заподозренной. Нет никаких доказательств (хотя «Le Soleil» это думает), что вещи пролежали в роще «три-четыре недели»; напротив, весьма сомнительно, чтобы они могли остаться незамеченными в течение двадцати дней, истекших со времени рокового воскресенья, вплоть до того дня, когда были найдены мальчиками. «Все они были покрыты плесенью, — говорит «Le Soleil», повторяя уже сказанное ранее. — Некоторые заросли травой. Шелковая материя зонтика бы-

ла еще крепка, но нитки совершенно истлели. Верхняя часть покрылась плесенью и ржавчиной и порвалась, когда попробовали открыть зонтик». Что касается травы, которой «заросли некоторые вещи», то это могло быть установлено лишь на основании рассказа, следовательно, воспоминаний двух маленьких мальчиков, которые подобрали и унесли вещи домой. Но трава, особенно в теплую и сырую погоду (какая и стояла во время убийства), в один день вырастает на два, на три дюйма. Зонтик, оставленный на свежескошенном лугу, может в неделю зарасти так, что его не будет видно. Что касается плесени, на которой так настаивает «Le Soleil», то неужели газете неизвестно, что это такое? Нужно ли объяснять, что плесень принадлежит к классу *грибков,* большинство которых вырастает и разрушается в один день?

Итак, мы с первого взгляда видим, что столь торжественно приводимые доказательства долгого нахождения вещей в рощице решительно ничего не доказывают. С другой стороны, крайне трудно предположить, чтобы эти вещи могли оставаться в рощице более недели, более промежутка времени от воскресенья до воскресенья. Всякий, кто знаком с окрестностями Парижа, знает, как труд-

но найти в них *уединение.* Неизвестный или даже редко посещаемый уголок в близком соседстве с городом — вещь решительно непредставимая. Пусть любитель природы, прикованный к пыли и духоте этой великой столицы, пусть он даже в будни попробует утолить свою жажду уединения в пригородных парках и рощах. На каждом шагу очарование будет нарушено голосами, появлением каких-нибудь фланеров или бродяг. Напрасно искать уединения и в самой густой чаще. Здесь притоны неумытой черни, здесь храм природы наиболее осквернен. И наш парижанин с тоской в сердце вернется в запыленный людный Париж — в самом городе пыль и толпа не производят такого впечатления, как среди природы. И это в будни. Что же делается в воскресенье? Свободная от работы и обычных занятий толпа устремляется за город; не ради природы — к ней она равнодушна, — а чтобы избавиться от стеснений и условностей города. Ей нужен не деревенский воздух и трава, а деревенская *распущенность.* Здесь, в каком-нибудь кабачке или под деревьями, эти люди предаются необузданному неестественному веселью — вольничают и напиваются. Итак, всякий беспристрастный наблюдатель согласится, что вещи Мари, остав-

шиеся три недели незамеченными в *любой* роще около Парижа, — это было бы нечто чудесное.

Но есть и другие обстоятельства, которые заставляют думать, что вещи были подброшены в рощицу для отвода глаз. Во-первых, обращу ваше внимание на *день* нахождения вещей. Сопоставьте его с днем появления пятой из собранных мною газетных заметок. Вы убедитесь, что находка последовала почти непосредственно за сообщениями, присланными в газету. Эти сообщения, хотя и различные и, по-видимому, идущие из различных источников, стремятся к одной цели: доказать, что злодеяние совершено *шайкой* негодяев в окрестностях Барьер дю-Руль. И возникает подозрение — не то, конечно, что вещи найдены мальчиками вследствие этих сообщений или возбужденного ими внимания публики, а что вещи не были найдены мальчиками раньше, потому что никаких вещей в роще не было и в рощу они подброшены самими преступниками одновременно или почти одновременно с посылкой сообщений, авторы которых — те же преступники.

Роща эта странная, крайне странная. Она очень густа. В ней оказались три камня, сложенные *в виде стула с сиденьем и спинкой.* И эта рощица

находилась в непосредственном соседстве, *в нескольких шагах* от жилища госпожи Делюк, ребятишки которой привыкли лазить по кустарникам. Да я готов голову прозакладывать, что не проходило дня без того, чтобы кто-нибудь из мальчиков не забирался в рощицу посидеть на этом троне. Кто сомневается, тот никогда не был мальчиком или забыл свои детские годы. Повторяю, нельзя понять, как могли вещи остаться незамеченными более одного-двух дней, стало быть, есть полное основание думать, вопреки невежеству «Le Soleil», что они были подброшены позднее.

Но я еще не привел наиболее сильных основ для такого подозрения. Позвольте мне обратить ваше внимание на крайне искусственное расположение вещей. На *верхнем* камне лежала белая юбка, на *втором* — шелковый шарф; кругом были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с именем «Мари Роже». Вот размещение, какое, *естественно*, устроил бы не особенно сообразительный человек, пожелавший расположить вещи естественно. Но *в действительности* это отнюдь не естественное расположение. Я бы скорее ожидал найти все вещи на земле, истоптанные ногами. В тесной рощице юбка и шарф

вряд ли остались бы на камнях при отчаянной борьбе нескольких лиц. «Очевидно, здесь происходила борьба, — сказано в газете. — Земля была притоптана, кусты поломаны, а юбка и шарф лежали точно на полке! Лоскутья одежды, длиной в шесть и шириной в три дюйма, висели на кустах. Один из них — обрывок оборки. Они *имели вид* вырванных кусков». Тут «Le Soleil» нечаянно употребила крайне двусмысленную фразу. Лоскутья действительно «имеют вид вырванных кусков», но вырванных нарочно, человеческою рукой. Крайне редко случается, чтобы лоскут был «вырван» из платья *сучком.* Сучок или гвоздь, зацепив материю, разрывает ее по двум линиям, сходящимся в вершине разрыва, под прямым углом одна к другой, но вряд ли можно себе представить кусок, «вырванный» таким образом. Я никогда не видал этого, вы тоже. Чтобы вырвать кусок, необходимо приложить две различные силы, действующие в различных направлениях. Если вещь представляет два края — если, например, это носовой платок, от которого нужно оторвать лоскут, — тогда, и только тогда, достаточно будет одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, у которого имеется лишь один край. Вырвать кусок изнутри, где

вовсе нет краев, сучки могли разве чудом; во всяком случае, один сучок не мог бы сделать этого. Но даже там, где имеется край, необходимы два сучка, причем один должен действовать по двум различным направлениям, другой — по одному. Это если край без оборки. С оборкой же дело еще усложняется. Вот какие многочисленные и серьезные препятствия не позволяют допустить, чтобы хоть один лоскут был вырван «сучками»; а нас хотят уверить, что таким образом вырваны два лоскута. «Один из них был *куском оборки платья!»* Другой — *«часть подола, без оборки»*, — иными словами, он вырван из середины платья, где вовсе нет краев! Трудно поверить, но даже все эти обстоятельства, вместе взятые, не стоят одного поразительного факта: вещи были брошены убийцами, у которых, однако, хватило предусмотрительности стащить труп в реку. Я, впрочем, вовсе не думаю *отрицать*, что преступление совершилось именно в этой рощице: я вовсе не к тому веду речь. Да и не в этом суть дела. Нам нужно открыть виновников убийства, а не место преступления. Все, что я говорил, сказано с целью, во-первых, доказать нелепость решительных и необдуманных утверждений «Le Soleil», а во-вторых, и самое главное, привести

вас наиболее естественным путем к дальнейшему рассмотрению вопроса: совершено убийство *шайкой* негодяев или нет.

Мы ограничимся простым упоминанием о возмутительных деталях, обнаруженных медицинским осмотром. Заметим только, что *показания* врача о числе негодяев были по справедливости осмеяны лучшими парижскими анатомами как неправильные и решительно ни на чем не основанные. Не то чтобы дело не могло происходить так, как это утверждается, но для утверждений-то этих нет ни малейшего основания.

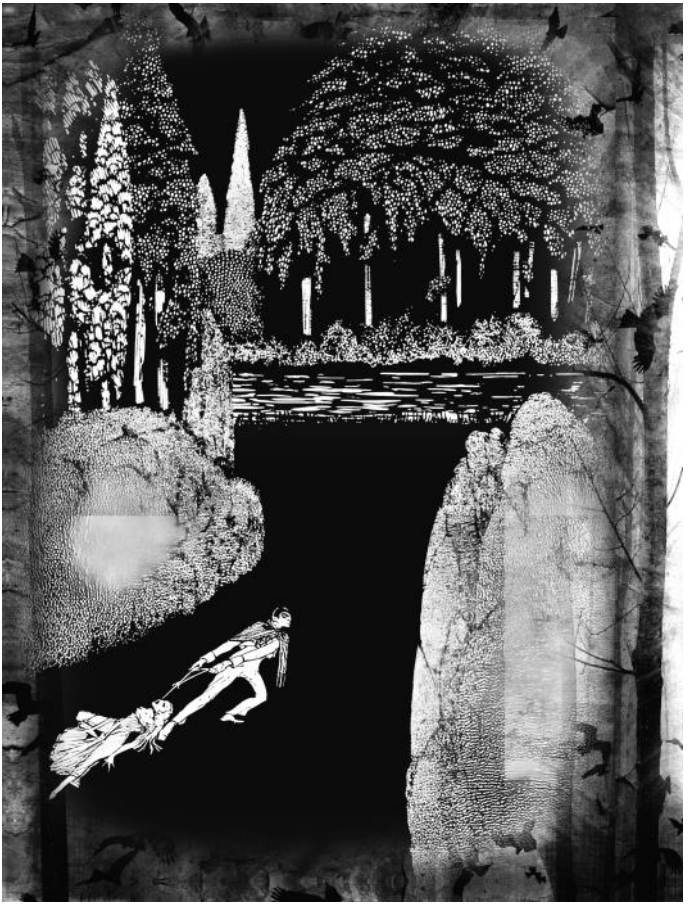
Обратимся к «следам борьбы». О чем они свидетельствуют, по мнению газет? О шайке злодеев. Но не свидетельствуют ли они скорее об отсутствии шайки? Могла ли быть *борьба* — настолько отчаянная и продолжительная, что от нее остались «следы» по всем направлениям, — между слабой беззащитной девушкой и *шайкой* негодяев? Несколько сильных рук схватывают ее — и все кончено. Жертва не в силах шевельнуться. Имейте в виду, что мои аргументы направлены главным образом против предположения, будто роща служила местом действия *нескольких* злодеев. Но если мы представим себе одного негодяя, то, конечно, можем согласиться, и только в этом

случае можем согласиться, что борьба была упорной и продолжительной и оставила явственные «следы».

Далее. Я уже говорил, как невероятен самый факт пребывания вещей на месте преступления. Почти невозможно представить себе, чтобы эти вещественные доказательства злодейства были случайно забыты преступниками. Хватило же у них присутствия духа перетащить тело; а более наглядное доказательство, чем труп (черты которого быстро исказились бы вследствие разложения), было брошено без внимания: я разумею платок с именем покойной. Если это и случайная оплошность, то не оплошность шайки. Подобная оплошность возможна только со стороны отдельного лица. Разберем этот случай. Человек совершил убийство. Он один перед трупом своей жертвы. Он в ужасе смотрит на то, что неподвижно лежит перед ним. Бешенство страсти остыло, душа его полна ужасом. У него нет товарищей, присутствие которых придало бы ему бодрости. Он *наедине* с трупом. Он дрожит и теряется. Надо же, однако, что-нибудь предпринять. Он решается стащить тело в реку, но оставляет другие улики; разом всего не захватишь, а за вещами нетрудно вернуться. Но по пути к воде его ужас

растет. Звуки жизни бросают его в дрожь. Не раз и не два ему чудятся чьи-то шаги. Даже огни в городе пугают его. Наконец после долгих усилий, частых остановок, в агонии смертельного ужаса он достигает берега и отделывается от своей ужасной ноши — быть может, с помощью лодки. Но *теперь* какие сокровища в мире, какие угрозы заставят его вернуться тем же ужасным и опасным путем к роще, при воспоминании о которой кровь стынет у него в жилах? Он не возвращается, махнув рукой на последствия. Он не мог бы вернуться, если бы захотел. У него одна мысль — бежать без оглядки. Он отворачивается *навсегда* от ужасного места и бежит, как будто за ним гонится мщение.

Другое дело — шайка негодяев. Их численность поддерживает в них присутствие духа — если только присутствие духа может исчезнуть у профессионального негодяя (*шайка* всегда состоит из профессиональных негодяев). То, что их много, говорю я, не позволило бы им растеряться, они не поддались бы паническому страху. Оплошность одного, другого, третьего была бы исправлена четвертым. Они не оставили бы ничего за собою, ведь они могли бы унести все разом. Им не было надобности *возвращаться.*



Тогда убийца решил волочить тело — и следы показывают, что его действительно волочили

Теперь обратим внимание на то обстоятельство, что из ее платья была выдрана полоса шириною в фут, от оборки до талии, обмотана три раза вокруг последней и завязана на спине в виде петли. Это сделано, очевидно, для того, чтобы легче было тащить тело. Но зачем бы понадобилось такое приспособление для *шайки?* Тем четырем гораздо легче и проще нести тело за ноги и за руки. Это приспособление для одного человека. Далее: «Между рощей и рекой изгородь была сломана, и на почве сохранились следы тяжести, которую по ней тащили!» Но разве *несколько* человек стали бы возиться с изгородью, когда им ничего не стоило *перекинуть* через нее тело? Несут ли несколько человек так, чтобы оставались ясные следы?

Здесь мы должны вернуться к замечанию «Le Commercial», о котором я уже упоминал. «Из юбки несчастной девушки, — говорит газета, — был вырван лоскут и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков».

Я уже говорил, что записной бродяга никогда

не обходится без носового платка. Но теперь я имею в виду не это обстоятельство. Что узел, о котором идет речь, сделан не вследствие отсутствия носового платка, доказывает платок, найденный в роще. И не для того сделан, чтобы «заглушить крики», — этого можно было достигнуть более удобным способом. В протоколе сказано, что лоскут «был свободно обмотан вокруг шеи и завязан тугим узлом». Слова не особенно точные, но уж совсем не подходящие к заявлению «Le Commercial». Повязка в восемнадцать дюймов шириной; стало быть, хотя и кисейная, но довольно крепкая, в особенности если свернуть или сложить ее в длину. А она была свернута. Мой вывод таков: одинокий убийца, оттащив тело на известное расстояние (с помощью полосы, вырванной из платья и обмотанной вокруг талии), убедился, что тяжесть ему не по силам. Тогда убийца решил *волочить* тело — и следы показывают, что его *действительно* волочили. Для этого нужно было привязать что-нибудь вроде веревки к одной из конечностей. Он решил лучше обвязать шею — так, чтобы голова мешала соскочить повязке. Без сомнения, его первая мысль была воспользоваться лоскутом, обмотанным вокруг талии, но тут приходилось развязывать петлю,

да и лоскут не был *оторван.* И он решил оторвать еще лоскут от юбки. Сделав это, он обмотал шею и *волочил* труп до самой реки. То, что эта «повязка», потребовавшая лишних хлопот и не особенно удобная, была употреблена, доказывает справедливость моего мнения: платка в это время не было под рукой, мысль о повязке явилась уже на пути между рощей и рекой.

Но, скажете вы, в показании госпожи Делюк (!) упоминается о шайке бродяг, находившихся по соседству с рощей во время убийства или около этого времени. Это я допускаю. Я думаю даже, что по соседству с Барьер дю-Руль во время убийства или около этого времени шаталась, по меньшей мере, *дюжина* таких шаек. Но лишь одна из них, та, против которой обращено несколько запоздалое показание госпожи Делюк, напившись водки и наевшись пирогов этой почтенной старушки, не потрудилась уплатить за угощение. Et hinc illae irae[95].

В чем же, собственно, состоит обвинение госпожи Делюк? Шайка сорванцов явилась в трактир, шумела, пила и ела, ничего не заплатила, ушла в том же направлении, в котором скрылись мо-

---

[95] Примечания: 95
Отсюда и гнев (*лат.*).

лодой человек и девушка, вернулась в сумерки и поспешно переправилась через реку.

Эта «поспешность», вероятно, показалась особенно поспешною госпоже Делюк, с тоскливой горечью вспоминавшей об истребленных закусках и пиве, за которые, быть может, она еще смутно надеялась получить деньги. Почему, в самом деле, раз это было уже *в сумерки,* ее так поразила эта поспешность? Нет ничего удивительного, что даже шайка сорванцов *торопится* домой, когда нужно переплыть в лодке большую реку, а надвигается гроза и *наступает ночь.*

Я говорю «наступает», потому что ночь *еще не наступила.* Были еще только сумерки, когда неприличная поспешность «сорванцов» возмутила добродетельную душу госпожи Делюк. Но далее говорится, что госпожа Делюк и ее старший сын «слышали крики недалеко от гостиницы». Когда же это случилось? «Это случилось *вскоре после наступления темноты»,* — говорит она. Но «вскоре после наступления темноты» — темно; а в сумерки еще светло. Очевидно, шайка сорванцов покинула Барьер дю-Руль прежде, чем раздались крики, слышанные госпожой Делюк. И хотя в многочисленных заметках об этом показании все его данные приводились в том же

порядке и связи, как я их разобрал, никто из журналистов или полицейских не обратил внимания на эти противоречия.

Я прибавлю еще лишь один аргумент против версии о шайке, но и этот один, по моему мнению, неопровержим. Вспомним о высокой награде и обещании помилования; можно ли думать, чтобы в *шайке* низких негодяев и вообще в толпе людей не нашелся хоть один человек, который уж давно выдал бы своих соучастников? Если не награда, то опасение быть выданным побудили бы к тому. Каждый член шайки выдал бы других, чтобы не выдали его самого. Если же тайна до сих пор не разоблачена, значит, это действительно тайна. Ужасы этого мрачного злодеяния известны лишь одному или двум людям и Богу.

Подведем теперь окончательный итог нашему долгому анализу. Роковое преступление совершено под кровлей госпожи Делюк или в рощице близ Барьер дю-Руль любовником, во всяком случае близким приятелем покойной. Это человек смуглый, загорелый. Цвет лица, петля на повязке и морской узел, которым завязаны ленты шляпки, указывают на то, что он моряк. Его дружба с покойной, девушкой веселого нрава, но честной, заставляет думать, что это не простой

матрос. Хорошо написанные и убедительные сообщения, полученные газетой, подтверждают это. Обстоятельства первого побега, указанные «Вестником», наводят на мысль, что этот моряк и «морской офицер», сманивавший несчастную девушку, — одно и то же лицо.

Мой вывод подтверждается упорным отсутствием этого смуглого господина. Замечу, что он должен быть и смуглым и загорелым — обыкновенный загар не врезался бы так в память госпожи Делюк и Валенса, которые, однако, запомнили *одну эту* особенность. Но почему он не явился? Не убит ли он шайкой? В таком случае почему найдены следы только убитой *девушки?* Место совершения обоих преступлений должно было бы быть одно и то же. И куда девался его труп? По всей вероятности, убийцы распорядились бы одинаково с обоими телами. Вы скажете, пожалуй, что этот человек жив, но не является, боясь навлечь на себя подозрение в убийстве. Такое опасение могло бы явиться у него теперь, когда выяснилось, что его видели с Мари, но не тотчас после убийства. Первым побуждением невинного человека было бы сообщить все, что ему известно, и помочь изобличению негодяев. Эта *предосторожность* напрашивалась сама

собою. Его видели с девушкой. Он перевез ее через реку в лодке. Даже идиоту понятно, что при таких обстоятельствах лучшее средство отклонить от себя подозрение — донести на убийц. Невозможно себе представить, чтобы в это роковое воскресенье он и не знал об убийстве, и не участвовал в нем. Но только в этом случае мог он не донести на злодеев.

Какими же путями доберемся мы до истины? Вы убедитесь, что пути будут умножаться и становиться яснее по мере того, как мы станем подвигаться вперед. Исследуем подробно обстоятельства первого побега. Разузнаем хорошенько о «морском офицере»: как он поживает теперь и где находился во время убийства? Тщательно сравним различные сообщения, присланные в вечернюю газету и приписывающие преступление шайке. Затем так же тщательно сравним эти сообщения, их слог и почерк, с теми, которые посланы раньше в утреннюю газету и так упорно настаивали на виновности Меннэ. Попытаемся путем передопроса выжать из госпожи Делюк, ее детей и кучера Валенса более подробные сведения о наружности и манерах «смуглого молодого человека». Если взяться за дело толково, то, без сомнения, удастся получить от перечисленных

лиц сведения, о которых они и сами забыли, так как не придавали им значения. Постараемся также отыскать лодку, пойманную на Сене в понедельник двадцать третьего июня и уведенную с пристани без ведома служащих, лодку *без руля.* Действуя осторожно и настойчиво, мы непременно разыщем эту лодку, так как, во-первых, есть человек, который видел ее, и, во-вторых, *руль остался в наших руках.* Человек, у которого спокойно на сердце, не бросил бы без внимания руль парусной лодки. Рассмотрим ближе этот пункт.

Объявления о найденной лодке не сделано. Она взята на пристань и уведена с пристани втихомолку, без всякого шума. Но каким образом ее владелец или наниматель ухитрился узнать о ней во вторник утром, без всякой публикации, если у него нет связи с флотом, заставляющей его следить за самыми ничтожными происшествиями в этой области?

Говоря об одиноком убийце, тащившем к берегу свою ношу, я уже заметил, что у него могла быть *лодка.* Мари Роже была брошена в реку с лодки. Убийца не решился бы оставить тело в мелкой воде прибрежья. Знаки на спине и плечах жертвы указывают, что она была брошена на дно лодки. Отсутствие тяжести свидетельствует также в

пользу этого предположения. Если бы тело было брошено с берега, убийца привязал бы к нему груз. Отсутствие груза можно объяснить только оплошностью преступника, который забыл захватить его с собой. Взявшись за тело, чтобы выбросить его, он заметил свою оплошность, но делать было нечего. Всякий риск казался предпочтительнее возвращения на этот проклятый берег. Избавившись от тела своей жертвы, убийца поспешил в город. Здесь он пристал к берегу в каком-нибудь глухом месте. Но лодка — надо же было позаботиться о ней. Для этого он слишком торопился. Да и привязав лодку к пристани, он все думал бы, что оставляет за собой улику. Его естественная мысль — отделаться от всего, что имеет связь с убийством. Он не только сам бежал от пристани, но и лодку не решился оставить. Конечно, он толкнул лодку в реку на произвол судьбы. Проследим за ним дальше. Наутро негодяй, конечно, поражен ужасом, убедившись, что лодка поймана и привязана к пристани в местности, которую он посещает ежедневно, быть может, по обязанностям службы. Ночью он опять уводит ее, *не посмев справиться о руле.* Спрашивается, где эта лишенная руля лодка? Постараемся прежде всего отыскать ее. Как только мы найдем

ее, наш успех обеспечен. Лодка эта приведет нас с поразительной быстротой к тому, кто плавал на ней в ночь рокового воскресенья. Улики появятся одна за другой, и убийца будет пойман.

. . ..

Разумеется, я говорил здесь лишь о совпадениях, не более. Свой личный взгляд на этот предмет я уже высказал ранее. Я не верю в сверхъестественное. Что Вселенная и Бог, создавший ее, не одно и то же — этого не будет отрицать мыслящий человек. Что Бог, творец Вселенной, может, по воле своей, изменять ее законы — тоже неоспоримо. Я говорю «по воле своей», ибо вопрос здесь именно в воле, а не в могуществе — это логическая ошибка. Не в том дело, что Бог *не может* изменить законов природы, а в том, что было бы оскорбительно для Божества предположить нужду в их изменении. В самом начале эти законы созданы так, что обнимают все, могущее произойти во времени. В Боге вечное — *Теперь*.

Повторяю, я говорил обо всем этом лишь как о совпадении. Далее: из моего рассказа ясно, что между судьбой несчастной Мэри Сесилии Роджерс, насколько эта судьба выяснилась, и участью Мари Роже до известного момента истории

существует аналогия, которую ум затрудняется объяснить. Но не следует думать, что, выясняя грустную историю Мари от указанного момента и проследив тайну до ее dånouement[96], я желал продолжить эту параллель или внушить мысль, будто меры, принятые в Париже для разыскания убийцы, привели бы к такому же результату и в другом случае.

Необходимо иметь в виду, что самое пустое различие в обстоятельствах двух случаев может привести к величайшим ошибкам, дать иное направление всей цепи событий: так в арифметике ошибка, сама по себе ничтожная, приводит, умножаясь в целом ряде действий, к огромной разнице в итоге. Что касается первого предположения, то сама теория вероятностей, на которой я основывался, исключает мысль о распространении этой аналогии, исключает тем решительнее и строже, чем точнее и ближе аналогия до известного пункта. Это одно из тех положений, которые, по-видимому, не имеют ничего общего со строгим математическим методом мышления и которые, однако, только математик может оценить вполне правильно. Крайне трудно убедить обыкновен-

---

[96] Примечания: 96
Развязка (*фр.*).

ного читателя в том, что если, например, игрок в кости два раза подряд выкинул двенадцать очков, то в третий раз почти наверняка не выкинет. Ум не примиряется с этим. Ему кажется, что первые два случая уже безвозвратно принадлежат Прошлому и никак не связаны с тем, что еще целиком лежит в Будущем. Шансы выкинуть двенадцать очков представляются ему такими же, как всегда. И это кажется столь очевидным, что попытка доказать противное встречается насмешливыми улыбками. Я не могу разбирать это заблуждение в пределах моей статьи; впрочем, для философского ума этот разбор и не нужен. Довольно сказать, что оно — одно из звеньев в бесконечной цепи ошибок, встающих на пути Разума, склонного искать истину *в мелочах.*

Золотой жук

Хо-хо! Он пляшет, как безумный.
*Тарантул укусил его…**

«Все не правы»*

Несколько лет тому назад я близко сошелся с неким Вильямом Леграном. Он принадлежал к старинной гугенотской семье и был когда-то богат, но ряд неудач довел его до разорения. Что-

бы избегнуть унизительных последствий этого несчастья, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и переселился на остров Сэлливан близ Чарльстона, в Южной Каролине.

Это весьма достопримечательный остров, он состоит почти сплошь из морского песка. Длина его три мили, наибольшая ширина — четверть мили. Его отделяет от материка едва заметный проток, пробирающийся сквозь тину и заросли камыша — любимый приют болотных курочек. Растительность, как легко можно себе представить, скудная, низенькая; сколько-нибудь крупных деревьев совсем нет. Только на западной оконечности острова, вокруг форта Моултри* и нескольких жалких домиков, занимаемых на летнее время чарльстонскими жителями, спасающимися от городской пыли и лихорадки, встречаются колючие карликовые пальмы. Зато весь остров, если не считать этого уголка и печальной белесоватой полосы песка вдоль берега, одет густыми зарослями душистого мирта, столь ценимого английскими садоводами. Местами он достигает пятнадцати — двадцати футов в вышину, образуя почти непроходимую чащу и наполняя воздух благоуханием.

В самой глубине этой чащи, недалеко от во-

сточной, наиболее удаленной от континента оконечности острова, Легран сам выстроил себе хижину, где и проживал в то время, когда я совершенно случайно познакомился с ним. Знакомство вскоре перешло в дружбу, так как многие черты в характере отшельника возбуждали сочувствие и уважение. Я убедился, что он получил хорошее образование, обладает недюжинным умом, но заражен мизантропией и подвержен странным перемежающимся припадкам энтузиазма и меланхолии. У него было с собою много книг, но он редко обращался к ним. Больше всего он любил охоту, рыбную ловлю, прогулки по морскому берегу и среди зарослей в поисках раковин и насекомых. Его энтомологической коллекции позавидовал бы Сваммердам*. В этих экскурсиях его сопровождал старый негр Юпитер, освобожденный еще до разорения; но ни угрозы, ни обещания не могли заставить негра отказаться от того, что он считал своим правом: всюду следовать за своим «молодым масса Виллом»[97]. Весьма возможно, что родственники Леграна, опасавшиеся за его рассудок, поощряли Юпитера в его упрямстве, чтобы беглец не остался без вся-

[97] Примечания: 97

«Massa Will», т. е. «master William» — «хозяин Вильям» или «господин Вильям».

кого надзора и ухода.

На широте острова Сэлливан зимы редко бывают суровы, и даже осенью почти не приходится топить печи. Однако в половине октября 18.. года выдался чрезвычайно холодный день. Перед самым закатом я пробирался сквозь чащу вечнозеленых кустарников к хижине моего приятеля, которого не навещал уже несколько недель. Я жил тогда в Чарльстоне, в девяти милях от острова, а сообщение между этими двумя пунктами было в те времена далеко не так удобно, как ныне. Добравшись до хижины, я, по обыкновению, постучал и, не получив ответа, отыскал ключ (я знал, где он хранится), отворил дверь и вошел. Яркий огонь пылал в печи. Это была неожиданность — и, разумеется, очень приятная. Я снял пальто, придвинул кресло к весело трещавшим дровам и стал терпеливо дожидаться прихода хозяев.

Они явились с наступлением темноты и приветствовали меня очень сердечно. Юпитер, оскалив рот до ушей, принялся ощипывать болотных курочек и стряпать ужин. Легран оказался на этот раз в припадке энтузиазма, ибо как еще можно было назвать его состояние? Он нашел новую разновидность двустворчатой раковины; больше того — он поймал с помощью Юпите-

ра жука, который казался ему представителем совершенно нового вида и которого он обещал показать мне завтра утром.

— Почему же не сегодня вечером? — спросил я, потирая перед огнем руки и мысленно посылая к черту всех жуков на свете.

— Да, если б я знал, что вы здесь! — ответил Легран. — Но вы так давно не навещали меня. Откуда мне было знать, что вы придете именно сегодня? Возвращаясь домой, я встретил лейтенанта Г. из форта и имел глупость отдать ему жука, так что вам не удастся увидеть его до завтра. Оставайтесь ночевать. Юп сбегает за ним на рассвете. Это чудеснейшая штука, какую можно себе представить.

— Что? Рассвет?

— Да нет, черт возьми, жук!.. Он яркозолотого цвета, величиной с крупный орех, с двумя черными, как смоль, пятнышками на верхнем конце спинки и третьим, подлиннее, на нижнем. Его усики…

— Никакого олова, масса Вилл, бьюсь об заклад, — перебил Юпитер, — жук золотой, весь золотой снаружи и внутри, только крылья не золотые. Я никогда не видел такого тяжелого жука.

— Хорошо, допустим, что ты прав, Юп, — сказал

Легран, как мне показалось, несколько более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, — но разве из этого следует, что дичь должна пережариться? Действительно, — продолжал он, обращаясь ко мне, — его цвет почти оправдывает утверждение Юпа. Вряд ли вы когда-нибудь видели надкрылья с таким ярким металлическим блеском… да вот сами завтра посмотрите. Пока я постараюсь дать вам понятие о его форме.

С этими словами он уселся за столик, на котором стояла чернильница с пером. Бумаги не было. Он пошарил в ящике, но и там ничего не оказалось.

— Все равно, — сказал он, наконец, — и эта годится.

Он вытащил из ящика клочок очень грязной старой бумаги и набросал пером рисунок. Пока он возился с ним, я попрежнему грелся у огня, так как все еще чувствовал озноб. Кончив рисунок, он передал его мне, не вставая с места. В эту минуту послышалось громкое рычание, и кто-то стал царапаться в дверь. Юпитер отворил, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату, положил мне на плечи лапы и стал осыпать меня ласками: я очень подружился с ним в мои прежние посещения. Когда он угомонился, я

взглянул на бумагу и, правду сказать, был весьма озадачен рисунком моего друга.

— Да, — сказал я, поглядев на него несколько минут, — признаюсь, странный жук, совершенно мне неизвестный; я никогда не видывал ничего подобного. Пожалуй, он похож на череп… да… на череп он похож поразительно.

— На череп! — повторил Легран. — Пожалуй, вы правы; на рисунке он несколько напоминает череп. Два черных верхних пятнышка имеют вид глаз, а длинное нижнее похоже на рот, общая форма овальная…

— Может быть, и так, — ответил я, — но, Легран, боюсь, что вы не мастер рисовать. Уж я лучше подожду самого жука, прежде чем судить о нем.

— Отлично, — сказал он, слегка уколотый. — Но я, кажется, рисую сносно, — по крайней мере этого следовало бы ожидать. Я учился у хороших мастеров и полагаю, что не вполне бездарен.

— В таком случае, дружище, вы подшутили надо мною, — возразил я. — Это очень недурной череп, можно даже сказать, превосходный череп, отвечающий самым точным требованиям остеологии, и если ваш жук похож на него, то это действительно самый странный жук на свете. Он может подать повод к какому-нибудь

суеверию. Вы, конечно, назовете его scarabaeus caput hominis[98], или что-нибудь в этом роде: такие названия часто встречаются в естественной истории. Но где же у него усики, о которых вы говорили?

— Усики! — с непонятной для меня горячностью сказал Легран. — Неужели вы не видите усиков? Я нарисовал их так же явственно, как в натуре. Надеюсь, этого довольно.

— Ну, что ж, — ответил я, — допустим, что вы их и нарисовали, только я их не вижу.

И я протянул Леграну бумажку без дальнейших возражений, так как я не хотел выводить его из себя. Но меня очень удивлял оборот, который приняла эта история; его раздражение сбивало меня с толку: у жука на рисунке, честное слово, не было никаких усиков, и в целом он изумительно походил на обыкновенный череп.

Он с недовольным видом взял бумагу и хотел, видимо, скомкать ее и бросить в огонь, но, случайно взглянув на рисунок, замер, словно прикованный к нему. Лицо его побагровело, потом сильно побледнело. В течение нескольких минут он, не двигаясь с места, внимательно рассматри-

---

[98] Примечания: 98
Жук; здесь: человеческая голова *(лат.)*.

вал рисунок. Затем встал, взял со стола свечу и уселся на сундуке в другом конце комнаты. Там он снова углубился в рассматривание бумаги, вертя ее во все стороны. Однако он ничего не сказал, и, хотя его поведение очень удивляло меня, я не желал расспросами усиливать его раздражение. Наконец, он достал из кармана бумажник, тщательно уложил в него листок и спрятал в конторку, замкнув ее на ключ. После этого он успокоился, но прежний энтузиазм уже не возвращался к нему. Впрочем, он казался скорее задумчивым, чем угрюмым. Задумчивость эта росла с часу на час, и все мои попытки рассеять ее оставались тщетными. Я хотел было переночевать в хижине, как часто делал это раньше, но при таком настроении хозяина счел более удобным уйти. Он не удерживал меня, но на прощанье пожал мне руку даже сердечнее, чем обычно.

Спустя месяц (в течение которого я ничего не слыхал о Легране) ко мне в Чарльстон явился его слуга Юпитер. Я никогда еще не видал добродушного старого негра в таком удрученном состоянии и не на шутку испугался: не случилось ли с моим приятелем какой-нибудь беды.

— Ну, Юп, — спросил я, — что нового? Как поживает твой господин?

— Сказать правду, масса, поживает он не так хорошо, как следовало бы.

— Нехорошо? Меня это огорчает. На что же он жалуется?

— Ах! Вот в том-то и дело! Он ни на что не жалуется, но он очень болен.

— Очень болен? Что же ты сразу не сказал? Он лежит?

— Ну нет, не лежит. Все ходит. В этом-то и беда. Ох, меня очень беспокоит бедный масса Вилл.

— Что ты мелешь, Юпитер? Понять не могу! Ты сказал, что твой хозяин болен. А он не говорил тебе, что с ним?

— Нет, масса… Масса Вилл уверяет, что с ним ничего… Тогда зачем же он ходит взад и вперед, согнувшись, опустив голову и белый, как гусь? И зачем все время пишет и пишет цифры…

— Что он пишет, Юп?

— Пишет цифры и знаки на грифельной доске… таких смешных знаков я еще никогда не видел… Мне даже страшно… Нельзя спускать с него глаз. Вчера он убежал — и пропал на целый день… Я сделал палку, хотел вздуть его, когда он вернется… но он пришел такой грустный, что мне, старому дураку, стало жалко его…

— Вот как?.. В самом деле. Нет, не обращайся с

ним жестоко… не бей его, Юпитер, — он, пожалуй, не вынесет этого. Но что же вызвало эту болезнь, или, вернее, эту перемену в его поведении? Случилось что-нибудь неприятное после того, как я был у вас?

— Нет, масса, после не было ничего неприятного, а вот до того… да, боюсь, что это случилось в тот самый день…

— Как? Что ты хочешь сказать?

— Да, масса, я хочу сказать, что это жук, вот и все.

— Что?

— Жук… Я думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Да почему же ты так думаешь, Юп?

— У него огромные когти и морда. Я никогда еще не видел такого проклятого жука: он кусает, что ни попадется. Масса Вилл сперва схватил его за ногу и сразу же выпустил, — тогда-то жук, верно, и укусил его. Мне этот жук с таким страшным ртом не понравился с самого начала; я не стал брать его руками, а взял клочок бумажки и завернул его, да и в рот ему сунул бумажку. Вот как я сделал!

— Так ты думаешь, что жук действительно укусил твоего господина и от этого он заболел?

— Я ничего не думаю — я знаю. А то почему бы ему все снилось золото, коли золотой жук не укусил его? Я слышал уже о них, об этих золотых жуках.

— Да почему ты знаешь, что ему снится золото?

— Почему знаю? Да он говорит во сне про золото — вот почему знаю.

— Ну, может быть, ты и прав, Юп. Но какому счастливому обстоятельству обязан я сегодня честью твоего посещения?

— Что такое, масса?

— Ты с каким-нибудь поручением от господина Леграна?

— Нет, масса, у меня только вот эта записка.

И Юпитер подал мне бумажку, на которой я прочел:

«Дорогой мой, что это вас не видно? Неужели вы обиделись на маленькую резкость с моей стороны? Нет, это слишком невероятно. С тех пор как мы виделись с вами последний раз, меня одолевает беспокойство. Мне нужно рассказать вам кое-что, но я не знаю, как за это приняться, не знаю даже, рассказывать ли вообще.

В последнее время мне нездоровилось, и старик Юпитер донял меня своими заботами. Поверите

ли? — на днях он вырезал здоровенную дубину и хотел отколотить меня за то, что я ушел утром, не известив его, и провел весь день один среди холмов на материке. Кажется, только мой болезненный вид избавил меня от побоев.

Со времени нашей последней встречи я ничего не прибавил к своей коллекции.

Если можете, приезжайте с Юпитером. Приезжайте! Мне нужно видеть вас сегодня по важному делу. Уверяю вас, по очень важному делу.

Весь ваш

Вильям Легран»

Что-то в тоне этой записки серьезно встревожило меня. Она совсем не походила на обыкновенные письма Леграна. Что за фантазия пришла ему в голову? Какая новая химера обуяла его слишком впечатлительный мозг? Какое «важное дело» могло быть у него? Рассказ Юпитера не сулил ничего доброго. Я опасался, что постоянные неудачи в конце концов серьезно повредили рассудок моего друга. Я ни минуты не колебался и отправился вместе с негром.

У берега нас ожидала лодка, на дне которой я увидел косу и три лопаты.

— Это что еще такое, Юп? — спросил я.

— Это, масса, коса и лопаты.

— Вижу. Но зачем они?

— Масса Вилл приказал мне купить ему в городе косу и лопаты, и я заплатил за них дьявольскую кучу денег.

— Да объясни же мне, во имя всего таинственного, на что твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Этого я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает это! Все дело в жуке.

Видя, что от Юпитера, все мысли которого, казалось, сосредоточились на жуке, ничего путного не добьешься, я уселся в лодку и поднял парус. Свежий сильный ветер живо доставил нас в бухту к северу от форта Моультри, а оттуда уже, пройдя около двух миль, мы добрались до хижины. Было почти три часа пополудни. Легран ждал нас с большим нетерпением. Он пожал мою руку с нервной горячностью, встревожившей меня и усилившей мои первоначальные подозрения. Лицо его поразило меня своей прозрачной бледностью, а глубоко запавшие глаза светились неестественным блеском. Осведомившись о его здоровье и не зная, что еще сказать, я спросил, получил ли он, наконец, жука от лейтенанта Г.

— О да, — ответил он, сильно покраснев, — получил на другое же утро. Ни за что на свете не расстанусь я с этим жуком! Вы знаете, ведь Юпи-

тер-то совершенно прав.

— Как так? — спросил я, и сердце мое сжалось от грустного предчувствия.

— Помните, он говорил, что жук из чистого золота?

Легран произнес эти слова тоном глубокого убеждения, смутившим меня донельзя.

— Жуку этому суждено добыть мне богатство, — продолжал он с торжествующей улыбкой, — он вернет мне мое утраченное наследство! Еще бы мне не дорожить им! Раз фортуна послала мне его, нужно только правильно этим воспользоваться, и я найду золото, на которое он указывает… Юпитер, принеси мне жука!

— Что? Жука, масса? Нет, я не хочу с ним связываться, берите его сами!

Легран встал с важным и серьезным видом и, вынув жука из-под стеклянного колпака, где он хранился, принес его мне. То был великолепный жук, еще неизвестный естествоиспытателям, — находка бесспорно интересная с научной точки зрения. На верхнем конце спинки у него было два черных круглых пятнышка, на нижнем — одно продолговатое. Твердые блестящие надкрылья горели, как настоящее золото. Насекомое оказалось чрезвычайно тяжелым, так что, приняв

в соображение все эти обстоятельства, можно было не удивляться заблуждению Юпитера, но я решительно не понимал, почему Легран соглашался с ним.

— Я послал за вами, — сказал он торжественным тоном, когда я осмотрел жука, — я послал за вами, чтобы просить у вас совета и помощи в осуществлении указаний судьбы и жука…

— Дорогой Легран, — воскликнул я, перебивая его, — вы положительно нездоровы! Вам следует принять меры предосторожности. Лягте-ка в постель, а я останусь с вами на несколько дней, пока вы не поправитесь. У вас лихорадка и…

— Пощупайте мой пульс, — сказал он.

Я пощупал и, правду сказать, не заметил ни малейших признаков лихорадки.

— Но вы можете быть больны и без лихорадки. Послушайтесь меня хоть раз. Прежде всего ложитесь в постель. Потом…

— Вы ошибаетесь, — прервал он меня, — я здоров, как только можно быть здоровым при моем возбужденном состоянии. Если вы действительно расположены ко мне, помогите мне успокоиться.

— Что я должен сделать?

— Самую простую вещь. Я предпринимаю с Юпитером небольшую экскурсию на материк,

и нам понадобится помощь третьего лица, на которое мы могли бы положиться. Вы — единственный человек, которому я могу довериться. Удастся ли нам наше предприятие или же оно провалится, во всяком случае я перестану волноваться.

— Я рад вам помочь всем, чем могу, — ответил я, — но скажите: неужели ваша экскурсия как-то связана с этим проклятым жуком?

— Да, разумеется.

— В таком случае, Легран, я не могу принять участия в столь нелепом предприятии.

— Жаль, очень жаль. Придется нам взяться за него одним.

— Одним! Нет, он решительно сошел с ума!.. Постойте! Надолго вы думаете отправиться?

— По всей вероятности, на всю ночь. Мы пойдем сейчас и вернемся на рассвете.

— Дайте мне слово, что, когда ваша причуда будет исполнена и история с жуком уладится к вашему удовольствию, вы вернетесь домой и будете слушаться моих предписаний, как если бы я был вашим врачом?

— Извольте, даю слово. А теперь — в путь! Нам нельзя терять времени.

С тяжелым сердцем последовал я за своим дру-

гом. Мы отправились в четыре часа — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер взял косу и лопаты; он во что бы то ни стало хотел нести эти орудия сам, повидимому не столько вследствие усердия или любезности, сколько потому, что боялся дать их в руки своему господину.

Он был страшно сердит, и единственные слова, вырывавшиеся из его уст за все время пути, были: «Проклятый жук!» Я нес пару потайных фонарей. Что до Леграна, то он взял только жука, которого привязал на веревочку и размахивал им с видом заклинателя. При виде столь явного доказательства безумия моего друга я едва мог удержаться от слез. Но я все-таки счел за лучшее отнестись спокойно к его причудам, по крайней мере до тех пор, пока не представится случая принять более энергичные меры с надеждой на успех. Мне не удалось, однако, добиться толку насчет цели нашего путешествия. Убедив отправиться с ним, он, повидимому, больше не желал разговаривать и на все мои вопросы отвечал только: «Увидим!»

Мы переправились через проток на челне и, поднявшись на высокий берег материка, пошли к северо-западу по дикой, унылой местности, где, кажется, еще не ступала человеческая нога. Легран шел решительным шагом, время от времени

останавливаясь и проверяя путь по заметкам, сделанным им, повидимому, в одну из прежних прогулок.

Так шли мы часа два и к закату солнца очутились в местности еще более угрюмой, чем все, что мы видели до тех пор. Это был род плато у вершины почти неприступного холма, сверху донизу заросшего лесом и усеянного огромными каменными глыбами, которые в беспорядке лежали на его склонах; многие из них скатились бы вниз, если бы их не задерживали деревья. Глубокие ущелья пересекали местность во всех направлениях и придавали ей еще более мрачный и торжественный вид.

Площадка, на которую мы взобрались, так густо заросла цепким кустарником, что без помощи косы через него невозможно было бы пробраться. Юпитер, по приказанию своего господина, стал прокладывать нам тропинку к подножью гигантского тюльпанового дерева, которое возвышалось среди восьми или десяти дубов и далеко превосходило их и все остальные попадавшиеся в этой местности деревья красотою листьев, размахом раскидистых ветвей и всем своим величавым видом. Когда мы достигли этого дерева, Легран спросил негра, может ли он на него взобраться.

Бедный старик, повидимому, был несколько удивлен этим вопросом и не сразу ответил. Наконец, он приблизился к высокому стволу, медленно обошел вокруг него и внимательно осмотрел дерево. Затем, кончив осмотр, просто сказал:

— Да, масса, Юп еще не видел дерева, на которое не мог бы влезть.

— Ну, так полезай, и живо, а то стемнеет, и мы не успеем ничего сделать.

— Высоко лезть, масса? — спросил Юпитер.

— Сначала до первых ветвей, а там я скажу, куда… Постой! Захвати с собой жука.

— Жука, масса Вилл? Золотого жука?! — воскликнул негр, отшатнувшись со страхом. — Зачем жуку лезть на дерево? Будь я проклят, если я возьму его с собой!

— Послушай, Юп! Если ты, рослый негр, здоровый, толстый негр, боишься тронуть эту безобидную маленькую мертвую тварь, ты можешь держать ее на веревочке, но во всяком случае ты возьмешь жука с собой, или же мне придется проломить тебе голову этой лопатой.

— Боже мой, да в чем дело, масса? — сказал Юп, сдаваясь, пристыженный. — Вам ничего не стоит обидеть старого негра. Я ведь только пошутил.

Чтобы я боялся жука! Велика важность — жук!

Тут он осторожно взялся за конец веревочки и, стараясь держать жука как можно дальше от себя, полез на дерево.

Тюльпановое дерево, или Liriodendron Tulipiferutn, великолепнейшее из американских деревьев, в молодости имеет совершенно гладкую кору и часто не дает сучьев до значительной высоты, но с возрастом кора становится шероховатой и неровной и на стволе появляется множество коротеньких сучков. Таким образом, влезть на это дерево было не гак уж трудно, как казалось. Охватив громадный ствол как можно плотнее руками и коленями, цепляясь пальцами за всякий выступ и упираясь ступнями в неровности коры, Юпитер, раза два-три счастливо избежав падения, взобрался, наконец, на первый большой сук и уселся на нем, считая, повидимому, свою задачу выполненной. Действительно, главная опасность миновала, хотя сук и находился на высоте шестидесяти или семидесяти футов над землей.

— Куда теперь лезть, масса Вилл? — спросил он.

— Взбирайся вверх по самому большому суку… вон тому, видишь? — крикнул Легран.

Негр тотчас повиновался и, повидимому, без особенных затруднений стал взбираться все выше я выше, пока его коренастая фигура не исчезла в густой листве. Тогда, совсем издали, послышался его голос:

— До каких же пор мне лезть?

— Высоко ли ты забрался?

— Высоко, высоко, — ответил негр, — так высоко, что сквозь вершину мне видно небо.

— Оставь небо в покое и слушай меня. Сосчитай, сколько ветвей на стволе ниже тебя с этой стороны.

— Одна, две, три, четыре, пять, — на шестую я сел, масса.

— Поднимись еще на одну ветку.

Через несколько мгновений Юпитер закричал, что добрался до седьмой ветви.

— Теперь, Юп, — крикнул Легран с очевидным волнением, — подвигайся по этой ветке как можно дальше и, если увидишь на ней что-нибудь особенное, скажи мне.

С этой минуты у меня не оставалось никаких сомнений насчет болезненного состояния моего друга. Его помешательство стало для меня очевидным, и я с беспокойством думал о том, как бы увести его домой. Пока я соображал, как лучше за

это взяться, снова послышался голос Юпитера.

— По этому суку страшно лезть — он совсем сухой, он мертвый почти до конца.

— Ты говоришь — мертвый, Юпитер? — крикнул Легран прерывающимся от волнения голосом.

— Да, масса, мертвый, как дверной гвоздь, — совсем готовый для того света.

— Господи, что же делать? — воскликнул Легран с неподдельным отчаянием в голосе.

— Что делать? — подхватил я, радуясь случаю вставить слово. — Идти домой и лечь спать. Пойдемте! Уже поздно. И притом вспомните ваше обещание.

— Юпитер! — крикнул Легран, не обратив на мои слова на малейшего внимания. — Ты слышишь меня?

— Да, масса Вилл, очень ясно слышу.

— Попробуй дерево ножом — очень оно гнилое?

— Гнилое, масса, довольно гнилое, — ответил спустя несколько мгновений негр, — но все-таки не совсем гнилое. Я мог бы подвинуться по суку еще немного, но только один.

— Один? Что ты хочешь сказать?

— Я говорю про жука. Очень тяжелый жук.

Если я его брошу, сук не сломается под тяжестью одного негра.

— Ах ты, чертова каналья! — закричал Легран с видимым облегчением. — Что ты за глупости городишь? Только попробуй у меня бросить жука, и я сверну тебе шею! Помни это, Юпитер! Ты слышишь меня?

— Да, масса, за что вы ругаете бедного негра?

— Теперь слушай меня хорошенько! Если ты залезешь по этому суку так далеко, как только можно, и не выпустишь жука, я подарю тебе серебряный доллар.

— Лезу, масса Вилл, — быстро ответил негр. — Вот… я почти на самом конце.

— На самом конце! — неистово закричал Легран. — Ты хочешь сказать, что ты на самом конце этого сука?

— Сейчас будет конец, масса… О-о-о-о-ой! Господи Боже! Что это тут на дереве?

— Ну, что такое? — радостно воскликнул Легран.

— Э, да это только череп. Кто-то оставил на ветке свою голову, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп? Отлично! Как он держится? Чем он прикреплен?

— О, он хорошо держится… надо посмотреть,

чем… Ах! Вот так штука! Ей-богу, в черепе большой гвоздь, которым он и прибит к дереву.

— Ладно, Юпитер! Теперь делай в точности то, что я буду тебе говорить. Слышишь?

— Да, масса.

— Будь же внимателен — отыщи левый глаз у черепа.

— Э! Да как же! Тут совсем нет левого глаза.

— Проклятый олух! Умеешь ты отличить левую руку от правой?

— Да, умею! Хорошо умею! Левая рука — та, которой я колю дрова.

— Ну да, ты левша. И твой левый глаз на той же стороне, что и левая рука. Теперь, надеюсь, ты отыщешь левый глаз черепа или то место, где был левый глаз. Нашел?

Наступила продолжительная пауза. Наконец, негр спросил:

— Левый глаз на черепе там же, где левая рука черепа, да?.. Но у черепа вовсе нет руки!.. Ничего, я все-таки нашел левый глаз: вот левый глаз. Что теперь делать?

— Пропусти через него жука, насколько позволит шнурок, только, смотри, не урони его.

— Готово, масса Вилл! Очень просто пропустить жука в дырку… Вот смотрите!

В течение этого разговора Юпитер оставался невидимым; но жук, которого он пропустил в орбиту черепа, показался на конце шнурка, сверкая, точно шарик червонного золота, в последних лучах заходящего солнца, еще озарявших слабым светом возвышенность, где мы стояли. Жук спускался, раздвигая ветви, и, если бы Юпитер уронил его, упал бы прямо к нашим ногам. Легран немедленно взял косу и расчистил пространство в три или четыре ярда в поперечнике, как раз под жуком; затем велел Юпитеру выпустить шнурок и слезть с дерева.

Мой друг очень сосредоточенно воткнул колышек в том самом месте, где упал жук, и достал из кармана рулетку. Прикрепив один конец ее к дереву в ближайшем к колышку месте, он начал развертывать ее по направлению от дерева через колышек и отмерил таким образом пятьдесят футов; Юпитер расчищал ему в это время дорогу косой. Тут он вбил другой колышек и велел Юпитеру расчистить вокруг него небольшое пространство, около четырех футов в диаметре. Затем он взял лопату и, дав по лопате мне и Юпитеру, попросил нас рыть как можно усерднее.

По правде сказать, я никогда не питал особой склонности к такому занятию и охотно отказал-

ся бы от этого удовольствия, так как ночь уже наступала, а я и без того был утомлен нашим путешествием; но я не видел возможности отказаться, боясь расстроить моего бедного друга. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то увел бы безумца домой, но я слишком хорошо знал старого негра, чтобы надеяться на его поддержку в случае личного столкновения, с его господином при каких бы то ни было обстоятельствах. Я был уверен, что Легран свихнулся на какой-нибудь из бесчисленных историй о кладах, столь распространенных на Юге, и что химера эта засела у него в голове под влиянием находки жука, а быть может, и неоднократных высказываний Юпитера, будто жук «из чистого золота».

Рассудок, предрасположенный к помешательству, легко поддается таким внушениям, особенно если они согласуются с его предвзятыми идеями, и я хорошо помнил слова бедняги о жуке, который «добудет ему богатство». Вообще я был жестоко расстроен, но в конце концов решил покориться неизбежному и взяться за лопату, чтобы поскорее на деле доказать безумцу всю нелепость его мечтаний.

Мы зажгли фонари и принялись за работу с рвением, достойным лучшего применения.

Озаренные дрожащим светом фонарей, мы, без сомнения, представляли очень живописную группу, и я невольно подумал, какое странное и дикое впечатление произвело бы это зрелище на постороннего человека, случайно завернувшего в этот уголок.

Мы усердно рыли в течение двух часов. Говорили мало. Больше всего нам мешала собака, лаявшая и, по-видимому, очень интересовавшаяся нашей работой. Наконец, она подняла такой отчаянный вой, что мы стали опасаться, как бы она не подняла на ноги всех окрестных жителей; вернее, этого очень боялся Легран, ибо я, с своей стороны, был бы рад всякому вмешательству, которое помогло бы мне отвести беднягу домой. В конце концов вой этот был прекращен Юпитером, с решительным видом выскочившим из ямы и завязавшим морду собаки собственной подтяжкой, после чего он, угрюмо ухмыляясь, снова взялся за лопату.

По истечении двух часов мы достигли глубины в пять футов, но никаких следов сокровища не было видно. Мы остановились, и я начал надеяться, что комедия близится к концу. Однако Легран, хотя и очень смущенный, задумчиво отер потный лоб и продолжал копать. Мы вырыли

яму на пространстве всего расчищенного круга в четыре фута диаметром, потом перешли за эту границу и углубили яму еще на два фута. Там тоже ничего не оказалось. Наконец, мой искатель кладов, которого мне было от души жаль, вылез из ямы с крайне расстроенным видом и принялся медленно, с неохотой, надевать куртку, снятую перед началом работы. Я остерегался делать какие-либо замечания. Юпитер, по знаку своего господина, стал собирать инструменты. Затем, развязав морду собаке, мы в глубоком молчании направились домой.

Не прошли мы и десяти шагов, как вдруг, Легран, громко выругавшись, кинулся на Юпитера и схватил его за ворот. Ошеломленный негр выпучил глаза, разинул рот, уронил инструменты и упал на колени.

— Бездельник! — сквозь зубы прошипел Легран. — Проклятый черный негодяй! Говори! Отвечай сию же минуту без уверток! Где, где у тебя левый глаз?

— О, беда, масса Вилл! Вот левый глаз, вот он! — ревел испуганный негр, положив руку на правый глаз и плотно прижимая ее, как будто боялся, что господин его вырвет.

— Я так и думал! Я так и знал! Ура! — заво-

пил Легран, отпуская негра и пускаясь в пляс к великому изумлению своего слуги, который, поднявшись, безмолвно переводил взоры с меня на своего господина и с своего господина на меня.

— Идем! Мы должны вернуться! — сказал Легран. — Не все еще потеряно!

И он направился обратно к тюльпановому дереву.

— Юпитер, — сказал он, когда мы подошли к стволу, — поди сюда! Как был прибит череп: лицом наружу или лицом к стволу дерева?

— Лицом наружу, масса, — воронам удобно было клевать глаза.

— Ладно. Так в этот или в тот глаз опустил ты жука?

И Легран поочередно дотронулся до обоих глаз негра.

— В этот, масса, в левый, как вы и приказали, — ответил Юпитер, попрежнему указывая на правый глаз.

— Отлично! Нужно начинать сначала!

Тут мой друг, в помешательстве которого я стал видеть или думал, что вижу, некоторую методичность, переставил колышек, воткнутый в том месте, где упал жук, на три дюйма к западу. Затем, снова протянув ленту от ближайшей точки

ствола к колышку, он отмерил в том же направлении пятьдесят футов и отметил новый пункт, в нескольких ярдах от того места, где мы рыли.

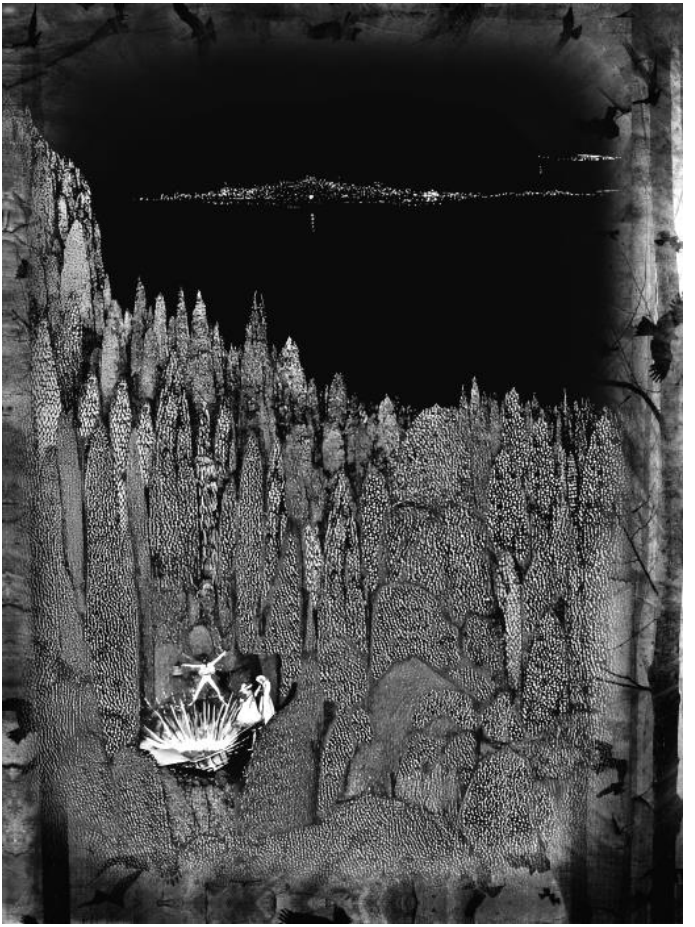
Вокруг этого нового центра был расчищен круг, несколько шире первого, и мы снова взялись за лопаты. Я страшно устал, но, сам не зная почему, уже не чувствовал такого отвращения к работе, как прежде. Я даже необъяснимым образом заинтересовался ею; мало того, я испытывал волнение. Быть может, решительность и какое-то пророческое вдохновение, которым веяло от экстравагантных выходок Леграна, действовали на меня. Я усердно рыл и время от времени ловил себя на том, что поглядываю на яму с чувством, весьма похожим на ожидание воображаемого сокровища, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. В то самое время, когда после полуторачасовой работы безумные мысли эти с особенною силой овладели мной, собака снова принялась неистово лаять. В первый раз лай ее был, очевидно, результатом каприза или избытка веселости, но теперь в нем слышались более серьезные и определенные нотки. Юпитер попытался было снова завязать ей морду, но она оказала отчаянное сопротивление и, бросившись в яму, принялась яростно скрести землю лапами.

Вскоре она откопала груду человеческих костей — два скелета, среди которых виднелось несколько металлических пуговиц и остатки истлевшей шерстяной ткани. Несколько ударов лопатой открыли лезвие большого испанского ножа. Мы углубили яму еще немного и увидели несколько рассыпанных золотых и серебряных монет.

Тут Юпитер едва мог сдержать свою радость, но лицо Леграна отразило ужасное разочарование. Он просил нас все же продолжать работу, и не успел он окончить свои мольбы, как я споткнулся и упал вперед, зацепив ногою за железное кольцо, наполовину закрытое свежей землей.

Мы с новым жаром принялись копать, — я никогда еще не испытывал такого возбуждения. Через десять минут мы вырыли продолговатый сундук, удивительно хорошо сохранившийся и твердый, как камень; очевидно, дерево было пропитано каким-нибудь составом, может быть двухлористою ртутью. Сундук имел три с половиной фута в длину, три фута в ширину и два с половиной в вышину. Он был окован железными полосами, перекрещивавшимися в виде сетки. С каждой стороны было по три железных кольца, всего шесть, так что за него могли взяться шесть человек. Наши соединенные усилия толь-

ко чуть-чуть сдвинули его с места. Мы сразу же убедились, что нам не под силу унести такую тяжесть. К счастью, он был заперт только на две задвижки. Мы сломали их, дрожа от волнения, как в лихорадке. Несметные сокровища, сверкая, открылись нашим глазам. Свет от фонарей падал в яму; груда золота и драгоценных камней сияла и искрилась таким ослепительным блеском, что у нас зарябило в глазах.



Груда золота и драгоценных камней сияла и искрилась таким ослепительным блеском, что у нас зарябило в глазах

Не берусь передать мои чувства при виде этого зрелища. Изумление, конечно, господствовало над всеми остальными. Легран, казалось, изнемогал от возбуждения и не произносил почти ни слова. Что до Юпитера, то лицо его покрылось смертельной бледностью, насколько это возможно для негра. Он казался пораженным громом. Потом он бросился на колени и по локоть засунул свои голые руки в золото, блаженно купаясь в нем. Наконец, с глубоким вздохом он воскликнул, словно обращаясь к самому себе:

— И все это золотой жук! Милый золотой жук! Бедный золотой жучок! Я так бранил, так проклинал его! И не стыдно тебе, старый негр?.. А? Отвечай!

Мне пришлось, однако, так сказать, разбудить господина и слугу, дав им понять, что нужно унести сокровище. Становилось поздно, и нам следовало поторопиться, если мы хотели, чтобы уже до рассвета клад был в полной безопасности. Мы не знали, как быть, и долго не могли решить этого вопроса, ибо мысли наши совершенно перепутались. В конце концов мы вынули из сундука

почти две трети его содержимого, и нам удалось, все еще не без труда, вытащить его из ямы. Добытые сокровища мы спрятали в кустарнике и оставили собаку сторожить их, со строжайшим наказом от Юпитера — не трогаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы поспешили с сундуком домой и добрались до хижины благополучно, но страшно усталые, к часу ночи. Мы так измучились, что были не в силах сразу же тронуться в обратный путь. Мы отдохнули до двух часов, поужинали и снова отправились к холмам, захватив три больших мешка, случайно найденных нами в хижине. Около четырех часов утра мы были на месте, разделили на три части остатки сокровищ и, не дав себе труда зарыть яму снова, направились к хижине, где и сложили наш груз, как раз когда за верхушками деревьев на востоке вспыхнули первые проблески утренней зари.

Мы были совершенно разбиты, но возбужденное состояние не позволило нам как следует отдохнуть. Проспав часа три-четыре беспокойным сном, мы разом, точно сговорившись, вскочили и принялись осматривать сокровища.

Сундук был полон до краев, я мы провели весь день и часть следующей ночи за разборкой его

содержимого. Сокровища были навалены как попало, без всякого порядка.

Рассортировав их, мы убедились, что обладали богатством еще большим, чем казалось с первого взгляда. Тут было более четырехсот пятидесяти тысяч долларов звонкой монетой, вычисляя стоимость золота по текущему курсу. Серебра не было совсем — исключительно золотые монеты старинной чеканки разных стран: французские, испанские, немецкие, несколько английских гиней и еще каких-то монет, о которых мы и понятия не имели. Попадались тяжелые, большие монеты, настолько стертые, что нельзя было разобрать надписей на них. Американских не было вовсе. Стоимость драгоценных камней было труднее определить. Тут были алмазы, — некоторые из них громадные и замечательной красоты, — всего сто десять штук, и среди них — ни одного мелкого; восемнадцать рубинов удивительного блеска; триста десять прекрасных изумрудов; двадцать один сапфир и один опал. Все эти камни были вынуты из оправ и грудою свалены в сундук. Самые оправы были, казалось, сплющены молотком, по всей вероятности для того, чтобы их нельзя было узнать. Кроме всего этого в сундуке оказалось множество золотых

украшений: около двухсот массивных колец и серег; великолепные цепи, если не ошибаюсь, тридцать штук; восемьдесят три больших тяжелых распятия; огромная золотая пуншевая чаша чеканной работы, украшенная виноградными листьями и вакхическими фигурами; пять очень ценных золотых кадильниц; две рукоятки шпаг замечательной работы и масса мелких вещиц, которых я уже не упомню. Вес этих драгоценностей превосходил триста пятьдесят фунтов, не считая ста девяноста семи великолепных золотых часов, из которых трое стоили не менее, чем по пятисот долларов. Многие из них были очень старинной системы, с попорченными от времени механизмами, негодные для употребления, но превосходной ювелирной работы и в дорогих футлярах. Стоимость всего содержимого сундука мы определили в эту ночь в полтора миллиона долларов, но впоследствии по продаже драгоценностей и золотых вещей (мы сохранили для себя лишь немногие), оказалось, что оценка наша была чрезвычайно низка.

Когда, наконец, мы кончили разборку и волнение наше несколько улеглось, Легран, видя, что я сгораю от нетерпения получить ключ к этой необычайной загадке, приступил к подробному

рассказу о всех относящихся к ней обстоятельствах.

— Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я передал вам беглый набросок жука? Вы помните также, как я рассердился на вас за то, что вы уверяли, будто мой рисунок напоминает череп? Сначала я думал, что вы шутите, но, вспомнив об особенных пятнышках на спинке насекомого, согласился, что ваше сравнение не лишено основания. Все же недоверие к моим рисовальным способностям раздражало меня, так как я считаюсь хорошим художником, и, когда вы возвратили мне клочок пергамента, я в сердцах хотел скомкать его и бросить в печку.

— Клочок бумаги, хотите вы сказать? — заметил я.

— Нет, я сам думал сначала, что это бумага, но, начав рисовать, тотчас убедился, что это клочок очень тонкого пергамента. Он был очень грязен, — вы, верно, помните? Так вот, собираясь скомкать его, я взглянул на рисунок, который вы рассматривали, и можете себе представить мое изумление, когда я действительно увидел череп в том месте, где, казалось мне, я нарисовал жука. В первую минуту я ничего не мог понять. Я знал, что мой рисунок в деталях резко отличался от

этого, хотя в общих очертаниях было известное сходство. Я взял тогда свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал тщательно исследовать пергамент. Повернув его, я нашел свой рисунок на другой стороне. Первое, что я почувствовал, было просто удивление. В контурах рисунков было поистине замечательное сходство: по странной случайности неизвестный мне рисунок черепа находился как раз на обороте моего рисунка и был похож на него не только очертаниями, но и размером. Как я уже сказал, это странное совпадение в первую минуту совершенно ошеломило меня. Таково обычное действие подобных происшествий. Рассудок старается установить связь явлений — отношения причины и следствия — и, будучи не в силах сделать это, на минуту парализуется. Но, собравшись с мыслями, я мало-помалу пришел к выводу, поразившему меня еще сильнее. Я совершенно отчетливо вспомнил, что никакого рисунка на пергаменте не было, когда я рисовал моего жука. Я был совершенно в этом уверен, так как помнил, что переворачивал клочок из стороны в сторону, отыскивая место почище. Будь на нем рисунок черепа, я не мог бы не заметить его. Тут заключалась загадка, которой я не мог объяснить, но даже в эту первую

минуту в тайниках моего разума уже замерцало, подобно светлячку, предвидение разгадки, столь блистательно оправдавшееся в прошлую ночь, Я решительно встал и, спрятав пергамент, отложил всякую попытку объяснить все это до того, как останусь один.

Когда вы ушли, а Юпитер улегся спать, я принялся за более методическое исследование. Прежде всего я постарался вспомнить, каким образом этот пергамент попал мне в руки. Мы нашли жука на берегу материка приблизительно в миле к востоку от острова и недалеко от верхней линии прилива. Когда я схватил его, он укусил меня так сильно, что я его выпустил. Юпитер, со своей обычной осторожностью, прежде чем схватить отлетевшего жука, посмотрел, нет ли поблизости листа бумаги или чего-нибудь подобного. В эту минуту его взгляд — и мой также — упал на клочок пергамента, показавшегося мне тогда бумагой. Он лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал наружу. Поблизости я заметил остатки лодки, походившей на большую корабельную шлюпку. Эти обломки крушения гнили здесь, должно быть, уже давно, ибо они уже утратили почти всякое сходство с лодкой.

Итак, Юпитер подобрал пергамент, завернул в него жука и подал мне. Вскоре после этого мы отправились домой и по дороге встретили лейтенанта Г. Я показал ему насекомое, и он попросил его у меня на время. Я согласился. Он положил жука в карман, а пергамент остался у меня в руках. Может быть, он боялся, что я передумаю, и оттого поспешил спрятать жука, — вы знаете его пристрастие к естественной истории. Очевидно, тогда я совершенно машинально сунул пергамент в карман.

Вы помните, что, усевшись за стол, чтобы нарисовать жука, я не нашел под рукой бумаги. Я взглянул в ящик, но и там ее не оказалось. Я пошарил в карманах, надеясь найти какое-нибудь старое письмо, и мне попался пергамент. Я описываю с такими подробностями все обстоятельства, вследствие которых он оказался у меня в руках, потому что обстоятельства эти произвели на меня глубокое впечатление.

Без сомнения, вы сочтете меня фантазером, но я уже установил некоторые логические связи. Я соединил два звена длинной цепи. На берегу лежала лодка, недалеко от нее пергамент, — не бумага, заметьте, — с изображением черепа. Вы, конечно, спросите: «Какая же тут связь?» Я отве-

чу, что череп или мертвая голова — известная эмблема пиратов. Нападая или защищаясь, они всегда поднимали флаг с изображением черепа.

Я сказал, что находка оказалась пергаментом, а не бумагой. Пергамент сохраняется долго, почти вечно. Для пустяков редко употребляют пергамент, тем более, что на нем гораздо менее удобно рисовать или писать, чем на бумаге. Это соображение наводило на мысль о какой-нибудь тайне, об особом смысле, связанном с изображением черепа. Я не мог не обратить внимания и на форму пергамента. Хотя один из его уголков был оборван (случайно надо думать), было ясно, что первоначальная форма его продолговатая. Словом, это был именно такой пергамент, какие употребляются для важных документов, которые надо долго и тщательно хранить…

— Позвольте, — перебил я, — вы сказали, что черепа не было на пергаменте, когда вы рисовали жука. Как же могли вы установить связь между лодкой и черепом, если этот череп, по вашим же словам, был нарисован (Бог знает, как и кем) после того, как вы нарисовали жука?

— А здесь-то и кроется тайна, хотя как раз в этой части разгадка не представляла для меня особых затруднений. Ход моих мыслей был

строго логичен и мог привести только к одному выводу. Я рассуждал так: когда я рисовал жука, на пергаменте не было и следов черепа. Кончив рисунок, я передал его вам и не спускал с вас глаз все время, пока вы не возвратили мне листка. Стало быть, вы не могли нарисовать череп, а, кроме вас, рисовать было некому. Следовательно, он не был нарисован. И, однако, он был тут, у меня перед глазами.

Добравшись до этого пункта своих рассуждений, я стал припоминать и припомнил с полной точностью все, что случилось в течение данного промежутка времени. Погода была холодная (о, редкая и счастливая случайность!), и в печке пылал огонь. Я разогрелся от ходьбы и сел за стол. Вы же придвинули стул к самой печке. Как только я передал вам пергамент и вы собрались рассматривать его, Вульф, мой ньюфаундленд, ворвался в комнату и бросился к вам. Левой рукой вы погладили и отстранили его, а правую с пергаментом машинально опустили между колен, к самому огню. Я уже думал, что он вспыхнет, и хотел предупредить вас, но, прежде чем я заговорил, вы подняли его и стали рассматривать. Сопоставив все эти факты, я не мог ни минуты сомневаться в том, что причиной, вызвавшей на пергаменте

изображение черепа, было *действие теплоты*. Вы знаете, что существуют и существовали с незапамятных времен особые химические составы, с помощью которых можно писать на бумаге или пергаменте невидимые буквы, обнаруживающиеся только под действием тепла. Иногда употребляют цафру*, растворенный в царской водке* и разведенный четырьмя объемами воды; тогда получаются зеленые буквы. Кобальтовый королек, растворенный в нашатырном спирте, дает красные буквы. Буквы исчезают вскоре после охлаждения бумаги, но стоит ее нагреть, и они появляются снова.

Я внимательно рассмотрел тогда изображение черепа. Его внешние, то есть ближайшие к краям пергамента, очертания выделялись резче, чем остальная часть рисунка. Очевидно, действие теплоты было неравномерно. Я тотчас развел огонь и стал тщательно нагревать пергамент. Сначала яснее выступили очертания черепа, но потом в противоположном по диагонали углу листка появилась фигура, которую я принял сначала за изображение козы. Но при ближайшем исследовании я убедился, что она похожа скорее на козленка.

— Забавно, — сказал я, — я не вправе смеяться

над вами: полтора миллиона долларов — не тема для шуток! Но вы не отыщете третьего звена цепи, вам не удастся установить связь между вашими пиратами и козою: пираты, как известно, не занимаются козами. Это дело фермеров.

— Но ведь я только что сказал, что это было изображением не козы.

— Ну, козленка — это почти одно и то же.

— Почти, но не совсем, — возразил Легран. — Приходилось ли вам слышать о некоем капитане Кидде?* Сопоставьте Kidd и kid (козленок). Игра слов здесь напрашивается сама собой. При первом взгляде на рисунок мне пришло в голову, что это должна быть символическая или иероглифическая подпись. Я говорю подпись потому, что место, которое рисунок занимал на пергаменте, заставляло предполагать именно это. Изображение черепа в противоположном по диагонали углу можно было принять за печать. Но меня жестоко сбивало с толку отсутствие главного, самой сути — текста моего воображаемого документа.

— Вы ожидали найти между печатью и подписью текст?

— Что-нибудь в этом роде. Дело в том, что я проникся неотразимым предчувствием огромного богатства. Почему — я и сам не знаю. Это шло

скорее изнутри, чем извне. Но, представьте себе, нелепые слова Юпитера о том, что жук из чистого золота, оказали на мое воображение замечательное действие. Потом этот ряд случайностей и совпадений — разве это не странно? Надо же было всем этим событиям произойти в тот единственный день в течение целого года, когда холод заставил нас затопить печку! А не будь печка затоплена или появись собака минутой позже, я никогда не узнал бы о существовании черепа и не завладел бы сокровищем.

— Продолжайте, продолжайте! Я сгораю от нетерпения.

— Хорошо. Так вы, без сомнения, слышали рассказы, тысячи смутных преданий о сокровище, зарытом где-то на Атлантическом побережье Киддом и его товарищами. В общем все эти толки должны были иметь некоторое основание. И если они существовали так долго и так упорно, то только потому, казалось мне, что зарытое сокровище до сих пор еще не найдено. Если бы Кидд спрятал свою добычу на время, а потом снова забрал бы се, вряд ли бы эти предания дошли до нас в столь неизменной форме. Заметьте, что все эти истории рассказывают о поисках клада, а не о найденных сокровищах. Если бы пират отрыл

свое богатство, об этом бы вскоре забыли. Мне казалось, что какая-нибудь случайность, например, потеря плана, на котором было обозначено точное место, где был зарыт клад, лишила Кидда возможности отыскать его. Я предполагал далее, что это обстоятельство стало известно его товарищам, которых иначе он не посвятил бы в свою тайну, и что своими бесплодными поисками там и сям они подали повод к этим толкам, которые уже превратились в легенды. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о находке на этом берегу большого клада?

— Никогда.

— А между тем хорошо известно, что Кидд собрал несметные богатства. И я пришел к убеждению, что земля еще хранит их. Вам, конечно, не покажется странным, что у меня мелькнула надежда, которая почти граничила с уверенностью, что пергамент, так странно попавший в мои руки, содержит исчезнувшие указания на место, где был зарыт неведомый клад.

— Но как же вы их обнаружили?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но буквы не появлялись. Я подумал о покрывающем пергамент слое грязи и осторожно обмыл его, поливая теплой водой;

потом положил пергамент рисунком вниз на жестяную сковородку и поставил ее на уголья. Через несколько минут сковородка совсем нагрелась. Я сиял листок и с невыразимой радостью заметил на нем какие-то знаки, похожие па цифры, расположенные строчками. Я снова положил листок на сковородку и подержал его там еще с минуту. После этого выступила вся надпись — так, как вы ее сейчас увидите.

Тут Легран снова погрел у огня пергамент и передал его мне. Я увидел между черепом и козленком следующие знаки, грубо начертанные красными чернилами:

53##+305))6*;4826)4#.)4#);806*;48+8 ||60))85;;]8*;:
#*8+83(88)5*+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:*#(;4956*2(5*=4
;4)485+528806*81(#9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188;#?;

— Нет, — сказал я, возвращая ему листок, — для меня это китайская грамота. Я ничего не разобрал бы тут, хотя бы мне предложили все сокровища Голконды*.

— А между тем, — возразил Легран, — разгадать шифр не так трудно, как это может показаться с первого взгляда. Очевидно, это шифр, но зная, что такое представлял собой Кидд, я не считал его способным на составление сложной крипто-

граммы. Я тотчас решил, что его шифр должен быть очень простым, хотя ограниченному уму моряка и неизбежно покажется совершенно не поддающимся расшифровке.

— И вы разобрали его?

— Без труда. Такие ли шифры мне случалось разбирать! Обстоятельства и природная склонность ума заставили меня интересоваться подобного рода загадками, и я сомневаюсь, чтобы человеческое остроумие могло изобрести такой шифр, которого человеческое же остроумие, надлежащим образом направленное, не в силах было бы разгадать. Получив зашифрованный текст в приличной сохранности, я никогда не затруднялся разгадать его смысл.

В данном случае, как, впрочем, и во всех шифрах, прежде всего нужно было решить вопрос о языке текста, так как принципы расшифровки особенно простых шифров зависят от строя языка и соответственно различаются. Чаще всего приходится просто пробовать один за другим все известные вам языки, пока не нападешь, наконец, на верный след. Но здесь это затруднение устранялось подписью. Игра слов «Kidd» и «kid» говорила в пользу английского языка. Не будь этого, я начал бы с испанского или французского,

так как пират испанских морей* воспользовался бы всего вероятнее этими языками. Но в данном случае я предположил, что криптограмма написана по-английски.

Вы замечаете, что текст здесь идет в сплошную строку? Если бы отдельные слова были выделены, задача значительно упростилась бы. В таком случае я начал бы с анализа самых коротких слов и, если бы попалось слово, состоящее из одной буквы (вроде, например, союза и или местоимения я), я считал бы свою задачу решенной. Но раз деления на слова не было, мне предстояло определить сравнительную частотность знаков в этом тексте. Подсчитав их, я составил следующую табличку:

Знак	8	повторятся	34	раза
«	;	«	27	раз
«	4	«	19	«
«	)	«	16	«
«	#	«	15	«
«	*	«	14	«
«	5	«	12	«
«	6	«	11	«
«	+	«	8	«
«	1	«	7	«
«	0	«	6	«
«	9 *и* 2	«	5	«
«	: *и* 3	«	4	раза
«	?	«	3	«
«	‖	«	2	«
«	= *и*]	«	1	раз.

В английском языке чаще всего, как известно, встречается буква e. Частотность других букв следует в таком порядке: a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z. Буква e настолько преобладает, что в мало-мальски длинной фразе это почти всегда самая частая буква.

Итак, у нас уже с самого начала есть база для поисков — не одни догадки. Ясно, какое употребление можно сделать из подобной таблицы, но в этом шифре она нам поможет лишь в известной степени. Начнем с того, что будем считать преобладающий знак 8 за букву e. Чтобы проверить это предположение, посмотрим, встречается ли в нашем тексте 8 два раза подряд, потому что буква e в английском языке очень часто удваивается, например в словах «meet, «fleet», «speed», «seen», «been», «agree» и т. д. Здесь, как видите, знак 8 удваивается пять раз, хотя криптограмма очень короткая.

Итак, пусть 8 означает e. Теперь, из всех слов в английском языке самое употребительное — определенный артикль «the». Следовательно, надо посмотреть, не повторяется ли тут несколько раз одно и то же сочетание из трех знаков, в котором последним был бы знак 8. Если мы найдем такие сочетания, то очень вероятно, что они будут представлять слово «the». Рассмотрев криптограмму, мы находим не менее семи раз сочетание знаков;48. Мы можем, следовательно, предположить, что знак; означает t, 4— h, а 8— e, значение последнего, таким образом, вновь подтверждается. Вот уже важный шаг вперед.

Мы определили только одно слово, но это уже дает нам громадное преимущество: позволяет определить границы некоторый других слов.

Возьмем, например, предпоследнее сочетание знаков; 4 8. Следующий за ним знак (является, очевидно, начальной буквой другого слова, а из пяти дальнейших знаков мы знаем целых четыре. Заменим же эти шесть знаков соответствующими им буквами, оставив свободное место для неизвестной:

t eeth

Прежде всего нужно отделить буквы *th*, потому что такого окончания нет ни у одного слова, начинающегося с *t*. В этом легко убедиться, поставив все буквы алфавита по очереди на место недостающей. Отделив *th*, мы получаем

t ee

и опять-таки, перепробовав, если нужно, все буквы алфавита, убеждаемся, что оно может быть только словом: tree (*дерево*).

Таким образом, мы узнали еще букву *r*, обозначаемую посредством знака (и получили слова

the tree.

Несколько дальше мы вновь встречаем сочетание;48. Пользуемся им, чтобы определить *окончание* фразы. Таким образом, мы имеем сле-

дующий ряд:

the tree;4(#?34 the

а заменив известные уже нам, знаки буквами, получаем:

the tree thr#?3h the.

Теперь, подставив вместо неизвестных нам знаков точки, читаем:

the tree thr…h the.

Тут слово through (*через, сквозь*) напрашивается, так сказать, само собою. Но это открытие дает нам еще три буквы: *o, u* и *g*, обозначаемые посредством #? и 3.

Если поищем теперь внимательно в криптограмме сочетания известных нам букв, то найдем недалеко от начала следующую группу:

83(88, или egree,

которая, очевидно, может быть только окончанием слова degree (*градус, степень*) и дает нам еще букву *d*, обозначаемую знаком +.

Через четыре знака после слова degree встречаем сочетание:

;46(; 88*.

Заменив известные нам знаки буквами, а неизвестные точками, получим:

th. rtee

что немедленно приводит нас к слову thirteen

(*тринадцать*). Мы узнаем, таким образом, еще две буквы — *i* и *n*, обозначаемые посредством 6 и *.

Обращаясь теперь к началу криптограммы, находим сочетание:

53##+

Подставляя буквы, как мы уже это делали, мы читаем good (*хорошее*), откуда следует, что первый знак есть *a*, а первые два слова — A good.

Теперь, чтобы не запутаться, расположим результат наших изысканий в виде таблички. Тогда у нас будет начало ключа:

5	означает	a
+	«	d
8	«	e
3	«	g
4	«	h
6	«	i
*	«	n
#	«	o
(	«	r
;	«	t

Таким образом, мы определили десять самых важных букв. Я думаю, что нет надобности объяснять вам дальше, как я разгадал остальные. Вам теперь ясно, в чем суть подобного шифра и как найти к нему ключ. Но заметьте, что эта криптограмма относится к разряду самых простых. Теперь мне остается только заменить все знаки буквами, то есть дать вам полный перевод шифра. Вот он:

«A good glass in the bishops hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's-head a bee line from the tree through the shot fifty feet out».

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут норд-норд-ост главный сук седьмая ветвь восточная сторона стрелять из левого глаза мертвой головы прямая линия от дерева через выстрел на пятьдесят футов дальше».

— Что же, — сказал я, — все это не намного яснее, чем было раньше. Это же сущая тарабарщина: «дом епископа», «мертвая голова» и «чертов стул».

— Не спорю, — ответил Легран, — на первый взгляд текст кажется довольно темным. Прежде

всего я постарался разбить его на отдельные фразы.

— То есть расставить знаки препинания? — Ну да, нечто в этом роде.

— Но как же вам это удалось?

— Я предположил, что автор криптограммы нарочно не ставил знаков препинания, чтобы затруднить разгадку шифра. Задавшись такой целью, человек не очень тонкий непременно должен был перейти меру. Там, где кончается фраза и требуется пауза, он, наоборот, ставит слова теснее, чем в остальном тексте. Вглядитесь в рукопись внимательнее и вы найдете пять таких мест. Основываясь на этом, я разделил текст следующим образом:

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — норд-норд-ост — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стрелять из левого глаза мертвой головы — прямая линия от дерева через выстрел на пятьдесят футов дальше».

— Допустим, — заметил я, — но все равно смысл остается для меня темен.

— И для меня он оставался темным, — возразил Легран, — в течение нескольких дней, пока я разузнавал, нет ли где по соседству с островом

Сэлливан какого-нибудь строения, называемого «дом епископа».

Не добившись толку, я намеревался расширить сферу моих поисков и приняться за них более систематично, когда однажды утром мне пришло в голову, что слова «дом епископа» (Bishop's hostel) могут относиться к старинной фамилии Bessop, когда-то, в незапамятные времена, владевшей старинной усадьбой в пяти милях к северу от острова. Я отправился туда и принялся расспрашивать старых негров на плантации. Наконец, одна древняя старушка сообщила мне, что она слыхала про место, называемое «Замок епископа», и может показать мне его, но что это вовсе не замок, а высокая скала.

Я обещал хорошо заплатить ей за труды, и после некоторого колебания она согласилась провести меня к «замку». Мы нашли его без особых затруднений; затем я отпустил ее и принялся за исследование местности. «Замок» состоял из группы скал и утесов; один из них особенно выделялся своей высотой и формой, напоминавшей искусственное сооружение. Я взобрался на его вершину и некоторое время пребывал в растерянности, не зная, что предпринять.

Пока я размышлял, взгляд мой упал на узкий

выступ на восточной стороне утеса, приблизительно на один ярд ниже того места, где я стоял. Он выдавался дюймов на восемнадцать, а в ширину имел не более фута; над ним в стене утеса находилось углубление, так что в общем он был похож на старинные стулья с изогнутыми спинками. Я сразу же понял, что это и есть «чертов стул», о котором упоминается в рукописи, и ключ к разгадке был у меня в руках.

«Хорошее стекло» могло означать только подзорную трубу, так как слово «стекло» часто употребляется моряками именно в этом смысле. Очевидно, нужно было смотреть отсюда в подзорную трубу из определенного фиксированного положения. Слова «двадцать один градус тринадцать минут» и «норд-норд-ост» указывали направление трубы. Взволнованный этими открытиями, я поспешил домой, взял подзорную трубу и вернулся на утес.

Спустившись на выступ, я убедился, что на нем можно было сидеть только в одном определенном положении. Это подтверждало мои догадки. Я взялся за подзорную трубу. Слова «двадцать один градус тринадцать минут» могли относиться только к высоте над видимым горизонтом, так как горизонтальное направление указыва-

лось в словах «норд-норд-ост». Определив его с помощью карманного компаса, я установил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее по вертикали, пока взгляд мой не задержался на круглом просвете в листве огромного дерева, намного возвышавшегося над другими. В центре просвета я заметил белое пятнышко, но сначала не мог разобрать, что оно собою представляет. Отрегулировав, наконец, трубу, я убедился, что это был человеческий череп.

Теперь загадка была окончательно решена, потому что слова «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» могли относиться только к положению черепа на дереве, а выражение «стрелять из левого глаза мертвой головы» допускало тоже лишь одно объяснение: нужно опустить пулю через левую глазницу черепа. Далее следовало провести «прямую линию» от ближайшей точки дерева через «выстрел», то есть через место падения пули, и отмерить пятьдесят футов в том же направлении. Таким образом определялось место, в котором могло быть зарыто сокровище.

— Вот это, — сказал я, — звучит очень убедительно, и при всей запутанности дела, просто и логично. Что же вы предприняли дальше?

— Заметив хорошенько дерево, я вернулся домой. Как только я встал с «чертова стула», просвет в листве дерева исчез, и я не мог его больше найти, как ни старался. Все остроумие замысла, по-моему, в том и заключается, что этот просвет, как я убедился, повторив опыт несколько раз, можно видеть лишь с единственного пункта — с узкого выступа скалы.

В этой экскурсии к «дому епископа» меня сопровождал Юпитер, который, без сомнения, заметил мое странное поведение за последнее время и решительно не отставал от меня ни на шаг. Но на следующий день я поднялся очень рано, ускользнул от него и отправился разыскивать дерево. Я нашел его с большим трудом.

Когда я вернулся вечером домой, Юпитер хотел поколотить меня. Что было дальше, вы знаете теперь сами.

— Надо думать, — сказал я, — в первый раз вы ошиблись местом по милости Юпитера, опустившего жука не в левую, а в правую глазницу черепа?

— Разумеется. Разница составляла всего два с половиной дюйма в отношении «выстрела», то есть первого колышка, и если бы сокровище находилось под «выстрелом», эта ошибка не имела

бы значения. Но «выстрел» и ближайшая к нему точка дерева указывали только направление, и как бы ни была незначительна разница в исходном пункте, она возрастала по мере удаления от дерева, а на расстоянии пятидесяти футов делалась очень существенной. Не будь я так глубоко убежден, что зарытое сокровище находится где-нибудь поблизости, все наши труды пропали бы даром.

— Должно быть, пиратская эмблема навеяла Кидду эту странную причуду с черепом, в глазницу которого надо было опускать пулю. Вернуть себе сокровища через посредство своей эмблемы — для него в этом, наверное, была некая зловещая поэзия.

— Возможно, что и так; хотя мне думается, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» небольшой предмет на ветке дерева можно только при условии, что он будет белый. А что сравнится с черепом, который не только не темнеет от дождей и непогоды, но становится все белее и белее?

— Ну, а ваш торжественный вид, ваша загадочная возня с жуком — что это за чудачество? Я был уверен, что вы помешались! И почему вам

вздумалось вместо пули опустить в череп непременно жука?

— Видите ли, оказать правду, я был раздосадован вашими сомнениями насчет моего рассудка и решил отплатить вам маленькой мистификацией. Вот почему я проделывал все эти штуки с жуком и воспользовался им вместо пули. Ваше замечание о его тяжести подало мне эту мысль.

— Да… понимаю. Теперь остается еще один вопрос. Откуда взялись скелеты, что мы отрыли?

— Ну, об этом я знаю так же мало, как и вы. Повидимому, тут возможно только одно объяснение, хотя оно предполагает почти невообразимую жестокость. Ясно, что Кидд, — если только это сокровище Кидда, в чем я не сомневаюсь, — не мог зарыть клад один. Но, когда работа была окончена, он счел за лучшее отделаться от посвященных в его тайну. Быть может, двух ударов лома сверху, пока его помощники возились в яме, оказалось достаточно, быть может, понадобился целый десяток… Кто теперь скажет нам это?

Черный кот

Я хочу записать самый странный и в то же время самый обыкновенный рассказ, но не прошу,

чтобы мне верили, и не думаю, что мне поверят. Действительно, нужно быть сумасшедшим, чтобы ожидать этого при таких обстоятельствах, когда мои собственные чувства отвергают свои показания. А я не сумасшедший — и уж, конечно, мои слова — не бред. Но завтра я умру, и сегодня мне хотелось бы освободить мою душу от тяжести. Я намерен рассказать просто, кратко и без всяких пояснений целый ряд событий чисто личного семейного характера. В своих последствиях эти события устрашили, замучили, погубили меня. Однако я не буду пытаться истолковывать их. Для меня они явились не чем иным, как Ужасом, — для многих они покажутся не столько страшными, сколько причудливыми. Впоследствии, быть может, найдется какой-нибудь ум, который пожелает низвести мой фантом до общего места, — какой-нибудь ум более спокойный, более логичный и гораздо менее возбудимый, чем мой, и в обстоятельствах, которые я излагаю с ужасом, он не увидит ничего, кроме заурядной преемственности причин и следствий.

С раннего детства я отличался кротостью и мягкостью моего нрава. Нежность моего сердца была даже так велика, что я был посмешищем среди своих товарищей. В особенности я любил

животных, и родители мои наделяли меня целым множеством бессловесных любимцев. С ними я проводил большую часть моего времени, и для меня было самым большим удовольствием кормить и ласкать их. Эта своеобразная черта росла, по мере того как сам я рос, и в зрелом возрасте я нашел в ней один из главных источников наслаждения. Тем, кто испытывал привязанность к верной и умной собаке, я вряд ли должен объяснять особенный характер и своеобразную напряженность удовольствия, отсюда проистекающего. В бескорыстной и самоотверженной любви животного есть что-то, что идет прямо к сердцу того, кто имел неоднократный случай убедиться в жалкой дружбе и в непрочной, как паутина, верности существа, именуемого Человеком.

Я женился рано и с удовольствием заметил, что наклонности моей жены не противоречили моим. Видя мое пристрастие к ручным животным, она не упускала случая доставлять мне самые приятные экземпляры таких существ. У нас были птицы, золотая рыбка, славная собака, кролики, маленькая обезьянка и *кот.*

Этот последний был необыкновенно породист и красив, весь черный и понятливости прямо

удивительной. Говоря о том, как он умен, жена моя, которая в глубине сердца была порядком суеверна, неоднократно намекала на старинное народное поверье относительно того, что все черные кошки — превращенные колдуньи. Не то чтобы она была всегда серьезна, когда касалась данного пункта, нет, и я упоминаю об этом только потому, что сделать такое упоминание можно именно теперь.

Плутон* — так назывался кот — был моим излюбленным и неизменным товарищем. Я сам кормил его, и он сопровождал меня всюду в доме, куда бы я ни пошел. Мне даже стоило усилий удерживать его, чтобы он не следовал за мной по улицам.

Такая дружба между нами продолжалась несколько лет, и за это время мой темперамент и мой характер под воздействием Демона Невоздержности (стыжусь признаться в этом) претерпел резкую перемену к худшему. День ото дня я становился все капризнее, все раздражительнее, все небрежнее по отношению к другим. Я позволял себе говорить самым грубым образом со своей женой. Я дошел даже до того, что позволил себе произвести над ней насилие. Мои любимцы, конечно, также не преминули почувствовать

перемену в моем настроении. Я не только совершенно забросил их, но и злоупотреблял их беспомощностью. По отношению к Плутону, однако, я еще был настроен в достаточной степени благосклонно, чтобы удерживаться от всяких злоупотреблений; зато я нимало не стеснялся с кроликами, с обезьяной и даже с собакой, когда случайно или в силу привязанности они приближались ко мне. Но мой недуг все более завладевал мной — ибо какой же недуг может сравниться с алкоголем! — и наконец даже Плутон, который теперь успел постареть и, естественно, был несколько раздражителен, — даже Плутон начал испытывать влияние моего дурного нрава.

Раз ночью, когда я в состоянии сильного опьянения вернулся домой из одного притона, бывшего моим обычным убежищем, мне пришло в голову, что кот избегает моего присутствия. Я схватил его, и он, испугавшись моей грубости, слегка укусил меня за руку. Мгновенно мною овладело бешенство дьявола. Я не узнавал самого себя. Первоначальная душа моя как будто вылетела из моего тела, и я затрепетал всеми фибрами моего существа от ощущения более чем дьявольского злорадства, вспоенного джином. Я вынул из жилета перочинный ножик, раскрыл его, схватил

несчастное животное за горло и хладнокровно вырезал у него один глаз из орбиты! Я краснею, я горю, я дрожу, записывая рассказ об этой проклятой жестокости.

Когда с утром вернулся рассудок, когда хмель ночного беспутства развеялся, я был охвачен чувством частично ужаса, частично раскаяния при мысли о совершенном преступлении, но это было лишь слабое и уклончивое чувство, и душа моя оставалась нетронутой. Я опять погрузился в излишества и вскоре утопил в вине всякое воспоминание о злом деле.

Между тем кот мало-помалу поправлялся. Пустая глазная впадина, правда, представляла из себя нечто ужасающее, но он, по-видимому, больше не испытывал никаких страданий. Он по-прежнему бродил в доме, заходя во все углы, но, как можно было ожидать, с непобедимым страхом убегал, как только я приближался к нему. У меня еще сохранилось прежнее чувство привязанности к коту, я сначала крайне огорчался, видя явное отвращение со стороны существа, которое когда-то так любило меня. И тогда, как бы для моей окончательной и непоправимой пагубы, пришел дух ИЗВРАЩЕННОСТИ. Философия не занимается рассмотрением этого чувства.

Но насколько верно, что я живу, настолько же несомненно для меня, что извращенность является одним из самых первичных побуждений человеческого сердца — одной из основных нераздельных способностей, дающих направление характеру Человека. Кто же не чувствовал сотни раз, что он совершает низость или глупость только потому, что, как он знает, он не должен был бы этого делать? Разве мы не испытываем постоянной наклонности нарушать, вопреки нашему здравому смыслу, то, что является Законом, именно потому, что мы понимаем его как таковой? Повторяю, этот дух извращенности пришел ко мне для моей окончательной пагубы. Эта непостижимая жажда души мучить себя — именно производить насилие над собственной природой, делать зло ради самого зла — побуждала меня продолжать несправедливость по отношению к беззащитному животному и заставила меня довести злоупотребление до конца. Однажды утром совершенно хладнокровно я набросил коту на шею петлю и повесил его на сучке — повесил его, несмотря на то, что слезы текли ручьем из моих глаз и сердце сжималось чувством самого горького раскаяния; повесил его, потому что я знал, что он любил меня, и потому что я чув-

ствовал, что он не сделал мне ничего дурного; повесил его, потому что я знал, что, поступая таким образом, я совершал грех — смертный грех, который безвозвратно осквернял мою неумирающую душу и, быть может, выбрасывал меня, если только это возможно, за пределы бесконечного милосердия Господа, Бога Милосерднейшего и Страшнейшего.

В ночь после того дня, когда было совершено это жестокое деяние, я был пробужден от сна криками: «Пожар!» Занавески на моей постели пылали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам — мы еле-еле спаслись от опасности сгореть заживо. Разорение было полным. Все мое имущество было поглощено огнем, и отныне я был обречен на отчаяние.

Я, конечно, не настолько слаб духом, чтобы искать причинной связи между несчастьем и жестокостью. Но я развертываю цепь событий и не хочу опускать ни одного звена, как бы оно ни было ничтожно. На другой день я пошел на пожарище. Стены были разрушены, исключая одной. Сохранилась именно не очень толстая перегородка; она находилась приблизительно в середине дома, и в нее упиралось изголовье кровати, на которой я спал. Штукатурка на этой

стене во многих местах оказала сильное сопротивление огню — факт, который я приписал тому обстоятельству, что она недавно была отделана заново. Около этой стены собралась густая толпа, и многие, по-видимому, пристально и необыкновенно внимательно осматривали ее в одном месте. Возгласы: «Странно!», «Необыкновенно!» и другие подобные замечания возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел как бы втиснутым, в виде барельефа, на белой поверхности стены изображение гигантского кота. Очертания были воспроизведены с точностью поистине замечательной. Вкруг шеи животного виднелась веревка.

В первую минуту, когда я заметил это привидение — чем другим могло оно быть на самом деле? — мое удивление и мой ужас были безграничны. Но в конце концов размышление пришло мне на помощь. Я вспомнил, что кот был повешен в саду. Когда началась пожарная суматоха, этот сад немедленно наполнился толпой, кто-нибудь сорвал кота с дерева и бросил его в открытое окно, в мою комнату, вероятно, с целью разбудить меня. Другие стены, падая, втиснули жертву моей жестокости в свежую штукатурку; сочетанием извести, огня и аммиака, выделившегося из тру-

па, было довершено изображение кота — так, как я его увидал.

Хотя я таким образом быстро успокоил свой рассудок, если не совесть, найдя естественное объяснение этому поразительному факту, он тем не менее оказал на мою фантазию самое глубокое впечатление. Несколько месяцев я не мог отделаться от фантома кота, и за это время ко мне вернулось то половинчатое чувство, которое казалось раскаянием, не будучи им. Я даже начал сожалеть об утрате животного, и не раз, когда находился в том или в другом из обычных своих низких притонов, осматривался кругом, ища другого образчика той же породы, который, будучи хотя сколько-нибудь похож на Плутона, мог бы заменить его.

Раз ночью, когда я, наполовину отупев, сидел в вертепе более чем отвратительном, внимание мое было внезапно привлечено каким-то черным предметом, лежавшим на верхушке одной из огромных бочек джина или рома, составлявших главное украшение комнаты. Несколько минут я пристально смотрел на верхушку этой бочки, и что меня теперь удивляло — это тот странный факт, что я не заметил данного предмета раньше. Я приблизился к нему и коснулся его своей

рукой. Это был черный кот — очень большой, совершенно таких же размеров, как Плутон, и похожий на него во всех отношениях, кроме одного. У Плутона не было ни одного белого волоска на всем теле; а у этого кота было широкое, хотя и неопределенное белое пятно почти во всю грудь.

Когда я прикоснулся к нему, он немедленно приподнялся на лапы, громко замурлыкал, стал тереться о мою руку и, по-видимому, был весьма пленен моим вниманием. Вот наконец, подумал я, именно то, чего я ищу. Я немедленно обратился к хозяину трактира с предложением продать мне кота; но тот не имел на него никаких притязаний — ничего о нем не знал, никогда его раньше не видел.

Я продолжал ласкать кота, и, когда я приготовился уходить домой, он выразил желание сопровождать меня. Я, со своей стороны, все манил его, время от времени нагибаясь и поглаживая его по спине. Когда мы наконец добрались, кот немедленно освоился здесь как дома и быстро сделался любимцем моей жены.

Что касается меня, я вскоре почувствовал, что во мне возникает отвращение к нему. Это было нечто как раз противоположное тому, что я заранее предвкушал; не знаю как и почему, но его

очевидное расположение ко мне вызывало во мне надоедливое враждебное чувство. Мало-помалу это чувство досады и отвращения возросло до жгучей ненависти. Я избегал этой твари; однако известное чувство стыда, а также воспоминания о моем прежнем жестоком поступке не позволяли мне посягать на него. Недели шли за неделями, и я не смел ударить его или позволить себе какое-нибудь другое насилие, но мало-помалу — ощущение, развивавшееся постепенно, — я стал смотреть на него с невыразимым омерзением, я стал безмолвно убегать от его ненавистного присутствия, как от дыхания чумы.

Что, без сомнения, увеличивало мою ненависть к животному — это открытие, которое я сделал утром на другой день, после того, как кот появился в моем доме: он, подобно Плутону, был лишен одного глаза. Данное обстоятельство, однако, сделало его еще более любезным сердцу моей жены: она, как я уже сказал, в высокой степени обладала тем мягкосердечием, которое было когда-то и моей отличительной чертой и послужило для меня источником многих самых простых и самых чистых удовольствий.

Но по мере того, как мое отвращение к коту росло, в равной мере, по-видимому, возрастало его

пристрастие ко мне. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно дать почувствовать другому. Где бы я ни сидел, он непременно забирался ко мне под стул или вспрыгивал ко мне на колени, обременяя меня своими омерзительными ласками. Когда я вставал, он путался у меня в ногах, и я едва не падал, или, цепляясь своими длинными и острыми когтями за мое платье, вешался таким образом ко мне на грудь. Хотя в такие минуты у меня было искреннее желание убить его одним ударом, я все-таки воздерживался — частью благодаря воспоминанию о моем прежнем преступлении, но главным образом — пусть уж я признаюсь в этом сразу — благодаря несомненному *страху* перед животным.

То не был страх физического зла — и однако же я затрудняюсь, как мне иначе определить его. Мне почти стыдно признаться — даже в этой камере осужденных мне почти стыдно признаться, что страх и ужас, которые мне внушало животное, были усилены одной из нелепейших химер, какие только возможно себе представить. Жена неоднократно обращала мое внимание на характер белого пятна, о котором я говорил и которое являлось единственным отличием этой странной твари от животного, убитого мной.

Читатель может припомнить, что это пятно, хотя и широкое, было сперва очень неопределенным, но мало-помалу — посредством изменений почти незаметных и долгое время казавшихся моему рассудку призрачными — оно приняло наконец отчетливые, строго определенные очертания. Оно теперь представляло из себя изображение страшного предмета, который я боюсь назвать, — и благодаря этому-то более всего я гнушался чудовищем, боялся его и хотел бы от него избавиться, если бы только смел; пятно, говорю я, являлось теперь изображением предмета гнусного, отвратительно страшного — ВИСЕЛИЦЫ! О, мрачное и грозное орудие ужаса и преступления — агонии и смерти!

И теперь я действительно был беспримерно злосчастным, за пределами чисто человеческого злосчастия. *Грудь животного* — равного которому я презрительно уничтожил — *грудь животного* доставляла *мне* — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, — столько невыносимых мук! Увы, ни днем, ни ночью я больше не знал благословенного покоя! В продолжение дня отвратительная тварь ни на минуту не оставляла меня одного; а по ночам я чуть не каждый час вскакивал, просыпаясь от неизреченно

страшных снов, чувствуя на лице своем горячее дыхание чего-то, чувствуя, что огромная тяжесть этого *чего-то* — олицетворенный кошмар, стряхнуть который я был не в силах, — навеки налегла на мое сердце.

Под давлением подобных пыток во мне изнемогло все то немногое доброе, что еще оставалось. Дурные мысли сделались моими единственными незримыми сотоварищами — мысли самые черные и самые злые. Капризная нервность, обыкновенно отличавшая мой характер, возросла настолько, что превратилась в ненависть решительно ко всему и ко всем; и безропотная жена моя, при всех этих внезапных и неукротимых вспышках бешенства, которым я теперь слепо отдавался, была — увы! — самой обычной и самой бессловесной жертвой.

Однажды она пошла со мной по какой-то хозяйственной надобности в погреб, примыкавший к тому старому зданию, где мы, благодаря нашей бедности, были вынуждены жить. Кот сопровождал меня по крутой лестнице и, почти сталкивая меня со ступенек, возмущал меня до бешенства. Взмахнув топором и забывая в своей ярости ребяческий страх, до того удерживавший мою руку, я хотел нанести животному удар, и он, конечно,

был бы смертельным, если бы пришелся так, как я метил. Но удар был задержан рукой моей жены. Уязвленный таким вмешательством, я исполнился бешенством более чем дьявольским, отдернул свою руку и одним взмахом погрузил топор в ее голову. Она упала на месте, не крикнув.

Совершив это чудовищное убийство, я тотчас же с невозмутимым хладнокровием принялся за работу, чтобы скрыть труп. Я знал, что мне нельзя было удалить его из дому ни днем, ни ночью без риска быть замеченным соседями. Множество планов возникло у меня в голове. Одну минуту мне казалось, что тело нужно разрезать на мелкие кусочки и сжечь. В другую минуту мною овладело решение выкопать заступом могилу под погребом. И еще новая мысль пришла мне в голову: я подумал, не бросить ли тело в колодец, находившийся на дворе, а то хорошо было бы запаковать его в ящик, как товар, и, придав этому ящику обычный вид клади, позвать носильщика и таким образом удалить его из дому. Наконец я натолкнулся на мысль, показавшуюся мне наилучшей изо всех. Я решил замуровать тело в погребе, как, говорят, средневековые монахи замуровывали свои жертвы.

Колодец как нельзя лучше был приспособлен

для такой задачи. Стены его были выстроены неплотно и недавно были сплошь покрыты грубой штукатуркой, не успевшей благодаря сырости воздуха затвердеть. Кроме того, в одной из стен был выступ, обусловленный ложным камином или очагом; он был заделан кладкой и имел полное сходство с остальными частями погреба. У меня не было ни малейшего сомнения, что мне легко будет отделить на этом месте кирпичи, втиснуть туда тело и замуровать все, как прежде, так, чтоб ничей глаз не мог открыть ничего подозрительного.

И в этом расчете я не ошибся. С помощью лома я легко вынул кирпичи и, тщательно поместив тело против внутренней стены, я подпирал его в этом положении, пока с некоторыми небольшими усилиями не придал всей кладке ее прежний вид. Соблюдая самые тщательные предосторожности, я достал песку, щебня и известкового раствора, приготовил штукатурку, которая не отличалась от старой, и с большим старанием покрыл ею новую кирпичную кладку. Окончив это, я почувствовал себя удовлетворенным, видя, как все великолепно. На стене не было нигде ни малейшего признака переделки. Мусор на полу я собрал со вниманием самым тщательным.

Оглядевшись вокруг торжествующим взглядом, я сказал самому себе: «Да, здесь, по крайней мере, моя работа не пропала даром».

Затем первым моим движением было отыскать животное, явившееся причиной такого злополучия. Я наконец твердо решился убить его, и если бы мне удалось увидать его в ту минуту, его участь определилась бы несомненным образом. Но лукавый зверь, по-видимому, был испуган моим недавним гневом и остерегался показываться. Невозможно описать или вообразить чувство глубокого благодетельного облегчения, возникшее в груди моей благодаря отсутствию этой ненавистной гадины. Кот не показывался в течение всей ночи и, таким образом, с тех пор, как он вступил в мой дом, это была первая ночь, когда я заснул глубоким и спокойным сном. Да-да, заснул, хотя бремя убийства лежало на моей душе!

Прошел второй день, прошел третий, а мой мучитель все не приходил. Наконец-то я опять чувствовал себя свободным человеком. Чудовище в страхе бежало из моего дома навсегда! Я больше его не увижу! Блаженство мое не знало пределов. Преступность моего черного злодеяния очень мало беспокоила меня. Произведен был небольшой допрос, но я отвечал твердо. Был

устроен даже обыск, но, конечно, ничего не могли найти. Я считал свое будущее благополучие обеспеченным.

На четвертый день после убийства несколько полицейских чиновников совершенно неожиданно пришли ко мне и сказали, что они должны опять произвести строгий обыск. Я, однако, не чувствовал ни малейшего беспокойства, будучи вполне уверен, что мой тайник не может быть открыт. Полицейские чиновники попросили меня сопровождать их во время обыска. Ни одного уголка, ни одной щели не оставили они необследованными. Наконец в третий или в четвертый раз они сошли в погреб. У меня не дрогнул ни один мускул. Мое сердце билось ровно, как у человека, спящего сном невинности. Я прогуливался по погребу из конца в конец. Скрестив руки на груди, я спокойно расхаживал взад и вперед. Полиция была совершенно удовлетворена и собиралась уходить. Сердце мое исполнилось ликования слишком сильного, чтобы его можно было удержать. Я сгорал желанием сказать хоть одно торжествующее слово — и вдвойне усилить уверенность этих людей в моей невинности.



На мертвой голове, с красной раскрытой пастью и с одиноко сверкающим огненным глазом, сидела гнусная тварь...

«Джентльмены, — выговорил я наконец, когда полиция уже всходила по лестнице, — я положительно восхищен, что мне удалось рассеять ваши подозрения. Желаю вам доброго здоровья, а также немножко побольше любезности. А однако, милостивые государи, вот, скажу я вам, дом, который прекрасно выстроен. (Задыхаясь от бешеного желания сказать что-нибудь спокойно, я едва знал, что говорил.) Могу сказать, великолепная архитектура. Вот эти стены — да вы уже, кажется, уходите? — вот эти стены, как они плотно сложены»; и тут, объятый бешенством бравады, я изо всей силы хлопнул палкой, находившейся у меня в руках, в то самое место кирпичной кладки, где был труп моей жены.

Но да защитит меня Господь от когтей врага человеческого! Не успел отзвук удара слиться с молчанием, как из гробницы раздался ответный голос! То был крик, сперва заглушенный и прерывистый, как плач ребенка; потом он быстро вырос в долгий, громкий и протяжный визг, нечеловеческий, чудовищный! То был вой — то был рыдающий вопль не то ужаса, не то торжества;

такие вопли могут исходить только из ада, как совокупное слитие криков, исторгнутых из горла осужденных, терзающихся в агонии, и воплей демонов, ликующих в самом осуждении.

Говорить о том, что я тогда подумал, было бы безумием. Теряя сознание, шатаясь, я прислонился к противоположной стене. Одно мгновение кучка людей, стоявших на лестнице, оставалась недвижной, застывши в чрезмерности страха и ужаса. В следующее мгновенье дюжина сильных рук разрушала стену. Она тяжело рухнула. Тело, уже сильно разложившееся и покрытое густой запекшейся кровью, стояло, выпрямившись, перед глазами зрителей. А на мертвой голове, с красной раскрытой пастью и с одиноко сверкающим огненным глазом, сидела гнусная тварь, чье лукавство соблазнило меня совершить убийство и чей изобличительный голос выдал меня палачу. Я замуровал чудовище в гробницу!

Рассказы, опубликованные в периодике


РАССКАЗЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В ПЕРИОДИКЕ

Рассказы опубликованные после 1845 года



Большинство рассказов Эдгара По были опубликованы в периодических изданиях США. Некоторые из них были затем перепечатаны в двух упомянутых выше сборниках.

В данном разделе собраны рассказы, которые при жизни Эдгара По не вошли в авторские сборники или опубликованы после выхода в свет последнего из них («Рассказы», 1845).

Произведения здесь расположены в хронологическом порядке, согласно дате их первой публикации.

Молчание
Притча

Ευδουσιν
δ ορεων κορυφαι τε καί φάραγγες,
Πρωνες τε καί χαράδραι.
Alkman[99]

«Слушай *меня»*, — сказал Дьявол, кладя свою руку мне на голову. — «Область, о которой я говорю, есть печальная область в Ливии, на берегах реки Заиры*. И там нет покоя, нет молчания.

Воды реки окрашены шафранным нездоровым цветом; и они не текут в море, но трепещут каждый миг и каждое мгновенье, под красным оком солнца, охваченные смятенным, судорожным волнением. На много миль кругом, по обе стороны реки, на илистой постели раскинулась бледная пустыня гигантских водяных лилий. Они вздыхают одна к другой в этом уединении, и, как привидения, протягивают к небу длинные шеи, и, кивая, колышут своими неумирающими главами. И неясный ропот исходит от них, подоб-

---

[99] Примечания: 99

Вершины гор дремлют; долины, скалы, и пещеры молчат *(греч.)*. Алкман*.

ный быстрому журчанью подземного ключа. И они вздыхают одна к другой.

Но есть граница их владениям — предельная полоса темного, дремучего, высокого леса. Там, подобно Гебридским волнам*, низкие заросли волнуются непрестанно. Но в небесах там нет ветра. И тяжелые первобытные деревья вечно качаются из стороны в сторону, с могучим скрипом и шумом. И с их высоких вершин капля за каплей сочится вечная роса. И у корней лежат странные ядовитые цветы, переплетаясь в беспокойном сне. И в высоте, с шумным смятением, бегут серые тучи, всегда на запад, пока они не перекинутся, водопадом, через огненную стену горизонта. Но в небесах там нет ветра. И на берегах реки Заиры нет покоя, нет молчания.

Была ночь, и шел дождь; и когда он падал, это был дождь, и когда он упадал, это была кровь. И я стоял в болоте среди высоких лилий, и дождь падал мне на голову — и лилии вздыхали одна к другой, и торжественно было их отчаяние.

И вдруг взошел месяц сквозь тонкий призрачный тумань, и был он ярко-красный. И взор мой устремился к гигантскому, дикого цвета, утесу, который стоял на берегу реки, освещенный сиянием месяца. И утес был дикого цвета, и высокий,

и стоял, как привидение, — и утес был дикого цвета. На передней его стороне, на камне, были вырезаны буквы; и я пробирался через болотную пустыню водяных лилий, пока не пришел к самому берегу, чтобы прочесть буквы на камне. Но я не мог разобрать их. И я уже пошел назад в болото, как вдруг ярче загорелся красный свет месяца, и я обернулся, и взглянул опять на утес, и на буквы; — и буквы были отчаяние.

И я посмотрел вверх, и там стоял человек на вершине утеса; и я укрылся среди водяных лилий, чтобы можно мне было следить за действиями человека. И человек был рослый и статный, и с плеч до ног он был закутан в древнеримскую тогу. И очерк его лица был неясен — но черты его были чертами божества; потому что покров ночи, и тумана, и месяца, и росы, не мог закрыть его лица. И чело его было возвышенно от мысли, и глаза его были безумны от заботы; и, в немногих морщинах на его щеках, я прочел повесть скорби, и усталости, и отвращенья к человеческому, и жадного стремленья к одиночеству.

И человек сидел на утесе, склонив свою голову на руку, и взирал на картину безутешности. Он смотрел на низкорослые тревожные кустарники, и на высокие первобытные деревья, и смотрел

вверх на небо, исполненное шороха, и на ярко-красный месяц. И я лежал, сокрытый среди лилий, и следил за действиями человека. И человек трепетал в уединении; — и ночь убывала, но он сидел на утесе.



И человек трепетал в уединении; — и ночь убывала, но он сидел на утесе

И человек отвратил свое внимание от неба, и взглянул на печальную реку Заиру, и на желтые призрачные воды, и на бледные сонмы водяных лилий. И человек стал прислушиваться к вздохам водяных лилий, и к ропоту, который исходил от них. И я лежал тайно в своем прибежище и следил за действиями человека. И человек трепетал в уединении; — и ночь убывала, но он сидел на утесе.

Тогда я углубился в сокрытые пристанища болота, и пошел среди ропота лилий, и воззвал к гиппопотамам, которые живут среди топей в пристанищах болота. И гиппопотамы услышали зов мой, и пришли, с бегемотом*, к подножью утеса, и громки, и ужасны были их вопли, и месяц горел на небесах. И я лежал тайно в своем прибежище и следил за действиями человека. И человек трепетал в уединении; — и ночь убывала, но он сидел на утесе.

Тогда я проклял стихии заклятием смятения, и страшная буря собралась на небе, где до тех пор не было ветра. И небеса побагровели от свирепости бури — и дождь стал хлестать о голову человека — и воды реки полились через берега

— и река, возмущенная, покрылась пеной — и водяные лилии закричали на своем ложе — и лес, ломаясь, затрещал под ветром — и прокатился гром — и засверкала молния — и утес треснул до основания. И я лежал тайно в своем прибежище и следил за действиями человека. И человек трепетал в уединении; — и ночь убывала, но он сидел на утесе.

Тогда я пришел в ярость, и проклял, заклятием *молчания*, реку, и лилии, и ветер, и лес, и небо, и гром, и вздохи водяных лилий. И стали они прокляты, и *погрузились в безмолвие*. И месяц задержал свой колеблющийся путь по небу — и гром замер вдали — и молния потухла — и тучи повисли недвижно — и воды вошли в берега и замерли — и деревья перестали качаться — и водяные лилии больше не вздыхали — и ропот не был слышен между них — ни тени звука во всей обширной беспредельной пустыне. И я устремил свой взгляд к буквам на утесе, и они изменились;– и буквы были молчание.

И я взглянул на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И, поспешно, он поднял свою голову, и вскочил, и прислушался. Но не было ни звука во всей обширной беспредельной пустыне, и буквы на утесе были молчание. И человек за-

дрожал, и отвратил лицо свое, и убежал, бежал прочь так быстро, что я больше не видал его».

* * *

Да, много есть прекрасных сказок в томах, исписанных Магами — в окованных железными переплетами задумчивых томах, исписанных Магами. Я говорю, в них есть великие легенды о Небе, и Земле, и о могучем Море — и о Гениях, которые управляли и морем, и землей, и высоким небом. И много было знания в изречениях, которые говорились сибиллами; и святые, святые тайны были услышаны некогда темными листьями, трепетавшими вокруг Додоны* — но, истинно, эту сказку, которую рассказал мне Дьявол, сидя рядом со мной в тени гробницы, считаю я самой чудной изо всех! И когда Дьявол окончил свой рассказ, он упал навзничь в углубление гробницы и захохотал. И я не мог смеяться вместе с Дьяволом, и он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, которая всегда живет в гробнице, вышла оттуда, и легла у ног Дьявола, и стала пристально смотреть ему в глаза.

Элеонора

Sub conservatione formae specificae salva anima[100].

Раймунд Луллий*

Я принадлежу к роду, отличающемуся пламенным воображением и пылкими страстями. Люди назвали меня сумасшедшим, но еще вопрос: не представляет ли сумасшествие высшей степени разума, не возникает ли все славное и глубокое из расстройства мысли, из какой-либо одной силы души, преувеличенно развитой насчет всех остальных? Те, кто видит сны наяву, открывают многое, ускользающее от тех, кто видит сны только во сне. В своих тусклых видениях заглядывают они в вечность и содрогаются, пробудившись и вспоминая, что стояли на краю великой тайны. Урывками учатся мудрости, которая есть благо, и той, которая есть зло. Они проникают, без руля и без компаса, в безбрежный океан «света неизреченного» и подобно путешественникам нубийского географа* «agressi sunt mare

[100] Примечания: 100
При сохранении особой формы неприкосновенная душа (*лат.*).

tenebrarum, quid in eo esset exploraturi»[101].

Согласимся, что я — сумасшедший. Я сознаю, что духовное существование мое представляет две области: одна — область несомненно здравого рассудка, связанная с воспоминаниями о юной поре моей жизни; другая — область тумана и сомнений, связанная с настоящим и с воспоминаниями о второй великой поре моего бытия. Итак, всему, что я буду рассказывать о ранней юности, верьте; а рассказу о позднейшем времени доверяйте лишь в той мере, насколько это покажется вам достойным веры, или вовсе не верьте, или, если не верить не можете, будьте Эдипом этой загадки.

Та, которую любил я в юности и о которой пишу теперь спокойно и хладнокровно, была единственная дочь единственной сестры моей покойной матери. Ее звали Элеонора. Мы всегда жили вместе, под тропическим солнцем, в долине Разноцветных Трав. Ни один путник не проходил без вожатого по этой долине, так как она лежит далеко, среди огромных холмов, нависших над нею со всех сторон и заслонивших от солнечного света ее уютные уголки. Никакой тропы не видно

---

[101] Примечания: 101

Достигают моря тьмы, дабы исследовать то, что в нем находится (*лат.*).

кругом, и, чтобы добраться до нашего счастливого убежища, надо было пробиваться сквозь листву бесчисленных деревьев и погубить, растоптать миллионы благоуханных цветов. Так жили мы одни — я, моя кузина и мать ее, — и мир для нас замыкался в пределах этой долины.

Из туманных областей за горами на верхнем конце наших владений прокладывалась узкая и глубокая речка, светлая — только глаза Элеоноры были еще светлее — и тихая; извиваясь прихотливыми петлями, она исчезала в темном ущелье, между холмами, еще более туманными, чем те, откуда она изливалась. Мы называли ее Рекой Молчания, потому что в ее течении было что-то успокоительное. Тихо, без ропота, катились струи и так нежно скользили, пробираясь по долине, что камешки, чьим блеском жемчужным часто мы любовались, лежали не шевелясь на дне ее, не меняя места, застыв навеки в своем неподвижном сиянии…

Берега реки и серебристых ручейков, впадавших в нее извилистыми змейками, и промежутки между берегом и каменистым ложем реки, и вся долина до гор, опоясывавших ее, были одеты нежной зеленой травой, густой, низкой, ровной, издававшей запах ванили и так чудно украшен-

ной желтыми лютиками, белыми маргаритками, пурпурными фиалками и рубиново-красными лилиями, что эта волшебная прелесть говорила нашим сердцам о любви и славе Божией.



Пятнадцать лет бродили мы рука об руку по этой долине, прежде чем любовь вошла в наши сердца

Здесь и там по долине возвышались, подобно призракам, купы сказочных деревьев; их тонкие стволы стояли не прямо, но грациозно изгибались к свету, озарявшему в полдень среднюю часть долины. Кора их, нежная — только щеки Элеоноры были еще нежнее — и гладкая, пестрела яркими оттенками серебра и черного дерева; так что, если бы не изумрудная зелень листьев, которые свешивались с их вершин длинными вязями, играя с ветерком, их можно бы принять за исполинских сирийских змей*, воздающих почести своему владыке Солнцу.

Пятнадцать лет бродили мы рука об руку по этой долине, прежде чем любовь вошла в наши сердца. Однажды вечером, в конце третьего пятилетия жизни ее и четвертого — моей, сидели мы, обнявшись, в тени змееподобных деревьев и смотрели на отражение наше в водах реки Молчания. Мы ничего не говорили в последние часы этого упоительного дня, а на следующий день обменялись лишь немногими робкими словами. Мы вызвали бога Эроса* из волн реки, и он воспламенил в нас бурную кровь наших

предков. Страсти, которыми отличался наш род в течение многих веков, возникли вместе с грезами, вея опьяняющим блаженством на долину Разноцветных Трав. Все изменилось в ней. Странные блистательные, подобные звездам, цветы распустились на деревьях, где раньше не было ни одного цветка. Тени зеленого ковра сгустились, и на место белых маргариток, исчезавших одна за другой, выросло множество рубиново-красных лилий. Жизнь вспыхивала всюду, куда бы мы ни ступали, и стройный фламинго, дотоле невиданный в нашей долине, развертывал перед нами свои пурпурные крылья в рое веселых пестрых птиц. Золотые и серебряные рыбки суетились в реке, из недр которой поднимался тихий ропот, мало-помалу превращался в божественную музыку, — нежнее Эоловой арфы*, слаще всех звуков, — только голос Элеоноры был еще слаще. И огромное облако, которое мы давно замечали в области Геспера*, выплыло оттуда, сияя пурпуром и золотом, и, осеняя нас своей мирной тенью, опускалось все ниже и ниже, пока края его не остановились на вершинах холмов, превратив их туманы в великолепие и как бы навеки заключив нас в волшебную темницу блеска и славы.

Элеонора сияла красотой серафимов, но была

она девушка простая и невинная, как скоротечная жизнь ее среди цветов. Она не таила лукаво страсти, воспламенившей ее сердце, но вместе со мной раскрывала самые тайные уголки его, когда мы бродили рука об руку по долине Разноцветных Трав и говорили о великих переменах, происшедших в ней.

Но однажды, в слезах, упомянула она о последней скорбной перемене, которая должна постигнуть человечество, и с тех пор уже не разлучалась с этой грустной мыслью, вводя ее во все наши беседы, как в песнях ширазского поэта* одни и те же образы повторяются снова и снова в каждой строфе.

Она знала, что Смерть прикоснулась к ней, что ей суждено было, подобно эфемериде, явиться совершенством прелести только для того, чтобы умереть, но ужас могилы сосредоточивался для нее в одной мысли, которую она открыла мне однажды в сумерках, на берегу реки Молчания.

Она скорбела при мысли, что, похоронив ее в долине Разноцветных Трав, я покину навсегда наше мирное убежище и подарю любовь свою, теперь всецело принадлежавшую ей, какой-нибудь девушке из чуждого внешнего мира. И я упал к ногам Элеоноры и клялся ей и Небу, что никогда

не скую себя брачными узами с дочерью Земли, никогда не изменю ни ее памяти, ни воспоминанию о благоговейном чувстве, которым она одарила меня. И призывал я Владыку вселенной в свидетели обета моего. И проклятие, которое я призывал на свою голову, проклятие Его и ее, святой, чье жилище в царстве блаженных духов, — проклятие, которое должно было обрушиться на меня, если бы я изменил своему обету, карало меня такой ужасной карой, что я не смею говорить о ней здесь. И светлые глаза Элеоноры еще более просветлели; она вздохнула, как будто смертная тяжесть свалилась с груди ее, задрожала и горько заплакала, но приняла мой обет (ведь она была дитя!) и он усладил ей час кончины. И спустя несколько дней, спокойно расставаясь с жизнью, она сказала мне, что за все, что я сделал для успокоения души ее, она будет бодрствовать надо мной и являться мне в ночной тиши, если же этого не дано блаженным духам, — будет извещать меня о своем присутствии, вздыхать в дуновении вечернего ветра или веять на меня благовоньями кадильниц ангельских. И с этими словами окончилась ее непорочная жизнь, положив предел первой поре жизни моей.

Все, что я говорил до сих пор, истинно. Но, пе-

реступая за эту грань на стезе Времени, грань, поставленную смертью моей возлюбленной, и переходя ко второй поре моей жизни, я чувствую, что тени сгущаются в уме моем, и сам сомневаюсь в безусловной точности рассказа. Но буду продолжать. Годы влачились за годами, а я все еще жил в долине Разноцветных Трав; и в ней снова все изменилось. Блистательные цветы спрятались в стволы деревьев и больше не появлялись. Краски зеленого ковра побледнели, рубиново-красные лилии исчезли одна за другой, а на месте их выросли фиалки, темные, подобные глазам, которые печально хмурились и плакали, обрызганные росою. И жизнь исчезла с тех мест, где мы ступали, потому что стройный фламинго уже не развертывал перед нами своих пурпурных крыльев; он печально улетел за горы с роями веселых пестрых птиц, прилетевших вместе с ним. И золотые и серебряные рыбки уплыли через ущелье на нижнем конце нашей долины и никогда уже не появлялись на поверхности тихой речки. И музыка, что была нежнее Эоловой арфы и слаще всех звуков, кроме голоса Элеоноры, замерла мало-помалу в грустном ропоте, который становился все тише и тише, пока не вернулась к своему прежнему торжественному

безмолвию; и огромное облако поднялось, оставляя на вершинах гор прежний тусклый туман, и вернулось в область Геспера, унося с собой всю пышность и роскошь и лучезарный блеск долины Разноцветных Трав.

Но Элеонора не забыла своего обета: недаром слышал я бряцанье небесных кадил; и волны священных ароматов обвевали долину; и в минуты тяжкого уединения, когда скорбь давила мне сердце, ветерок приносил мне ее нежные вздохи; и часто в ночной тиши я слышал ясный шепот, а однажды — о, только однажды! — меня пробудило от сна, подобного смерти, прикосновение ее призрачных губ к моим губам.

Но все же пустота сердца моего не могла быть наполнена. Я жаждал любви такой же, как та, что раньше наполняла мое существо. Наконец, долина стала меня терзать воспоминаниями об Элеоноре, и я навеки оставил ее для суетных и шумных слав.

* * *

Я был в странном городе, где все стремилось изгладить из памяти моей сладкие грезы, которым я предавался так долго в долине Разноцветных Трав. Пышность и блеск гордого двора, безумный

звон оружия, лучезарная красота женщин отуманили и отравили мой ум, а сердце мое оставалось верным своему обету, и присутствие Элеоноры по-прежнему слышалось мне в немые ночные часы. Но внезапно эти явления прекратились, и мир для меня оделся мглою, и я ужасался жгучих мыслей и страшных искушений, обуявших меня; потому что из далеких, неведомых стран явилась к веселому двору короля, у которого я служил, девушка, — и перед ее красотой пало мое изменническое сердце, к ее ногам я склонился без колебаний, в самом пылком, в самом низком обожании. Что была моя любовь к юной девушке долины перед страстью и бешенством, перед исступлением обожания, в котором изливалась душа моя у ног воздушной Эрменгарды. «О светлый серафим Эрменгарда! — вот все, о чем я мог думать. — О небесный ангел Эрменгарда!» Когда я глядел в ее глубокие очи, я мечтал только о них и *о ней.*

Мы обвенчались; и я не страшился проклятия, которое навлек на свою голову, и горечь его не посетила меня. И однажды — но только однажды в ночном безмолвии — ко мне донеслись сквозь решетку окна нежные вздохи, приносящие мне прощение, и превратились они в знакомый, слад-

кий голос, говоривший:

— Спи с миром! Потому что дух Любви царит и правит, и, отдав свое страстное сердце той, которую зовут Эрменгарда, ты освободился от обетов Элеоноре в силу решений, о которых узнаешь на небесах.

Овальный портрет

Egli e vivo e parlerebbe se non osservasse la rigola del silentio[102].

Надпись под одним итальянским портретом св. Бруно

Лихорадка моя была упорна и продолжительна. Все средства, какие только можно было достать в этих диких Апеннинах, были исчерпаны, но без каких-либо результатов. Мой слуга и единственный мой сотоварищ в уединенном замке был слишком взволнован и слишком неискусен, чтобы решиться пустить мне кровь, которой, правда, я уже слишком достаточно потерял в схватке с бандитами. Я не мог также со спокойным сердцем отпустить его поискать где-нибудь помощи. Наконец, неожиданно я вспомнил о маленьком свертке опиума, который лежал вместе с табаком в деревянном ящичке: в Константинополе я приобрел привычку курить табак вместе с этою примесью. Педро подал мне ящичек. Порывшись, я нашел желанное наркотическое средство. Но

[102] Примечания: 102

Он жив, и он заговорил бы, если бы не соблюдал устав молчания (*ит.*).

когда дело дошло до необходимости отделить должную часть, мной овладело раздумье. При курении было почти безразлично, *какое количество употреблялось.* Обыкновенно, я наполнял трубку до половины опиумом и табаком и перемешивал то и другое — половина на половину. Иногда, выкурив всю эту смесь, я не испытывал никакого особенного действия; иногда же, еле выкурив две трети, я замечал симптомы мозгового расстройства, которые бывали даже угрожающими и предостерегали меня, дабы я воздержался. Правда, эффект, производимый опиумом, при легком изменении в количестве, совершенно был чужд какой-либо опасности. Тут, однако, дело обстояло совершенно иначе. Никогда раньше я *не принимал* опиума *внутрь*. У меня бывали случаи, когда мне приходилось принимать лауданум и морфий, и относительно этих наркотиков я не имел бы оснований колебаться. Но опиум в чистом виде был мне неизвестен. Педро знал об этом не больше меня, и таким образом, находясь в подобных затруднительных обстоятельствах, я пребывал в полной нерешимости. Тем не менее я не был особенно огорчен этим и, рассудив, решил принимать опиум *постепенно*. Первая доза должна быть очень ограниченной. Если она окажется

недействительной, размышлял я, можно будет ее повторить: и так можно будет продолжать, пока лихорадка не утихнет, или пока ко мне не придет благодетельный сон, не посещавший меня почти уже целую неделю. Сон был необходимостью, чувства мои находились в состоянии какого-то опьянения. Именно это смутное состояние души, это тупое опьянение, несомненно, помешало мне заметить бессвязность моих мыслей, которая была так велика, что я стал рассуждать о больших и малых дозах, не имея предварительно какого-либо определенного мерила для сравнения. В ту минуту я совершенно не представлял себе, что доза опиума, казавшаяся мне необычайно малой, на самом деле могла быть необычайно большой. Напротив, я хорошо помню, что с самой невозмутимой самоуверенностью я определил количество, необходимое для приема, по его отношению к целому куску, находившемуся в моем распоряжении. Доля, которую я, наконец, проглотил, и проглотил бесстрашно, была, несомненно, весьма малой частью всего количества, находившегося в моих руках.

Замок, куда мой слуга решился скорее проникнуть силой, нежели допустить, чтобы я, измученный и раненый, провел всю ночь на

открытом воздухе, был одним из тех мрачных и величественных зданий-громад, которые так давно хмурятся среди Апеннин, не только в фантазии миссис Радклиф*, но и в действительности. По всей видимости, он был покинут на время и совсем еще недавно. Мы устроились в одной из самых небольших и наименее роскошно обставленных комнат. Она находилась в уединенной башенке. Обстановка в ней была богатая, но износившаяся и старинная. Стены были покрыты обивкой и увешаны разного рода военными доспехами, а также целым множеством очень стильных современных картин в богатых золотых рамах с арабесками. Они висели не только на главных частях стены, но и в многочисленных уголках, которые странная архитектура здания делала необходимыми, — и я стал смотреть на эти картины с чувством глубокого интереса, быть может обусловленного моим начинавшимся бредом; так, я приказал Педро закрыть тяжелые ставни — ибо была уже ночь, — зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем у кровати близ подушек, и совершенно отдернуть черные бархатные занавеси с бахромой, окутывавшие самую постель. Я решил, что если уж мне не уснуть, так я, по крайней мере, буду поочередно смотреть

на эти картины и читать маленький томик, который лежал на подушке и содержал в себе изъяснительное их описание.

Долго, долго я читал — и глядел на создания искусства с преклонением, с благоговением. Быстро убегали чудесные мгновения, и подкрался глубокий час полночи. Положение канделябра показалось мне неудобным, и, с трудом протянувши руку, я избежал нежелательной для меня необходимости будить моего слугу и сам переставил его таким образом, чтобы сноп лучей полнее падал на книгу.

Но движение мое произвело эффект совершенно неожиданный. Лучи многочисленных свечей (ибо их действительно было много) устремились теперь в нишу, которая была до этого окутана глубокой тенью, падавшей от одного из столбов кровати. Я увидал таким образом при самом ярком освещении картину, которой раньше совершенно не замечал. Это был портрет молодой девушки, только что развившейся до полной женственности. Я стремительно взглянул на картину — и закрыл глаза. Почему я так сделал, это в первую минуту было непонятно мне самому. Но пока ресницы мои оставались закрытыми, я стал лихорадочно думать, почему я закрыл их.

Это было инстинктивным движением, с целью выиграть время — удостовериться, что зрение не обмануло меня, — успокоить и подчинить свою фантазию более трезвому и точному наблюдению. Через несколько мгновений я опять устремил на картину пристальный взгляд.



Концы лучезарных волос незаметно сливались с неопределенной глубокой тенью, составлявшей задний фон всей картины

Теперь не было ни малейшего сомнения, что я вижу ясно и правильно; ибо первая яркая вспышка свечей, озарившая это полотно, по-видимому, рассеяла то дремотное оцепенение, которое завладело всеми моими чувствами, и сразу вернула меня к реальной жизни.

Как я уже сказал, это был портрет молодой девушки. Только голова и плечи — в стиле *виньетки*, говоря языком техническим; многие штрихи напоминали манеру Селли* в его излюбленных головках. Руки, грудь, и даже концы лучезарных волос, незаметно сливались с неопределенной глубокой тенью, составлявшей задний фон всей картины. Рама была овальная, роскошно позолоченная и филигранная, в *мавританском вкусе*. Рассматривая картину как создание искусства, я находил, что ничего не могло быть прекраснее ее. Но не самым исполнением и не бессмертной красотой лица я был поражен так внезапно и так сильно. Конечно, я никак не мог думать, что фантазия моя, вызванная из состояния полудремоты, была слишком живо настроена и что я принял портрет за голову живого человека. Я

сразу увидел, что особенности рисунка, его *виньеточный* характер и качества рамы, должны были с первого взгляда уничтожить подобную мысль — должны были предохранить меня даже от мгновенной иллюзии. Упорно размышляя об этом, я оставался так, быть может, целый час, полусидя, полулежа, устремив на портрет пристальный взгляд. Наконец, насытившись скрытой тайной художественного эффекта, я откинулся на постель. Я понял, что очарование картины заключалось в необычайной жизненности выражения, которая, сперва поразив меня, потом смутила, покорила и ужаснула. С чувством глубокого и почтительного страха я передвинул канделябр на его прежнее место. Устранив таким образом от взоров причину моего глубокого волнения, я с нетерпением отыскал томик, где обсуждались картины и описывалась история их возникновения. Открыв его на странице, где описывался овальный портрет, я прочел смутный и причудливый рассказ:

«Она была девушкой самой редкостной красоты, и была столько же чарующа, сколько весела. И злополучен был тот час, когда она увидала и полюбила художника и сделалась его женой. Страстный, весь отдавшийся занятиям, и строгий,

он уже почти имел невесту в своем искусстве; она же была девушкой самой редкостной красоты, и была столько же чарующа, сколько весела; вся — смех, вся — лучезарная улыбка, она была резва и шаловлива, как молодая лань: она любила и лелеяла все, к чему ни прикасалась: ненавидела только Искусство, которое соперничало с ней; пугалась только палитры и кисти и других несносных орудий, отнимавших у нее ее возлюбленного. Ужасной вестью было для этой женщины услышать, что художник хочет написать портрет и своей юной новобрачной. Но она была смиренна и послушна, и безропотно сидела она целые недели в высокой и темной комнате, помещавшейся в башне, где свет, скользя, струился только сверху на полотно. Но он, художник, вложил весь свой гений в работу, которая росла и создавалась, с часу на час, со дня на день. И он был страстный и причудливый, безумный человек, терявшийся душой в своих мечтаниях; и не хотел он видеть, что бледный свет, струившийся так мрачно и угрюмо в эту башню, снедал веселость и здоровье новобрачной, и все видели, что она угасает, только не он. А она все улыбалась и улыбалась, и не проронила ни слова жалобы, ибо видела, что художник (слава которого была вели-

ка) находил пламенное и жгучее наслаждение в своей работе, и дни и ночи старался воссоздать на полотне лицо той, которая его так любила, которая изо дня в день все более томилась и бледнела. И правда, те, что видели портрет, говорили тихим голосом о сходстве, как о могущественном чуде и как о доказательстве не только творческой силы художника, но и его глубокой любви к той, которую он воссоздавал так чудесно. Но наконец, когда работа стала близиться к концу, никто не находил более доступа в башню, потому что художник, с самозабвением безумия отдавшийся работе, почти не отрывал своих глаз от полотна, почти не глядел даже на лицо жены. И не хотел он видеть, что краски, которые он раскинул по полотну, были совлечены с лица той, что сидела близ него. И когда минули долгие недели, и лишь немногое осталось довершить, один штрих около рта, одну блестку на глаз, душа этой женщины вновь вспыхнула, как угасающий светильник, догоревший до конца. И вот положен штрих, и вот положена блестка; и на мгновение художник остановился, охваченный восторгом перед работой, которую он создал сам; но тотчас же, еще не отрывая глаз, он задрожал и побледнел, и, полный ужаса, воскликнул: «Да ведь это сама

Жизнь!» Затем он быстро обернулся, чтобы взглянуть на возлюбленную.

Она была мертва!»

Маска красной смерти

«Красная смерть» давно уже опустошала страну. Никакая чума никогда не была такой роковой и чудовищной. Ее воплощением и печатью была кровь — красный цвет и ужас крови. Болезнь начиналась острыми болями и внезапным головокружением; затем через поры просачивалась торопливыми каплями кровь, и наступала смерть. Ярко-красные пятна, распространявшиеся по телу и, в особенности, по лицу жертвы, были проклятием, которым эта моровая язва мгновенно лишала больного помощи и сострадания его ближних; весь ход болезни, с ее развитием, возрастанием и концом, был делом получаса.

Но принц Просперо был весел и бестрепетен и мудр. После того как его владения были наполовину опустошены, он созвал тысячу веселых и здоровых друзей из числа придворных рыцарей и дам и удалился с ними в строгое уединение, в одно из своих укрепленных аббатств. Обширное и пышное здание было детищем собственной фантазии принца, эксцентричной, но величественной. Вокруг аббатства шла высокая плотная стена. В стене были железные двери. Придворные,

войдя сюда, принесли горн и тяжелые молоты и спаяли засовы. Они решились устранить всякую возможность вторжения внезапных порывов отчаяния извне и лишить безумие возможности вырваться изнутри. Аббатство было с избытком снабжено необходимыми жизненными припасами. При таких предосторожностях придворные могли смеяться над заразой. Внешний мир должен был заботиться о себе сам. А пока — скорбеть или размышлять — было безумием. Принц не забыл ни об одном из источников наслаждения. Там были шуты, импровизаторы, музыканты, танцовщики и танцовщицы, там были красавицы, было вино. Все эти услады и безопасность были внутри. Вне была «красная смерть».

Это было к концу пятого или шестого месяца затворнической жизни, и в то время как чума свирепствовала за стенами самым неукротимым образом — принц Просперо пригласил свою тысячу на маскированный бал, отличавшийся самым необыкновенным великолепием.

Что за пышно-чувственную картину представлял из себя этот маскарад! Но я хочу прежде сказать о комнатах, где происходило празднество. Их было семь — царственная анфилада. Во многих дворцах, однако, такие анфилады обра-

зуют длинную и прямую перспективу, причем створчатые двери с той и с другой стороны плотно прилегают к стенам, и таким образом взгляд беспрепятственно может проследить всю перспективу от начала до конца. Здесь же было нечто совершенно иное, как и следовало ожидать от герцога, при его любви ко всему причудливому. Покои были расположены неправильно, таким образом, что взгляду открывалась сразу только одна комната. Через каждые двадцать-тридцать ярдов следовал резкий поворот, и при каждом повороте новый эффект. Направо, в середине каждой стены, высилось узкое готическое окно, выходившее в закрытый коридор, который тянулся, следуя всем изгибам анфилады. В этих окнах были цветные стекла, причем окраска их менялась в соответствии с господствующим цветом той комнаты, в которую открывалось окно. Так, например, крайняя комната с восточной стороны была обита голубым, и окна в ней были ярко-голубые. Во второй комнате и обивка и украшения были пурпурного цвета, и стены здесь были пурпурными. Третья вся была зеленой, зелеными были и окна. Четвертая была украшена и освещена оранжевым цветом, пятая — белым, шестая — фиолетовым. Седьмой зал был весь

задрапирован черным бархатом, который покрывал и потолок и стены, ниспадая тяжелыми складками на ковер такого же цвета. Но только в этой комнате, в единственной, окраска окон не совпадала с окраской обстановки. Стекла здесь были ярко-красного цвета — цвета алой крови. Нужно сказать, что ни в одном из семи чертогов не было ни ламп, ни канделябров среди многочисленных золотых украшений, расположенных там и сям или свисавших со сводов. Во всей анфиладе комнат не было никакого источника света, ни лампы, ни свечи; но в коридорах, примыкавших к покоям, против каждого окна стоял тяжелый треножник с жаровней, он устремлял свои лучи сквозь цветные стекла и ярко освещал внутренность этих чертогов. Таким путем создавалось целое множество пестрых фантастических видений. Но в черной комнате, находившейся на западе, эффект огнистого сияния, струившегося через кровавые стекла на темные завесы, был чудовищен до крайности и придавал такое странное выражение лицам тех, кто входил сюда, что немногие из общества осмеливались вступать в ее пределы.

Именно в этом покое стояли против западной стены гигантские часы из эбенового дерева. Их

маятник покачивался из стороны в сторону с глухим, тяжелым, монотонным звуком; и когда минутная стрелка пробегала круг циферблата и приходило мгновение, возвещающее какой-нибудь час, часы испускали из своих бронзовых легких звон, отчетливый, и громкий, и протяжный, и необыкновенно музыкальный, звон такой особенный и выразительный, что, по истечении каждого часа, музыканты оркестра должны были на мгновение прекращать свою музыку, чтобы слушать этот звон; и фигуры, кружившиеся в вальсе, замедляли свои движения, и в веселье всего этого шумного общества наступало быстрое смятение, и, покуда часы, звеня, говорили, было видно, что самые безумные бледнели, что самые престарелые и степенные проводили по лбу руками, как бы смущенные мечтой или размышлением; но когда отзвуки совершенно замирали, легкий смех мгновенно овладевал собранием; музыканты глядели друг на друга и улыбались, как бы извиняясь за свою нервность и свое неразумие, и тихим шепотом клялись друг другу, что, когда опять раздастся бой часов, он в них не вызовет подобных ощущений, и потом, по истечении шестидесяти минут (которые обнимают три тысячи шестьсот секунд убегающего

времени), снова раздавался бой часов, и снова наступало то же смятение и трепет и размышления как прежде.

Но несмотря на все это, пышный праздник продолжался, и дикий разгул не уставал. Вкус у герцога был совершенно особенный. Он тонко понимал цвета и эффекты. Он презирал фешенебельную *благопристойность*. В его планах было много дерзкой стремительности, его замыслы были озарены варварским блеском. Некоторые считали его сумасшедшим. Его приближенные знали достоверно, что это — не так. Нужно было только его видеть и слышать, нужно было только с ним соприкасаться, чтобы быть *уверенным*, что это не так.

В значительной части он руководил сам всеми этими живыми украшениями, волновавшимися в семи чертогах, в величественной обстановке ночного праздника; и это его вкусом был определен характер масок. Конечно, тут было много причудливого. Много было блеска и ослепительности, и пикантного, и фантастического — много того, что мы видели потом в «Эрнани»*. Были фигуры-арабески с несоразмерными членами. Были безумные выдумки, сумасшедшие наряды. Было много красивого, беспутного, странного,

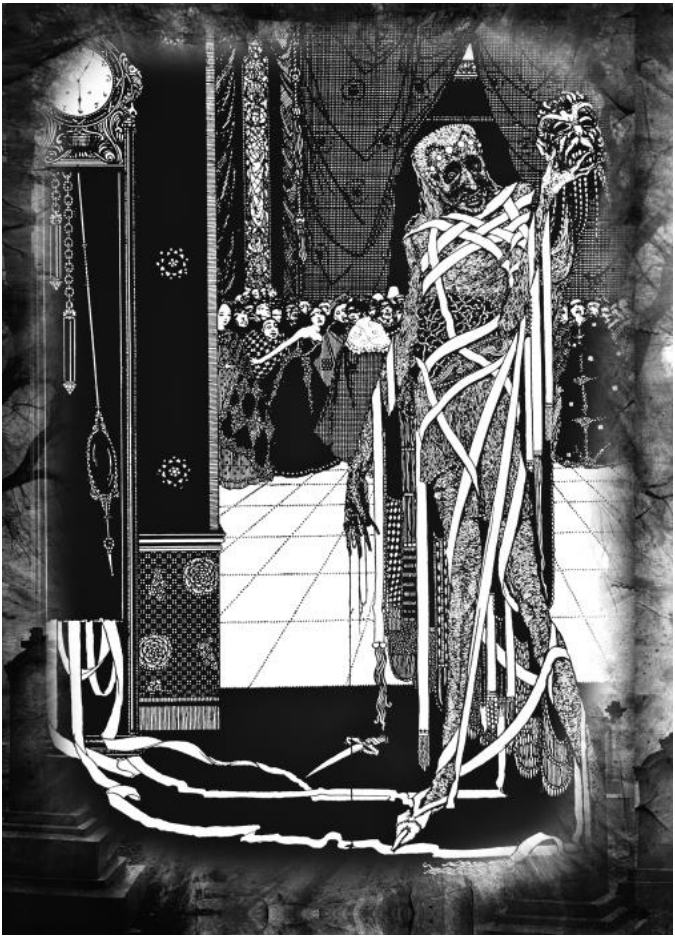
были вещи, возбуждающие страх, было немало того, что могло бы возбуждать отвращение. Словом, в этих семи чертогах бродили живые сны. Они искажались — эти сны — то здесь, то там, принимая окраску комнат и как бы производя музыку оркестра звуками своих шагов и их отзвуками. И, время от времени, опять бьют эбеновые часы, стоящие в бархатном чертоге; и тогда, на мгновение, все утихает, и все молчит, кроме голоса часов. Сны застывают в своих очертаниях и позах. Но бронзовое эхо замирает — оно длится только миг, — и тихий сдержанный смех стремится вослед улетающим звукам. И снова, волной, разрастается музыка, и сны опять живут и сплетаются, кружатся еще веселее, чем прежде, принимая окраску разноцветных окон, через которые струятся лучи от треножников. Но в комнату, лежащую на крайней точке к западу из всех семи, не осмеливается больше войти ни один из пирующих; ибо ночь проходит; и свет все более красный струится через стекла цвета алой крови; и чернота траурных ковров устрашает; и если кто осмелится ступить на траурный ковер, тому близкие эбеновые часы посылают заглушенный звон, более торжественный в своей выразительности, чем какие-либо звуки, достигающие слуха

тех, кто беспечно кружится в других отдаленных чертогах, исполненных кипящего веселья.

А в этих чертогах толпа кишит, и пульс жизни бьется здесь лихорадочно. И бешено проносились мгновения разгульного празднества, пока, наконец, не начался бой часов, возвещающий полночь. И тогда, как я сказал, музыка умолкла; и фигуры, кружащиеся в вальсе, застыли неподвижно; и все беспокойно замерло, как прежде. Но теперь тяжелый маятник должен был сделать двенадцать ударов; и потому-то, быть может, случилось, что больше мысли, с большим временем, проскользнуло в души тех, кто размышлял, между тех, кто веселился. И, быть может, также, по этой причине некоторые из толпы, прежде чем последний отзвук последнего удара потонул в безмолвии, успели заметить замаскированную фигуру, которая до тех пор не привлекала ничьего внимания. И весть об этом новом госте распространилась кругом вместе с звуками шепота, и, наконец, все общество было охвачено каким-то гулом, или ропотом, выражавшим сперва неодобрение и удивление, — а потом страх, ужас и отвращение.

Весьма понятно, что в собрании призраков, подобном тому, которое я описал, нужно было

что-нибудь незаурядное, чтобы вызвать такое впечатление. Действительно, карнавальный разгул в этот поздний час ночи был почти безграничен; однако новый гость перещеголял всех и вышел даже за пределы того свободного наряда, который был на принце. В сердцах тех, кто наиболее беспечен, есть струны, которых нельзя касаться, не возбуждая волнения. И даже для тех безвозвратно потерянных, кому жизнь и смерть равно представляются шуткой, есть вещи, которыми шутить нельзя. На самом деле, все общество, по-видимому, глубоко чувствовало теперь, что в костюме и в манерах пришельца не было ни остроумия, ни благопристойности. Незнакомец был высок и костляв, и с головы до ног он был закутан в саван. Маска, скрывавшая его лицо, до такой степени походила на лик окоченевшего трупа, что самый внимательный взгляд затруднился бы открыть обман. Все это, однако, веселящиеся безумцы могли бы снести, если и не одобрить. Но гость был так дерзок, что принял выражение красной смерти. Его одежда была запачкана *кровью* — его широкий лоб и все черты его лица были обрызганы ярко-красными пятнами, говорящими об ужасе.



Раздался резкий крик — и кинжал, сверкнув, скользнул на черный ковер

Когда взгляд принца Просперо обратился на это видение (которое прогуливалось в толпе, между пляшущих, медленно и торжественно, как бы желая полнее выдержать роль), все заметили, как в первую минуту лицо его исказилось резкой дрожью страха или отвращения; но в следующее же мгновение чело его вспыхнуло от гнева.

— Кто посмел? — спросил он хриплым голосом придворных, стоявших около него. — Кто посмел оскорбить нас этой кощунственной насмешкой? Схватить его и снять с него маску! Пусть нам будет известно, кого мы повесим при восходе солнца на стенных зубцах!

Эти слова принц Просперо произнес в восточной голубой комнате. Они громко и явственнно прозвучали через все семь комнат — ибо принц был смелый и сильный человек, и музыка умолкла по мановению его руки.

В голубой комнате стоял принц, окруженный бледными придворными. Сперва, когда он говорил, в этой группе возникло легкое движение по направлению к непрошеному гостю, который в это мгновение был совсем близко и теперь, размеренной величественной походкой, при-

ближался все более и более к говорящему. Но какой-то неопределенный страх, внушенный безумной дерзостью замаскированного, охватил всех, и в толпе не нашлось никого, кто осмелился бы наложить на незнакомца свою руку; таким образом, он без помехи приблизился к принцу на расстояние какого-нибудь шага; и покуда многолюдное собрание, как бы движимое одним порывом, отступало от средоточия комнат к стенам, он беспрепятственно, но все тем же торжественным размеренным шагом, отличавшим его сначала, продолжал свой путь из голубой комнаты в пурпурную — из пурпурной в зеленую — из зеленой в оранжевую — и потом в белую — и потом в фиолетовую, — и никто не сделал даже движения, чтобы задержать его. Тогда-то принц Просперо, придя в безумную ярость и устыдившись своей минутной трусости, бешено ринулся через все шесть комнат, между тем как ни один из толпы не последовал за ним, по причине смертельного страха, сковавшего всех. Он потрясал обнаженным кинжалом и приближался с бурной стремительностью, и между ним и удалявшейся фигурой было не более трех-четырех шагов, как вдруг незнакомец, достигнув крайней точки бархатного чертога, быстро обернулся и глянул

на своего преследователя. Раздался резкий крик — и кинжал, сверкнув, скользнул на черный ковер, и, мгновенье спустя, на этом ковре, объятый смертью, распростерся принц Просперо. Тогда, собравши все безумное мужество отчаяния, толпа веселящихся мгновенно ринулась в черный покой, и, с дикой свирепостью хватая замаскированного пришельца, высокая фигура которого стояла прямо и неподвижно в тени эбеновых часов, каждый из них задыхался от несказанного ужаса, видя, что под саваном и под мертвой маской не было никакой осязательной формы.

И тогда для всех стало очевидным присутствие красной смерти. Она пришла как вор в ночи; и один за другим веселящиеся пали в этих пиршественных чертогах, обрызганных кровавой росой, и каждый умер, застыв в той позе, как упал; и жизнь эбеновых часов иссякла вместе с жизнью последнего из веселившихся; и огни треножников погасли; и тьма и разрушение и красная смерть простерли надо всем свое безбрежное владычество.

Колодец и маятник

Impia tortorum longas hie turba furores
Sanguinis innocui, nou saita, aluit
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dura fuit, vita salusque patent.[103]

Надпись для ворот рынка, который предполагалось устроить на месте Якобинского клуба в Париже

Я изнемог — изнемог до смерти — от этой долгой агонии, и когда, наконец, меня развязали и позволили мне сесть, я был почти в беспамятстве. Приговор, страшный смертный приговор, — вот последняя фраза, долетевшая до моего слуха. Затем голоса инквизиторов слились в сонное неясное жужжание. Оно вызывало в душе моей мысль *вращения*, — быть может, вследствие сход-

[103] Примечания: 103

Нечестивая толпа мучителей, неудовлетворенная, утоляла здесь долговременную фанатическую жажду невинной крови. Ныне же, при благоденствии отечества, ныне, по разрушении пещеры погребения, жизнь и спасение отверсты там, где была зловещая смерть (*лат.*).*

ства с шумом мельничного колеса. Но вскоре и оно замолкло — больше я ничего не слышал. Зато я видел — и с какой преувеличенной ясностью! Я различал губы судей. Они казались мне белыми — белее бумаги, на которой я пишу — и неестественно тонкими, тонкими до уродливости, вследствие выражения твердости, непреклонной решимости, угрюмого презрения к человеческим мукам. Я видел, что губы эти еще решают судьбу мою, искривляются, произнося мой смертный приговор. Я различил в их движении слоги моего имени и содрогнулся, не уловив никакого звука. И еще заметил я с судорожным ужасом легкое, почти неуловимое колебание черных занавесей по стенам комнаты; а потом мой взгляд упал на семь высоких свечей, стоявших на столе. Сначала они явились передо мною, как символ милосердия, — показались мне светлыми ангелами, готовыми спасти меня; но в ту же минуту смертная истома охватила душу мою, каждый нерв моего тела затрепетал, точно прикоснувшись к вольтовой дуге, ангелы превратились в пустые призраки с огненными головами, и я увидел, что от них нечего ждать помощи. Но тогда в душе моей зазвучала, как могучая музыка, мысль о сладком покое могилы. Она явилась украдкой, неясная, и

долго я не мог понять ее значения; когда же наконец, мой ум освоился с нею, — лица судей исчезли точно по волшебству, высокие свечи пропали, пламя их угасло, настала тьма кромешная; все чувства слились в одном головокружительном ощущении, — как будто душа моя стремглав упала в преисподнюю. Затем вселенная превратилась в недвижность, немоту и мрак.



Потом мой взгляд упал на семь высоких свечей, стоявших на столе

Я лишился чувств; однако, не вполне утратил сознание. Не пытаюсь определить, ни даже описать, что именно уцелело от него; знаю только, что не все исчезло. Этого не бывает. В глубочайшем сне — нет! В горячке — нет! В обмороке — нет! В смерти — нет! Даже в могиле не все исчезает. Иначе не было бы бессмертия. Пробуждаясь от глубочайшего сна, мы разрываем воздушную ткань *какой-нибудь* грезы. Но секунду спустя (так тонка эта ткань) мы уже не помним о ней. Возврат к жизни после обморока проходит две ступени: во-первых, чувство духовного существования, во-вторых, чувство существования телесного. Очень вероятно, что если бы мы, достигнув второй ступени, могли сохранить впечатления первой, — они оказались бы красноречивыми воспоминаниями о жизни бестелесной. Что же такое эта бестелесная жизнь? Как отличить ее от жизни гробной? Но, если нам не дано по произволу вызывать в памяти впечатления первой ступени, то не могут ли они являться, непрошенные, сами собою, через большие промежутки времени, так что мы удивляемся, откуда они? Тот, кому не случалось падать в обморок, — не

видит сказочных замков и странно-знакомых лиц над тлеющими углями камина; перед ним не всплывают в воздухе мрачные видения, недоступные взору других; он не вдыхает благовония неведомых цветов; ум его не поражался значением какой-нибудь музыкальной строфы, никогда раньше не привлекавшей его внимания.

Среди постоянных и часто повторяемых попыток вспомнить, среди напряженных усилий восстановить впечатления, относящиеся к состоянию кажущегося небытия, в которое погрузилась моя душа, — были минуты, когда мне чудилось, что я успеваю в этом; короткие, очень короткие промежутки, когда передо мной вставали воспоминания, которые прояснившийся рассудок мог отнести только ко времени кажущейся потери сознания. В этих тенях воспоминаний мне смутно рисовались какие-то высокие человеческие образы, которые подняли меня и понесли вниз — вниз — все вниз и вниз, — так что наконец жестокое головокружение овладело мною при одной мысли об этом бесконечном спуске. Припоминаю также смутный ужас на сердце, порожденный ощущением неестественного спокойствия этого сердца. Далее возникает ощущение всеобщей недвижности; как будто мои носильщики (злове-

щее шествие!) перешли в своем спуске границы безграничного и остановились, утомленные своей скучной работой. Затем вспоминается ощущение затхлой сырости; а там — полное *безумие* памяти, которая не в силах овладеть недоступными сознанию предметами.

Внезапно движение и звук ворвались в мою душу: беспорядочные биения сердца и звук этих биений, отдававшийся в моих ушах. Потом снова все исчезло. Потом опять ощущение движения, звука, прикосновения болезненно отозвалось во всем моем существе. Затем голое сознание бытия, без всякой мысли: это состояние тянулось очень долго. Затем, внезапно, — *мысль*, судорожный страх, напряженное стремление уяснить свое положение. Затем жадное желание снова погрузиться в бессознательность. Затем быстрое пробуждение души и успешная попытка двигаться. И наконец, — отчетливое воспоминание о суде, о мрачных занавесях, о приговоре, об упадке сил, об обмороке; и полное забвение обо всем, что затем последовало и что я смутно припомнил впоследствии, после долгих усилий.

До сих пор я не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, не связанный. Я протянул руку, она тяжело упала на что-то сырое и жест-

кое. Я оставил ее в этом положении, стараясь понять, где я и *что* со мной. Я хотел, но не смел открыть глаза. Я не боялся увидеть что-нибудь ужасное, нет, меня скорее пугала мысль, что не придется *ничего* увидеть. Наконец, с отчаянием в сердце, я быстро открыл глаза. Мои худшие опасения подтвердились. Черная непроглядная тьма окружала меня. Я задыхался. Тьма давила и душила меня. Воздух был невыносимо душный. Я все еще лежал спокойно и пытался собраться с мыслями. Я вспоминал законы инквизиции, стараясь определить свое положение. Приговор был произнесен; с тех пор, как мне казалось, прошло не мало времени. Однако, мне ни разу не пришла в голову мысль, что я уже умер. Подобное предположение возможно только в романе, но совершенно несовместимо с действительным существованием. Но где же и в каком положении я находился? Приговоренные к смерти погибали обыкновенно на auto-dafe, одна такая церемония была устроена в день моего суда. Не отвели ли меня обратно в темницу, в ожидании следующей церемонии, которая состоится через несколько месяцев? Я тотчас сообразил, что этого не может быть. Жертвы подвергались сожжению немедленно. Притом же, моя прежняя тюрьма, как и

все толедские тюрьмы, была вымощена камнем и не лишена доступа света.

Ужасная мысль, от которой вся моя кровь потоком прихлынула к сердцу, на мгновение снова лишила меня сознания. Очнувшись, я разом вскочил на ноги, судорожно дрожа всем телом. Я вытягивал руки по всем направлениям, но не смел ступить шага, опасаясь наткнуться на стены *могилы*. Пот градом катился из всех моих пор, застывал холодными тяжелыми каплями на моем лбу. Наконец, агония сделалась невыносимой, и я осторожно двинулся вперед, вытянув руки и расширяя глаза, в надежде уловить хоть слабый луч света. Я сделал несколько шагов, но все кругом было тьма и пустота. Я вздохнул свободнее. Казалось очевидным, что мне суждена еще не самая ужасная участь.

Пока я осторожно пробирался вперед, в памяти моей зароились тысячи рассказов об ужасах Толедо. О здешних тюрьмах ходили зловещие слухи, которым я не верил, считая их вымыслом, — до того зловещие и мрачные, что их передавали только шепотом. Не осужден ли я на голодную смерть в этом царстве подземной тьмы? или меня ожидает другая, быть может, еще более ужасная участь? Что мне придется умереть, и не простою

смертью, — в том я не сомневался, зная характер моих судей. Когда и как умереть, — вот что занимало меня в настоящую минуту.

Наконец, мои вытянутые руки наткнулись на какое- то препятствие. Это была стена, по-видимому, каменная, — гладкая, липкая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая с недоверчивой осторожностью, так как помнил некоторые из слышанных рассказов. Однако, двигаясь таким образом, невозможно было определить размеры тюрьмы: обойдя вокруг стены, я не нашел бы на ее гладкой ровной поверхности того места, откуда отправился. Я вспомнил о ноже, который был у меня в кармане, когда меня привели в камеру инквизиции, но его не оказалось; мое прежнее платье было заменено грубой саржевой рубахой. Я хотел было воткнуть нож в какую-нибудь щель на стене, чтобы отметить пункт, от которого отправлюсь. Затруднение было пустое, но при моем расстройстве показалось мне в первую минуту неодолимым. Я оторвал от рубахи длинную полосу и разложил ее на полу под прямым углом к стене. Пробираясь ощупью вокруг тюрьмы, я должен был наткнуться на нее, сделав полный круг. На это, по крайней мере, я рассчитывал, но я не принял в соображение длину пути и свою

слабость. Пол был мокрый и скользкий. Я кое-как плелся вперед, но вскоре споткнулся и упал. Истомленный усталостью, я остался лежать и скоро заснул.

Проснувшись и вытянув руку, я нащупал подле себя ломоть хлеба и кружку воды. Слишком истощенный, чтобы рассуждать об этом, я с жадностью поел и напился. Затем продолжал обход темницы и, наконец, с большим трудом добрался до лоскута саржи. В минуту падения, я сделал уже пятьдесят два шага, да после того сорок восемь. Всего стало быть сто; считая по два шага на ярд, я принимал окружность моей темницы в; пятьдесят ярдов. Впрочем, в стене мне попалось много углов, так что я не мог определить общую форму склепа (мне все-таки казалось, что это склеп).

В сущности, я производил это исследование без всякой определенной цели, не говоря уже о надежде, но смутное любопытство заставляло меня продолжать его. Оставив стену, я решился пройти поперек темницы. Я ступал с большой осторожностью, так как пол хотя и твердый, был очень скользок, но, в конце концов, ободрился и пошел смело, стараясь идти по прямой линии. Пройдя шагов десять-двенадцать, я зацепился за оборванный край рубахи и упал ничком.

Растерявшись от падения, я не обратил внимания на одно странное обстоятельство, которое поразило меня только несколько секунд спустя. Вот в чем дело: мой подбородок упирался в пол, тогда как губы и верхняя часть лица, находившиеся приблизительно на одном уровне с подбородком, не прикасались ни к чему. В то же время я чувствовал, что мой лоб точно купается в каких-то испарениях, и особенный запах гниющих грибов коснулся моих ноздрей. Я ощупал пол и вздрогнул, убедившись, что лежу на краю круглого колодца, размеры которого я, разумеется, не мог определить в данную минуту. Ощупывая стенку колодца, я отломил небольшой осколок камня и бросил его в пропасть. В течение нескольких секунд он ударялся о стены, потом погрузился в воду с глухим бульканьем, которое отдалось в темнице гулким эхом. В ту же минуту я услыхал над головой звук, как будто наверху быстро отворилась и захлопнулась дверь; слабый луч света прорезал тьму и тотчас же погас.

Я понял, какая казнь готовилась мне и порадовался удачному избавлению. Еще шаг, — и мне пришлось бы распроститься со светом. А ожидавшая меня смерть относилась к разряду тех именно казней, которые я считал выдумкой

и клеветой на инквизицию. Жертвы ее умирали двояко: или в страшных физических муках, или истерзанные беспощадной пыткой нравственной. Мне предстояла эта последняя. Нервы мои были до того расстроены продолжительными страданиями, что я дрожал при звуке моего собственного голоса и сделался во всех отношениях подходящим субъектом для ожидавшей меня пытки.

Дрожа всем телом, я пополз обратно к стене, решившись лучше погибнуть, не сходя с места, чем рисковать провалиться в колодезь. Мне чудилось, что темница усеяна колодцами. При другом настроении у меня хватило бы духа разом покончить с своими мучениями, кинувшись в одну из этих пропастей; но теперь я был трусливее последнего труса. Да и не мог я забыть, что эти адские ловушки — судя по тому, что мне случалось читать о них — отнюдь не предназначались для *внезапной* смерти.

Волнение долго не давало мне уснуть, но в конце концов, я задремал. Проснувшись, я снова нашел подле себя ломоть хлеба и кружку воды. Жгучая жажда заставила меня залпом опорожнить кружку. Должно быть, к воде было что-нибудь подмешано, потому, что, лишь только

я выпил ее, глаза мои стали смыкаться. Свинцовый сон сковал меня, — сон, подобный смерти. Сколько времени он длился, не знаю; но, когда я снова открыл глаза, окружающие предметы были видимы. При странном фосфорическом свете, происхождение которого оставалось для меня загадочным, я мог рассмотреть свою темницу.

Я сильно ошибся в расчете, определяя размеры ее. Окружность стены не превышала двадцати пяти ярдов. Убедившись в своей ошибке, я очень смутился, но это было нелепо: уж, если что не имело значения при таких ужасных обстоятельствах, так это размеры тюрьмы. Но мой ум упорно цеплялся за пустяки, и долго я старался объяснить себе причину ошибки. Наконец, она уяснилась. Отправившись вдоль стены, я отсчитал пятьдесят два шага, и упал; в эту минуту я находился в двух, трех шагах от лоскута, то есть сделал почти полный круг. Тут я заснул, а проснувшись, пошел обратно, совершив таким образом двойной обход. В своем расстройстве я не заметил, что стена, находившаяся в начале обхода по левую руку от меня, в конце очутилась по правую.

Определяя форму ограды, я также сделал ошибку. Пробираясь вдоль стены, я нащупал много углов и заключил, что форма постройки

совершенно неправильная. Таково действие совершенной темноты на человека, очнувшегося от обморока или сна! Углы оказались легкими неровностями и углублениями в разных местах стены. Общая форма тюрьмы была четырехугольная. То, что я принял за камень, оказалось железом или другим металлом, огромные плиты которого образовывали упомянутые выше неровности своими краями или спайками. Вся поверхность этой металлической клетки была разрисована безобразными и отвратительными эмблемами, измышлением грубого суеверия монахов. Фигуры чертей с угрожающими лицами, скелеты и другие более страшные изображения покрывали и безобразили всю стену. Я заметил, что очертания этих чудовищ были довольно ясны, но краски выцвели и поблекли от сырости. Я рассмотрел также каменный пол. Посреди него зиял круглый колодезь, от которого я ускользнул, но он был один в комнате.

Все это я видел неясно и с большим усилием, так как мое положение изменилось во время сна. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во всю длину на низенькой деревянной скамейке. Я был тщательно привязан к ней длинным ремнем в роде кушака. Он несколько раз обвивал мое

туловище и члены, оставляя свободной только голову и левую руку настолько, что я мог с большим усилием доставать пищу, поставленную подле меня на полу в глиняной миске. Я с ужасом убедился, что кружки с водой не было. Говорю: с ужасом, потому что меня терзала невыносимая жажда. Должно быть мои палачи рассчитывали на нее, так как пищей служило мне мясо, сильно заправленное пряностями.

Подняв глаза, я стал рассматривать потолок. Он находился на высоте тридцати или сорока футов и был устроен так же, как стены. Странная фигура на одной из плит остановила мое внимание. Это было изображение Времени, как его обыкновенно рисуют, только вместо косы была нарисована фигура, которая показалась мне с первого взгляда изображением маятника, какие бывают у старинных часов. Что-то особенное в этом рисунке заставляло меня вглядеться внимательнее. Всматриваясь вверх (фигура находилась как раз надо мною), я заметил, что маятник как будто движется. Минуту спустя это подтвердилось. Он раскачивался очень медленно, короткими взмахами. Я следил за ним в течение нескольких минут, скорее с удивлением, чем со страхом. Наконец, устав следить за его однообразным дви-

жением, я перевел взгляд на другие предметы.

Легкий шум привлек мое внимание и, взглянув на пол, я увидел несколько громадных крыс. Они выходили из колодца, находившегося по правую руку от меня. На моих глазах они выползали кучами, торопливо, с алчными взорами, привлеченные запахом пищи. Мне стоило большого труда отгонять их.

Прошло полчаса, может быть, час (я мог только приблизительно определить время), прежде чем я снова взглянул вверх. То, что я увидел теперь, поразило меня ужасом и изумлением. Размахи маятника увеличились почти на целый ярд; вместе с тем, разумеется, возросла быстрота его движения. Но пуще всего смутила меня мысль, что он заметно *опустился*. Я рассмотрел теперь — не нужно и говорить с каким ужасом, — что его нижняя часть представляла блестящий стальной полумесяц, длиною около фута от одного рога до другого; рога были направлены кверху, лезвие казалось острым, как бритва. Как бритва же он был тяжел и массивен, значительно расширялся и утолщался кверху. Он висел на тяжелом медном стержне и, со свистом, раскачивался в воздухе.

Теперь мне стало ясно, какую казнь изобрела для меня затейливая жестокость монахов. Агенты

инквизиции заметили, что я избежал колодца, — ужасы которого предназначались для таких дерзких еретиков, как я, — *колодца, Ultima Thu1e* их казней. Чистая случайность избавила меня от падения, но мне известно было, что внезапность играла важную роль в этих вычурных пытках. Раз я избежал западни, в адский расчет моих гонителей вовсе не входило бросить меня туда насильно; и мне назначили (иного исхода не было) другую, более милосердную казнь. Милосердную! Даже в своей агонии я улыбнулся, выговаривая это слово при таких обстоятельствах.

К чему рассказывать о долгих, долгих часах нечеловеческого ужаса, в течение которых я считал свистящие размахи маятника? Дюйм за дюймом, линия за линией, он опускался медленным, ровным движением, заметным только через большие промежутки времени, казавшиеся мне веками — опускался все ниже, ниже! Прошли дни, может быть, много дней, прежде чем он очутился так близко от моего лица, что на меня повеяло его жгучим дыханием. Запах отточенной стали проникал в ноздри мои. Я молил, я докучал небу мольбами ускорить его движение. Я обезумел, я отчаянно бился, стараясь приподняться навстречу грозному мечу. Потом

вдруг успокоился и лежал смирно, улыбаясь этой сверкающей смерти, как ребенок игрушке.

Снова я впал в беспамятство, но на очень короткое время, так как маятник не опустился сколько-нибудь заметно, когда я пришел в себя. Впрочем, обморок мог быть и продолжительным: ведь демоны, следившие за мной, наверное заметили его и могли остановить маятник, чтобы продлить свою адскую игру. Во всяком случае, очнувшись я почувствовал себя крайне — невыразимо! — слабым и истомленным, точно после долгого голода. Даже среди таких мук человеческая природа алкала пищи. С болезненным усилием я вытянул руку, насколько позволял ремень, и достал жалкие объедки, оставшиеся от крыс. Когда я положил в рот первый кусок, в уме моем мелькнула смутная, но радостная мысль, луч надежды. Что было общего между надеждой и *мною*? Я говорю, что мысль была смутная, полумысль, какие часто приходят в голову человеку, но никогда не принимают определенной формы. Я чувствовал, что это была мысль радости и надежды, но чувствовал также, что она угасла, едва зародившись. Напрасно я пытался определить, вернуть ее. Долгие муки уничтожили во мне почти всякую способность к мышлению. Я

превратился в глупца, идиота.

Линия размахов маятника приходилась поперек моего тела. Я заметил, что полумесяц должен был перерезать мне сердце. Вот он надрежет саржу моей рубахи, вернется и надрежет еще… еще… еще… Несмотря на ужасающую величину размахов (футов тридцать), несмотря на их силу, достаточную, чтобы прорезать эти железные стены, он в течение нескольких минут будет резать только мое платье. На этом мысль моя остановилась. Я не смел идти дальше. Я упорно цеплялся за эту мысль, как будто, остановившись на ней, мог остановить и движение маятника на этом уровне. Я старался представить себе звук полумесяца, когда он коснется одежды, то особенное ощущение, которое производит на нервы треск разрываемой материи. Я думал и раздумывал обо всем этом, пока мурашки не пробежали по телу.

Вниз — он упорно скользил вниз! Я с каким-то безумным наслаждением сравнивал быстроту его размаха с медлительностью опускания. Направо, налево, — далеко, далеко убегал и потом опять возвращался с визгом дьявольским; к сердцу моему украдкой, неслышными шагами тигра! Я то смеялся, то выл, смотря по тому, какая мысль брала верх.

Вниз — неизменно, неустанно вниз! Он раскачивался в трех дюймах от моей груди! Я бился, как безумный, как бешеный, стараясь освободить левую руку. Она была свободна только от локтя до кисти. Я мог с большим усилием достать до миски и до рта, — не далее. Если бы удалось мне разорвать ремень над локтем, — я попытался бы схватить и остановить маятник. Я мог бы с таким же успехом попытаться остановить лавину!

Вниз — непрестанно, неизбежно вниз! Я задыхался и рвался, — я судорожно корчился при каждом взмахе. Глаза мои следили за его полетом из стороны в сторону с упорством безумного отчаяния, судорожно смыкаясь при каждом опускании, хотя смерть была бы облегчением, — о, несказанным облегчением! И все-таки я дрожал всем телом при мысли, что еще немного — и острая блестящая секира коснется моей груди. Эта *надежда* заставляла меня дрожать всеми нервами, всеми фибрами. Да, это была *надежда*, — та надежда, которая торжествует над пыткой и шепчет приговоренному к смерти слова утешения даже в тюрьмах инквизиции.

Я видел, что через десять-двенадцать взмахов сталь коснется моей одежды, и, лишь только я убедился в этом, — мной овладело холодное со-

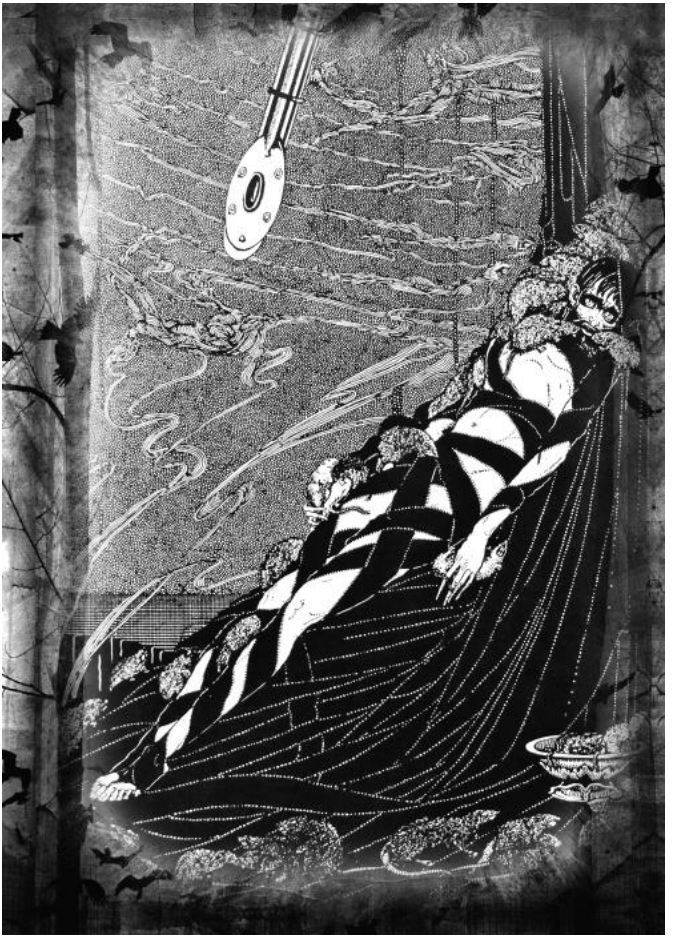
средоточенное спокойствие отчаяния. В первый раз в течение многих часов, быть может, дней, я начал думать. Мне пришло в голову, что тесьма или ремень, привязывавший меня к скамье, состоял из *одного куска*. Я не был связан отдельными веревками. Первый взмах острого, как бритва, полумесяца, — если только он заденет за ремень, — надрежет его настолько, что мне легко будет освободиться от уз с помощью левой руки. Но как опасна близость стали при таких обстоятельствах. Малейшее движение может оказаться гибельным! Да и можно ли допустить, чтобы эти мастера мучительства не предусмотрели, не предупредили подобной случайности? Можно ли надеяться, что ремень опоясывает тело мое именно там, где вопьется маятник? Дрожа от страха лишиться этой слабой и, по-видимому, последней, надежды, я приподнял голову, стараясь взглянуть на свою грудь. Ремень плотно обвил мои члены и туловище по всем направлениям, *кроме того места, которое приходилось на пути маятника*.

Не успел я опустить голову, как в уме моем мелькнула недодуманная половина, — иначе не умею выразиться — мысли об избавлении, начало которой лишь смутно пронеслось в мо-

ем мозгу, когда я подносил пищу к запекшимся губам. Теперь эта мысль явилась вся, целиком, — бледная, тусклая, едва уловимая, но вся, целиком. Не теряя ни минуты, я с судорожной силой отчаяния принялся за ее осуществление.

Уже много часов ближайшая к скамье часть темницы буквально кишела крысами. Дикие, смелые, алчные, они поглядывали на меня своими красными глазами, точно дожидались, когда прекратятся мои движения, и я стану их добычей. — К какой пище, — подумал я, — привыкли они в этом колодце?

Как я ни отгонял их, — они сожрали почти все, что было в миске. Я беспрерывно махал рукою над миской, но это механическое, однообразное движение, превратившееся в привычку, уже переставало отпугивать крыс. Прожорливые твари то и дело вонзали свои острые зубы в мои пальцы. Я натер ремень, где только мог достать до него — остатками мяса, пропитанного маслом и пряностями, отнял руку от миски и лег неподвижно, затаив дыхание.



Крысы толпились, кишели на мне; все прибывая и прибывая

В первую минуту жадные животные были поражены и испуганы этой переменой, — прекращением движения руки. Они отхлынули прочь; многие скрылись в колодце. Но это длилось одно мгновение. Я не даром рассчитывал на их прожорливость. Заметив, что я лежу, не шевелясь, одна или две посмелее вскарабкались на скамью и принялись обнюхивать ремни. По-видимому, это было знаком к, общему нападению. Новые полчища хлынули из колодца. Они лезли на скамью и сотнями толпились на моем теле. Мерные взмахи маятника ничуть не пугали их. Ловко увертываясь от него, они грызли намасленный ремень. Они толпились, кишели на мне; все прибывая и прибывая. Лапы их щекотали мне горло, холодные губы дотрагивались до моих губ. Я задыхался под тяжестью этих полчищ; отвращение, которому нет названия, переворачивало всю мою внутренность, пробегало холодом по сердцу. Но еще минута — и конец. Я чувствовал, что узы мои ослабевают. Чувствовал, что они порваны уже в нескольких местах. С нечеловеческой решимостью я *в с е еще* лежал, не шевелясь.

Недаром я терпел, не напрасно надеялся! Нако-

нец-то я почувствовал себя *свободным*. Ремень висел лоскутьями вокруг моего тела. Но маятник уже касался моей груди. Он перерезал саржу. Перерезал полотно нижней рубахи. Еще взмах — еще — и жгучая боль пронизала мое тело. Но наступила минута освобождения. При первом взмахе моей руки, мои избавители в беспорядке ринулись прочь. Осторожным, тихим, гибким, змеиным движением, я выскользнул из моих уз и из-под секиры. В эту минуту, по крайней мере, *я был свободен*.

Свободен! — и в когтях инквизиции! Не успел я соскочить с своего деревянного эшафота на каменный пол темницы, как движения адской машины прекратились, и какая-то невидимая сила подняла ее к потолку. Это был урок, наполнивший мое сердце отчаянием. Несомненно, за каждым моим движением следили. Свободен! — я ускользнул от мучительной смерти, чтобы подвергнуться новой и более ужасной пытке. При этой мысли я тревожно обвел глазами железные стены моей клетки. Странная, неизъяснимая перемена, которой я не мог определить с первого взгляда, — произошла в них. Я стоял, точно в бреду, дрожа и теряясь в смутных догадках. Так прошло несколько минут. В это время, я впервые

заметил, откуда исходил фосфорический свет, озарявший тюрьму. Он проникал через скважину, с полдюйма шириной, опоясывавшую всю комнату у основания стены, которая таким образом казалась и действительно была совершенно отделена от пола. Я попробовал заглянуть в эту щель, но, разумеется, безуспешно.

Когда я встал, мне разом уяснилась тайна перемены в комнате. Я уже говорил, что очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, тогда как краски казались выцветшими и поблекшими. Теперь они приобрели поразительный и необычайно яркий блеск, усиливавшийся с каждой минутой и придававший их призрачным адским образам вид, от которого содрогнулись бы и более крепкие нервы, чем мои. Тысячи дьявольских глаз, свирепых, зловещих, полных жизни, которых я не замечал раньше, смотрели на меня со всех сторон, сверкая мрачным огнем, который я тщетно старался считать воображаемым.

Воображаемым! — Ноздри мои уже втягивали испарения раскаленного железа! Удушливый запах наполнял темницу! С каждой минутой все ярче и ярче разгорались глаза, любовавшиеся моей агонией! Кровавые образы на стене наливались густым багрянцем. Я изнемогал!

я задыхался! Теперь не оставалось сомнения в намерениях моих мучителей, — о, безжалостные! бесчеловечные демоны! Я кинулся от раскаленных стен к центру тюрьмы. В виду наступавшей на меня огненной смерти, мысль о колодце повеяла прохладой на мою душу. Я прильнул к его смертоносному краю и впился глазами в глубину его. Блеск раскаленного потолка озарял колодезь до самого дна. Но в первую минуту мой ум отказывался понять значение того, что я видел. Наконец, оно проникло, ворвалось в мою душу, отпечаталось огненными буквами в моем колеблющемся рассудке. О, какими словами описать это!.. о, ужас ужасов!.. Я с криком бросился прочь от колодца и, закрыв лицо руками, горько заплакал.

Жар быстро усиливался, и я еще раз открыл глаза, дрожа, как в лихорадке. В темнице вторично произошла перемена, — на этот раз, очевидно, перемена формы. Как и раньше, я не мог с первого взгляда определить или понять, что происходит. Но недоумение мое скоро рассеялось. Я раздразнил мстительность инквизиторов, дважды ускользнув от гибели, — но теперь уж не приходилось шутить с Царем Ужасов. Раньше комната имела форму квадрата, Теперь же два ее угла сделались острыми; следовательно, другие два

— тупыми. Эта страшная перемена совершилась быстро, с глухим ноющим звуком. В одну минуту комната приняла очертания ромба. Но перемена не остановилась на этом, — да я и не надеялся и не желал остановки. Я готов был прижать к своей груди эти раскаленные стены, как одежду веяного покоя. — Смерть, — говорил я, — какая бы то ни была смерть, лишь бы не в колодце. — Безумец! как я не понял, что это раскаленное железо должно было загнать меня в *колодезь*? Мог ли я вынести жар его? и если бы мог, как бы я устоял против его напора? Косоугольник вытягивался с быстротой, которая не давала мне времени на размышления. Центр и наибольшая ширина его приходились как раз над зияющей бездной. Я отступил, но сдвигающиеся стены гнали меня вперед и вперед. Наконец, мое обожженное, скорченное тело уже не находило места на полу. Я перестал бороться, и только агония души моей прервалась громким, долгим, последним воплем отчаяния. Я чувствовал, что шатаюсь на краю колодца — я отвратил глаза…

Нестройный гул человеческих голосов! Громкие звуки труб! Грохот, точно от тысячи громов! Огненные стены раздались! Чья-то рука схватила мою руку, когда я, изнемогая, падал в бездну. То

была рука генерала Ласаля*. Французская армия вошла в Толедо*. Инквизиция была во власти своих врагов*.

Сердце-обличитель

Да! я очень, очень нервен, страшно нервен; но почему *хотите* вы утверждать, что я сумасшедший? Болезнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила их, отнюдь не притупила. Прежде всего чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышал все, что делалось на небе и на земле. Я слышал многое из того, что делалось в аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте! вы только слушайте и наблюдайте, как трезво и спокойно я могу все рассказать.

Невозможно определить, каким образом эта мысль первый раз пришла мне в голову; но, раз придя, она преследовала меня и днем и ночью. Цели тут не было никакой. Страсти не было никакой. Я любил старика. Он никогда мне не делал зла. Он никогда меня не оскорблял. Денег его я не хотел. Я думаю, что во всем был виноват его глаз! Да, именно так! Один его глаз был похож на глаз ястреба — бледно-голубого цвета с бельмом. Каждый раз, когда он смотрел на меня этим глазом, кровь во мне холодела, и вот мало-помалу, постепенно, мной овладела мысль убить старика, и этим путем раз навсегда избавиться от его глаза.

Так вот в чем дело. Вы забрали себе в голову, что я сумасшедший. Сумасшедшие не знают ничего. Но вы бы только посмотрели на меня. Вы бы только посмотрели, как умно я все устроил — с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким притворством я принялся за дело! Никогда я не был более предупредителен к старику, нежели в течение целой недели перед тем, как я его убил. И каждую ночь, около полночи, я повертывал защелку его двери и открывал ее — о, так тихо! И потом, когда отверстие было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивал туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвечивало, и тогда я просовывал в дверь свою голову. Вот бы вы рассмеялись, если бы увидели, с какой ловкостью я ее просовывал! Я подвигал ее медленно, очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Проходил целый час, прежде чем я просовывал голову настолько, чтобы видеть, как он лежит в своей постели. А! Разве сумасшедший мог бы быть так благоразумен? И затем, когда моя голова была в комнате, я осторожно открывал фонарь — о, так осторожно — так осторожно (потому что пружина скрипела), я открывал его как раз настолько,

чтобы один тонкий луч упал на ястребиный глаз. И я делал это целых семь долгих ночей, каждую ночь, ровно в полночь, но глаз всегда был закрыт, и, таким образом, мне было невозможно совершить дело, потому что не старик меня мучил, а его Дурной Глаз. И каждое утро, когда наступал день, я спокойно входил в его комнату и оживленно разговаривал с ним, ласково называл его по имени, и спрашивал, как он провел ночь. Вы видите, старик должен был бы обладать очень большой проницательностью, чтобы подозревать, что каждую ночь, ровно в двенадцать часов, я смотрел на него, покуда он спал.

На восьмую ночь я опять пошел, и на этот раз открывал дверь с еще большей осторожностью, чем прежде. Минутная стрелка на часах двигается быстрее, чем двигалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не *чувствовал* я размеров моих сил, моей предусмотрительности. Я едва мог сдерживать торжествующий восторг. Подумать только, я тут потихоньку открываю дверь, а ему даже и не снятся мои тайные дела и мысли. Когда это пришло мне в голову, я засмеялся чуть внятным, прерывистым смехом, и, быть может, он услыхал меня, потому что он внезапно повернулся на постели, как бы вздрогнув. Вы, пожалуй, подумаете,

что я прокрался назад — нет. В его комнате не видно было ни зги (ставни были плотно заперты, он боялся воров), и я знал, что он не мог видеть открытой двери, и я все толкал ее вперед так спокойно, так спокойно…

Я уже просунул голову в комнату, и готовился открыть фонарь, как вдруг большой мой палец скользнул по жестяной задвижке, и старик вскочил на постели, вскрикнув: «Кто там?»

Я был неподвижен и не говорил ни слова. В продолжении целого часа я не двинулся ни одним мускулом, и все время слышал, что он не ложился. Он все еще сидел на своей постели и слушал; совершенно так же, как ночь за ночью я слушал здесь тиканье стенного жучка-точильщика.

Но вот я услыхал слабый стон, и я знал, что это был стон смертельного страха. То не был стон муки или печали — о, нет! — то был тихий, заглушенный звук, который исходит из глубины души, когда она подавлена ужасом. Я хорошо знал этот звук. Много ночей, ровно в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усиливая своим чудовищным откликом ужасы, терзавшие меня. Я говорю, я знал его хорошо. Я знал, что̀ чувствовал старик, и мне было его жалко, хотя в сердце моем дрожал судорожный смех. Я знал, что

он не спал с того самого мгновения, когда легкий шум заставил его повернуться в постели. С этого мгновения страх все больше наползал на него. Он старался убедить себя, что опасения напрасны, но не мог. Он говорил себе: «Это ничего, это только ветер в камине, это только мышь пробежала по полу», или: «Это только крикнул сверчок, он только раз крикнул». Да, он старался успокоить себя такими догадками; но видел, что все тщетно. *Все тщетно,* потому что Смерть, приближаясь к нему, прошла перед ним с своею черной тенью, и окутала жертву. И это именно зловещее влияние незримой тени заставило его чувствовать, хотя он ничего не видел и не слышал, *чувствовать* присутствие моей головы в комнате.

Я выждал очень терпеливо значительный промежуток времени, но слыша, что старик не ложится, я решил открыть в фонаре маленькую щелку — очень, очень маленькую. Я стал ее открывать — вы представить себе не можете, до какой степени бесшумно, бесшумно — и, наконец, отдельный бледный луч, похожий на вытянутую паутинку, выделился из щели и упал на ястребиный глаз.



С громким воплем я отбросил фонарь и кинулся в комнату. Он крикнул… только раз

Он был открыт, широко, широко открыт, и я пришел в ярость, увидев его. Я видел его совершенно явственно — это был тускло-голубой глаз с отвратительным налетом, который заморозил кровь в моих жилах, но я не видал ничего другого, ни черт его лица, ни его тела, потому что как бы по инстинкту я направил луч света как раз на проклятое пятно.

Ну, и что же, разве я вам не говорил, что то, что вы считаете сумасшествием, есть лишь утонченность моих чувств? Я услышал тихий, глухой, быстрый звук, подобный тиканью карманных часов, завернутых в вату. *Этот* звук я знал, отлично знал *и* его. Это билось сердце старика. Быстрый звук усилил мое бешенство, как звук барабанного боя усиливает мужество солдата.

Но и тут я еще сдержался и продолжал стоять неподвижно. Я едва дышал. Фонарь застыл в моих руках. Я пробовал, как упорно могу я устремлять луч света на глаз. А сердце все билось, эта дьявольская музыка все усиливалась. С каждым мигом звук делался быстрее и быстрее, он делался все громче и громче. *Надо думать*, что старик был испуган до последней степени!

Сердце билось все громче, говорю я, все громче с каждым мигом! — Вы хорошо следите за мной? Ведь я вам говорил, что я нервен: да, я нервен. И теперь, в этот смертный час ночи, посреди мертвой тишины старинного дома, этот странный шум исполнил меня непобедимым ужасом. Однако, еще несколько минут я сдерживал себя и стоял спокойно. Но сердце билось все громче, все громче! Я думал, что оно разорвется. И тут новая забота охватила меня — этот звук могли услышать соседи! Час старика пришел! С громким воплем я отбросил фонарь и кинулся в комнату. Он крикнул — крикнул только раз. В одно мгновение я сошвырнул его на пол и сдернул на него тяжелую постель. И тут я весело улыбнулся, видя, что дело идет так успешно. Но несколько минут сердце продолжало биться, издавая заглушенный звук. Этот звук, однако, больше не мучил меня; его нельзя было услышать через стены. Наконец он прекратился. Старик был мертв. Я сдвинул постель и осмотрел тело. Да, он был совершенно, совершенно мертв. Я приложил руку к его сердцу и держал ее таким образом несколько минут. Пульса не было. Он был совершенно мертв. Его глаз не будет больше тревожить меня.

Если вы еще продолжаете думать, что я сума-

сшедший, вы разубедитесь, когда я опишу вам все меры предосторожности, которые я предпринял, чтобы скрыть труп. Ночь уходила, и я работал быстро, но молчаливо.

Я вынул три доски из пола комнаты и положил труп между драницами. Потом я опять укрепил доски так хорошо, так аккуратно, что никакой человеческий глаз — даже и *его* — не мог бы открыть здесь ничего подозрительного. Ничего не нужно было замывать — ни одного пятна — ни одной капли крови. Я был слишком предусмотрителен для этого.

Когда я все кончил, было четыре часа — на дворе было еще темно, как в полночь. В ту самую минуту, когда били часы, с улицы раздался стук в наружную дверь. С легким сердцем я пошел отворить ее, — чего мне было бояться *теперь?* Вошли три человека и с большой учтивостью представились мне, называя себя полицейскими чиновниками. Один из соседей слышал ночью крик; возникло подозрение, не случилось ли какого злого дела; полиция была об этом извещена, и вот они (полицейские чиновники) были отправлены произвести обыск.

Я улыбался — *чего* мне было бояться? Я попросил джентльменов пожаловать в комнаты.

Закричал это я сам, сказал я, закричал во сне. А старика, сообщил я, нет дома, он на время уехал из города. Я провел посетителей по всему дому. Я просил их обыскать все — обыскать *хорошенько*. Я провел их, наконец, в его комнату. Я показал им все его драгоценности, они были целы, и лежали в своем обычном порядке. Охваченный энтузиазмом своей уверенности, я принес стулья в эту комнату и пожелал, чтобы именно *здес*ь они отдохнули от своих поисков, между тем как я сам, в дикой смелости полного торжества, поставил свой собственный стул как раз на том самом месте, под которым покоилось тело жертвы.



Я вскочил и стал говорить о разных пустяках, громко и с резкими жестикуляциями; но шум упорно возрастал

Полицейские чиновники были удовлетворены. Мои *манеры* убедили их. Я чувствовал себя необыкновенно хорошо. Они сидели, и между тем как я весело отвечал, болтали о том о сем. Но прошло немного времени, я почувствовал, что бледнею, и искренно пожелал, чтобы они поскорее ушли. У меня заболела голова, и мне показалось, что в ушах моих раздался звон; но они все еще продолжали сидеть, все продолжали болтать. Звон стал делаться явственнее — он продолжался и делался все более явственным: я начал говорить с усиленной развязностью, чтобы отделаться от этого чувства, но звон продолжался с неуклонным упорством — он возрастал и, наконец, я понял, что шум был не в моих ушах.

Не было сомнения, что я *очень* побледнел; но я говорил все более бегло, я все более повышал голос. Звук возрастал — что́ мне было делать? Это был *тихий, глухой быстрый звук — очень похожий на тиканье карманных часов, завернутых в вату*. Я задыхался — но полицейские чиновники не слыхали его. Я продолжал разговаривать все

быстрее — все более порывисто; но шум упорно возрастал. Я вскочил и стал говоить о разных пустяках, громко и с резкими жестикуляциями; но шум упорно возрастал. Почему они *не хотели* уходить? Тяжелыми, большими шагами я стал расхаживать взад и вперед по комнате, как бы возбужденный до бешенства наблюдениями этих людей — но шум упорно возрастал. О, Боже! *что* мне было делать? Я кипятился — я приходил в неистовство — я клялся! Я дергал стул, на котором сидел, и царапал им по доскам, но шум поднимался надо всем и беспрерывно возрастал. Он становился все громче — громче — *громче!* А они все сидели и болтали и улыбались. Неужели они не слыхали? Боже всемогущий! — нет, нет! Они слышали! — они подозревали! — они *знали!* — они насмехались над моим ужасом! — я подумал это тогда, я так думаю и теперь. Но что бы ни случилось, все лучше, чем эта агония! Я все мог вынести, только не эту насмешку! Я не мог больше видеть эти лицемерные улыбки, чувствовал, что я должен закричать или умереть! — и вот — опять! — слышите! — громче! громче! громче! *громче!*

— Негодяи! — закричал я. — Не притворяйтесь больше! Я сознаюсь в убийстве! — сорвите эти

доски! — вот здесь, здесь! — вы слышите, это бьется его проклятое сердце!

Очки

Много лет тому назад было в обычае осмеивать «любовь с первого взгляда»; но те, кто думает, а равно и те, кто чувствует глубоко, всегда признавали ее существование. И в самом деле, современные открытия в области, которая может быть названа эстетическим магнетизмом или магнетической эстетикой, заставляют думать, что самое естественное, а следовательно, самое истинное и глубокое чувство — то, которое возникает в сердце как бы в силу электрического толчка, — что самые прочные душевные оковы создаются одним взглядом. Признание, которое я намерен сделать, прибавит лишний случай к бесчисленным доказательствам этой истины.

Мне необходимо войти в некоторые подробности. Я еще очень молодой человек — мне не исполнилось двадцати двух лет. Фамилия моя в настоящее время весьма обыкновенная и довольно вульгарная — Симпсон. Я говорю «в настоящее время», потому что принял эту фамилию очень недавно: она утверждена за мной законным порядком в прошлом году, когда мне предстояло получить значительное наследство, оставленное

моим отдаленным родственником, мистером Адольфом Симпсоном, эсквайром. В силу завещания я мог получить наследство, только приняв фамилию завещателя, — фамилию, а не имя; мое имя Наполеон Бонапарте.

Я принял фамилию Симпсон не совсем охотно, так как не без основания гордился своим родовым именем Фруассар[104], — полагая, что могу проследить свою родословную до бессмертного автора «Хроник». Кстати, по поводу имен, я могу указать на странное совпадение звуков в фамилиях некоторых ближайших моих родственников. Мой отец был господин Фруассар, парижанин. Его жена — моя мать, на которой он женился, когда ей было пятнадцать лет, — мадемуазель Круассар, старшая дочь банкира Круассара, жена которого, вышедшая замуж шестнадцати лет, была дочерью некоего Виктора Вуассара. Господин Вуассар, как это ни странно, в свою очередь, женился на девице с подобной же фамилией — мадемуазель Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком, а ее мать, мадам Муассар, венчалась четырнадцати лет. Такие ранние браки весьма обыкновенны

[104] Примечания: 104

Жан Фруассар, французский летописец XIV века (1338–1404). Он родился в Валансьенне. Его «Хроники» эпохи феодализма написаны без особой последовательности, но очень живо и образно.

во Франции. Итак, здесь являются: Муассары, Вуассары, Круассары и Фруассары, все в прямой линии родства. Впрочем, как я уже сказал, моя собственная фамилия превратилась в Симпсона, к немалому моему отвращению, так что одно время я даже колебался, принимать ли наследство с таким бесполезным и неприятным proviso[105].

Нельзя сказать, чтобы мне недоставало личной привлекательности. Напротив, я, кажется, хорошо сложен и обладаю наружностью, которую девять человек из десяти назовут красивой. Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов. Волосы черные, вьющиеся. Нос довольно красивой формы. Глаза большие, серые, и хотя близоруки до неприличия, но этого нельзя угадать по их внешнему виду. Слабость зрения, однако, всегда докучала мне, и я прибегал ко всевозможным средствам против этого зла, — за исключением очков. Будучи молод и красив, я, естественно, питал к ним отвращение и решительно отказывался носить их. В самом деле, ничто так не обезображивает молодого лица, как очки; они придают его чертам вид какой-то напыщенности, или даже ханжества, и старости. С другой

---

[105] Примечания: 105
Условия (*фр.*).

стороны, лорнет налагает отпечаток пошлого франтовства и жеманства. Ввиду этого я обходился, как умел, без очков и без лорнета. Однако я слишком распространяюсь об этих чисто личных мелочах, которые притом не имеют особенного значения. Прибавлю только в заключение, что темперамент у меня сангвинический, раздражительный, пылкий, восторженный — и что я всегда был большим поклонником женщин.

Однажды вечером, прошлой зимой, я вошел в кассу театра П. с моим другом, мистером Тальботом. Шла опера; афиши были составлены очень заманчиво, так что публика буквально ломилась в театр. Мы, однако, успели получить кресла в переднем ряду, которые были для нас оставлены, и не без труда протолкались сквозь толпу. В течение двух часов мой товарищ, ярый меломан, не сводил глаз со сцены, а я тем временем глядел на публику, состоявшую, главным образом, из местной elite[106]. Удовлетворив свое любопытство, я вспомнил о сцене и хотел посмотреть на примадонну, но взор мой остановился как прикованный на женской фигуре в ложе, до сих пор ускользавшей от моего внимания.

---

[106] Примечания: 106
Элита (*фр.*).

Если я проживу тысячу лет, то все-таки не забуду глубокого волнения, которое охватило меня при первом взгляде на эту фигуру. Никогда я не видывал такой изысканной грации. Лицо было обращено к сцене, и я не мог рассмотреть его, но формы были *божественные*; никаким другим словом не передать их чудной гармонии, да и термин «божественные» кажется мне слабым до смешного.



Не забуду глубокого волнения, которое охватило меня при первом взгляде на эту фигуру

Чары прекрасных форм, волшебство грации — всегда имели надо мной непреодолимую власть; но тут явилось олицетворение, воплощение грации, beau ideal[107] моих самых смелых и упоительных видений. Фигура, видимая почти с ног до головы благодаря устройству ложи, была выше среднего роста и почти величественная. Совершенство форм и очертаний было восхитительно. Голова, видимая мне только с затылка, не уступала по красоте линий головке Психеи и скорее оттенялась, чем закрывалась, легким убором из gaze aerienne[108], напомнившим мне ventum textilem[109] Апулея*. Правая рука свешивалась за перила ложи и заставляла дрожать каждый нерв моего тела своей изысканной пропорциональностью. С плеча ниспадал широкий открытый рукав по тогдашней моде. Он спускался лишь немного ниже локтя. Под ним был другой, из какой-то тонкой материи, узкий, заканчивавшийся

---

[107] Примечания: 107
Прекрасный идеал (*фр.*).

[108] Примечания: 108
Воздушный газ (*лат.*).

[109] Примечания: 109
Воздушная ткань (*лат.*).

пышными кружевными манжетами, изящно обрамлявшими кисть руки, доходя до самых пальчиков. На одном из них сверкало кольцо с бриллиантом, очевидно, громадной стоимости. Удивительная округлость руки выступала еще резче благодаря браслету, который также был украшен великолепной aigrette[110] из бриллиантов, свидетельствовавшей о богатстве и вкусе его владелицы.

Я, по крайней мере, полчаса смотрел, точно окаменев, на это царственное явление; и тут-то я почувствовал в полной силе истину того, что говорится и поется о «любви с первого взгляда». Мои ощущения совсем не походили на те, которые мне случалось испытывать раньше даже в присутствии прославленных красавиц. Неизъяснимая, *магнетическая*, иначе не могу ее назвать, — симпатия души к душе приковала не только мои взоры, но и мысли и чувства к восхитительному явлению. Я видел, я чувствовал, я знал, что влюблен глубоко, безумно, безвозвратно... влюблен, несмотря на то, что еще не видал лица своей возлюбленной. И так глубока была моя страсть, что вряд ли бы ослабела, если бы

---

[110] Примечания: 110
Заколка (*фр.*).

даже черты лица оказались обыкновенными; до того ненормальна природа единственной истинной любви, любви с первого взгляда, и так мало зависит она от внешних условий, которые только, по-видимому, создают и проверяют ее.

Меж тем как я сидел, поглощенный созерцанием этого прекрасного видения, внезапный шум в публике заставил красавицу обернуться так, что я увидел профиль ее лица. Красота его превзошла даже мои ожидания, и тем не менее в ней было нечто такое, что разочаровало меня, почему, я и сам бы не мог объяснить. Я сказал «разочаровало», но это выражение не совсем подходящее. Чувства мои в одно время успокоились и напряглись. Я испытывал не восторг, а спокойный энтузиазм или восторженное спокойствие. Быть может, это душевное состояние зависело от выражения лица, напоминавшего Мадонну, но не от одного этого. Было нечто — тайна, которой я не мог разъяснить, — особенность в выражении лица, которая слегка смущала меня и в то же время необычайно усиливала мой интерес. Словом, я находился в таком душевном состоянии, когда молодой и впечатлительный человек способен на самую экстравагантную выходку. Будь эта леди одна, я, без сомнения, явился бы к ней в ложу;

но, к счастью, с ней было еще двое: джентльмен и дама поразительной красоты, по-видимому, моложе ее на несколько лет.

Я придумывал тысячи планов, каким способом познакомиться со старшей леди после театра, а теперь хоть рассмотреть получше ее красоту. Я бы подошел поближе к ней, но публики собралось столько, что нельзя было пробраться; а строгие законы хорошего тона запрещали употребление бинокля в подобных случаях, даже если бы у меня был бинокль. Но у меня его не было, и я приходил в отчаяние.

Наконец, я надумал обратиться к своему товарищу.

— Тальбот, — сказал я, — у вас есть бинокль? Дайте его мне.

— Бинокль? Нет, на что мне бинокль? — И он нетерпеливо повернулся к сцене.

— Послушайте, Тальбот, — продолжал я, — послушайте! Взгляните на ту ложу, подле сцены! Вон ту! Нет, ближе — видали вы когда-нибудь такую красавицу?

— Да, очень хороша, — сказал он.

— Желал бы я знать, кто это.

— Как, во имя всех ангелов, неужели вы не знаете? Не знаете, кто она? да вы притворяетесь?

Ведь это знаменитая мадам Лаланд, героиня дня, первая красавица, о ней кричит весь город. Громадное состояние, вдова, лакомый кусочек, на днях приехала из Парижа.

— Вы знакомы с ней?

— Да… имею счастье.

— А меня познакомите?

— Отчего же… с величайшим удовольствием, когда?

— Завтра, в час, я зайду за вами к Б.

— Отлично; только теперь придержите ваш язык, если можете.

В этом последнем отношении мне пришлось волей-неволей послушаться его, так как он упорно оставался глухим ко всем дальнейшим расспросам и занимался исключительно тем, что происходило на сцене.

Между тем я не сводил глаз с госпожи Лаланд, и в конце концов мне посчастливилось-таки увидеть ее лицо в анфас. Оно отличалось изысканной красотой; в этом, впрочем, я был уверен заранее, и тем не менее что-то неуловимое по-прежнему смущало меня. Я решил, наконец, что это странное впечатление зависит от выражения важности, скорби или, вернее, усталости, которое, почти не убавляя свежести и юности,

одухотворяло ее черты нежностью и величием серафима, и, разумеется, удесятеряло пыл моего восторженного и романтического сердца.

Всматриваясь в нее, я с трепетом глубокого волнения убедился по едва заметному движению леди, что она внезапно заметила мой пристальный взгляд. Но я, точно околдованный, все-таки не мог отвести от нее глаз. Она отвернулась, и я снова видел только дивный контур ее затылка. Спустя несколько минут, точно подстрекаемая любопытством узнать, все ли еще я смотрю на нее, она медленно повернула голову и снова встретила мой огненный взгляд. Ее огромные черные глаза мгновенно опустились, и густой румянец окрасил щеки. Но каково было мое изумление, когда, вместо того, чтобы отвернуться, она взяла лорнет, висевший на ее поясе, подняла его, приставила к глазам и в течение нескольких минут пристально рассматривала меня.

Если бы громовая стрела упала к моим ногам, я не был бы так поражен, только поражен, а отнюдь не оскорблен и не возмущен, хотя такой смелый поступок со стороны всякой другой женщины непременно оскорбил или возмутил бы меня. Но это было сделано с таким спокойствием — с

такой nonchalence[111] — с таким хладнокровием, словом, с такими явными признаками хорошего воспитания, что я мог только удивляться и восхищаться.

Я заметил, что, обратив на меня лорнет, она, по-видимому, удовольствовалась первым взглядом и отвернулась было, но потом, точно пораженная какой-то внезапной мыслью, снова взглянула на меня и продолжала внимательно рассматривать в течение нескольких минут, минут пяти, по крайней мере.

Этот поступок, столь необычайный в американском театре, привлек общее внимание и возбудил неопределенное движение или *жужжание* среди публики, которое смутило меня на минуту, но, по-видимому, не произвело никакого впечатления на госпожу Лаланд.

Удовлетворив свое любопытство, если это было любопытство, она выпустила лорнет и спокойно обратилась к сцене, повернувшись ко мне по-прежнему в профиль. Я продолжал смотреть на нее не спуская глаз, хотя вполне сознавал неприличие такого поведения. Наконец я заметил, что голова ее слегка и тихонько изменила свое по-

---

[111] Примечания: 111
Небрежность (*фр.*).

ложение, и убедился, что леди, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно рассматривает меня. Можно себе представить действие такого поведения или внимания со стороны обворожительной женщины на мой увлекающийся дух.

Поглядев на меня таким образом с четверть часа, прекрасный объект моей страсти обратился к джентльмену, сидевшему в той же ложе, и по их взглядам я убедился, что разговор идет обо мне.

После этого госпожа Лаланд обратилась к сцене и, по-видимому, заинтересовалась представлением. Но через несколько минут я снова задрожал от волнения, видя, что она вторично взялась за лорнет и, не обращая внимания на возобновившееся жужжание публики, вторично уставилась на меня и осмотрела с ног до головы с тем же удивительным спокойствием, которое уже раньше так восхитило и поразило мою душу.

Эти странные манеры, доведя мое возбуждение почти до горячки, до настоящего любовного помешательства, не только не смутили меня, но скорее придали мне смелости. В безумии обожания я забыл обо всем, кроме прекрасного видения, от которого не мог отвести глаз. Выждав удобную минуту, когда, как мне казалось, публика

была всецело поглощена оперой, я поймал взгляд госпожи Лаланд и поклонился едва заметным поклоном.

Она вспыхнула, отвернула взор, медленно и осторожно повела глазами, по-видимому желая узнать, замечен ли публикой мой дерзкий поступок, затем наклонилась к джентльмену, сидевшему рядом.

Тут только меня охватило жгучее чувство смущения. Сознавая неприличие своего поступка, я ожидал скандала. Мысль о пистолетах, с которыми придется иметь дело завтра, быстро промелькнула в моем мозгу, возбудив неприятное чувство. Впрочем, я тотчас почувствовал облегчение, заметив, что леди только передала джентльмену афишу, не сказав ни слова. Но читатель вряд ли представит себе мое изумление — мое *глубокое* изумление, безумный восторг моей души и сердца, — когда минуту спустя, бросив быстрый взгляд кругом, она устремила на меня свои сияющие глаза и, с легкой улыбкой, обнажившей светлую линию жемчужных зубов, два раза, чуть заметно, но ясно, отчетливо, недвусмысленно кивнула мне головой.

Бесполезно распространяться о моей радости, о моем безграничном восторге. Если когда-нибудь

человек был безумен от избытка счастья, так это я в ту минуту. Я любил. То была моя *первая* любовь, я чувствовал это. То была любовь возвышенная, невыразимая. То была «любовь с первого взгляда»: и с первого же взгляда она нашла оценку и *взаимность*.

Да, взаимность. Мог ли я усомниться в этом хоть на минуту? Мог ли я объяснить иначе подобное поведение со стороны леди столь прекрасной, богатой, получившей хорошее воспитание, занимавшей высокое положение в обществе, словом, такой достойной во всех отношениях, какою, я чувствовал, была госпожа Лаланд? Да, она любила меня, она отвечала на мое чувство столь же слепым, столь же беззаветным, столь же бескорыстным, столь же неудержимым, столь же необузданным чувством. Но опустившийся занавес прервал эти восхитительные мечты и размышления. Публика поднялась с мест, наступила обычная в таких случаях суматоха. Бросив Тальбота, я хотел было пробраться поближе к госпоже Лаланд. Мне это не удалось, вследствие давки, так что я, наконец, оставил мысль об этом и отправился домой, огорчаясь, что я не мог прикоснуться к краю ее платья, но утешаясь мыслью, что завтра Тальбот представит меня ей.

Это завтра, наконец, наступило; то есть день забрезжил после долгой, томительной, бессонной ночи, а затем поползли безотрадные, бесчисленные часы, отделявшие меня от назначенного времени. Но, говорят, даже Стамбулу придет конец, пришел конец и моему долгому ожиданию. Часы пробили. Когда затих последний звук, я входил к Б., спрашивая, здесь ли Тальбот.

— Уехал, — отвечал мне слуга.

— Уехал! — воскликнул я, отпрянув шагов на шесть. — Послушайте, милейший, это совершенно невозможно и немыслимо; мистер Тальбот не уехал. Что вы хотите сказать?

— Только то, сэр, что мистера Тальбота нет дома. Вот и все. Он поехал к С. тотчас после завтрака, сказал, что вернется в город не раньше следующей недели.

Я окаменел от ужаса и бешенства. Я пытался ответить что-нибудь, но язык не повиновался мне. Наконец, я повернулся, синий от злости и мысленно посылая весь род Тальботов в тартарары. Ясно было, что мой почтенный друг, меломан, забыл о своем обещании почти в ту же минуту, когда дал его. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего; и подавив, как мог, свое волнение, я поплелся по улице, обраща-

ясь к каждому знакомому, которого встречал, с бесплодными расспросами о госпоже Лаланд. По слухам ее знали решительно все; многие видели; но она так недавно приехала в город, что лишь очень немногие успели познакомиться с нею. Да и эти немногие, большею частью иностранцы, не могли или не хотели взять на себя смелость представить ей меня теперь же, утром. Когда я в отчаянии беседовал с тремя приятелями о всепоглощающем объекте моей страсти, этот объект сам явился перед нами.

— Это она, ручаюсь головой! — воскликнул один.

— Поразительно хороша! — подхватил другой.

— Ангел во плоти! — ахнул третий.

Я взглянул: действительно, в открытой коляске, медленно катившейся по улице, предстало передо мной волшебное видение оперы, в обществе молодой леди, которая тоже была в ложе.

— Ее спутница удивительно сохранилась, — заметил тот, что воскликнул первый.

— Поразительно, — согласился второй, — до сих пор ослепительна; но ведь искусство делает чудеса. Честное слово, она лучше, чем в Париже пять лет тому назад. До сих пор хороша собой, — как по вашему, Фруассар… то есть Симпсон?

— До сих пор? — возразил я. — Да с чего же ей не быть красивой? Но в сравнении со своей подругой она плошка перед солнцем, светящийся червячок перед Антаресом*.

— Ха-ха-ха! Вы мастер делать открытия, Симпсон, и преоригинальные.

На этом мы расстались, и трио удалилось, причем один из них замурлыкал какой-то веселый vaudeville[112], из которого я схватил только последние строчки:

Ninon, Ninon, Ninon a bas —
A bas Ninon de l›Enclos![113]

В течение этого непродолжительного разговора одно обстоятельство сильно утешило меня и подлило масла в огонь моей страсти. Когда коляска поравнялась с нашей группой, я заметил, что госпожа Лаланд узнала меня; мало того, осчастливила самой ангельской улыбкой.

Пришлось оставить мысль о формальном знакомстве, отложив его до тех пор, пока Тальботу заблагорассудится вернуться. Тем временем я усердно посещал всевозможные места обще-

---

[112] Примечания: 112
Водевиль (*фр.*).

[113] Примечания: 113
Нинон, Нинон, Нинон, долой Нинон Ланкло!* (*фр.*)

ственных увеселений и, наконец, в том же театре, где впервые увидел ее, встретился с нею вторично и обменялся взглядами. Это случилось, однако, только через две недели. Все это время я ежедневно заходил к Тальботу и ежедневно уходил в припадке бешенства, выслушав вечный ответ лакея: «Еще не вернулся».

В тот вечер, о котором я сейчас говорил, я был близок к помешательству. Госпожа Лаланд, как мне сказали, была парижанка — недавно приехала из Парижа — что, если она уедет так же внезапно? — уедет раньше, чем вернется Тальбот — и, стало быть, навсегда скроется от меня? Эта мысль была так ужасна, что я не мог выносить ее. Видя, что мое будущее счастье висит на волоске, я решил действовать с мужественной решимостью. По окончании представления я последовал за леди до ее дома, узнал ее адрес, а утром послал ей подробное, обстоятельное письмо, в котором излил свои чувства.

Я писал смело, прямо — словом, в порыве страсти. Я не скрывал ничего — даже своей слабости. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей встречи — даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я сказал даже, что уверен в ее любви, и эту уверенность, так же как и мое глу-

бокое обожание, приводил в извинение моего поведения, которое при иных обстоятельствах было бы непростительным. В качестве третьего смягчающего обстоятельства я упомянул о своем опасении, что она уедет прежде, чем я успею познакомиться с ней. В заключение этого письма, — самого дикого и восторженного, какое когда-либо было написано, — я откровенно сообщал о своих материальных обстоятельствах, о своем богатстве и предлагал ей руку и сердце.

В агонии нетерпения я ждал ответа. По истечении некоторого времени, показавшегося мне веком, он пришел.

Да, *он действительно пришел.* Как это ни романтично, но я действительно получил письмо от госпожи Лаланд — прекрасной, богатой, обожаемой госпожи Лаланд. Ее глаза — ее великолепные глаза — не обличили во лжи ее благородное сердце. Как истая француженка, она подчинялась только внушениям разума, — благородным порывам своей природы, — презирая условную щепетильность света. Она не оскорбилась моим предложением. Она не замкнулась в молчании. Она не возвратила мне мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала мне ответ, написанный ее собственными дивными пальчиками. Вот что

она писала:

«Месье Симпсон извиняит мне дурной знание прекрасный язык ево страна. Я недавно приехала и не имела opportunite ево etuidier[114].

За этот извинение для мой манера мне можно толко сказать, helas — Monsieur Симпсон праф. Што сказать мне есче? Я уже сказала слишком много!

Эжени Лаланд».

Я осыпал поцелуями эту благородную записку и, без сомнения, проделывал еще тысячи глупостей, которых не упомню. Но Тальбот до сих пор не вернулся. Увы! имей он хоть самое смутное представление о моих муках, его сострадательная натура давно бы заставила его вернуться. Но он не возвращался. Я написал ему. Он отвечал. Его задержали важные дела, — но он скоро вернется. Он просил меня потерпеть, умерить мои восторги, читать душеспасительные книги, пить только слабые вина и искать утешения в философии. Дурак! ну, сам не мог приехать, так хоть бы догадался прислать мне рекомендательное письмо. Я написал вторично. Письмо было

---

[114] Примечания: 114
...Возможность... изучать (*фр.*).

возвращено мне тем самым слугой, со следующей надписью карандашом (бездельник уехал к своему господину):

«Уехал от С. вчера неизвестно зачем, не сказал, куда или когда вернется, — я решил возвратить вам письмо, узнав ваш почерк и зная, что вы всегда более или менее торопитесь.

Ваш покорный слуга *Стэббс».*

Нужно ли говорить, что после этого я послал ко всем чертям господина и слугу? Но гнев не помогал, и досада не утешала.

Моим единственным ресурсом оставалась смелость. До сих пор она помогала мне, и я решил дойти до конца. К тому же какое нарушение формальных правил могло показаться неприличным госпоже Лаланд после нашей переписки? Со времени письма я постоянно торчал у ее дома и таким образом убедился, что по вечерам она прогуливается в сопровождении ливрейного лакея-негра в общественном садике, примыкавшем к дому. Здесь, в тени роскошных кустарников, в полумраке тихого летнего вечера, выждав удобную минуту, я подошел к ней.

Чтоб обмануть слугу, я принял уверенный вид старого, давнишнего знакомого. С чисто париж-

ским присутствием духа она сразу поняла, в чем дело, и протянула мне обворожительнейшую ручку. Лакей тотчас стушевался, и мы долго беседовали, дав волю чувствам, переполнявшим наши сердца.

Так как госпожа Лаланд говорила по-английски еще хуже, чем писала, то нам, естественно, пришлось объясняться по-французски. На этом нежном языке, точно созданном для страсти, излил я бурный восторг своего сердца и со всем красноречием, на которое только был способен, умолял ее обвенчаться со мной немедленно.

Она смеялась над моим нетерпением. Она ссылалась на правила приличия — вечное пугало, которое так часто заставляет людей медлить перед блаженством, пока блаженство не ускользнет навеки. Я поступил неблагоразумно, говорила она, дав понять моим друзьям, что желаю познакомиться с нею, и тем самым показав, что мы еще не знакомы, — и разъяснив, когда мы впервые встретились. Тут она напомнила, покраснев, как это недавно случилось. Обвенчаться немедленно было бы неудобно, было бы неприлично, было бы ouitrå[115]. Все это она высказала с восхити-

---

[115] Примечания: 115
Вызывающе (*фр.*).

тельной naivete[116], которая и очаровала меня, и смутила, и убедила. Она обвиняла меня, смеясь, в дерзости, в неблагоразумии. Она напомнила мне, что я даже не знаю, кто она такая, какие у нее планы, связи, положение в обществе. Она, вздыхая, умоляла меня подумать о моем предложении и называла мою любовь безумием, блуждающим огоньком, минутной фантазией, эфемерным порождением воображения, а не сердца. Все это говорила она в то время, как тени сумерек сгущались и сгущались вокруг нас, — и в заключение одним легким пожатием своей божественной ручки разрушила в одно мгновение, — сладкое мгновение! — все здание своих доводов.

Я отвечал, как умел, как может отвечать только истинный влюбленный. Я говорил о моей преданности, о моей страсти, о ее дивной красоте и о моем восторженном обожании. В заключение я распространился с энергией, придававшей убедительность моим словам, об опасности ставить преграды естественному течению любви — течению, которое никогда не бывает ровным.

Последний аргумент, по-видимому, смягчил ее непреклонность. Она поколебалась, но ска-

---

[116] Примечания: 116
Наивность (*фр.*).

зала, что есть еще одно препятствие, которого я, вероятно, не принял в расчет. Это был деликатный пункт — в особенности для женщины; заговорив о нем, она должна была пожертвовать своими чувствами; но для меня никакая жертва не казалась ей слишком тяжелой. Она имела в виду *возраст*. Известно ли мне — вполне ли мне известно — различие лет между нами? Если муж старше жены, хотя бы на пятнадцать или двадцать лет, то это еще ничего, по мнению света, даже вполне естественно; но, по общему мнению, которое и она разделяла до сих пор, жена *никогда* не должна быть старше мужа. Различие в возрасте в этом смысле слишком часто — увы! — создает несчастную жизнь. Ей известно, что мне не более двадцати двух лет, но, может быть, мне не известно, что ее годы значительно превышают этот возраст.

Душевное благородство — возвышенная чистота, сказывавшиеся в этих словах, — восхитили, очаровали меня, закрепили навеки мои цепи. Я с трудом сдерживал порывы невыразимого восторга.

— Милая Эжени, — воскликнул я, — зачем вы говорите это? Вы старше меня. Что же из этого? В светских правилах так много условных

нелепостей. Для такой любви, как наша, год не отличается от часа. Вы говорите — мне двадцать два года, допустим, хотя мне почти двадцать три. Но ведь и вам, дорогая Эжени, не может быть больше — больше — больше — больше…

Тут я остановился, ожидая, что госпожа Лаланд скажет, сколько ей лет. Но француженка редко ответит прямо и, если вопрос щекотлив, сумеет ответить как-нибудь обиняком. В данном случае Эжени, которая в течение нескольких последних минут, по-видимому, искала что-то на своей груди, уронила на траву медальон. Я поспешил поднять его и подал ей.

— Возьмите его! — сказала она с самой обворожительной улыбкой. — Возьмите его ради меня — ради той, чью наружность он слишком лестно изображает. Притом, на оборотной стороне медальона вы, может быть, найдете справку, которая разъяснит ваши недоумения. Теперь темно, но завтра утром вы рассмотрите его хорошенько. Пока проводите меня домой. Я пригласила моих друзей на музыкальный levåe[117]. Могу обещать вам хорошее пение. Мы, французы, не так щепетильны, как вы, американцы, и я представлю вас,

---

[117] Примечания: 117
Прием (*фр.*).

как старого знакомого.

С этими словами она меня взяла под руку, и я повел ее домой. Квартира была очень хороша и, кажется, меблирована с большим вкусом. Об этом я, однако, не мог судить, так как уже совсем стемнело, когда мы пришли; а в лучших американских домах не зажигают свечей или ламп летним вечером. Спустя час после нашего прибытия была зажжена одна-единственная лампа в большой гостиной, и я убедился, что эта комната действительно убрана с необыкновенным вкусом и даже великолепием; но две следующие комнаты, в которых собрались гости, оставались весь вечер в приятной полутьме. Этот прекрасный обычай дает возможность гостям пользоваться светом и тенью по желанию, и нашим заморским друзьям не мешало бы ввести его в свой обиход.

Этот вечер, бесспорно, счастливейший в моей жизни. Госпожа Лаланд не преувеличивала музыкальных способностей своих друзей, а пение, которое я услышал здесь, ничуть не уступало пению на лучших частных вечерах в Вене. Пианистов было несколько, и все играли с большим талантом. Пели, главным образом, дамы, и ни одна не спела плохо. Наконец, раздались громкие и упорные крики: «Госпожа Лаланд!» Без всякого

жеманства или отнекивания она встала с chaise longue[118], на котором сидела подле меня, — и пошла к роялю в большую гостиную, в сопровождении двух джентльменов и подруги, — той самой, что была с ней в опере. Я хотел было проводить ее сам, но почувствовал, что при данных обстоятельствах лучше мне оставаться в тени. Таким образом я был лишен удовольствия видеть, но зато мог слышать, как она поет.

Впечатление, произведенное ее пением на гостей, можно назвать электризующим, на меня же оно подействовало еще сильнее. Я не в силах передать свое впечатление. Без сомнения, оно зависело отчасти от моей любви, но главным образом, по моему крайнему убеждению, от удивительного исполнения. Никакое искусство не могло бы придать арии или речитативу более страстную *экспрессию*. Ее исполнение арии из «Отелло»*, выразительность, с которой она произнесла слова «sul mio sasso»[119] — до сих пор звучит в моих ушах. Низкие тона были положительно чудесны. Ее голос обнимал три полные октавы от контральтового D до верхнего D со-

---

[118] Примечания: 118
Шезлонг (*фр.*).

[119] Примечания: 119
Над моим камнем (*ит.*).

прано, и, достаточно сильный, чтобы наполнить зал Сан Карло*, побеждал с удивительною точностью все трудности вокальной композиции: восходящие и нисходящие гаммы, каденции и fiorituri[120]. В финале «Сомнамбулы»* она произвела поразительный эффект при словах —

Ah! non glunge uman pensiero
Al contento ond'io son piena![121]

Здесь, в подражание Малибран*, она изменила фразировку Беллини, понизив голос до тенорового G и затем сразу перейдя на две октавы вверх.

Оставив рояль после этих чудес вокального исполнения, она вернулась ко мне, и я в самых восторженных выражениях излил свое восхищение. О своем изумлении я ничего не сказал, хотя изумление было непритворное, так как слабость или, скорее, какая-то дрожь нерешительности в ее голосе при обыкновенном разговоре не позволяла мне ожидать многого от ее пения.

Мы говорили долго, серьезно, без помехи и совершенно свободно. Она заставила меня расска-

---

[120] Примечания: 120
Фиоритуры (*ит.*).

[121] Примечания: 121
Ум человеческий постичь не может той радости, которой я полна! (*ит.*)

зать ей о моем прошлом и слушала, не проронив ни слова. Я ничего не скрывал, чувствуя, что не имею права скрывать что-либо от ее доверчивого участия. Ободренный ее откровенностью в отношении деликатного вопроса о возрасте, я, со своей стороны, совершенно откровенно рассказал не только о своих мелочных недостатках, но и о тех моральных и даже физических слабостях, признание которых, требуя большого мужества, служит тем более очевидным доказательством любви. Я рассказал о своих похождениях в колледже, о своих сумасбродствах, попойках, долгах, любовных увлечениях. Я упомянул даже о чахоточном кашле, которым страдал одно время, о хроническом ревматизме, о наследственном расположении к подагре, и в заключение, о неприятной и неудобной, хотя тщательно скрываемой до сих пор, слабости зрения.

— Насчет этого последнего пункта, — смеясь заметила госпожа Лаланд, — вы сознались очень неблагоразумно; так как, ручаюсь, без вашего признания никто не заподозрил бы вас в этом недостатке. Кстати, — продолжала она, — помните ли вы, — тут я заметил, несмотря на полумрак комнаты, что лицо ее покрылось густым румян-

цем, — помните ли вы, mon cher ami[122], эту вещицу?

Тут я увидел в ее руках лорнет, совершенно подобный тому, который так поразил меня в опере.

— Слишком хорошо, увы, помню его, — воскликнул я, страстно пожимая нежную ручку, протягивавшую мне лорнет. Это была великолепная вещица, в богатой филигранной оправе, сверкавшая драгоценными каменьями.

— Eh bien, mon ami[123], — продолжала она с каким-то empressement[124] в голосе, несколько удивившим меня. — Eh bien, mon ami, вы просите меня о милости, которую называете бесценной. Вы просите меня обвенчаться с вами завтра же. Если я соглашусь на вашу просьбу, которая отвечает желаниям моего сердца, можно ли будет и мне попросить вас об одной очень, очень маленькой жертве?

— Назовите ее! — воскликнул я с энергией, которая чуть не выдала нас гостям, и едва удерживаясь, чтобы не броситься к ее ногам. — Назовите

---

[122] Примечания: 122
Мой дорогой друг (*фр.*).

[123] Примечания: 123
Ну, мой друг (*фр.*).

[124] Примечания: 124
Поспешность (*фр.*).

ее, моя возлюбленная, моя Эжени, моя жизнь! назовите ее!.. но она уже исполнена, прежде чем вы назвали.

— Вы должны, mon ami, — сказала она, — ради своей возлюбленной Эжени, преодолеть маленькую слабость, в которой только что признались, слабость скорее моральную, чем физическую, слабость, которая так не подходит к вашей благородной натуре, так не совместима с вашим открытым характером и, без сомнения, рано или поздно навлечет на вас какую-нибудь неприятность. Вы должны победить ради меня то своего рода кокетство, которое, как вы сами сознались, заставляет вас отрицать или скрывать слабость вашего зрения. Ведь вы, действительно, скрываете этот недостаток, отказываясь прибегать к средствам, которые могли бы исправить его. Словом, вы должны носить очки, и неправда ли, ведь вы уже согласились носить их *ради меня.* Вы примете от меня вещицу, которую я держу в руке. Она превосходно помогает зрению, но, право, стоит пустяки, как драгоценность. Вы увидите, что можно носить ее в виде очков постоянно, или пользоваться ею как лорнетом и носить в жилетном кармане. Но вы уже согласились носить ее в виде очков и постоянно, *ради меня.*

Признаюсь, эта просьба порядком смутила меня. Но обстоятельства, разумеется, не допускали колебаний.

— Это решено! — воскликнул я со всем энтузиазмом, какой только мог проявить в данную минуту. — Решено и подписано с величайшей радостью! Я готов пожертвовать каким угодно чувством ради вас. Сегодня я буду носить этот милый лорнет, как лорнет, в жилетном кармане, но с первым проблеском того счастливого утра, которое застанет меня вашим мужем, я надену его на… на нос и буду пользоваться им не так романтически, не так изящно, но, конечно, с большей пользой, именно, как вы желаете.

Затем наш разговор перешел к завтрашней свадьбе. Моя невеста сообщила мне, что Тальбот только что приехал. Решено было, что я немедленно увижусь с ним и попрошу достать карету. Soiree[125] вряд ли кончится раньше двух часов, тем временем карета будет готова и в суматохе разъезда госпоже Лаланд нетрудно будет незаметно сесть в нее. Затем мы отправимся к священнику, который будет ожидать нас; обвенчаемся, отпустим Тальбота и уедем на Восток,

---

[125] Примечания: 125
Вечер (*фр.*).

предоставив фешенебельной публике комментировать как угодно это происшествие.

Когда все это было решено, я немедленно простился с нею и отправился к Тальботу, но по дороге не утерпел — забежал в ресторан поглядеть на медальон. Я рассмотрел его с помощью лорнета. Портрет был поразительно хорош! Эти огромные лучезарные глаза! Этот гордый греческий нос! Эти роскошные черные локоны! Ах, сказал я с восхищением, да, это живой образ моей возлюбленной! Повернув медальон, я прочел на оборотной стороне: «Эжени Лаланд, двадцати семи лет и семи месяцев».

Я застал Тальбота дома и немедленно рассказал ему о своей удаче. Он, понятно, выразил глубочайшее изумление, но поздравил меня от всей души и предложил всяческую помощь со своей стороны. Словом, дело пошло как по маслу, и в два часа утра, спустя десять минут после свадебной церемонии, я сидел с госпожой Лаланд, то есть с миссис Симпсон, в карете и катил из города в северо-восточном направлении.

Мы решили остановиться в деревне С., милях в двадцати от города, там позавтракать и отдохнуть, прежде чем двинемся дальше. В четыре часа карета остановилась у подъезда гостиницы.

Я помог выйти моей обожаемой жене и велел тотчас подать завтрак. Мы прошли в маленькую столовую и уселись.

Было уже почти совсем светло, и когда я с восторгом взглянул на ангела, сидевшего рядом со мною, мне пришла в голову странная мысль, что со времени моего знакомства с прославленной красавицей я до сих пор ни разу еще не имел случая любоваться ее красотой при дневном свете.

— Теперь, mon ami, — сказала она, прерывая нить моих мыслей, — теперь, mon cher ami, когда мы соединились навеки, когда я согласилась на ваши страстные мольбы и исполнила свое обещание, теперь, надеюсь, и вы исполните мою маленькую просьбу, ваше обещание. Ах, постойте, дайте мне вспомнить! Да, я помню! Да, я помню слово в слово обещание, которое вы дали своей Евгении в эту ночь. Вы сказали: «Это решено. Решено и подписано с величайшею радостью. Я готов пожертвовать каким угодно чувством ради вас. Сегодня я буду носить этот милый лорнет, как лорнет, в жилетном кармане, но с первым проблеском того счастливого утра, которое застанет меня вашим мужем, я надену его на… на нос и буду пользоваться им не так романтически, не так изящно, но, конечно, с большей пользой

— именно, как вы желаете». Ведь это ваши слова, мой возлюбленный супруг, не правда ли?

— Да, — отвечал я, — у вас превосходная память и, конечно, прекрасная Эжени, я не откажусь исполнить это обещание. Вот, смотрите! Они идут мне, не правда ли? — С этими словами я раскрыл лорнет и надел его на нос, между тем как госпожа Лаланд, поправив шляпку и скрестив руки, сидела выпрямившись, в какой-то странной, напряженной и даже неизящной позе.

— Господи помилуй! — воскликнул я почти в ту же минуту, как пружина лорнета охватила мое переносье. — Господи помилуй! Что могло случиться с этими очками? — Сдернув их с носа, я вытер стекла шелковым платком и надел опять.

Но если в первую минуту я удивился, то теперь мое удивление превратилось в изумление, глубокое, крайнее, можно сказать, ужасное. Что это значит, ради всего безобразного? Могу ли я верить своим глазам? *Могу ли я,* вот в чем вопрос? Ужели… ужели… ужели это *румяна?* А эти… эти… эти *морщины*, ужели они на лице Эжени Лаланд? И… о Юпитер! и все боги и богини, большие и маленькие! Куда… куда… куда девались ее зубы?

Я швырнул очки на пол и, вскочив со стула, уставился на госпожу Симпсон, скрежеща зуба-

ми, с пеной у рта и в то же время безмолвный и раздавленный ужасом и бешенством.

Как я уже сказал, госпожа Евгения Лаланд, то есть Симпсон, объяснялась по-английски немногим лучше, чем писала, почему весьма благоразумно избегала употреблять этот язык в обыкновенных случаях. Но мое бешенство заставило госпожу Симпсон прибегнуть к объяснению на почти незнакомом ей языке.

— Шего это, месье, — сказала она, глядя на меня с крайним изумлением, — шего это, месье? Што с вами? Што с вами? Или ви страдает пляска святой Витт? Если мой вам не приятна, защем било жениться.

— Ведьма! — заорал я, колотя себя в грудь. — Проклятая старая хрычовка!

— Ах! Стар!.. Не ошень стар!.. Только восемьдесят два годов.

— Восемьдесят два! — простонал я, прислоняясь к стене. — Восемьдесят два миллиона обезьян! На портрете сказано, двадцать семь лет и семь месяцев!

— Конешно! Да! Верно! Но портрет сделана пятьдесят пять лет раньше. Когда мой выходил замуж за второй супруг, месье Лаланд, тогда мой делал портрет для мой дочь от первый супруг,

месье Муассар.

— Муассар! — воскликнул я.

— Да, Муассар, — отвечала она, передразнивая мое произношение, которое, правду сказать, не отличалось чистотой. — Ну так што ж? Что ви знает о Муассар?

— Ничего, старая карга! Ничего я о нем не знаю! Только один из моих предков носил эту фамилию.

— Эту фамиль? А что ви имеет против этот фамиль? Это ошень *хороший* фамиль; и Вуассар тоже ошень *хороший* фамиль. Мой дочь, мадемуазель Муассар, женился на месье Вуассар; и это ошень почтенный фамиль.

— Муассар! — воскликнул я. — Вуассар! Да что вы хотите сказать?

— Что сказаль? Я сказаль Муассар и Вуассар; и кроме того Круассар и Фруассар. Дочь моей дочь мадемуазель Вуассар шенился на месье Круассар, а потом дочь ее дочь мадемуазель Круассар шенился на месье Фруассар, и ви, наверно, скажет, что это не ошень почтенный фамиль.

— Фруассар! — воскликнул я, почти теряя сознание. — Вы говорите Муассар, и Вуассар, и Круассар, и Фруассар?

— Да, — отвечала она, откинувшись на спинку

кресла и вытянув ноги. — Да, Муассар, и Вуассар, и Круассар, и Фруассар. Но месье Фруассар бил глюпый, такой же большой дурак, как ви, и он покинул la belle France[126], и уехал в эту stupide Amerique[127], и тут у него родился ошень глюпый, *ошень, ошень* глюпый сын, так я слышаль, хотя не имел de plaisir[128] встрешаться с ним. Его имя Наполеон Бонапарте Фруассар, и ви, наверно, скажет, что он тоже не ошень почтенный шеловек.

Длина ли этой речи или ее содержание привели миссис Симпсон в неистовство, только, окончив ее с большим трудом, она сорвалась с кресла как полоумная, сбросив на пол турнюр величиной с добрую гору. Вскочив на ноги, она оскалила десны, замахала руками, засучила рукава, погрозила мне кулаком и, в заключение, сорвав с головы шляпку и огромный парик из роскошных черных волос, с визгом швырнула их на пол и пустилась танцевать какое-то нелепое фанданго, решительно вне себя от бешенства.

Между тем я почти без чувств упал на кресло.

---

[126] Примечания: 126
Прекрасная Франция (*фр.*).

[127] Примечания: 127
Глупая Америка (*фр.*).

[128] Примечания: 128
Удовольствие (*фр.*).

— Муассар и Вуассар! — повторил я. — И Круассар и Фруассар! Муассар, Вуассар, Круассар и Наполеон Бонапарте Фруассар! Да ведь это я, проклятая старая змея, это я, слышишь ты, это я! — Тут я заорал во всю глотку: — Это я-а-а! Я Наполеон Бонапарте Фруассар, и черт меня побери, если я не женился на своей прапрабабушке!

Да, госпожа Эжени Лаланд, guasi[129] Симпсон, по первому мужу Муассар, была моя прапрабабушка. В молодости она была красавицей и даже в восемьдесят два года сохранила величавый стан, скульптурные очертания шеи, прекрасные глаза и греческий нос. С помощью этих остатков красоты, жемчужных белил, румян, фальшивых волос, фальшивых зубов, фальшивого турнюра и искуснейших модисток Парижа она до сих занимала почетное место в ряду beautes un peu passees[130] французской столицы. В этом отношении она действительно немногим уступала знаменитой Нинон де Ланкло.

Она обладала громадным состоянием и, оставшись вторично бездетной вдовой, вспомнила о моем существовании и отправилась в Америку

---

[129] Примечания: 129
Почти, без малого (*лат.*).

[130] Примечания: 130
Красавицы, несколько померкшие (*фр.*).

в сопровождении дальней родственницы своего второго мужа, госпожи Стефании Лаланд, с целью отыскать меня и сделать своим наследником.

В опере моя прапрабабушка обратила на меня внимание и, оглядев в лорнет, была поражена фамильным сходством.

Это обстоятельство заинтересовало ее и, зная, что я должен находиться в городе, она обратилась за справкой к господину, находившемуся в ее ложе. Он знал меня и сказал ей, кто я такой. Это побудило ее вторично осмотреть меня в лорнет, что, в свою очередь, придало мне смелости, выразившейся в уже описанном нелепом поведении. Она ответила на мой поклон, думая, что я случайно узнал, кто она такая. Когда же, обманутый своей близорукостью и ухищрениями ее туалета, я с таким восторгом обратился к Тальботу, он вообразил, что я говорю о молодой красавице, и вполне правдиво ответил, что это «знаменитая вдовушка, госпожа Лаланд».

На следующее утро моя прапрабабушка встретилась на улице с Тальботом, своим старым парижским знакомым, и разговор, естественно, зашел обо мне. Тут объяснилось, что я страдаю слабостью зрения, так как этот недостаток был хорошо известен моим друзьям, хотя я и не по-

дозревал этого. К своему огорчению, моя добрая старая родственница убедилась, что я вовсе не знал, кто она такая, а просто сумасбродил, вздумав объясняться в любви с незнакомой старухой в театре. Чтобы наказать меня за опрометчивость, она устроила заговор с Тальботом. Он нарочно спрятался от меня, чтоб не представлять ей. Мои расспросы на улице о «прекрасной вдове, госпоже Лаланд» были, естественно, отнесены к младшей леди; таким образом объясняется разговор с тремя приятелями и их намек на Нинон де Ланкло. Мне ни разу не удалось видеть госпожу Лаланд при дневном свете, а на ее soiree мое несчастное кокетство, заставившее меня спрятать лорнет в карман, помешало мне открыть ее возраст. Крики «госпожа Лаланд» относились к молодой леди; но моя прапрабабушка встала одновременно с нею и отправилась вместе с ней к роялю, в гостиную. Она думала остановить меня, если я вздумаю сопровождать ее, но я был настолько благоразумен, что остался сам. Пение, так восхитившее меня, было пением госпожи Стефании Лаланд. Лорнет был предложен мне, чтобы прибавить соли насмешке. Этот подарок послужил поводом прочесть мне нотацию насчет моей слабости. Излишне прибавлять, что стекла,

которыми пользовалась старуха, были заменены другими, более подходившими к моим глазам.

Роль духовной особы, соединившей нас роковыми узами, сыграл приятель Тальбота. Он никогда не был священником, зато отлично правил лошадьми и, заменив рясу кучерским кафтаном, повез «счастливую парочку» из города. Тальбот уселся рядом с ним на козлах. Таким образом, оба сорванца провожали нас и из окна задней комнаты в гостинице любовались развязкой драмы. Кажется, мне придется вызвать их обоих на дуэль.

Как бы то ни было, я не женился на своей прапрабабушке, и эта мысль доставляет мне непомерное облегчение. Но я *женился* на госпоже Стефании Лаланд, с которой свела меня моя добрая старая родственница, отказав мне притом все свое состояние в случае своей смерти, если только она умрет когда-нибудь. Я навсегда покончил с billets-doux[131] и никогда не расстаюсь *с очками.*

[131] Примечания: 131
Любовные записки (*фр.*).

Преждевременное погребение

Есть темы, полные захватывающего интереса, но слишком ужасные, чтобы служить законной темой для литературного произведения. Романист должен избегать их, если не хочет возбудить отвращение или оскорбить читателя. Мы можем затрагивать их лишь в тех случаях, когда их оправдывает и освящает суровое величие истины. Мы читаем с дрожью «мучительного наслаждения» о переходе через Березину*, о лиссабонском землетрясении*, о лондонской чуме*, о кровавой Варфоломеевской ночи*, о гибели ста двадцати трех пленных в Черной яме в Калькутте*. Но в этих рассказах нас волнует факт, быль, история. Будь это выдумка — они внушали бы нам отвращение.

Я перечислил некоторые из самых громких, самых трагических катастроф, занесенных в летописи человечества, но во всех этих случаях размеры бедствия усиливают его мрачный характер, производя особенно сильное впечатление на нашу фантазию. Вряд ли нужно напоминать читателю, что в длинном и зловещем списке человеческих несчастий найдутся отдельные

случаи, полные несравненно более жестоких страданий, чем эти всенародные бедствия. Подлинное отчаяние, высшая скорбь постигают отдельного человека, они не распространяются на многих. И слава милосердному Богу, что эта нечеловеческая мука выпадает на долю единиц, а не масс.

Быть погребенным заживо — без сомнения, одна из ужаснейших пыток, когда-либо выпадавших на долю смертному. Ни один разумный человек не станет отрицать, что это случается часто, очень часто. Границы, отделяющие жизнь от смерти, смутны и неопределенны. Кто скажет, где кончается одна и начинается другая? Мы знаем, что при некоторых болезненных состояниях совершенно прекращаются все видимые жизненные функции, хотя на самом деле это прекращение — только временная приостановка, минутная пауза в непонятном механизме человеческого тела. Проходит известный срок, и какой-то незримый таинственный закон снова пускает в ход волшебные рычаги и магические колеса. Серебряная нить жизни не порвана, золотой кубок не разбит окончательно. Но где же пребывала душа в это время?

Независимо от неизбежного вывода априори,

что одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям и временное прекращение жизненных функций должно в отдельных случаях приводить к погребению заживо, — независимо от этих отвлеченных соображений, прямое свидетельство медиков, да и обычный опыт показывают, что такие погребения бывали не раз. Я мог бы в случае надобности привести десятки вполне достоверных примеров. Одно весьма замечательное происшествие этого рода, обстоятельства которого, быть может, еще свежи в памяти некоторых моих читателей, случилось не так давно в Балтиморе и произвело сильное и тягостное впечатление на широкие круги публики. Жена одного из самых уважаемых граждан — известного адвоката и члена Конгресса — внезапно заболела какой-то странной болезнью, поставившей в тупик ее врачей. После тяжких страданий она умерла или была сочтена умершей. Никому в голову не пришло, да и не могло прийти, что она жива. Все признаки смерти были налицо. Черты заострились и осунулись. Губы побелели, как мрамор. Глаза угасли. Пульс остановился. Тело стало холодным и в течение трех дней, пока лежало непогребенным, успело затвердеть, как камень. Ввиду быстрого наступления того, что ка-

залось разложением, похороны были ускорены.

Покойницу положили в семейный склеп, который за три последующих года ни разу не открывали. По истечении этого срока его открыли, чтобы поставить туда саркофаг. Но, увы, какой страшный удар ожидал мужа, который сам открыл дверь. Когда он распахнул ее половинки, отворявшиеся наружу, что-то в белом со стуком повалилось к нему на грудь. Это был скелет его жены в не истлевшем еще саване.

Тщательное исследование показало, что она очнулась дня через два после погребения, билась в гробу, пока он с возвышения, или подставки, не упал на пол, расколовшись при этом, — так что она могла выйти. Лампа, случайно забытая в склепе, оказалась совершенно пустой, — впрочем, может быть, масло улетучилось. На верхней ступеньке лестницы, у входа в склеп, валялся большой обломок гроба: по-видимому, она стучала им в железную дверь, стремясь привлечь чье-нибудь внимание. Тут она упала в обморок, а может быть, и умерла от ужаса, и, падая, зацепилась саваном за торчавшую скобу или петлю. В этом положении она осталась и истлела.

В 1810 году случай погребения заживо имел место во Франции, при обстоятельствах, которые

вполне оправдывают поговорку «правда чудеснее выдумки». Героиня происшествия — мадемуазель Викторина Лафуркад*, молодая девушка из знатной семьи, богатая и красивая. Среди ее многочисленных поклонников был некто Жюльен Боссюе, бедный парижский littårrateur[132] или журналист. Таланты и достоинства завоевали ему благосклонность красавицы, но родовая гордость заставила ее отклонить предложение Боссюе и выйти за некоего Ренеля, банкира и довольно видного дипломата. Однако после свадьбы этот господин стал пренебрегать ею, может быть, даже колотил ее. Прожив с ним несколько горьких лет, она умерла — по крайней мере, впала в состояние, решительно ничем не отличавшееся от смерти. Ее похоронили не в склепе, а в обыкновенной могиле на деревенском кладбище, в той местности, где она родилась. Терзаясь отчаянием, до сих пор верный своей любви, Жюльен приезжает из Парижа в глухую провинцию с романтическим намерением: вырыть тело из могилы и взять себе на память роскошные косы красавицы. Ночью он является на кладбище, разрывает могилу, открывает гроб и уже собирается срезать волосы,

[132] Примечания: 132
Литератор (*фр.*).

как видит, что глаза любимой открыты. Оказалось, что ее похоронили заживо. Жизненные силы не совсем в ней иссякли, ласки возлюбленного пробудили ее от летаргии, которая была принята за смерть. Он отнес ее в деревенскую гостиницу, где остановился, и с помощью сильных укрепляющих средств (он обладал большими познаниями в медицине) окончательно оживил ее. Она узнала своего избавителя и оставалась у него до своего полного выздоровления. Женское сердце не камень, и этот последний урок любви смягчил его. Она отдала сердце Боссюе, больше не возвращалась к супругу и, скрыв от него свое воскресение, бежала с возлюбленным в Америку. Через двадцать лет они вернулись во Францию — в надежде, что время изменило ее наружность и друзья не узнают ее. Однако они ошиблись: при первой встрече господин Ренель узнал свою жену и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она отказалась, а суд поддержал ее, решив, что ввиду исключительных обстоятельств и за давностью дела права мужа и по справедливости и по закону следует считать потерявшими силу.

Лейпцигский «Хирургический журнал» — весьма ценный и авторитетный научный орган, который какому-нибудь американскому кни-

гопродавцу следовало бы издавать в переводе на наш язык, — сообщает о весьма печальном случае в том же роде.

Один артиллерийский офицер, мужчина громадного роста и железного здоровья, был сброшен необъезженной лошадью и ушиб голову так, что лишился чувств. Череп был слегка поврежден, однако рана оказалась неопасной. Трепанация удалась. Ему пустили кровь, были приняты и другие меры к его исцелению. Тем не менее он все более впадал в летаргическое состояние и наконец был сочтен умершим.

Погода стояла жаркая, и покойника похоронили с почти неприличной поспешностью на одном из общественных кладбищ. Похороны состоялись в четверг. В воскресенье на кладбище собралось, как обычно, много посетителей, и около полудня один крестьянин возбудил всеобщее волнение, заявив, что, когда он сидел на могиле офицера, насыпь зашевелилась, будто под ней покойник бился в гробу. Сначала на эти слова мало кто обратил внимание, но непритворный ужас рассказчика и его настойчивость подействовали на толпу. Достали заступы и поспешно разрыли неглубокую и кое-как забросанную могилу. Офицер был, или казался, мертвым, но он не лежал,

а сидел, почти выпрямившись, в гробу, крышку которого успел частично приподнять в своей отчаянной борьбе.

Его доставили в ближайшую больницу, где врачи объявили, что он еще жив, но находится в состоянии асфиксии. Спустя несколько часов офицер очнулся, узнал своих знакомых и, как мог, рассказал о своей агонии в могиле.

Из рассказа выяснилось, что, очнувшись, он не менее часа провел в гробу и только потом потерял сознание.

Гроб был засыпан очень небрежно, и воздух, по всей вероятности, проникал сквозь рыхлую землю. Он слышал шаги посетителей над своей головой и старался привлечь их внимание. Вероятно, шум на кладбище и пробудил его от летаргии, но, придя в себя, он тотчас же понял весь ужас своего положения.

Этот больной поправлялся довольно быстро и был уже близок к полному выздоровлению, но погиб жертвой медицинского шарлатанства: его вздумали лечить электричеством, он скончался в пароксизме возбуждения, вызванного гальванической батареей.

Гальваническая батарея напомнила мне известный и весьма замечательный случай, когда

этот аппарат возвратил к жизни молодого лондонского стряпчего, пролежавшего в могиле двое суток.

Больной, мистер Эдуард Степлтон, умер, по-видимому, от тифозной горячки, сопровождавшейся необычными симптомами, которые возбудили любопытство врачей. После его мнимой смерти они обратились к друзьям покойного с просьбой разрешить им исследование post mortem[133], но получили отказ. Как часто бывает при таких отказах, они сговорились все же вырыть труп из могилы и анатомировать его потихоньку. Условились с шайкой похитителей трупов, которых в Лондоне всегда немало, и на третью ночь после погребения предполагаемый труп был извлечен из глубокой, в восемь футов, могилы и доставлен в мертвецкую одной частной больницы.

Был уже сделан надрез в области желудка, когда свежий вид тела, без всяких признаков разложения, навел врачей на мысль применить гальваническую батарею. Проделанные опыты сопровождались обычными явлениями, не представлявшими ничего исключительного; только раз или два наблюдаемые судороги напомнили

---

[133] Примечания: 133
После смерти (*лат.*).

движения живого тела.

Время шло. Близилось утро, и врачи решили наконец приступить к вскрытию. Тут один студент, желая проверить какую-то свою теорию, стал убеждать их сделать еще опыт, приложив батарею к одному из грудных мускулов. Сделали надрез, и лишь только приложили провод, как мертвец быстрым, но отнюдь не судорожным движением поднялся, соскочил со стола на пол, бросил вокруг себя беспокойный взгляд и заговорил. Слов его они не разобрали, но все-таки это были слова, членораздельные звуки. Произнеся их, он тяжело повалился на пол.

В первую минуту все оцепенели от страха, но необходимость что-то предпринять заставила их тут же опомниться. Очевидно, мистер Степлтон был жив, хоть и в обмороке. Эфир скоро привел его в чувство, затем он быстро оправился и вернулся в общество своих друзей, от которых скрывали факт его оживления до тех пор, пока не исчезла всякая опасность рецидива. Можно себе представить их удивление, их несказанное изумление.

Но то, что сообщил сам мистер Степлтон, было особенно удивительно. Он заявил, что ни на миг не терял сознания до конца; пусть смутно и неяс-

но, но он сознавал все происходившее с ним с той минуты, когда врачи объявили, что он умер, до той, когда он упал без чувств в больнице. «Я жив», — вот слова, которые он пытался произнести, очнувшись в мертвецкой.

Нетрудно было бы увеличить число подобных историй, но я воздерживаюсь, так как и без того можно считать доказанным, что погребения заживо имеют место, и если принять в расчет, как редко, по самой своей природе, подобные случаи становятся нам известны, то придется допустить, что они могут очень часто происходить без нашего ведома. В самом деле, вряд ли хоть раз при раскопках кладбища не были найдены скелеты в позах, наводящих на самые ужасные подозрения.

Подозрения ужасны, но еще ужаснее сама могила! Можно смело сказать, что ни одно состояние не связано с такими адскими телесными и душевными муками, как состояние заживо погребенного. Невыносимая тяжесть в груди, удушливые испарения сырой земли, тесный саван, жесткие объятия узкого гроба, черная, непроглядная тьма, безмолвие, точно на морском дне; невидимое, но осязаемое присутствие победителя-червя, мысль о воздухе и траве наверху,

воспоминание о друзьях, которые прилетели бы как на крыльях, чтобы спасти вас, если бы узнали о вашем положении, и уверенность, что они никогда не узнают; уверенность в том, что ваша участь — участь трупа, — все это наполняет еще бьющееся сердце таким неслыханным, невыносимым ужасом, какого не в силах себе представить самое смелое воображение. Мы не знаем большей муки на земле и не можем представить себе более ужасной казни в глубочайших безднах ада. Понятно, что рассказы на эту тему представляют глубокий интерес, который, однако, в силу благоговейного ужаса, возбуждаемого самой темой, всецело зависит от нашего убеждения в истинности рассказа. То, что я намерен поведать читателю, заимствовано из моих собственных воспоминаний, из моего личного опыта.

В течение нескольких лет я был подвержен припадкам странной болезни, которую врачи назвали каталепсией, за неимением более точного названия. Хотя прямые и косвенные причины этого недуга, равно как и его диагноз, еще остаются тайной, его разнообразные симптомы довольно хорошо исследованы. По-видимому, они отличаются только интенсивностью. Ино-

гда пациент впадает в летаргию на день или даже на меньший срок. Он лежит без чувств, без движения, но слабые удары сердца еще прослушиваются; остаются некоторые следы теплоты; легкий румянец окрашивает середину щек; а приставив зеркало к губам, можно заметить неровную, замедленную, слабую деятельность легких. Но бывает и так, что припадок длится недели, даже месяцы, и в такой форме, что самое строгое медицинское исследование не откроет ни малейшего различия между этим состоянием и тем, которое мы неоспоримо признаем смертью. Обычно такой пациент избегает преждевременного погребения только потому, что друзья знают о его прежних припадках, и вследствие этого у них возникает сомнение, особенно если нет никаких признаков разложения. К счастью, болезнь эта овладевает человеком постепенно. Первые симптомы хотя и мало заметны, однако имеют уже недвусмысленный характер. Мало-помалу припадки становятся все характернее и с каждым разом тянутся дольше. Это обстоятельство — главная гарантия против погребения. Несчастный, у которого первый припадок имел бы острый характер, присущий этой болезни в самой тяжелой ее форме, был бы почти неизбежно осужден лечь

живым в могилу.

Мой случай ничем особенным не отличался от описанных в медицинских книгах. По временам я без всякой видимой причины мало-помалу впадал в состояние полулетаргии или полуобморока; в этом состоянии, не чувствуя никакой боли, лишенный способности двигаться или, вернее говоря, думать, со смутным летаргическим сознанием собственного бытия и присутствия лиц, окружающих мою постель, я оставался до тех пор, пока кризис разом не восстанавливал мои силы. Иногда, напротив, болезнь поражала меня быстро и неотразимо. На меня находила слабость, столбняк, озноб, головокружение, и я лишался чувств. Затем по целым неделям вокруг меня царили пустота, тьма, безмолвие, и вселенная превращалась в ничто. Словом, наступало полное небытие. От этих припадков я оправлялся тем медленнее, чем быстрее они наступали. Как заря для бесприютного, одинокого странника, блуждающего по улицам в долгую тоскливую зимнюю ночь, — так же медленно и лениво и так же ободряюще возвращался ко мне свет сознания.

В основном здоровье мое, по-видимому, не ухудшалось; я не замечал, чтобы припадки эти сопровождались какими-либо болезненными

явлениями, если не считать некоторой особенности моего сна. Пробудившись, я никак не мог сразу овладеть своими чувствами и в течение нескольких минут пребывал в самом растерянном и нелепом состоянии; душевные способности вообще, а память в особенности совершенно притуплялись.

При этом я не испытывал никаких физических страданий, лишь безмерную душевную смятенность. Мое воображение бродило по склепам. Я толковал «о червях, могилах и эпитафиях»*. Я только и думал о смерти, и страх быть заживо погребенным неотступно преследовал меня. Ужасная опасность, которой я подвергался, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Как ни терзала она меня днем, ночью она становилась еще нестерпимей. Когда зловещая тьма окутывала землю, я дрожал под гнетом ужасных мыслей, дрожал, как перья на погребальной колеснице. А когда мое тело уже не могло переносить бодрствования, я продолжал бороться со сном — так пугала меня мысль проснуться в могиле. И когда наконец сон овладевал мною, я переносился в царство призраков, над которым простирала широкие траурные крылья все та же мысль о могиле.

Из бесчисленных мрачных видений, угнетавших меня во сне, приведу для примера только одно. Мне казалось, будто я впал в каталептический сон, более глубокий и продолжительный, чем обычно. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба и нетерпеливый голос невнятно шепнул:

— Вставай!

Я сел на кровати. Тьма была кромешная. Я не мог рассмотреть фигуру того, кто разбудил меня. Я не мог вспомнить, когда со мной случился припадок и где я нахожусь. Пока я сидел неподвижно, стараясь собраться с мыслями, та же холодная рука крепко схватила меня немного повыше кисти, нетерпеливо тряхнула мою руку, и тот же голос невнятно проговорил:

— Вставай! Ведь я же приказал тебе вставать.

— Кто ты? — спросил я.

— Там, где я обитаю, нет имен, — печально ответил голос. — Я был смертным, теперь я дух. Я был безжалостен, теперь я сострадателен. Ты чувствуешь, как я дрожу? Мои зубы стучат, но не от холода ночи, бесконечной ночи. Это отвратительное зрелище невыносимо. Как можешь ты спокойно спать? Крики их агонии не дают мне покоя. Эти картины превыше моих сил. Вставай! Пойдем в земную ночь, и я раскрою перед тобой

могилы. Это ли не зрелище скорби, смотри!

Я взглянул; и невидимая фигура, все еще державшая меня за руку, раскрыла передо мной могилы всего человечества. Из каждой исходил слабый фосфорический свет гниения, так что я мог рассмотреть глубочайшие склепы и увидел скорченные трупы в их печальном и торжественном сне среди могильных червей. Но увы! Спящих вечным сном оказалось на много миллионов меньше, чем тех, кто вовсе не спал; отовсюду доносились звуки слабой борьбы, чувствовалось общее тоскливое беспокойство; из бездонных ям доносился печальный шорох саванов. Даже лежавшие спокойно и те изменили неловкие и неестественные позы, в которых были погребены. И снова голос шепнул мне:

— Это ли, о, это ли не зрелище скорби?

Но прежде чем я успел что-нибудь ответить, фигура выпустила мою руку, фосфорический свет угас, земля сомкнулась над могилами, и из них вырвался отчаянный вопль множества голосов:

— Это ли, о Господи, это ли не зрелище скорби?

Ночные кошмары оказывали ужасное влияние и на часы моего бодрствования. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой беспрерывного страха. Я боялся ездить верхом,

гулять, боялся всякого развлечения, для которого нужно было выходить из дому. Я не решался покидать общество людей, знавших о моих припадках, так как, случись подобный приступ в их отсутствие, меня могли бы заживо похоронить. Я сомневался в заботливости и верности лучших моих друзей, боялся, что, если припадок затянется дольше обычного, они все-таки сочтут меня умершим. Я дошел до того, что спрашивал себя: а что, если они будут рады воспользоваться затянувшимся пароксизмом и отделаться от меня, причинявшего им столько хлопот? Напрасно они старались успокоить меня самыми торжественными обещаниями. Я заставил их поклясться самыми страшными клятвами, что они не зароют меня, пока тело мое не разложится настолько, что дальнейшее промедление станет невозможным. Но даже после этого мой смертельный страх не поддавался никаким увещаниям, никаким утешениям. Я принял целый ряд тщательно продуманных предосторожностей. Между прочим, перестроил семейный склеп так, чтобы его можно было открыть изнутри. Стоило только слегка нажать на длинный рычаг, вдававшийся в глубину склепа, чтобы железные двери распахнулись. Подле самого гроба, куда меня должны

были положить, были устроены приспособления для свободного доступа света и воздуха, а также для запасов пищи и питья. Сам гроб был мягко выстеган и накрывался крышкой в виде свода с пружинами, посредством которых крышка откидывалась при малейшем движении тела. Кроме того, под потолком склепа был повешен большой колокол, от него спускалась веревка, проходившая в отверстие гроба: ее должны были привязать к моей руке*. Но увы! Что все наши предосторожности перед волею судьбы! Даже эти ухищрения не могли спасти от пытки преждевременного погребения несчастного, осужденного на эту пытку!

Случилось однажды, — как это часто случалось и раньше, — что я пробудился от полного бесчувствия к первому слабому и смутному сознанию бытия. Медленно — черепашьим шагом — наступал тусклый, серый рассвет душного дня. Я испытывал ощущение неловкости и одеревенения. Какое-то вялое смутное недомогание — ни тревоги, ни надежды, ни усилий. Затем, через некоторое время, — звон в ушах; спустя еще более длительный интервал — ощущение мурашек в конечностях; потом как будто бесконечный период блаженного спокойствия, когда просыпа-

ющиеся чувства начинают будить мысль; потом кратковременное погружение в небытие и внезапное пробуждение; легкая дрожь одного века, и тотчас — словно электрический удар смертельного бесконечного ужаса, от которого кровь прилила к сердцу. И только теперь — первая попытка мыслить. Первая попытка вспомнить. Только теперь успех — да и то неполный и мимолетный. И тут память возвращается ко мне настолько, что я начинаю сознавать свое положение. Я чувствую, что очнулся не от обычного сна, припоминаю, что со мной случился припадок каталепсии. И вот мой трепещущий дух наконец захвачен, точно бурной волной океана, сознанием грозной опасности — одной адской мыслью, неизменной и единственной.

Когда она овладела мной, я несколько минут пролежал не двигаясь. Но почему? Сделать усилие, которое открыло бы мне мою участь, я не смел, а между тем сердце подсказывало мне, что самое ужасное совершилось. Отчаяние, подобного которому не может вызвать никакое другое несчастье, — одно отчаяние заставило меня после долгих колебаний поднять отяжелевшие веки. Я открыл глаза. Кругом тьма, непроглядная тьма. Я знал, что припадок кончился. Знал, что

кризис давно миновал. Знал, что теперь я вполне владею способностью зрения. И все-таки кругом была тьма — кромешная тьма, полное, совершенное отсутствие света, ночь, которая никогда не проходит.

Я попытался крикнуть: губы мои и пересохший язык судорожно зашевелились, но никакого звука не последовало; мои легкие, точно придавленные целой горой, сжимались и трепетали вместе с сердцем при каждом мучительном и прерывистом вздохе.

Я попробовал открыть рот, чтобы крикнуть, но почувствовал, что челюсти мои подвязаны, как у покойника. Я чувствовал также, что лежу на чем-то жестком и что-то жесткое сжимает мне бока. До сих пор я не пытался пошевелиться, но теперь разом поднял обе руки, которые лежали крест-накрест у меня на груди. Они ударились о что-то деревянное и прочное, находившееся дюймах в шести у меня над головой. Сомнений не оставалось: я наконец действительно лежал в гробу.

В эту минуту бесконечного ужаса передо мной мелькнул кроткий херувим надежды: я вспомнил о своих предосторожностях. Я стал судорожно биться, стараясь поднять крышку, но она не дви-

галась. Я начал искать веревку от колокола — ее не было. И вот ангел-утешитель отлетел навсегда, и восторжествовало еще горшее отчаяние. Я не мог не заметить отсутствия обивки, о которой позаботился, и в ту же минуту мое обоняние было внезапно поражено резким, своеобразным запахом сырой земли. Вывод был страшен: я лежал не в склепе. Припадок застиг меня вне дома, среди чужих людей, — когда или как, я не мог припомнить, — и меня зарыли, как собаку, в простом гробу, забитом гвоздями, глубоко-глубоко под землей, в обыкновенной, безвестной могиле.



Меня зарыли… в простом гробу… глубоко-глубоко под землей, в обыкновенной, безвестной могиле

Когда эта страшная уверенность проникла в мою душу, я снова попытался крикнуть; и на этот раз попытка удалась: долгий, отчаянный, бесконечный крик или вопль агонии огласил тишину подземной ночи.

— Эй, что там такое?! — раздался в ответ чей-то грубоватый голос.

— Что за чертовщина? — произнес другой.

— Вылезай-ка отсюда! — подхватил третий.

— Что ты там воешь, словно влюбленный кот? — сказал четвертый.

Затем меня без всяких церемоний схватили и принялись трясти какие-то молодцы весьма грубого вида. Они не разбудили меня, — я и без того проснулся, — но вернули мне память.

Происшествие случилось близ Ричмонда в Виргинии. Вместе с приятелем я предпринял охотничью экскурсию по берегам Джеймс-ривер. Близилась ночь, и нас застала буря. Небольшая баржа, нагруженная садовой землей, стоявшая на якоре у берега, оказалась единственным нашим убежищем. За неимением лучшего, мы воспользовались им и провели ночь на барже. Я занял

одну из двух кают, — а можно себе представить, что такое каюта на барже в шестьдесят — семьдесят тонн. В каюте, которую я занял, постели вовсе не было. Ширина ее достигала не более восемнадцати дюймов, столько же было и в высоту — от пола до потолка. Мне стоило немалого труда втиснуться в нее. Тем не менее я спал крепко; все, что мне представилось, — а был это не сон и не бред, — явилось естественным следствием моего положения, обычного хода моих мыслей и того обстоятельства, о котором я уже упоминал: неспособности сразу очнуться, а главное — сразу овладеть памятью. Оказалось, что люди, которые трясли меня, — хозяева баржи и работники, нанятые для выгрузки. Запах земли исходил от груза, а повязка под челюстью — это был шелковый платок, которым я обмотал голову за неимением ночного колпака.

Во всяком случае, пытка, которой я подвергся в течение некоторого времени, была ничуть не меньше мук заживо погребенного. Она была ужасна, невыразима. Но нет худа без добра: самая чрезмерность страданий вызвала во мне неизбежное противодействие. Мои душевные силы окрепли, и я успокоился. Я уехал за границу. Занялся физическими упражнениями. Дышал

чистым воздухом полей. Стал думать о других предметах, а не только о смерти. Забросил медицинские книги. Бьюкена* я сжег; перестал читать «Ночные мысли»*, всякую ерунду о кладбищах, бабьи сказки, вроде той, которую сейчас рассказал. Словом, я стал другим человеком и зажил подлинно человеческой жизнью. С той памятной ночи я навсегда расстался со своими могильными страхами, а вместе с ними исчезли и припадки каталепсии, которые, быть может, явились скорее следствием, чем причиной этих страхов.

Бывают минуты, когда даже для трезвого рассудка наш печальный человеческий мир становится адом. Но воображение человека не может безнаказанно спускаться в такие бездны. Увы, мрачные ужасы могилы существуют не в одном воображении. Но, подобно демонам, в обществе которых Афрасиаб* спустился по Оксусу*, они должны спать, иначе они растерзают нас; а мы не должны тревожить их сна — иначе мы погибли.

Разговор с мумией

Symposium[134] предыдущего вечера расстроил мне нервы. Целый день меня донимала жестокая головная боль и отчаянная сонливость. Из-за этого я отказался от намерения провести вечер в гостях, решив, что благоразумнее будет лечь спать тотчас после ужина.

Легкого ужина, конечно. Я обожаю кроликов по-уэльски. Но более фунта за раз не всегда можно посоветовать. Впрочем, серьезных возражений не найдется и против двух. А между двумя и тремя разница только на одну единицу. Кажется, я рискнул на четыре. Жена уверяет, на пять, но она спутала две совершенно различные вещи. Абстрактное число пять было, я согласен, но конкретно оно относилось к бутылкам портера, без которого не осилить кролика по-уэльски.

Окончив мой скромный ужин и надев ночной колпак, в сладкой надежде утешаться им до ближайшего полдня, я склонил голову на подушку и, как человек с чистой совестью, погрузился в глубокий сон.

---

[134] Примечания: 134
Застольная беседа (*лат.*).

Но когда же исполнялись надежды человечества? Я еще не успел порядком расхрапеться, как отчаянный звон у подъезда и нетерпеливый стук в дверь разом пробудили меня. Я еще протирал глаза, когда жена бросила мне в физиономию письмо от моего старого друга, доктора Поннонне-ра. Вот что он писал:

«Приходите ко мне, дружище, как только получите это письмо. Приходите разделить мою радость. Наконец-то, после долгих усилий, мне удалось выпросить у директора Музеума позволение взять к себе на дом мумию, вы знаете какую. Я имею право распеленать ее. Будут лишь немногие друзья, в том числе, разумеется, и вы. Мумия у меня, и мы начнем ее развертывать в одиннадцать часов.

Весь ваш *Поннонне-р».*

Пока я дошел до «Поннонне-р», сон мой как рукой сняло. Я в восторге вскочил с постели, опрокидывая все, что попадалось под руку, оделся с быстротой, поистине чудесной, и полетел сломя голову к доктору. Тут я нашел очень оживленное общество. Меня ожидали с нетерпением, мумия лежала на столе, и как только я вошел, приступили к осмотру.

Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет тому назад капитаном Артуром Сабрташем, двоюродным братом Понноннера, из гробницы вблизи Элейтиаса, в Ливийских горах, значительно выше Фив* на Ниле.

Гробницы в этой местности, уступая по великолепию фивским, представляют, однако, высокий интерес, так как бросают свет на частную жизнь египтян. Склеп, где помещалась наша мумия, был особенно замечателен в этом отношении: стены его были покрыты фресками и барельефами, а статуи, вазы, мозаики свидетельствовали о богатстве покойного.

Сокровище было доставлено в Музеум в том самом виде, как нашел его капитан Сабрташ, то есть гроб не был открыт. В таком виде простояло оно восемь лет. Мы имели в своем распоряжении целую, неповрежденную мумию, и всякий, кто знает, как редко такие неповрежденные памятники достигают европейских берегов, согласится, что мы имели полное основание поздравить себя с удачей.

Подойдя к столу, я увидел большой ящик или сундук семи футов в длину, около трех футов в ширину и около двух с половиной в вышину. Формой он не походил на наши гробы. Материал, из

которого он был сделан, показался нам сначала деревом сикомора (platanus), но, надрезав его, мы убедились, что это бумажная масса, или papier mache, из папируса. Он был украшен рисунками, изображавшими погребение и другие печальные сцены и переплетавшимися с иероглифическими надписями, без сомнения обозначавшими имя покойного. К счастью, в числе гостей находился мистер Глиддон*, который без труда разобрал эти буквы и составил из них слово «Алламистакео».

Нам нелегко было открыть этот ящик, не повредив его, но когда наконец это удалось, мы нашли в нем другой, в форме гроба и меньших размеров, но во всем остальном сходный с первым. Промежуток между двумя гробами был наполнен смолой, которая до некоторой степени обесцветила рисунки второго гроба.

Открыв второй ящик (что удалось без труда), мы нашли в нем третий, тоже в форме гроба, отличавшийся от второго только материалом, который оказался кедровым деревом, еще издававшим свойственный ему ароматический запах. Между вторым и третьим гробом не было промежутка: они плотно приходились друг к другу.

Вынув третий ящик, мы открыли его и достали мумию. Мы ожидали, что она будет окутана

полотняными пеленами и повязками, но вместо них оказался род футляра из папируса, покрытого слоем раззолоченного и раскрашенного гипса. На рисунках изображались различные обстоятельства, связанные с посмертным существованием души, ее появление перед разными богами, а также какие-то человеческие фигуры, вероятно, портреты набальзамированных лиц. Во всю длину мумии шла надпись фонетическими иероглифами, обозначавшая имя и титулы покойного и его родственников.

На шее красовалось ожерелье из стеклянных цилиндрических бус различных цветов и расположенных так, чтобы выходили изображения богов, священного жука и прочего. Подобное же ожерелье опоясывало талию.

Сняв папирус, мы увидели тело, превосходно сохранившееся и без малейшего запаха. Цвет его был красноватый. Кожа упругая, гладкая и блестящая. Зубы и волосы в хорошем состоянии. Глаза (по-видимому) были вынуты и заменены стеклянными, прекрасной работы и поразительно напоминавшими живые, за исключением слишком пристального взора. Пальцы и ноздри были вызолочены.

По красноватому оттенку эпидермы мистер

Глиддон заключил, что бальзамирование было произведено исключительно с помощью асфальта, но когда он поскоблил кожу стальным ножичком и бросил в огонь щепотку наскобленной таким образом пыли, мы учуяли запах камфары и других пахучих смол.

Мы тщательно осмотрели тело, стараясь найти отверстие, через которое были вынуты внутренности, но, к нашему удивлению, его не оказалось. Мы еще не знали в то время, что цельные, или невскрытые, мумии попадаются нередко. Мозг обыкновенно вынимали через нос, внутренности через отверстие, проделанное в боку, затем тело брили, обмывали, солили и откладывали на несколько недель, по истечении которых приступали к собственно так называемому бальзамированию.

Не найдя никаких следов отверстия, доктор Понноннер приготовил инструменты для вскрытия, когда я заметил, что уже десять минут третьего. Ввиду этого решено было отложить исследование до следующего вечера, и мы хотели уже разойтись, когда кто-то предложил сделать опыт с Вольтовым столбом.

Мысль применить электричество к мумии, которой было, по меньшей мере, три или четыре

тысячи лет, показалась нам если не особенно мудрой, то, во всяком случае, оригинальной, так что мы горячо ухватились за нее. Девять десятых отнеслись к этому, как к шутке, остальные серьезно, но, во всяком случае, мы установили батарею в кабинете доктора и перенесли туда египтянина.

С большим трудом удалось нам обнажить часть височного мускула, который не так сильно окоченел, как остальное тело, но, как мы и ожидали, не обнаружил ни малейших признаков восприимчивости к гальванизму при соприкосновении с проволокой. Таким образом, первый же опыт оказался безуспешным, и, посмеявшись над своей глупостью, мы уже стали прощаться друг с другом, когда, случайно взглянув в глаза мумии, я остановился в изумлении. В самом деле, я с первого взгляда заметил, что глаза эти, которые показались нам стеклянными и поразили нас своим диким неподвижным взглядом, были теперь почти совершенно закрыты веками, так что лишь небольшая полоска tunica albuginea[135] оставалась видимой.

Я вскрикнул и указал на это явление осталь-

---

[135] Примечания: 135
Белки глаз (*лат.*).

ным, которые тотчас убедились, что я прав.

Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, потому что слово «встревожен» не выражает моего настроения. Возможно, впрочем, что, если бы не портер, я почувствовал бы некоторое волнение. Остальные даже не пытались скрыть смертельного ужаса, овладевшего ими. Мистер Глиддон исчез самым непонятным манером. Мистер Силк Букингам, вероятно, и сам припомнит, как он пополз на четвереньках под стол.

Однако после первых минут изумления и ужаса мы решили продолжать опыт. Мы занялись теперь большим пальцем правой ноги; сделали надрез с наружной стороны os sesamodeum pollicis pedis[136] и, таким образом, добрались до основания musculus abductor[137]. Затем, установив батарею, мы приложили проволоку к двураздельному нерву. В то же мгновение мумия вздернула правое колено к животу, а затем, с невероятной силой выпрямив ногу, дала такого пинка доктору Понноннеру, что этот джентльмен вылетел в окно на улицу, как стрела из катапульты.

---

[136] Примечания: 136
Кость большого пальца ноги (*лат.*).

[137] Примечания: 137
Отводящая мышца (*лат.*).

Мы ринулись вон все скопом подобрать исковерканные останки несчастной жертвы, но, к нашей радости, встретили доктора на лестнице, летевшего со всех ног, в азарте, с намерением во что бы то ни стало продолжать опыт настойчиво и рьяно.

По его совету мы сделали надрез на кончике носа мумии, и доктор собственноручно привел его в соприкосновение с проволокой.

Морально и физически, фигурально и буквально действие можно было назвать электрическим. Во-первых, мумия открыла глаза и быстро заморгала ими, как мистер Бэрнс* в пантомиме; во-вторых, чихнула; в-третьих, уселась; в-четвертых, показала кулак доктору Понноннеру; в-пятых, обратившись к господам Глиддону и Букингаму, сказала на чистейшем египетском языке:

— Признаюсь, джентльмены, я крайне удивлен и оскорблен вашим поведением. От доктора Понноннера ничего лучшего и ожидать нельзя было. Этот жалкий дуралей не способен ни на что лучшее. Я жалею и прощаю его. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, — вы, путешествовавшие и жившие в Египте так долго, что иной примет вас за уроженцев этой страны, — вы, научившиеся в

нашей среде говорить по-египетски так же бегло, как, я думаю, вы пишете на родном языке, — вы, которых я всегда считал друзьями мумий, — признаюсь, я ожидал более благородного поведения с вашей стороны. Как могли вы спокойно выносить такое неблаговидное обращение со мной? Как могли вы позволить Тому, Дику и Гарри вынуть меня из гробов и распеленать в этом дьявольски холодном климате? Какими глазами (переходя к главному пункту) должен я смотреть на ваше одобрение и содействие этому презренному доктору Понноннеру, когда он вздумал таскать меня за нос?

Вы ожидаете, конечно, что, выслушав эту речь при подобных обстоятельствах, мы кинулись к дверям, или впали в истерику, или грохнулись всей компанией в обморок. Надо было, говорю я, ожидать какого-нибудь из этих трех поступков. И то, и другое, и третье могло быть исполнено с большим удобством. И, право, я не знаю, как и почему мы не исполнили ни того, ни другого, ни третьего. Быть может, причина тому дух времени, который действует по правилу противоречия и обыкновенно приводится в объяснение всего парадоксального и невозможного. Или, быть может, необычайно естественный и толковый

тон мумии ослабил ужас, вызванный ее словами. Как бы то ни было, никто из нас не обнаружил страха и даже не казался особенно изумленным.

Я, со своей стороны, находил, что все идет как нельзя лучше, и только отошел в сторону, подальше от кулака египтянина. Доктор Понноннер засунул руки в карманы панталон, уставился на мумию и сильно покраснел. Мистер Глиддон закрутил усы и отогнул вверх воротничок своей рубашки. Мистер Букингам понурил голову и засунул большой палец правой руки в левый угол рта.

Египтянин сурово смотрел на него в течение нескольких минут, потом с усмешкой сказал:

— Что ж вы молчите, мистер Букингам? Разве вы не слышали, о чем я спрашиваю? Выньте палец изо рта!

Мистер Букингам слегка вздрогнул, вытащил правый палец из левого угла рта и засунул левый палец в правый угол того же отверстия.

Не добившись ответа от мистера Букингама, египтянин сердито обратился к мистеру Глиддону и резким тоном спросил, что все это значит.

Собравшись с духом, мистер Глиддон ответил на языке фонетических иероглифов, и если бы в американских типографиях можно было найти

иероглифический шрифт, я охотно привел бы здесь целиком эту прекрасную речь.

Замечу, кстати, что весь последующий разговор, в котором принимала участие мумия, происходил на первобытном египетском языке, причем господа Глиддон и Букингам служили переводчиками (для меня и других гостей, не бывавших в Египте). Эти джентльмены объяснялись на родном языке мумии с неподражаемой беглостью и плавностью; но я не мог не заметить, что им приходилось иногда (без сомнения, в тех случаях, когда дело шло о современных, чуждых египтянину понятиях) прибегать к наглядным объяснениям. Например, мистер Глиддон не мог растолковать мумии, что такое «политика», пока не нарисовал на стене углем маленького джентльмена, с угреватым носом, оборванного, стоявшего на одной ноге, откинув левую назад, вытянув правую руку вперед, стиснув кулак, закатив глаза и разинув рот под углом в девяносто градусов.

Нетрудно догадаться, что мистер Глиддон в своей речи указывал, как важно для науки распеленывать и потрошить мумии, хотя бы при этом было причинено некоторое беспокойство им самим, а в данном случае субъекту, носившему имя

Алламистакео; в заключение намекнул (дальше намека трудно было идти при данных обстоятельствах), что так как теперь все эти мелочные недоразумения выяснились, то было бы недурно приступить к исследованию. Услышав это, доктор Понноннер приготовил свои инструменты.

Последние слова оратора, по-видимому, возбудили в Алламистакео какие-то сомнения, сущность которых осталась для меня неясной; однако он объявил, что удовлетворен объяснениями мистера Глиддона, соскочил со стола и пожал руки всем присутствовавшим.

Когда церемония представления была окончена, мы поспешили исправить повреждения, нанесенные египтянину скальпелем. Мы зашили рану на виске, перевязали ногу и приклеили кусочек черного пластыря величиной в один квадратный дюйм к кончику его носа.

Мы заметили, что граф (таков был, кажется, титул Алламистакео) слегка вздрагивает, — без сомнения, от холода. Доктор Понноннер тотчас направился к платяному шкафу и притащил черный сюртук — образцовое изделие Дженингса, клетчатые небесно-голубого цвета брюки со штрипками, chemise тонкого полотна, глазетовый жилет, белое пальто, трость с кривой ручкой,

сапоги патентованной кожи, соломенного цвета лайковые перчатки, лорнет, пару бакенбард и галстук. Вследствие разницы в росте между графом и доктором (первый был вдвое выше второго) надеть эти вещи на египтянина оказалось несколько затруднительным; но, когда туалет его был окончен, он мог назваться одетым. Затем мистер Глиддон взял его под руку и усадил в кресло перед камином, а доктор позвонил и велел подать сигар и вина.

Вскоре беседа приняла самый оживленный характер. Разумеется, присутствующие выразили удивление, что Алламистакео до сих пор остался жив, находя этот факт не совсем обыкновенным.

— Мне кажется, — заметил мистер Букингам, — вам давно следовало умереть.

— С какой стати? — с удивлением ответил граф. — Мне всего семьсот лет! Мой отец прожил тысячу и был еще хоть куда накануне смерти.

Тут последовали расспросы и вычисления, из которых выяснилось, что мы имели совершенно неверное представление о мумии. Прошло пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев с того момента, как она была положена в катакомбах Элейтиаса.

— Я ведь, собственно, имел в виду, — возразил

мистер Букингам, — не ваш возраст в момент погребения (я согласен, что вы еще молодой человек), а громадный период времени, проведенный вами, по вашим же словам, в асфальте.

— В чем? — спросил граф.

— В асфальте, — повторил мистер Букингам.

— А, да… Я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать; без сомнения, этот способ имеет свои достоинства, но в наше время употреблялась почти исключительно сулема.

— Но мы все-таки затрудняемся понять, — сказал доктор Понноннер, — как могло случиться, что вы, умерший и погребенный пять тысяч лет тому назад, оказываетесь теперь живым и, по-видимому, имеете цветущее здоровье.

— Если бы я умер, — возразил граф, — то, по всей вероятности, и до сих пор оставался бы мертвым; но я замечаю, что вы еще очень несведущи по части гальванизма и не можете исполнить того, что было самой обыкновенной вещью у нас, в старину. Дело в том, что я впал в каталептическое состояние, а мои друзья решили, что я мертв или должен быть мертвым, и немедленно набальзамировали меня… я полагаю, вы имеете понятие об основных принципах бальзамирования.

— Н… да, не совсем.

— Ага, понимаю — о глубина невежества! Ну, я не могу пускаться в подробности, но считаю необходимым заметить, что бальзамировать (в собственном смысле слова) в Египте значило остановить на определенное время все животные функции данного лица. Я употребляю слово «животные» в его обширнейшем смысле, подразумевая не только физические, но и духовные, и жизненные функции организма. Повторяю, основным принципом бальзамирования была остановка всех животных отправлений субъекта. Иными словами, субъект должен был вечно оставаться в том же состоянии, в каком был он в момент бальзамирования. Так как в моих жилах течет кровь Священного Жука*, то меня забальзамировали живым, таким точно, каким вы меня видите в настоящую минуту.

— Кровь Священного Жука! — воскликнул доктор Понноннер.

— Да. Священный Жук — это insignium, или герб, одной из древнейших и знатнейших фамилий. Выражение «в моих жилах течет кровь Священного Жука» означает только принадлежность к фамилии, носящей этот герб. Я выражаюсь образным языком.

— Но при чем тут бальзамирование живьем?

— Видите ли, в Египте было обыкновение вынимать из тела внутренности и мозг перед бальзамированием. Только для фамилии Жуков делалось исключение. Так что, если бы я не был Жуком, у меня вынули бы мозг и внутренности, а без них не совсем удобно жить.

— Понимаю, — сказал мистер Букингам, — стало быть, все цельные мумии, которые нам случается находить, принадлежат к фамилии Священных Жуков?

— Без сомнения.

— Я думал, — робко заметил мистер Глиддон, — что Священный Жук принадлежал к числу египетских богов.

— Египетских… что? — воскликнула мумия, вскочив на ноги.

— Богов! — повторил путешественник.

— Мистер Глиддон, я положительно изумлен вашими словами, — отвечал граф, снова опускаясь в кресло. — Ни одна нация на земле никогда не признавала более одного бога. Священный Жук, Ибис и прочие служили у нас (как и у других наций подобные же существа) только символами, или media, при посредстве которых мы поклонялись Творцу, слишком возвышенному, чтобы обращаться к нему непосредственно.

Последовала пауза. Наконец, доктор Поннонер возобновил беседу.

— Из ваших объяснений, — сказал он, — можно заключить, что в катакомбах близ Нила могут оказаться и другие мумии рода Жуков, сохранившие жизнеспособность.

— Без всякого сомнения, — отвечал граф, — все Жуки, случайно забальзамированные живыми, и теперь еще живы. Возможно также, что некоторые из лиц, умышленно забальзамированных живьем, были забыты своими душеприказчиками и до сих пор остаются в могилах.

— Не будете ли вы добры объяснить, — сказал я, — что означают ваши слова «умышленно забальзамированных живьем».

— С величайшим удовольствием, — отвечала мумия, осмотрев меня в лорнет, так как я только в первый раз обратился к ней с вопросом. — С величайшим удовольствием, — сказала она. — Средняя продолжительность жизни в наше время была восемьсот лет. Немногие умирали — оставляя в стороне случайности — ранее шестисот, немногие переживали десяток веков; нормальным сроком считалось восемьсот лет. С открытием способа бальзамирования, о котором я уже сообщил вам, наши философы пришли

к заключению, что было бы весьма интересно, как с точки зрения простой любознательности, так и ввиду преуспевания науки, отбывать этот жизненный срок по частям. Предположим, например, такой случай: историк прожил пятьсот лет, написал книгу — плод многолетних изысканий, — затем его тщательно бальзамируют и помещают в гробницу с надписью для душеприказчиков pro tem., обязанных оживить его через известный промежуток времени, скажем, пятьсот или шестьсот лет. Вернувшись к жизни по истечении этого периода, он убеждается, что его великое творение превратилось в род всеобщей записной книжки, то есть в род литературной арены для изысканий, догадок и споров целой стаи рьяных комментаторов. Эти изыскания и прочее, под именем поправок и пояснений, до того затемнили, запутали и исковеркали текст, что автору приходится с фонарем отыскивать свою книгу. Отыскав ее, он убеждается, что искать не стоило. Переделав ее начисто, он считает своей священной обязанностью исправить на основании своего личного опыта и знания предания, относящиеся к первому периоду его жизни. Подобные исправления, предпринимаемые время от времени различными мудрецами, предотвра-

тят возможность превращения истории в чистую басню…

— Виноват, — перебил доктор Поннонер, слегка прикоснувшись к руке египтянина, — виноват, сэр, могу я вас перебить на минуту?

— Сделайте одолжение, сэр, — отвечал граф, приосанившись.

— Я хотел только предложить вам один вопрос, — сказал доктор. — Вы упомянули об исправлении историком преданий, относящихся к его эпохе. Скажите, пожалуйста, сэр, какая доля преданий Каббалы* в среднем оказывается верной?

— Каббала, как вы совершенно правильно называете ее, сэр, вообще говоря, стоит наравне с фактами, о которых сообщают устные рассказы; то есть не содержит ни одной-единственной детали, которая не оказалась бы совершенно и безусловно ложной.

Присутствующие пожали плечами, а некоторые с многозначительным видом дотронулись пальцем до лба. Мистер Букингам, бросив беглый взгляд на затылок, потом на лоб Алламистакео, сказал:

— Продолжительность жизни в ваше время, равно как и возможность отбывать ее по частям,

как вы сейчас объяснили, без сомнения, должны были способствовать развитию и накоплению знаний. Я полагаю, что вы приписываете отсталость древних египтян во всех специальных отраслях знания, по сравнению с современными народами, а особенно с янки, единственно большей толщине египетского черепа.

— Признаюсь, — возразил граф очень вежливым тоном, — я опять-таки не совсем понимаю вас: скажите, пожалуйста, о каких специальных отраслях знания вы говорите?

Тут мы в один голос и очень подробно сообщили ему о выводах френологии и чудесах животного магнетизма.

Выслушав нас до конца, граф сообщил несколько анекдотов, из которых нам стало ясно, что прототипы Галля* и Шпурцгейма* расцвели и увяли в Египте так давно, что подверглись почти полному забвению, а манипуляции Месмера* — жалкие фокусы в сравнении с положительными чудесами фиванских savants[138], которые создавали живых вшей и много других подобных существ.

Тут я спросил графа, умели ли его единопле-

---

[138] Примечания: 138
Мудрецы (*фр.*).

менники вычислять затмения. Он улыбнулся довольно презрительно и отвечал: «Умели».

Это несколько смутило меня, но я все-таки предложил еще несколько вопросов по части астрономических знаний, когда один из гостей, еще ни разу не открывавший рта, шепнул мне на ухо, что об этих вещах лучше справиться у Птолемея* и Плутарха*.

Тогда я стал расспрашивать графа о зажигательных стеклах и чечевице и вообще о производстве стекла; но тот же молчаливый господин спокойно дотронулся до моего локтя и просил меня Христом Богом заглянуть в Диодора Сицилийского*. Что касается графа, то он просто спросил меня, вместо ответа, имеются ли у современных людей микроскопы, с помощью которых можно вырезать камеи в стиле египетских. Пока я раздумывал, что ответить на этот вопрос, крошка доктор Понноннер повел себя самым странным образом.

— Взгляните на нашу архитектуру! — воскликнул он к великому негодованию обоих путешественников, которые ни с того ни с сего принялись щипать его до синяков.

— Взгляните, — воскликнул он с энтузиазмом, — на фонтан Боулинг-Грин* в Нью-Йорке

или, если это зрелище слишком величественно для созерцания, бросьте хоть один взгляд на Капитолий в Вашингтоне!* — Тут добрейший карапузик принялся подробно описывать упомянутое им здание. Он объяснил, что один портик украшен двадцатью четырьмя колоннами, по пяти футов в диаметре, на расстоянии десяти футов одна от другой.

Граф отвечал, что, к сожалению, не может припомнить в настоящую минуту точные размеры одного из главных зданий в городе Азнаке, основание которого теряется во мраке времен, а развалины еще сохранились в эпоху его погребения в обширной песчаной равнине к западу от Фив. Он помнит, однако, что портик сравнительно небольшого дворца в предместье, называемом Карнак*, состоял из ста сорока четырех колонн, по тридцати семи футов в окружности, на расстоянии двадцати пяти футов одна от другой. От Нила до портика, на протяжении двух миль, тянется аллея сфинксов, статуй и обелисков, достигающих двадцати, шестидесяти и ста футов в вышину. Сам дворец (насколько он мог припомнить) имел две мили в длину и семь миль в окружности. Стены его были богато расписаны, внутри и снаружи, иероглифами. Он не утверждает, что в стенах

его можно поместить пятьдесят или шестьдесят Капитолиев доктора, но две или три сотни их можно бы было втиснуть туда без особенных затруднений. Впрочем, этот Карнакский дворец, в конце концов, просто лачуга. Он (граф) по совести не может отрицать великолепия и превосходства фонтана Боулинг-Грин, описанного доктором. Ничего подобного, он должен сознаться, не было в Египте, да и нигде вообще.

Я спросил графа, что он думает о наших железных дорогах.

— Ничего особенного, — отвечал он. — Они устроены довольно непрочно, легкомысленно и неуклюже. Какое же сравнение с широкими, гладкими дорогами, по которым египтяне перевозили целые храмы и массивные обелиски в полтораста футов вышиною.

Я завел речь о наших гигантских механических силах.

Он согласился, что мы немножко маракуем по этой части, но тут же спросил, как бы я принялся за дело, если бы надо было поместить арки под сводами хотя бы маленького Карнакского дворца.

Я сделал вид, что не слышу этого вопроса, и спросил, имеет ли он понятие об артезианских

колодцах. Но он только высоко поднял брови, а мистер Глиддон бросил на меня суровый взгляд и заметил вполголоса, что такой колодец недавно был найден инженерами в Большом Оазисе*.

Я заговорил о наших стальных изделиях; но иностранец презрительно повел носом и спросил, можно ли нашими стальными орудиями исполнить такую резьбу, какую египтяне исполняли на обелисках медными резцами.

Все это смутило нас настолько, что мы решили перейти к вопросам метафизическим. Мы послали за книгой, называемой «Обозрение»*, и прочли египтянину главу или две о чем-то не весьма ясном, но известном у бостонцев под именем великого движения, или прогресса.

Граф заметил только, что великие движения были самым обыкновенным явлением в его время, а прогресс одно время сделался истинной язвой, но никогда не прогрессировал.

Тогда мы перешли к величию и значению демократии и не без труда втолковали графу, какими выгодами мы пользуемся, живя в стране, где существует подача голосов ad libitum[139] и нет короля.

---

[139] Примечания: 139
По желанию, по своему усмотрению (*лат.*).

Он выслушал нас с интересом и, по-видимому, нашел наши рассуждения очень забавными. Когда мы замолчали, он сказал, что много веков тому назад уже пытались устроить нечто подобное. Четырнадцать египетских провинций решили провозгласить себя свободными и тем самым подать великолепный пример остальному человечеству. Они собрали своих мудрецов и состряпали остроумнейшую конституцию. Сначала дело пошло недурно, только хвастались они ужасно. Но кончилось тем, что упомянутые четырнадцать провинций с пятнадцатью или двадцатью другими подпали под власть самого ненавистного и невыносимого деспотизма, какой когда-либо владычествовал на земле.

Я спросил, как звали деспота.

Сколько помнилось графу, его звали Чернь.

Не зная, что ответить на это, я возвысил голос и выразил сожаление, что египтяне не знали силы пара.

Граф взглянул на меня с удивлением, но ничего не ответил. Молчаливый джентльмен двинул меня локтем в бок, шепнул мне, что я оскандалился, и прибавил, что современная паровая машина происходит от изобретения Герона*, дошедшего до нас благодаря Соломону де Ко*.

Нам угрожало решительное поражение, но, к счастью, доктор Понноннер собрался с духом, явился к нам на выручку и спросил, неужели египетский народ мог бы серьезно думать о соперничестве с нами в таком важном предмете, как одежда.

Граф взглянул на штрипки своих брюк, затем взялся за фалду сюртука и поднес ее к глазам. Когда он выпустил ее, рот его мало-помалу раскрылся до ушей, но больше он ничего не ответил.

Тут мы воспрянули духом, и доктор Понноннер, подойдя к мумии с видом глубокого достоинства, попросил ее ответить по правде, как честный джентльмен, умели ли египтяне в какой бы то ни было период своего существования приготовлять лепешечки Понноннера и пилюли Брандрета*.

Мы с глубоким беспокойством ожидали ответа, но тщетно. Ответа не было. Египтянин покраснел и понурил голову. Никогда торжество не было столь полным, никогда поражение не было столь горьким. Я не вынес убитого вида мумии. Я схватил шляпу, сухо поклонился графу и ушел.

Я пришел домой в четыре часа и тотчас же улегся спать. Теперь десять утра. Я встал в семь часов утра и написал эти воспоминания на поучение

моей семье и человечеству. От семьи я отказываюсь. Моя жена ведьма. По правде сказать, мне смертельно надоела эта жизнь, да и вообще двадцатый век. Я убежден, что все идет как нельзя хуже. К тому же мне хочется знать, кто будет президентом в 2045 году. Итак, побрившись и проглотив чашку кофе, отправлюсь к Поннонне-ру и велю забальзамировать себя на двести лет.

Могущество слов

Ойнос[140]. Прости, Агатос, слабость духа, едва окрыленного бессмертием!

Агатос[141]. Ты ничего не сказал, милый Ойнос, за что нужно было бы просить прощения. Даже и здесь знание не является следствием простого созерцания. Что касается мудрости, ты можешь смело спрашивать о ней у ангелов, она тебе может быть дана!

Ойнос. Но мне думалось, что в этом существовании я сразу узнаю обо всем и, таким образом, сразу сделаюсь счастливым, все узнавши.

Агатос. О, счастье заключается не в знании, а в приобретении знания! С каждым мигом снова познавая, мы с каждым мигом снова получаем благословение. Но знать все — это было бы проклятием дьявола.

Ойнос. Но Всевышний, разве Он не все знает?

Агатос. Это, только это *одно* должно еще оставаться неизвестным даже и для Него, ибо Он

---

[140] Примечания: 140
Вино (*гр.*).

[141] Примечания: 141
Идеальный человек (*гр.*).

Всеблаженный.

Ойнос. Но если мы ежечасно умножаем наши познания, ведь, в *конце концов*, все будет известно!

Агатос. Взгляни вниз в эти бездонные пространства! — постарайся проникнуть взором через многочисленные сонмы звезд, пока мы медленно скользим среди них, вот так — и так — и так! Ты видишь, что даже и духовное зрение везде задерживается беспрерывно тянущимися золотыми оплотами вселенной! — оплотами, состоящими из мириадов светящихся тел, самое число которых явилось для того, чтобы слиться в одно целое!

Ойнос. Я вижу ясно, что бесконечность материи не сон.

Агатос. В Эдеме *нет* снов — но здесь шепотом говорят, что *единственное* назначение бесконечности материи — это быть бесконечными источниками, где душа могла бы утолять свою жажду *знать*, которая навеки неугасима в ней — ибо угасить ее, значило бы уничтожить самую жизнь души. Спрашивай же меня, милый Ойнос, без колебаний и без опасений. Устремимся вперед! Оставим по левую сторону громкую гармонию Плеяд*, и проскользнем через толпу

светил в звездные луга, за пределы Ориона, где вместо фиалок и веселых глазок и троицына цвета протянулись гряды трояких и трехцветных солнц*.

Ойнос. А теперь, Агатос, покуда мы движемся вперед, просвещай меня! — говори мне знакомыми звуками земного языка! Я не понял, на что ты сейчас намекнул мне, говоря о способах и методах того, что, во время нашей смертности, мы привыкли называть Мирозданием. Ты хочешь сказать, что Создатель не Бог?

Агатос. Я хочу сказать, что Божество не создает.

Ойнос. Объясни!

Агатос. Только вначале Оно создавало*. Видимые создания, которые теперь так беспрерывно возникают к жизни во вселенной, могут быть рассматриваемы лишь как косвенные или посредственные, не как прямые или непосредственные результаты Божественной творческой силы.

Ойнос. Среди людей, милый Агатос, эта мысль показалась бы до крайности еретической.

Агатос. Среди ангелов, милый Ойнос, она кажется простою истиной.

Ойнос. Я могу понять тебя в таком смысле, что

известные действия того, что мы именуем Природой или законами природы, заставляют, при известных условиях, возникать то, что имеет все *видимые черты* создания. Незадолго пред окончательным крушением земли были, я хорошо помню, неоднократные и очень успешные опыты того, что́ некоторыми философами довольно несправедливо было названо созданием микроскопических существ.

Агатос. То, что ты говоришь, является в действительности примером вторичного создания, примером *единственного* вида зиждительного процесса, когда-либо возникавшего с тех пор как первое слово, будучи сказано, вызвало к жизни первый закон.

Ойнос. А эти звездные миры, что, вспыхивая из бездны небытия, ежечасно обрисовываются на небесах — эти звезды, Агатос, разве не являются непосредственным творением Царя?

Агатос. Позволь мне, милый Ойнос, шаг за шагом привести тебя к представлению, которое я разумею. Ты хорошо знаешь, что как ни одна мысль не может погибнуть, так нет и ни одного действия, которое бы не было сопряжено с бесконечным результатом. Так, например, когда мы были жителями земли, мы двигали руками

и этим самым сообщали вибрацию окружавшей нас атмосфере. Эта вибрация бесконечно распространялась, пока она не давала толчок каждой частице земного воздуха, который с тех пор, и *навсегда*, был приведен в состояние деятельности одним движением руки. Этот факт хорошо был известен математикам нашей планеты. Действительно, они подвергли точному вычислению особые эффекты, производимые в жидкости особыми движениями, — так что легко сделалось определить, в какой точный период движение данных размеров может опоясать весь земной шар и (навсегда) оказать свое влияние на каждый атом окружающей атмосферы. Идя обратным путем, они без затруднений определили, по данному эффекту и при данных условиях, размер первоначального движения. Теперь, математики, увидевши, что результаты любого данного толчка были абсолютно бесконечны — увидевши, что известная часть этих результатов точным образом могла быть прослежена с помощью алгебраического анализа — увидевши, кроме того, легкость следования по обратному пути — увидели, в то же самое время, что этот род самого анализа включал в себе возможность бесконечного прогресса — что для его поступа-

тельного движения и для его применимости не было мыслимых границ, исключая тех, которые находились в уме, осуществлявшем и применявшем данный анализ. Но на этом пункте наши математики остановились.



А теперь, Агатос, покуда мы движемся вперед,

просвещай меня!

Ойнос. А почему же, Агатос, они должны были бы идти дальше?

Агатос. Потому что за этим были некоторые соображения глубокой важности. Из того, что́ они знали, можно было вывести, что для существа с бесконечным разумением — для того, перед кем *совершенство* алгебраического анализа было разоблаченным — не было никакого затруднения проследить каждый толчок, данный воздуху — и через воздух перешедший в эфир — до отдаленнейших последствий, отодвинутых в бесконечно далекую эпоху времени. На самом деле, можно доказать, что каждый из таких толчков, *оказавший давление на воздух*, должен, *в конце*, оказать впечатление на каждое индивидуальное существо, находящееся *в пределах вселенной*;– и существо бесконечного разумения — существо, которое мы вообразили — могло бы проследить отдаленные колебания движения — проследить их по всем направлениям, в их влияниях на все частицы всей материи — по разным направлениям, навсегда, в видоизмененных ими старых формах — или, другими словами, *в их создании нового* — до тех пор пока оно не нашло бы их отраженными — *наконец*, невлияющими — от-

кинутыми назад от трона Божества. И не только такое существо могло бы сделать это, но в любую эпоху, раз ему был бы представлен данный результат — если бы, например, его рассмотрению представили одну из этих бесчисленных комет — оно могло бы без затруднения, с помощью обратного аналитического пути, определить, какому первоначальному побуждению она повинуется. Эта власть следования обратным путем в его абсолютной полноте и совершенстве — эта способность отнесения, во *все* эпохи, *всех* действий ко *всем* причинам — является, конечно, преимуществом только Божества — но в каждом видоизменении степени, за пределами абсолютного совершенства, эта власть осуществляется целым множеством Ангельских Разумов*.

Ойнос. Но ты говоришь только о побуждениях, запечатленных в воздухе.

Агатос. Говоря о воздухе, я разумел только землю; но общее положение имеет отношение к побуждениям, запечатленным в эфире — который, так как он проникает, и только он проникает, все пространство, является великим посредником *создания*.

Ойнос. Тогда всякое движение, какого бы то ни было характера, создает?

Агатос. Должно. Но истинная философия издавна научила нас, что источник всякого движения есть мысль — а источник всякой мысли есть…

Ойнос. Бог.

Агатос. Я говорил с тобой, Ойнос, как с ребенком прекрасной Земли, только что погибшей — о побуждениях, запечатленных в атмосфере Земли.

Ойнос. Да.

Агатос. И пока я это говорил, не мелькнула ли в твоем уме какая-нибудь мысль о *физическом могуществе слов*? Не является ли каждое слово побужденьем, влияющим на воздух?

Ойнос. Но почему же ты плачешь, Агатос — и почему, о, почему твои крылья слабеют, когда мы парим над этой прекрасной звездой — самой зеленой и самой страшной изо всех, встреченных нами в нашем полете? Блестящие цветы ее подобны волшебному сну — но свирепые ее вулканы подобны страстям мятежного сердца.

Агатос. Они *то*, что́ ты видишь! они *то* в действительности! Эта безумная звезда — вот уже три столетия тому назад я, стиснув руки, и с глазами полными слез, у ног моей возлюбленной — сказал ее — несколькими страстными словами — дал ей рождение. Ее блестящие цветы *воистину*

есть самый заветный из всех невоплотившихся снов, и беснующиеся ее вулканы *воистину суть* страсти самого бурного и самого оскорбленного из всех сердец.

Демон извращенности

При рассмотрении человеческих способностей и побуждений, — при обсуждении *prima mobilia*[142] человеческой души, френологи* упустили из виду одну наклонность, которая, несмотря на то, что она существует, как чувство коренное, первичное, непревратимое, была, однако, в равной мере просмотрена и всеми моралистами, им предшествовавшими. Повинуясь заносчивости рассудка, они все одинаково просмотрели ее. Ее существование ускользнуло от наших чувств, благодаря нам самим, мы сами не хотели допустить ее существования — у нас не было веры; будь то вера в откровение или в Каббалу. Мысль об этой наклонности никогда не возникала в нашем уме, исключительно в силу того, что она была бы сверхдолжной. Мы не видим *нужды* в таком побуждении — в такой наклонности. Мы были бы не в состоянии постичь ее необходимости. Мы не могли бы понять, т. е., вернее, мы не поняли идеи этого *primum mobile*, хотя оно само всегда навязывалось нам;

---

[142] Примечания: 142
Основные движущие силы (лат.).

мы были бессильны понять, каким образом оно могло споспешествовать каким-нибудь целям человеческого общежития, временным или неизменным. Нельзя отрицать, что френология, а также, в большой мере, и все метафизические знания, были состряпаны *a priori*. Человек разума или логики более, чем человек понимания и наблюдения, притязает на знание намерений Бога — диктует ему задачи. Измерив, таким образом, с чувством собственной услады, помыслы Иеговы, он вывел из этих помыслов свои бесчисленные системы мышления. В сфере френологии, например, мы, прежде всего, установили, и довольно естественно, что, согласно с намерениями Божества, человек должен есть. После этого мы приписали человеку орган чувства питания, орган, являющийся бичом Господним и принуждающий человека есть, во что бы то ни стало. Затем, решив, что это была воля Господа, чтобы человек продолжал свой род, мы открыли орган чувства любви; мы продолжали в этом направлении, и открыли орган чувства страсти к борьбе, чувства идеальности, чувства причинности, чувства художественности, — словом, мы открыли целую систему органов, олицетворяющих известную наклонность, известное моральное чувство,

или какую-нибудь способность чистого разума. И в этом распорядке первичных *побудительных начал* человеческих действий, последователи Шпурцгейма, справедливо или ошибочно, частью или целиком, следовали в принципе лишь по стопам своих предшественников, выводя и устанавляя решительно все из предвзятого представления о судьбе человека, и опираясь на субъективно понимаемые намерения его Творца.

Было бы гораздо разумнее, и гораздо надежнее, создавать классификацию (если уж она необходима) на основании того, что́ человек делал обыкновенно или случайно, и что он делал всегда случайно, нежели на основании того, что, как мы решили, Божество внушает ему делать. Если мы не можем понять Бога в его видимых делах, как можем мы понять его непостижимые помыслы, вызывающие эти дела к бытию? Если мы не можем уразуметь его в созданиях внешних, как можем мы проникнуть в его существенные замыслы или в фазисы его творчества?

Заключение *на основании опыта* должно было бы указать френологии, как на одно из прирожденных и первичных начал человеческих действий, на нечто парадоксальное, что мы мо-

жем назвать *извращенностью*, за недостатком наименования более определительного. В том смысле, как я его понимаю, это, в действительности, *mobile*, лишенное мотива, мотив не *мотивированный*. Повинуясь его подсказываниям, мы поступаем без постижимой цели; или, если это представляется противоречием в терминах, мы можем изменить теорему и сказать следующим образом: повинуясь его подсказываниям, мы поступаем так, а не иначе, именно потому, что рассудок *не* велит нам этого делать. В теории, не может быть рассуждения менее рассудительного; но, в действительности, нет побуждения, которое бы осуществлялось более неуклонно. При известных условиях, и в известных умах, оно абсолютно непобедимо. Я не более убежден в своем существовании, чем в том, что сознание греховности или ошибочности какого-нибудь поступка является нередко непобедимой, и единственной, *силой*, побуждающей нас совершить его. И эта, нависающая тяжелым гнетом, наклонность делать зло ради зла не допускает никакого анализа, никакого разложения на простые элементы. Это — коренное первичное побуждение — стихийное. Я знаю, мне скажут, что, если мы упорствуем в известных поступках в силу того, что мы *не*

должны бы упорствовать в них, наше поведение есть только видоизменение того, что проистекает обыкновенно из *чувства страсти к борьбе*, как его понимает френология. Но одного беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть ложность такой мысли. Френологическое чувство страсти к борьбе необходимо связано, по своей сущности, с представлением о самозащите. Это — наша собственная охрана против несправедливости. Данное чувство имеет в виду наше благополучие; и таким образом одновременно с его развитием в нас возбуждается желание собственного благополучия. Отсюда следует, что желание благополучия неизбежно должно возникать одновременно со всяким побуждением, которое представляет из себя простое видоизменение чувства страсти к борьбе; но при возникновении того неопределенного ощущения, которое я называю *извращенностью*, желание благополучия не только не пробуждается, но возникает чувство, находящееся с ним в резком антагонизме.

После всего сказанного, лучший ответ на только что замеченный софизм, это — воззвание к собственному сердцу каждого. Ни один человек, если только он пожелает честно и добросовестно вопросить свою собственную душу, не будет

отрицать коренного характера обсуждаемой наклонности. Она столько же непостижима, сколько очевидна. Всякий, например, в тот или иной период, испытывал положительное и серьезнейшее желание мучить своего собеседника пространными околичностями. Говорящий прекрасно знает, что он возбуждает неприятное чувство; он самым искренним образом желает нравиться; обыкновенно он говорить кратко, точно и ясно; самая отчетливая и лаконическая речь вертится у него на уме; он с большим трудом сдерживает себя, чтобы она не вырвалась; он боится вызвать гнев в том, к кому он обращается; он стал бы сожалеть о таком чувстве; но у него быстро возникает мысль, что известными вводными предложениями и различными фразами в скобках этот гнев мог бы быть возбужден. Этой одной мысли достаточно. Побуждение вырастает в желание, желание в хотение, хотение в непобедимое влечение, и это влечение проявляется внешним образом (к глубокому сожалению и прискорбию говорящего, и несмотря ни на какие последствия).

Перед нами задача, которую мы должны немедленно разрешить. Мы знаем, что всякая отсрочка губительна. Важнейший жизненный кризис

трубным звуком призывает нас к немедленной деятельности и к неукоснительной энергии. Мы сгораем от нетерпения, нас снедает желание поскорее начать необходимое, вся наша душа воспламенена предчувствием блестящих результатов. Нужно поскорее, поскорее, сегодня же, начать работу, и, однако, мы откладываем ее до завтра; почему? Ответа нет; разве что мы испытываем нечто *извращенное* — употребляя слово без понимания основного принципа. Приходит *завтра*, и вместе с ним самое беспокойное нетерпеливое желание приступить к исполнению обязанностей, но наряду с этим увеличением нетерпеливой тревоги приходит также неизъяснимая жажда отсрочки, чувство положительно страшное, ибо оно непостижимо. Мгновенья бегут, и это жадное чувство растет. Вот уже настал последний час, нужно действовать. Мы содрогаемся от бешенства противоречия, борющегося в нас — от борьбы между определенным и туманным — между существенным и тенью. Но если борьба зашла уже так далеко, бороться напрасно — побеждает тень. Бьет час, и это — погребальный звон, возвещающий о гибели нашего блаженства. В то же время, это — крик петуха для привидения, которое так долго властвовало над

нами. Оно бледнеет — исчезает — мы свободны. Прежняя энергия возвращается. *Теперь* мы будем работать. Увы, *слишком поздно!*

Мы стоим на краю пропасти. Мы глядим в бездну — у нас кружится голова — нам дурно. Наше первое движение отступить от опасности. Непонятным образом мы остаемся. Мало-помалу наша дремота, и головокружение, и ужас, сливаются в одно туманное неопределимое чувство. Посредством изменений, еще более незаметных, это туманное чувство принимает явственные очертания, подобно тому как в Арабских Ночах из бутылки изошли испарения, а из них возник дух. Но из этих *наших* туманов, ползущих над краем пропасти, возникает до осязательности форма гораздо более страшная, чем всякий сказочный дух, всякий демон, и, однако, это не более, как мысль, но мысль ужасающая, охватывающая нас холодом до глубины души, проникающая нас всецело жестокой усладой своего ужаса. Нами овладевает весьма простая мысль: «А что, если бы броситься вниз с такой высоты? Что испытали бы мы тогда?» И мы страшно хотим этого полета — этого бешеного падения — именно потому, что оно связано с представлением о самой ужасной и самой чудовищной смерти, о самых ненавистных

пытках, какие когда-либо возникали в нашей фантазии; и так как наш разум властно отталкивает нас от края бездны, *именно поэтому* мы приближаемся к ней еще более стремительно. Среди страстей нет страсти более дьявольской и более нетерпеливой, чем та, которую испытывает человек, когда, содрогаясь над пропастью, он хочет броситься вниз. Позволить себе, хотя на одно мгновенье, *думать*, — означает неминуемую гибель; ибо размышление велит нам воздержаться, и *потому-то*, говорю я, мы *не можем*. Если около нас не случится дружеской руки, которая бы нас схватила, или если мы не успеем внезапным усилием откинуться от пропасти назад, мы уже погибли, мы падаем.

Рассматривая такие явления с различных сторон, мы всегда поймем, что они продиктованы исключительно духом *извращенности*. Совершая такие поступки, мы совершаем их в силу сознания, что мы *не* должны так поступать. Вне этого или за этим не скрывается никакого, доступного для пониманья побуждения; и мы могли бы на самом деле считать такую извращенность прямым искушением дьявола, если бы не знали, что иногда она приводит к благим результатам.

Я говорил так много, чтобы хотя сколько-

нибудь ответить вам на ваш вопрос — чтобы объяснить, почему я здесь — представить вам хотя слабую видимость причины, объясняющей, почему я ношу эти кандалы и нахожусь в камере осужденных. Если бы я не был так пространен, вы или совсем не поняли бы меня, или, как весь этот подлый сброд, сочли бы меня сумасшедшим. Теперь же вы можете легко заметить, что я являюсь одной из несосчитанных жертв Демона Извращенности.

Невозможно, чтобы какой-нибудь поступок мог быть совершен с большей обдуманностью и осмотрительностью. Недели, месяцы я размышлял о средствах убийства. Я отверг тысячу планов, потому что их исполнение включало в себя *возможность* разоблачения. Наконец, читая какие-то французские мемуары, я нашел рассказ о болезни, почти смертельной, которая приключилась с m-me Пило, благодаря действию свечки, случайно отравленной. Мысль об этом сразу овладела моей фантазией. Я знал, что старик — моя жертва — имел обыкновение читать в постели. Я знал, кроме того, что его спальня представляла из себя маленькую комнату с плохой вентиляцией. Но зачем я буду обременять вас всеми этими нелепыми подробностями.

Мне нет надобности описывать весьма несложные уловки, с помощью которых я заменил в его подсвечнике свечу, бывшую там, восковой свечей своего собственного приготовления. На следующее утро он был найден мертвым в своей постели, и постановление судебного следователя гласило: «Умер, посещенный Богом»[143].

Я получил в наследство состояние старика, и все шло прекрасно в течение нескольких лет. Мысль о разоблачении ни разу не приходила мне на ум. С остатками роковой свечи я сам распорядился тщательнейшим образом. Я не оставил ни малейших следов, с помощью которых возможно было бы обвинить меня в преступлении, или хотя бы подвергнуть подозрению. Невозможно представить себе, какое роскошное чувство удовлетворения возникало в моей груди, когда я размышлял о своей полной безопасности. В течении очень долгого периода времени я постепенно приобретал привычку упиваться этим чувством. Оно доставляло мне более действительное наслаждение, чем все чисто мирские выгоды, которыми я был обязан своему греху. Но, в конце концов, настало время, когда это

[143] Примечания: 143
Скоропостижная смерть — формула английского судопроизводства.

приятное ощущение, мало-помалу и совершенно незаметно, превратилось в назойливую и мучительную мысль. Она была мучительна, потому что она назойливо преследовала меня. Я едва мог освободиться от нее хотя бы на мгновенье. Очень часто случается, что наш слух или, вернее, нашу память таким образом преследует какой-нибудь надоедливый мотив, какая-нибудь шаблонная песенка или ничтожный обрывок из оперы. Мучительное ощущение не может в нас уменьшиться, если песня сама по себе прекрасна, или оперная ария достойна похвалы. Таким образом, я, в конце концов, стал беспрерывно ловить себя на размышлениях о моей безопасности, и на повторении тихим чуть слышным голосом двух слов, «Я спасен!».

Однажды, бродя по улицам, я поймал себя на этом занятии: вполголоса я бормотал свое обычное «Я спасен». В порыве капризной дерзости я повторил эти слова, придав им новую форму — «Я спасен — я спасен — лишь бы только я не был настолько глуп, чтобы открыто сознаться!»

Едва я выговорил эти слова, как почувствовал, что холод охватил меня до самого сердца. У меня была некоторая опытность насчет этих порывов извращенности (природу которых я несколько

затруднялся объяснить), и я прекрасно помнил, что никогда не мог с успехом сопротивляться таким припадкам; и теперь мое собственное нечаянное самовнушение, что я мог бы иметь глупость открыто сознаться в преступлении, встало лицом к лицу со мной, как будто самый дух того, кто был мной убит — и, кивнув, поманило меня к смерти.

В первое мгновенье я сделал усилие стряхнуть с себя этот кошмар. Я быстро пошел вперед, скорее, еще скорее, и, наконец, побежал. Я испытывал бешеное желание кричать. Каждая новая волна мысли последовательно ложилась на меня новым ужасом, — увы, я хорошо, слишком хорошо, понимал, что *думать* в моем положении означало погибнуть. Я все ускорял свои шаги. Я прыгал, как сумасшедший, в толпе прохожих. Наконец, чернь встревожилась и устремилась за мной в погоню. *Тогда* я почувствовал, что судьба моя завершилась. Если б я мог вырвать свой язык, я бы вырвал его — но чей-то голос грубо прозвучал над моим ухом — чья-то рука еще более грубо схватила меня за плечо. Я обернулся — я чувствовал, что задыхаюсь. В течение мгновенья я испытывал все пытки удушья; я был ошеломлен, я ослеп, я оглох; и затем какой-то невидимый

демон, подумал я, ударил меня по спине своей широкой ладонью. Тайна, которую я так давно удерживал, вырвалась из моей души.

Они рассказывают, что я говорил совершенно отчетливо, но с видимой резкостью и неудержимой стремительностью, как бы опасаясь, что кто-нибудь вмешается, прежде чем я закончу этот краткий, но исполненный такой значительности, рассказ, отдававший меня во власть палача и ада.

Сообщив все, что было необходимо, для того чтобы вполне убедить правосудие, я упал, и без чувств распростерся на земле.

Но что мне еще сказать? Сегодня я закован в цепи и нахожусь *здесь*. Завтра я буду на свободе — *но где?*

Факты о случае с господином Вальдемаром

Я ничуть не удивляюсь, что необычайное происшествие с мистером Вальдемаром наделало столько шума. Было бы чудом, если бы этого не случилось — особенно при данных обстоятельствах. Несмотря на желание всех заинтересованных лиц скрыть это дело от публики, по крайней мере на время, до более обстоятельного исследования, несмотря на все наши старания в этом смысле, — искаженные или преувеличенные слухи о нем распространились и послужили источником разных нелепостей, и в то же время, естественно, возбудили недоверие.

Это обстоятельство заставляет меня сообщить факты, насколько они известны мне самому. Вот они вкратце.

В последние три года я много занимался месмеризмом*, а месяцев девять тому назад мне совершенно внезапно пришло в голову, что в массе опытов, производившихся до сих пор, есть поразительное и непонятное упущение: до сих пор никто не был месмеризован in articulo

mortis[144]. Интересно было бы узнать, во-первых, доступен ли такой пациент месмерическому влиянию; во-вторых, если доступен, то усиливается ли оно или ослабляется при данных условиях; в-третьих, до какой степени и как долго разрушительная деятельность смерти может быть задержана месмерическим состоянием? Можно бы было выяснить и различные другие вопросы, но вышеперечисленные особенно интересовали меня; главным образом последний ввиду его важного значения.

Раздумывая, где бы найти подходящего пациента, я вспомнил о своем приятеле, мистере Вальдемаре, известном составителе компиляций для «Bibliotheca Forensica»[145] и переводчике (под псевдонимом Иссахара Маркса) «Валленштейна»* и «Гаргантюа»*. Мистер Вальдемар, проживавший с 1839 года главным образом в Гарлеме, в штате Нью-Йорк, замечателен (точнее, был замечателен) своей крайней худобой — ноги у него не толще, чем у Джона Рандольфа*. Другая замечательная особенность его наружности — совершенно седые, белые усы, представлявшие

[144] Примечания: 144
В состоянии агонии (*лат.*).

[145] Примечания: 145
Судебная библиотека (*лат.*).

резкий контраст с черными как смоль волосами, так что многие воображали, что он носит парик.

Крайняя нервность делала его весьма подходящим субъектом для месмерических опытов. Раза два или три я усыплял его без всяких затруднений, но совершенно разочаровался в результатах. Воля его никогда не подчинялась вполне моему контролю; а в отношении ясновидения опыты оказались совершенно неудачными. Я приписывал эти неудачи его расстроенному здоровью. За несколько месяцев до нашего знакомства врачи определили у него чахотку. Впрочем, он совершенно спокойно говорил о близкой кончине как о неизбежном событии, которого нельзя отклонить и о котором не стоит горевать.

Когда вышеупомянутая идея пришла мне в голову, я, естественно, вспомнил о Вальдемаре. Я слишком хорошо знал его философские взгляды, чтобы опасаться каких-либо предрассудков с его стороны; а родственников у него не было, по крайней мере в Америке. Итак, я решился поговорить с ним вполне откровенно. К удивлению, он отнесся к моему плану с большим сочувствием и интересом. Я говорю, к удивлению, так как хотя он всегда охотно соглашался на мои эксперименты, но никогда не обнаруживал интереса к

ним. Болезнь его была такого рода, что позволяла точно определить день кончины. Итак, мы решили, что он пришлет за мною за сутки до того момента, когда, по определению врачей, должна будет последовать смерть.

Около семи месяцев тому назад я получил от самого мистера Вальдемара следующую записку:

«Дорогой П. Теперь вы можете явиться. Д. и Ф. говорят, что я умру самое позднее завтра, к полночи; и я думаю, что они довольно точно определили момент моей смерти.

Вальдемар».

Я получил эту записку через полчаса после того, как она была написана, а четверть часа спустя уже находился в комнате умирающего. Я не видал его дней десять и был поражен страшной переменой, происшедшей в такой короткий промежуток времени. Лицо его было свинцового цвета; глаза утратили всякий блеск; худоба дошла до того, что скуловые кости высовывались сквозь кожу. Мокрота душила его. Пульс был почти не заметен. Тем не менее он сохранил в замечательной степени как умственные способности, так и физическую силу. Он говорил ясно, принимал лекарство без посторонней помощи и в момент

моего прихода отмечал что-то в записной книжке. Он полулежал на кровати, опираясь на груду подушек. Доктор Д. и доктор Ф. находились при больном.

Пожав Вальдемару руку, я отозвал этих господ в сторонку и подробно расспросил их о состоянии больного. Левое легкое уже восемнадцать месяцев находилось в состоянии полного окостенения и совсем перестало функционировать; верхняя часть правого тоже почти или вполне окостенела, а нижняя представляла сплошную массу гниющих туберкул. В одном месте она приросла к ребрам; можно было констатировать также значительные прободения. Эти изменения в правом легком произошли сравнительно недавно. Окостенение развивалось стремительно; месяц тому назад ни малейших признаков его не было заметно; а срастание с ребрами произошло в течение последних трех дней. Независимо от чахотки пациент обнаруживал признаки аневризма аорты, но точный диагноз в этом отношении нельзя было поставить вследствие процесса окостенения. По мнению обоих врачей, мистер Вальдемар должен был умереть завтра (в воскресенье) в полночь. Теперь у нас была суббота, семь часов вечера.

Оставляя больного, чтобы поговорить со мной, врачи простились с ним, так как не рассчитывали вернуться. Я, однако, убедил их зайти завтра в десять часов вечера.

Когда они ушли, я заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине и о предполагаемом опыте. Он по-прежнему соглашался на опыт, даже принимал его близко к сердцу и уговаривал меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я затруднялся начинать подобный опыт, не имея под рукой более надежных свидетелей. Итак, я решил подождать и приступил к опыту только на другой день, в восемь часов вечера, когда к больному зашел один мой знакомый студент-медик, мистер Л. Я. хотел было дождаться врачей, но настоятельные просьбы мистера Вальдемара и собственное убеждение, что времени терять нечего, заставили меня решиться.

Мистер Л. был так любезен, что согласился вести протокол опыта, — его заметки я и публикую теперь, местами дословно, местами в сокращенном изложении.

Было без пяти минут восемь, когда я взял пациента за руку и попросил его заявить мистеру Л. как можно яснее, желает ли он (мистер Валь-

демар) подвергнуться месмерическому опыту в своем теперешнем состоянии?

Он отвечал слабым, но совершенно явственным голосом: «Да, я желаю подвергнуться месмеризации», и тотчас прибавил: «Боюсь, что вы запоздаете с опытом».

Между тем я начал пассы, те именно, которые в прежних моих опытах всегда действовали на него. Боковое движение руки вдоль его лба подействовало сразу, но только в первый момент; никаких дальнейших результатов не получилось, хотя я напрягал все свои силы. В десять часов явились доктора Д. и Ф. Я. объяснил им в немногих словах свой план и, так как они ничего не имели против, говоря, что больной уже кончается, продолжал пассы, переменив боковое движение руки на продольное и уставившись в правый глаз больного.

Пульс его был теперь совсем незаметен, дыхание хриплое, с промежутками в полминуты.

Это состояние оставалось почти неизменным в течение четверти часа. Затем глубокий вздох вырвался из груди умирающего, хрипы прекратились, но дыхание еще было заметно с такими же промежутками. Конечности пациента похолодели как лед.

Было без пяти минут одиннадцать, когда я заметил несомненные признаки месмерического влияния. Стеклянный взгляд сменился особенным выражением внутреннего созерцания, которое я замечал только у сомнамбул и насчет которого невозможно ошибиться. Несколько быстрых боковых пассов вызвали дрожание век, как у засыпающего, спустя минуту глаза совсем закрылись. Я, однако, не удовлетворился этим, а продолжал свои манипуляции, напрягая все силы, пока не закоченели члены больного, которым я придал положение, казавшееся мне самым удобным. Ноги были вытянуты во всю длину, руки уложены вдоль тела, на некотором расстоянии от него; голова немного приподнята.

Когда я кончил, была уже полночь. Я попросил врачей освидетельствовать Вальдемара. Они объявили, что больной находится в глубоком месмерическом трансе. Любопытство их было возбуждено. Доктор Д. решил остаться при больном на всю ночь, доктор Ф. ушел, но обещал зайти рано утром. Остались мистер Л., сиделка и служитель.

Мы оставили Вальдемара в покое до трех часов утра, когда я подошел к нему и убедился, что состояние больного ничуть не изменилось с ухода

доктора Ф. Он лежал в той же позе; пульс был незаметен; дыхание очень слабое, его можно было заметить, только прикладывая зеркало к губам, члены окоченевшие, холодные, как мрамор. Но смерть, очевидно, еще не наступила.

Подойдя к больному, я попытался заставить его правую руку двигаться по разным направлениям вслед за моей рукой. Я и раньше пробовал этот опыт, но всегда безуспешно, а теперь и подавно не рассчитывал на успех. Но, к крайнему моему удивлению, рука больного исполняла вслед за моей целый ряд движений, правда, медленно, но послушно. Тогда я решился заговорить с пациентом.

— Мистер Вальдемар, — спросил я, — вы спите?

Он не отвечал, но я заметил, что губы его задрожали, и повторил вопрос несколько раз. После третьего раза легкая дрожь пробежала по его телу, веки приподнялись так, что можно было разглядеть белую линию глазного яблока, губы тихонько зашевелились и произнесли чуть слышным шепотом:

— Да, теперь заснул. Не будите меня! Оставьте умереть в этом состоянии.

Я пощупал конечности, они, как и раньше, ка-

зались окоченевшими. Правая рука по-прежнему следовала за движениями моей руки. Я снова спросил:

— Вы все еще чувствуете боль в груди, мистер Вальдемар?

На этот раз ответ последовал немедленно, но еще более слабым голосом:

— Никакой боли, я умираю.

Я не хотел больше тревожить его и оставил в покое до прихода доктора Ф., который явился на рассвете и был очень удивлен, застав пациента еще в живых. Пощупав ему пульс и приложив к губам зеркало, он попросил меня предложить больному какой-нибудь вопрос. Я послушался и спросил:

— Мистер Вальдемар, вы все еще спите?

Как и раньше, прошло несколько минут, пока умирающий ответил. Казалось, он собирался с силами. Только когда я повторил вопрос в четвертый раз, последовал почти неслышный ответ:

— Все еще сплю — умираю.

Врачи находили нужным — вернее, желали — оставить Вальдемара в этом состоянии, по-видимому спокойном, до самой смерти, которая должна была наступить через несколько минут. Я, однако, решился поговорить с ним еще и по-

вторил прежний вопрос.

Пока я говорил, состояние больного резко изменилось. Веки медленно приподнялись, глаза закрылись, кожа приняла мертвенный вид, побелев как бумага; характерные чахоточные пятна, резко выделявшиеся на щеках, внезапно погасли. Я употребляю это выражение, потому что они исчезли мгновенно, как гаснет свечка, если на нее дунуть. В то же время верхняя губа приподнялась над зубами, нижняя отвисла и рот широко открылся, обнаружив распухший, почерневший язык. Кажется, нам не привыкать было к покойникам, тем не менее при виде этого отвратительного и ужасного зрелища все бросились прочь от кровати.

Теперь я достиг такого пункта в моем рассказе, который, чувствую, возбудит недоверие читателя. Но мне остается только спокойно продолжать.

Тело мистера Вальдемара не обнаруживало ни малейших признаков жизни; и мы уже хотели поручить его попечению сиделки и служителя, как вдруг заметили, что язык покойника дрожит. Это продолжалось с минуту. Затем из разинутых, неподвижных челюстей раздался голос… но всякая попытка описать его была бы безумием. Есть два-три эпитета, которые подходят сюда отчасти:

голос был хриплый, глухой, разбитый; но в целом этот ужасный звук не поддается описанию по той простой причине, что ухо человеческое еще никогда не слыхало подобных звуков. Были, однако, в нем две особенности, которые я считал и считаю наиболее характерными, так как они могут дать некоторое понятие о его нездешнем характере. Во-первых, он достигал наших — по крайней мере, моих — ушей точно издали или из какой-нибудь глубокой подземной пещеры. Во-вторых (не знаю, понятно ли будет это сравнение), он действовал на мой слух, как прикосновение какого-нибудь студенистого липкого тела на кожу.

Я употребляю выражения «звук» и «голос». Я хочу сказать этим, что звук был ясно — даже удивительно отчетливо — членораздельный. Мистер Вальдемар говорил, очевидно, отвечая на вопрос, который я только что предложил ему. Если припомнит читатель, я спрашивал, спит ли он еще. Теперь он ответил:

— Да… нет… я спал… а теперь… теперь… я умер.

Никто из присутствующих даже не пытался преодолеть чувство невыразимого, пронизывающего ужаса, овладевшее нами при этих словах. Л. (студент) лишился чувств. Служитель и сиделка

бросились вон из комнаты.

Свои ощущения я и передавать не пытаюсь. Битый час мы возились — молча, без единого слова, — стараясь привести в чувство мистера Л. Когда он опомнился, мы снова обратились к мистеру Вальдемару.

Тело оставалось совершенно в том же виде, как я его описывал, с той разницей, что зеркало не обнаруживало признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки осталась безуспешной. Отмечу также, что рука его не повиновалась больше моей воле. Я тщетно старался заставить ее следовать за движениями моей руки. Единственным признаком месмерического влияния было дрожание языка, замечавшееся всякий раз, когда я обращался к мистеру Вальдемару с вопросом. По-видимому, он пытался, но не был в силах ответить. Вопросы, предлагаемые другими лицами, по-видимому, не производили на него никакого впечатления, хотя я пытался поставить каждого из присутствующих в месмерическое отношение с ним. Теперь, кажется, я сообщил все, что можно было сказать в эту минуту о состоянии Вальдемара. Мы достали новую прислугу (так как старая ни за что не хотела вернуться), и в десять часов я ушел вместе с врачами и мистером Л.

После обеда мы вернулись к пациенту. Он оставался все в том же положении. Мы стали обсуждать, стоит ли будить его, но скоро согласились, что это совершенно лишнее. Ясно было, что смерть (или то, что обыкновенно называют смертью) остановлена месмерическим процессом. Разбудив мистера Вальдемара, мы только вызвали бы мгновенное или, по крайней мере, быстрое разрушение его тела.

С этого дня до прошлой недели — в течение семи месяцев, — мы ежедневно навещали мистера Вальдемара, иногда в сопровождении других врачей или просто знакомых. Все это время состояние пациента оставалось точно таким, как я описал его. Прислуга постоянно находилась при нем.

В пятницу на прошлой неделе мы решились наконец разбудить его — по крайней мере, сделать попытку в этом направлении. Вот эта-то злополучная (быть может) попытка дала повод таким преувеличенным толкам, к такому, смею выразиться, стихийному возбуждению толпы.

Для пробуждения мистера Вальдемара я прибегнул к обыкновенным пассам. Сначала они оставались недействительными. Первым признаком оживления было опускание радужной

оболочки. Замечу, что это понижение зрачка сопровождалось обильным выделением отвратительного зловонного гноя (из-под век).

Мне посоветовали испытать силу месмерического влияния над рукой пациента, как я делал раньше. Однако попытка не удалась. Тогда доктор Ф. попросил меня предложить пациенту вопрос. Я послушался и спросил:

— Мистер Вальдемар, как вы себя чувствуете? Не нужно ли вам чего?

На мгновение чахоточные пятна снова выступили на щеках, язык дрогнул и высунулся изо рта (хотя челюсти и губы оставались по-прежнему неподвижными), и тот же ужасный голос прохрипел:

— Ради бога!.. скорее!.. скорее!.. усыпите меня… или… скорее!.. разбудите!.. скорее!.. говорю вам, что я умер!

Потрясенный, я не знал, что делать. В первую минуту хотел снова усыпить его, но, потерпев неудачу, принялся снова будить. Это удалось — по крайней мере, я сейчас увидел, что успех будет полный, и уверен, что все присутствующие с минуты на минуту ожидали пробуждения.

Но могла ли хоть одна живая душа предвидеть то, что случилось?

Пока я торопливо производил пассы, а восклицания «умер! умер!» буквально срывались с языка страдальца, — все его тело, на моих глазах, в какую-нибудь минуту съежилось, расползлось, буквально сгнило под моими руками. На постели, перед глазами всех присутствующих, оказалась отвратительная, полужидкая, гнойная масса.



Для пробуждения мистера Вольдемара я прибегнул к обыкновенным пассам

Бочка амонтильядо

Тысячу несправедливостей вытерпел я от Фортунато, как только умел, но, когда он осмелился дойти до оскорбления, я поклялся отомстить. Однако вы, знакомые с качествами моей души, не предположите, конечно, что я стал грозить. Наконец-то я должен быть отомщен; этот пункт был установлен положительно, но сама положительность, с которой он был решен, исключала мысль о риске. Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом оно не отомщено, если мститель не дает почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он.

Поймите же, что ни единым словом, ни каким-либо поступком я не дал Фортунато возможности сомневаться в моем доброжелательстве. Я продолжал, по обыкновению, улыбаться ему прямо в лицо, и он не чувствовал, что теперь я улыбался при мысли об его уничтожении.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях его следовало уважать и даже бояться. Он кичился своим тонким пони-

манием вин. Немногие из итальянцев обладают способностью быть в чем-нибудь знатоками. По большей части их энтузиазм приспособлен к удобному случаю и к известному моменту, чтобы надуть какого-нибудь британского или австрийского миллионера. Что касается картин и драгоценных камней, Фортунато, подобно своим соотечественникам, был шарлатаном, но, раз дело шло о старых винах, искренность его была неподдельна. В этом отношении я не отличался от него существенным образом; я очень навострился в распознавании местных итальянских вин и всегда при первой возможности делал большие закупки.

Случилось, что в сумерки, под вечер, в самом разгаре карнавальных безумств, я встретился со своим другом. Он приветствовал меня сердечнейшим образом, так как, по-видимому, выпил изрядно. Он был одет шутом. На нем был плотно облегавший его наполовину полосатый костюм, а на голове высился колпак с бубенчиками. Как я рад был его видеть! Мне казалось, что я никогда не перестану трясти его руку.

Я сказал ему: «Ах, дорогой мой Фортунато, что за счастливая встреча! Как отлично выглядите вы сегодня! Но я получил бочку вина, будто бы

амонтильядо, и у меня на этот счет сомнения».

— Как? — проговорил он. — Амонтильядо? Целую бочку? Быть не может! В разгар карнавала!

— У меня на этот счет сомнения, — ответил я, — и я был настолько глуп, что заплатил сполна за вино как за амонтильядо, не посоветовавшись на этот счет с вами. Вас нигде нельзя было найти, а я боялся упустить случай.

— Амонтильядо!

— Да, но я не уверен.

— Амонтильядо!

— Я должен разрешить сомнения.

— Амонтильядо!

— Так как вы куда-то приглашены, я пойду отыщу Лукези. Если кто-нибудь обладает тонким вкусом — это именно он. Он скажет мне…

— Лукези не может отличить амонтильядо от хереса.

— Представьте, а есть глупцы, которые говорят, что его вкус равняется вашему.

— Ну, идем!

— Куда?

— К вам, в подвалы.

— Нет, друг мой; я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы куда-то приглашены. Лукези…

— Никуда я не приглашен, пойдем!

— Нет, друг мой. Вы никуда не приглашены, но я вижу, что вы страшно прозябли. В подвалах ужаснейшая сырость. Они выложены селитрой.

— А, пустяки! Пойдем! Стоит ли обращать внимание на холод…Амонтильядо! Вас надули; а насчет Лукези могу сказать — он и хереса не отличит от амонтильядо.

Говоря таким образом, Фортунато завладел моей рукой. Я надел черную шелковую маску и, плотно закутавшись в roquelaure[146], позволил ему увлечь себя к моему палаццо.

Никого из прислуги дома не было; все куда-то скрылись, чтобы хорошенько отпраздновать карнавал. Я сказал им, что вернусь домой не ранее утра, и строго-настрого приказал не отлучаться из дому. Этих приказаний, как я прекрасно знал, было совершенно достаточно, чтобы тотчас же по моем уходе все скрылись. Я вынул из канделябров два факела и, давши один Фортунато, направил его через анфиладу комнат до входа, который вел в подвалы. Я пошел вперед по длинной витой лестнице и, оборачиваясь назад, просил его быть осторожнее. Наконец мы достигли последних

---

[146] Примечания: 146
Старинный плащ (*фр.*).

ступеней и стояли теперь на сырой почве в катакомбах фамилии Монтрезор.

Приятель мой шел нетвердой походкой, и от каждого неверного шага звенели бубенчики на его колпаке.

— Ну, где же бочка? — спросил он.

— Дальше, — отвечал я, — но смотрите, вон какие белые узоры на стенах.

Он обернулся ко мне и посмотрел мне в глаза своими тусклыми глазами, подернутыми из-за опьянения.

— Селитра? — спросил он наконец.

— Селитра, — ответил я. — Давно ли вы стали так кашлять?

— Э! э! э! — э! э! э! — э! э! э! — э! э! э! — э! э! э! — Бедняжка несколько минут не мог ответить.

— Ничего, — проговорил он наконец.

— Нет, — сказал я решительно, — пойдемте назад; ваше здоровье драгоценно. Вы богаты, перед вами преклоняются, вас уважают, вас любят; вы счастливы, как я был когда-то. Вас потерять — это была бы большая потеря. Вот я — дело другое. Пойдемте назад; вы захвораете, и я не хочу принимать на себя такую ответственность. Да кроме того, ведь Лукези…

— Довольно! — сказал он. — Кашель это пустя-

ки, я от него не умру. Кашель меня не убьет.

— Верно, вот это верно! — отвечал я. — И правда, я не имел намерения беспокоить вас понапрасну, но вы должны были бы принять меры предосторожности. Вот медок, достаточно будет глотка, чтобы предохранить себя против сырости.

Я отбил горлышко у одной из бутылок, лежавших длинным рядом на земле.

— Выпейте-ка! — сказал я, предлагая ему вино.

Он устремил на меня косвенный взгляд и поднес вино к губам. Затем, помедлив, он дружески кивнул мне головой, и его бубенчики зазвенели.

— Пью, — проговорил он, — за усопших, которые покоятся вокруг нас.

— А я за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

— Обширные подвалы, — проговорил он.

— Монтрезоры, — отвечал я, — представляли из себя семью обширную и многочисленную.

— Я забыл ваш герб.

— Громадная человеческая нога из золота на лазурном фоне; нога давит извивающуюся змею, которая своими зубами вцепилась ей в пятку.

— И девиз?

— «Nemo te impune lacessit»[147].

— Отлично, — проговорил он.

Вино искрилось в его глазах, и бубенчики звенели. Мысли мои тоже оживились; медок оказывал свое действие. Проходя мимо стен, состоящих из нагроможденных костей вперемежку с бочками и бочонками, мы достигли крайних пределов катакомб. Я остановился снова и на этот раз осмелился взять Фортунато за руку, повыше локтя.

— Смотрите, — проговорил я, — селитра все увеличивается. Вон она висит, точно мох. Мы теперь под руслом реки. Капли сырости просачиваются среди костей. Уйдемте, вернемтесь, пока не поздно. Ваш кашель…

— Это все пустяки, — сказал он, — пойдемте вперед. Но сперва еще один глоток вина. Где тут ваш медок?*

Я взял бутылку Vin de Graves[148] и, отбив горлышко, подал ему. Он осушил ее всю сразу. Глаза его загорелись диким огнем. Он начал хохотать и бросил бутылку вверх с жестом, значения которого я не понял.

Я посмотрел на него с удивлением. Он повторил

---

[147] Примечания: 147
Никто не оскорбит меня безнаказанно *(лат.).**

[148] Примечания: 148
Вино из Грава (фр.).*

движение — очень забавное.

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет, — отвечал я.

— Так вы, значит, не принадлежите к братству?

— Какому?

— Масонов.

— Нет, я каменщик, — сказал я.

— Вы? Не может быть! Вы — вольный каменщик?*

— Да, да, — ответил я, — да, да!

— Знак! — проговорил он.

— Вот он! — отвечал я, высовывая небольшую лопату из-под складок своего roquelaure.

— Вы шутите! — проговорил он, отступая на несколько шагов. — Но давайте же ваше амонтильядо.

— Да будет так! — сказал я, пряча лопату под плащ и снова предлагая ему свою руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали наш путь в поисках амонтильядо. Мы прошли целый ряд низких сводов, спустились, сделали еще несколько шагов, опять спустились и достигли глубокого склепа, в нечистом воздухе которого наши факелы скорее тлели, нежели светили.

В самом отдаленном конце склепа виднел-

ся другой склеп, менее обширный. Стены его были окаймлены человеческими останками, нагроможденными до самого свода, наподобие великих катакомб Парижа*. Три стороны этого второго склепа были украшены таким же образом. С четвертой же кости были сброшены, они в беспорядке лежали на земле, образуя в одном месте таким образом насыпь. В стене, освобожденной от костей, мы заметили еще новую впадину, четыре фута в глубину, три в ширину и шесть или семь в вышину. По-видимому, она не была предназначена для какого-нибудь особого употребления, но представлялась промежутком между двумя огромными подпорами, поддерживающими своды катакомб, и примыкала к одной из главных стен, выстроенных из плотного гранита.

Напрасно Фортунато, поднявши свой оцепенелый факел, пытался проникнуть взглядом в глубину этой впадины. Слабый свет не позволял нам различить ее крайние пределы.

— Идемте, — сказал я, — вот здесь амонтильядо! А что касается Лукези…

— Он невежда, — прервал меня мой друг, неверными шагами устремляясь вперед, между тем как я шел за ним по пятам. Вдруг он достиг конца

ниши и, натолкнувшись на стену, остановился в тупом изумлении. Еще мгновение — и я приковал его к граниту. На поверхности стены были две железные скобки, на расстоянии двух футов одна от другой, в горизонтальном направлении. С одной из них свешивалась короткая цепь, с другой — висячий замок. Обвить Фортунато железными звеньями за талию и запереть цепь — было делом нескольких секунд. Он был слишком изумлен, чтобы сопротивляться. Вынув ключ, я отступил на несколько шагов из углубления.

— Проведите рукой по стене, — проговорил я, — вы не можете не чувствовать селитры. Действительно, здесь очень сыро. Позвольте мне еще раз умолять вас вернуться. Нет? Ну, так я положительно должен оставить вас. Однако предварительно я должен выказать вам все внимание, каким только могу располагать.

— Амонтильядо! — выкрикнул мой друг, еще не успев оправиться от изумления.

— Точно, — ответил я, — амонтильядо.

Произнеся эти слова, я приступил к груде костей, о которых говорил раньше. Отбросив их в сторону, я вскоре открыл некоторое количество песчаника и известкового раствора. С помощью этих материалов, а также с помощью моей лопа-

ты я живо принялся замуровывать вход в нишу.

Едва я окончил первый ряд каменной кладки, как увидел, что опьянение Фортунато в значительной степени рассеялось. Первым указанием на это был глухой, жалобный крик, раздавшийся из глубины впадины. То не был крик пьяного человека. Затем последовало долгое и упорное молчание. Я положил второй ряд камней, и третий, и четвертый; и тогда я услышал бешеное потрясение цепью. Этот шум продолжался несколько минут, и, чтобы слушать его с большим удовлетворением, я на время прекратил свою работу и уселся на костях. Когда наконец резкое звяканье умолкло, я снова взялся за лопату и без помехи окончил пятый, шестой и седьмой ряд. Стена теперь почти восходила в уровень с моей грудью. Я сделал новую остановку и, подняв факелы над каменным сооружением, устремил несколько слабых лучей на фигуру, заключенную внутри.



Обвить Фортунато железными звеньями за талию и запереть цепь — было делом нескольких секунд

Целый ряд громких и резких криков, внезапно вырвавшихся из горла прикованного призрака, со страшной силой отшвырнули меня назад. На миг меня охватило колебание — мной овладел трепет. Выхватив шпагу, я начал ощупывать ею углубление; но минута размышления успокоила меня. Я положил свою руку на плотную стену катакомб и почувствовал полное удовлетворение. Я снова приблизился к своему сооружению. Я отвечал на вопли кричавшего. Я был ему как эхо — я вторил ему, — я превзошел его в силе и продолжительности воплей. Да, я сделал так, и крикун умолк.

Была уже полночь, и работа моя близилась к концу. Я довершил восьмой ряд, девятый и десятый. Я окончил часть одиннадцатого и последнего; оставалось только укрепить один камень и заштукатурить его. Я поднимал его с большим усилием; я уже почти пригнал его к должному положению. Но тут из углубления раздался сдержанный смех, от которого дыбом встали волосы на моей голове. Потом послышался печальный голос, и я с трудом узнал, что он принадлежит

благородному Фортунато. Голос говорил:

— Ха! ха! ха! хе! хе! Вот славная шутка — действительно, это шутка. Посмеемся же мы над ней, когда будем в палаццо. Да! да! Славное винцо! Да! да!

— Амонтильядо! — сказал я.

— Хе! хе! хе! Да, амонтильядо! Но как вы думаете, не поздно теперь? Пожалуй, нас ждут в палаццо, синьора Фортунато и все другие? Пойдем!

— Да, — сказал я, — пойдем.

— Во имя Бога, Монтрезор!

— Да, — сказал я, — во имя Бога!

Но на эти слова я тщетно ждал ответа. Мной овладело нетерпение. Я громко позвал:

— Фортунато!

Никакого ответа. Я позвал опять:

— Фортунато!

Никакого ответа. Я просунул один факел через отверстие, оставшееся незакрытым, и бросил его в углубление. Оттуда только зазвенели бубенчики. Сердце у меня сжалось — в катакомбах было так душно. Я поспешил окончить свою работу. Я укрепил последний камень; я заштукатурил его. Против новой кладки я воздвиг старую стену из костей. Прошло полстолетия, и ни один смерт-

ный не потревожил их. In pace reauiescat![149]

[149] Примечания: 149
Да почиет в мире! (*лат.*).

Коттедж Лэндора
Параллель к «Поместью Аргейм»

Во время одного из моих странствий пешком, последним летом, по речным областям Нью-Йорка, я несколько сбился с дороги, а день уже склонялся к западу. Местность была удивительно волнообразная; и, стараясь держаться в долинах, я так долго кружился, за последний час, что не знал более, в каком направлении находится прелестное селение Б., где я решил переночевать. Солнце, строго говоря, едва *светило* в продолжение дня; но, несмотря на это, воздух был до неприятности теплым. Дымный туман, похожий на туман «индейского лета»*, окутывал все кругом, и, конечно, еще более усиливал мою неуверенность. Не то, чтобы я очень беспокоился об этом. Если бы я, до заката или даже до наступления ночи, не пришел в селение, было более чем возможно, что я скоро мог набрести на какую-нибудь небольшую голландскую ферму, или на что-нибудь в этом роде, хотя, по правде сказать, окрестная местность (быть может, оттого, что она была не столько плодородной, сколько жи-

вописной) была очень слабо заселена. Во всяком случае, бивуак на открытом воздухе, с дорожной сумкой вместо подушки, и с собакой, как с часовым, представлял из себя как раз нечто такое, что могло бы весьма позабавить меня. Итак, я весело и бодро шел вперед, предоставив Понто заботиться о моем ружье, пока, наконец, как раз когда я начал смотреть, не являются ли многочисленные небольшие прогалины, шедшие по разным направлениям, путеводным указанием, я был приведен, наиболее заманчивой из них, к проезжей дороге. В этом не могло быть никакого сомнения. Следы легких колес были очевидны; и, несмотря на то, что высокие кустарники и разросшиеся заросли встречались вверху, внизу не было никакого препятствия, хотя бы и для виргиниевской фуры, похожей на гору, для повозки, как я полагаю, наиболее стремящейся в высь. Дорога, однако, не имела никакого сходства с какой-либо из дорог, виденных мною доселе, исключая того, что она проходила через лес, если название «лес» не было слишком пышно в применении к группе этих легких деревьев, и за исключением очевидного следа от колес. Он был лишь слабо заметен, отпечатлевшись на плотной, но приятно влажной поверхности чего-то, походившего более

на зеленый генуэзский бархат, чем на что-либо иное. Это была, конечно, трава, но трава, какую мы обыкновенно видим только в Англии, такая короткая, такая густая, такая ровная, и такая яркая. Ни малейшего постороннего предмета не было в колеях, ни малейшей даже щепочки, или сухой ветки. Камни, некогда загромождавшие путь, были тщательно *положены*, не брошены, по обеим сторонам узкой дороги, таким образом, что они полуопределенно, полунебрежно, и вполне живописно определяли ее границы на грунте. В промежутках везде виднелись роскошные гроздья диких цветов.

Что́ все это означало, я, конечно, не знал. *Искусство* присутствовало здесь несомненным образом, но *это* меня не удивляло, все дороги, в обычном смысле слова, являются произведениями искусства; не могу также сказать, чтобы в данном случае можно было очень удивляться на *избыток* проявлений искусства; все это, по-видимому, было сделано, могло быть сделано *здесь*, с помощью природных «данных» (как они определяются в книгах об устройстве садов-ландшафтов), при незначительной затрате труда и денег. Нет, не количество проявлений искусства, а *характер* их заставил меня сесть на один

из обросших цветами камней и с изумленным восхищением внимательно смотреть, целые полчаса или больше, на эту феерическую аллею. Чем дольше я смотрел, тем более и более для меня становилось очевидным одно: распределением всех этих подробностей заведовал художник, и художник с самым изысканным чувством формы. Приняты были самые тщательные меры, чтобы сохранить должное соответствие между изящным и грациозным, с одной стороны, и *живописным* с другой, в том истинном смысле слова, как понимают это итальянцы. Здесь было очень мало прямых линий, и не было вовсе длинных линий без перерывов. Одинаковый эффект изгиба или краски повторялся почти везде дважды, но не чаще, с какой бы точки ни смотрел наблюдатель. Везде была различность в однообразии. Это было «образцовое произведение», в котором самый прихотливый взыскательный вкус вряд ли мог бы указать на какой-либо недостаток.

Выйдя на эту дорогу, я повернул направо, и теперь, поднявшись, пошел дальше в том же направлении. Путь был такой змеевидный, что, проходя, я ни разу не мог определить его направления более, чем на два или на три шага. Существенным образом характер его был беспе-

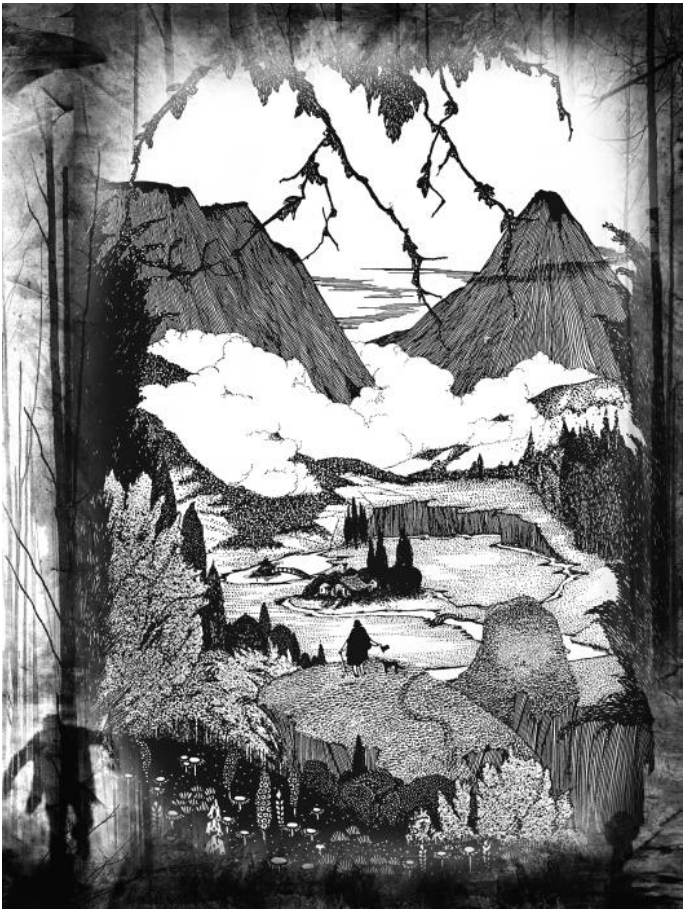
ременным.

Вдруг какое-то журчание мягко проникло в мой слух, и, несколько мгновений спустя, сделав поворот несколько более резкий, чем прежде, я увидел, как раз перед собой, какое-то особенное здание, находившееся у основания небольшой возвышенности. Я ничего не мог ясно рассмотреть, так как вся небольшая долина внизу была захвачена туманом. Теперь, однако, поднялся легкий ветерок, между тем как солнце близилось к закату; и, пока я медлил на вершине склона, туман постепенно рассеивался в отдельные хлопья, и так плыл над всей сценой.

Когда таким образом все совершенно явственно предстало предо мною, *постепенно*, как я это описываю, здесь, отдельное дерево, там, мерцание воды, и здесь опять, верх домовой трубы, я едва мог отрешиться от мысли, что все это не было одной из тех, искусно созданных, иллюзий, которые носят название «туманных картин».

В то время, однако, когда туман рассеялся совершенно, солнце завершило свой путь, зайдя за небольшие холмы, и потом, как бы сделав легкий поворот к югу, снова предстало круглым шаром, блистая темным багрянцем сквозь расщелину, которая вступала в долину с запада. И внезапно,

как бы силою магического мановения руки, вся долина, со всем, что в ней было, сделалась блистательно зримой.



И внезапно… вся долина, со всем, что в ней было, сделалась блистательно зримой

Первый взгляд, который я бросил на возникшую картину, когда солнце, соскользнув, заняло указанное мною положение, произвел на меня очень сильное впечатление, вроде того, как, бывало, еще ребенком, я чувствовал себя взволнованным при заключительной сцене какого-нибудь хорошо устроенного театрального зрелища или мелодрамы. Даже соответственная чудовищность краски была налицо, ибо солнечный свет исходил из расщелины, весь исполненный оранжевых и багряных тонов; а яркая зелень долинной травы более или менее отражалась на всех предметах, от туманной завесы, которая все еще медлила вверху, как будто не желая совсем отойти от сцены, такой чарующе красивой.

Небольшая долина, на которую я, таким образом, смотрел с высоты, из-под свода, сплетенного туманом, не могла простираться более, чем она четыреста ярдов в длину; ширина ее менялась от пятидесяти до полутораста, или, быть может, до двухсот ярдов. Уже всего она была на своем северном краю, как бы открываясь к югу, но без особенно точной правильности. Самая широкая часть ее была в восьмидесяти ярдах от южного

края. Возвышенности, окружавшие долину, за исключением тех, что были на севере, строго говоря, не могли называться горами. Здесь обрывистый слой гранита поднимался до высоты в девяносто футов; и, как я упомянул, долина в этом месте была не более пятидесяти футов в длину; но, по мере того как наблюдатель следовал от этого утеса к югу, он видел, направо и налево, скаты, менее высокие, менее обрывистые, и менее скалистые. Словом, все уклонялось и умягчалось по направлению к югу; и, тем не менее, вся долина была опоясана возвышенностями, более или менее значительными, за исключением двух пунктов. Об одном из них я уже говорил. Он находился довольно далеко на северо-западе, и был там, где солнце, завершая свой путь, как я это описал, зашло в горный полукруг, проходя через четко иссеченную природную расщелину в гранитной массе; эта трещина, насколько глаз мог ее проследить, в самом широком месте простиралась на десять ярдов. Как некое природное шоссе, она, по-видимому, вела все выше, выше, в уединения неисследованных гор и лесов. Другой открытый пункт был прямо на южном конце долины, здесь, вообще, скаты представляли из себя ничто иное, как легкие уклоны, простира-

ющиеся от востока к западу приблизительно на полтораста ярдов. В середине этого пространства было некоторое понижение почвы, в уровень с дном долины. Что касается растительности, также как и всего другого, сцена *умягчалась и уклонялась* к югу. К северу, на скалистом обрыве, в нескольких шагах от края пропасти, высились пышные стволы многочисленных орешников, черных ореховых деревьев, и каштанов, там и сям перемешанных с дубом; развесистые боковые ветви черных ореховых деревьев простирались далеко над краем утеса. Следуя по направлению к западу, наблюдатель видел сначала тот же самый разряд деревьев, только они были все менее и менее высокими, и во вкусе Сальватора*; затем он замечал нечто более нежное — вяз, за ним сассафрас*, и локустовое дерево* — за этими опять нечто более мягкое — липу, катальпу* и клен — и за этими опять еще более изящные и еще более скромные разновидности. Южный склон весь был покрыт лишь дикими кустарниками, и только там и сям виднелись серебристая ива или белый тополь. В глубине самой долины (не нужно забывать, что растительность, до сих пор упомянутая, была только на утесах или склонах холмов) виднелись три отдельные дерева. Одно

— вяз больших размеров и изысканной формы; он стоял стражем над южным входом в долину. Другое — орешник гораздо более развесистый, чем вяз, и вообще дерево гораздо более изящное, хотя оба были красоты необыкновенной; он, по-видимому, охранял северо-западный вход, вырастая из группы каменных глыб, в самой пасти лощины, и устремляя всю свою грациозную форму, под углом градусов в сорок пять, далеко в солнечный свет горного полукруга. Но на восток от этого дерева, приблизительно в тридцати ярдах, высилась истинная гордость долины, и это было, вне всякого сомнения, самое пышное дерево, какое я когда-либо видел, за исключением разве кипарисов Итчиатукани*. Это было троествольное тюльпановое дерево — *Liriodendron tulipiferum* — из разряда магнолий. Три его ствола отделялись от основного футах в трех от почвы и, расходясь мало-помалу, с большой постепенностью, отделялись не более, чем на четыре фута в том месте, где самый широкий ствол раскидывал водопад листвы: это было на высоте приблизительно в восемьдесят футов. Вся высота главного ствола простиралась на сто двадцать футов. По красоте формы или по яркому блеску зелени ничто не может превзойти листов

тюльпанового дерева. В данном случае их ширина простиралась на целых восемь дюймов; но их сияние совершенно затемнялось роскошным блеском пышных цветков. Вообразите, в тесном соединении, миллион самых широких и самых блистательных тюльпанов! Только таким путем читатель может составить какое-нибудь представление о картине, которую я хочу нарисовать. И затем, вообразите стройное изящество чистых, подобных колоннам и усеянных нежными крупинками, стволов, причем в самом большом — четыре фута в диаметре, на расстоянии двадцати футов от земли. Бесчисленные цветы его, смешиваясь с цветками других деревьев, вряд ли менее красивых, хотя бесконечно менее величественных, наполняли долину благовониями, более чем аравийскими.

Весь нижний фон горного полукруга составляла *трава*, отличавшаяся тем же характером, как и трава, которую я увидел на дороге; быть может, только более нежная, более густая, бархатистая, и чудесно-зеленая. Трудно было понять, каким образом вся эта красота была достигнута.

Я говорил о двух расщелинах, входящих в долину. Сквозь одну из них, к северо-западу, проходила речка; тихонько журча и слегка пенясь, она про-

бегала по лощине, пока не ударялась о группу каменных глыб, из которых возвышался одиноко стоявший орешник. Здесь, обогнув дерево, она слегка уклонялась к северо-востоку, оставляя тюльпановое дерево футов на двадцать к югу, и не делая никакого значительного изменения в своем течении, пока не достигала полдороги между восточной и западной границей долины. В этом месте, после целого ряда уклонов, она делала поворот под прямым углом, и принимала общее направление к югу, делая различные извивы в своем движении, пока совершенно не терялась в небольшом озере неправильной формы (грубо-овальной), которое светилось близь нижнего края долины. Это маленькое озеро имело, быть может, сто ярдов в диаметре, в самой широкой своей части. Никакой кристалл не мог быть светлее, чем его воды. Явственно зримое дно все состояло из ослепительно белых камешков. Берега, покрытые уже описанной изумрудной травой, не столько образуя склон, сколько *закругляясь*, уходили в это ясное опрокинутое небо; и *так* ясно было это небо, с таким совершенством оно по временам отражало все предметы, находившиеся над ним, что где кончался настоящий берег и где начинался подражательный, было

весьма трудно решить. Форель, и рыбы некоторых других разновидностей, которыми эта заводь как бы кишела, имели вид настоящих летучих рыб. Было почти невозможно поверить, что они не висят в воздухе. Легкий березовый челнок, мирно покоившийся на воде, до мельчайших своих жилок был отражен, с верностью беспримерной, изысканнейшим гладким зеркалом. Небольшой островок, весь переливающийся цветами в полном расцвете, и как раз настолько просторный, чтобы с некоторым избытком дать место живописному строеньицу, по-видимому, птичнику — выделялся из озера, недалеко от его северного берега — с которым его соединял непостижимо легкий на вид, и в то же время очень первобытный, мост. Это была просто широкая и плотная доска из тюльпанового дерева. Она простиралась на сорок футов в длину, и охватывала пространство от берега до берега легкой, но очень явственной аркой, предупреждающей всякую возможность качания. Из южного края озера исходило продолжение речки, которая, после нескольких излучин, на расстоянии, быть может, тридцати футов, проходила наконец через (описанный) «уклон» в середину южного ската, и, низринувшись с крутого обрыва в сто футов,

незаметно продолжала свой прихотливый путь к Гудсону.

Озеро было глубокое — в некоторых местах на тридцать футов — но речка редко где была глубже, чем на три фута, и в самых широких местах простиралась лишь футов на восемь. Ее дно и берега были такие же, как дно и берега заводи — и если в отношении живописности, им что-нибудь можно было поставить в недостаток, так это избыток *чистоты*.

Пространство зеленого дерна было, там и сям, смягчено отдельными, бросающимися в глаза, порослями, как например, гортензией, или обыкновенной калиной, или душистым чубучником; или, всего чаще, отдельными гроздьями цветов герани, представавших в пышном разнообразии. Эти последние цветы росли в горшках, тщательно скрытых в почве, чтобы дать растению вид местных. Кроме всего этого, бархат луга был изысканным образом усеян множеством овец, которые паслись в долине вместе с тремя ручными ланями, и многочисленными блистательно оперенными утками. Надзор за этими существами, всеми вместе и каждым в отдельности, был, по-видимому, вполне предоставлен огромному дворовому псу.

Вдоль восточных и западных утесов — там, где в верхней части горного полукруга возвышенности были более или менее обрывисты — в большом количестве разрастался плющ — так что лишь там и сям виднелся кусок неприкрытого камня. Северный обрыв, подобным образом, был почти весь одет редкостно пышными виноградными побегами; некоторые из них возникали из почвы у самого основания утеса, другие свешивались с его высоких выступов.

Небольшое возвышение, являвшееся нижней границей этого небольшого поместья, было увенчано стеной из сплошного камня, достаточной высоты, чтобы удержать лань от бегства. Кроме этого, нигде не было видно ничего, похожего на ограду; нигде и не было надобности ни в какой искусственной загородке: если бы какая-нибудь овца, заблудившись, захотела выйти, лощиной, из долины, она, сделав несколько шагов, была бы удержана крутой скалистой стеной, с которой ниспадал поток, обративший на себя мое внимание, когда я только что подошел к поместью. Словом, входить и выходить можно было только через ворота, занимавшие горный проход на дороге, в нескольких шагах ниже от того пункта, где я остановился, чтобы осмотреться.

Я говорил, что речка, на всем своем протяжении, шла очень неправильными извивами. Два ее *главные* направления, как я сказал, шли сперва от запада к востоку, и потом от севера к югу. На *повороте*, течение, уклоняясь назад, делало почти круговую *скобку*, образуя полуостров, *очень* похожий на остров, приблизительно в шестнадцатую долю десятины. На этом полуострове стоял жилой дом — и если я скажу, что этот дом, подобно адской террасе, увиденной Ватеком*, *«était d'une architecture inconnue dans les annales de la terre»*[150], я этим только скажу, что весь его *ensemble* поразил меня самым острым чувством новизны и общей соразмерности — словом, чувством *поэзии* — (ибо вряд ли я мог бы дать более строгое определение поэзии, в отвлеченном смысле, иначе, чем употребив именно эти слова) — и я *не* разумею этим, чтобы хотя в каком-нибудь отношении здесь было что-нибудь *преувеличенное*.

На самом деле, ничто не могло быть более простым — ничто не могло быть до такой степени беспритязательным, как этот коттедж. Чудесное *впечатление*, производимое им, крылось всецело в том, что по художественности своей он был *как*

---

[150] Примечания: 150
Быт архитектуры неведомой в летописях земли (*фр.*).

картина. Смотря на него, я мог бы подумать, что какой-нибудь выдающийся пейзажист создал его своею кистью.

Тот пункт, с которого я сперва увидал долину, был хорош, но он *не был* лучшим для обозрения дома. Я поэтому опишу дом так, как я его увидел позднее — с каменной стены на южном крае горного полукруга.

Главное здание простиралось приблизительно на двадцать четыре фута в длину и на шестнадцать в ширину — никак не больше. Вся его вышина, от основания до верхней точки кровли, не превышала восемнадцати футов. К западному краю строения примыкало другое, приблизительно на треть меньшее в своих размерах — линия его фасада отступала назад на два ярда от фасада бóльшего дома; и его кровля, конечно, была значительно ниже кровли главного строения. Под прямым углом к этим зданиям, и не из заднего фасада главного строения — не вполне в середине — простиралось третье здание, очень маленькое — в общем на треть меньше западного крыла. Кровли двух более значительных построек были очень покатые — они убегали от конька длинной вогнутой линией, и простирались, по крайней мере, на четыре фута за пределы стен фасада, таким

образом, что образовывали кровлю двух галерей. Эти последние кровли, конечно, не нуждались в поддержке; но так как они имели *вид* нуждающихся в ней, легкие и совершенно гладкие колонны были помещены в углах. Кровля северного крыла являлась простым продолжением некоторой части главной кровли. Между главным зданием и западным крылом поднималась очень высокая и скорее тонкая четырехугольная труба из необожженных голландских кирпичей, попеременно то черных, то красных — на верхушке кирпичи выступали легким карнизом. Над щипцом, кровли также выделялись значительным выступом: в главном здании фута на четыре к востоку и фута на два к западу. Главный вход находился в самом большом здании, и помещался не вполне симметрично, несколько отступая к востоку, между тем как два окна отступали к западу. Эти последние не доходили до полу, но были гораздо длиннее и уже обыкновенного — у них было по одной ставне, подобной дверям — стекла имели форму косоугольника, но были очень широки. В самой двери верхняя часть была из стекла, имевшего также форму косоугольников — на ночь они закрывались подвижной ставней. Дверь в западном крыле находилась

около конька, и была совершенно простая. На юг выходило одно окно. В северном крыле не было внешней двери, и в нем было также одно окно, выходившее на восток.

Глухая стена под восточным коньком была смягчена очертаниями лестницы (с балюстрадой), проходившей по ней диагональю — от юга. Находясь под сенью далеко выступающих краев крыши, ступени эти восходили к двери, ведущей на башенку, или вернее на чердак — ибо эта комната освещалась только одним окошком, выходящим на север, и, по-видимому, исполняла роль чулана.

В галереях главного здания и западного крыла не было пола, в обычном смысле; но около дверей и у каждого окна, широкие, плоские, и неправильные, гранитные плиты были вделаны в восхитительный дерн, доставляя удобный проход во всякую погоду. Превосходные дорожки из того же материала — не *беспрерывные*, а с бархатистым газоном, заполняющим частые промежутки между камнями, вели по разным направлениям от дома, к кристальному источнику, находившемуся шагах в пяти, к дороге, и к одному, или к двум надворным строениям, которые находились к северу, за речкой, и были

совершенно скрыты несколькими локустовыми деревьями и катальпами.

Не более чем в шести шагах от главной двери коттеджа стоял сухой ствол фантастического грушевого дерева, так одетый, от вершины до основания, роскошными цветками индийского жасмина, что требовались немалые усилия внимания, чтобы решить, что это за причудливо нежная вещь. С различных веток этого дерева свешивались разнообразные клетки. В одной, сплетенной из ивового прута, с кольцом наверху, потешалась птица-пересмешник; в другой была иволга, в третьей — наглая стрепатка* — а в трех или четырех тюрьмах более тонкого устройства звонко заливались канарейки.

Колонны галереи были перевиты гирляндами жасмина и нежной жимолости, в то время как из угла, образуемого главным строением и западным его крылом, на лицевой стороне рос беспримерно пышный виноград. Презирая всякие задержки, он цеплялся сначала за нижнюю кровлю, потом за верхнюю, и продолжал виться вдоль хребта этой, более высокой, крыши, устремляя свои усики направо и налево, пока, наконец, благополучно не достигал восточного конька, и тут, падая, он тянулся над лестницей.

Весь дом, также как два его крыла, был построен из старомодных Голландских драниц, широких и с незакругленными углами. Свойство этого материала таково, что дома, из него выстроенные, внизу кажутся более широкими, чем вверху, как мы это видим в Египетской архитектуре; и в данном случае это в высшей степени живописное впечатление усиливалось еще многочисленными горшками роскошных цветов, которые почти окружали основание здания.

Драницы были расписаны в темно-серый цвет, и художник легко поймет, в каком счастливом сочетании этот цвет сливался с яркой зеленью тюльпанового дерева, несколько затенявшего коттедж.

С пункта, находившегося близь каменной стены, как описано, здания представали в самом выгодном свете, ибо южно-восточный угол выдавался вперед так, что глаз мог сразу захватить общий вид двух фасадов, с живописным восточным коньком, и в то же самое время мог видеть, как раз достаточную, часть северного крыла, часть нарядной крыши, простиравшейся над теплицей, и почти половину легкого моста, перекинутого через речку, в непосредственной близости от главного строения.

Я не слишком долго оставался на вершине холма, хотя довольно долго для того, чтобы подробным образом осмотреть сцену, бывшую у моих ног. Было ясно, что я сбился с дороги, ведущей к селению, и у меня, таким образом, было отличное извинение путника, чтобы открыть ворота, и на всякий случай осведомиться, куда мне идти; так я, без больших церемоний, и сделал.

Дорога, за воротами, казалось, шла по естественному выступу, простираясь постепенным уклоном вдоль стены северо-восточных утесов. Она привела меня к подножию северного обрыва, и отсюда, через мост, вокруг восточного конька, к двери фасада. Совершая этот переход, я заметил, что надворных строений было совершенно невидно.

Когда я обогнул угол конька, дворовый пес устремился ко мне с видом тигра, хотя и соблюдая суровое молчание. Я, однако, в знак дружбы протянул ему руку, и никогда еще мне не случалось видеть собаку, которая устояла бы от такого призыва к ее вежливости. Пес не только закрыл свою пасть и замахал хвостом, но и безусловно подал мне свою лапу, а потом распространил свою учтивость и на Понто.

Так как звонка нигде не было видно, я постучал

своей палкой в полуоткрытую дверь. Немедленно к порогу приблизилась фигура молодой женщины — лет двадцати восьми — стройной, или скорее тонкой, и несколько выше среднего роста. В то время как она приближалась ко мне, походкой, изобличающей некую *скромную решительность*, совершенно неописуемую, я сказал самому себе: «Вот это, без сомнения, природное *изящество* в противоположность искусственному». Вторичным впечатлением, которое она на меня произвела, и гораздо более сильным, чем первое, было впечатление *энтузиазма*. Никогда до тех пор в сердце моего сердца* не проникало такое напряженное выражение чего-то, быть может, я должен так назвать это, *романического*, или неримского, — как выражение, сверкавшее в ее глубоко посаженных глазах. Я не знаю как, но именно это особенное выражение глаз, иногда сказывающееся в изгибе губ, представляет из себя самое сильное, если не безусловно *единственное*, очарование, возбуждающее во мне интерес к женщине. *«Романическое»*, лишь бы только мои читатели вполне поняли, что́ я разумею здесь под этим словом — «романическое» и «женственное» представляются мне взаимно изменяемыми выражениями, и, в конце концов, что́ человек

истинным образом *любит* в женщине, это именно то, что она *женщина*. Глаза Энни (я услышал, как кто-то из комнат сказал ей: «Энни, милая!») были «духовно-серого цвета», волосы у нее были светло-каштановые; это все, что я успел в ней заметить.

С изысканнейшей любезностью она попросила меня войти, и я прошел, прежде всего, в довольно просторную прихожую. Так как я пришел, главным образом, для того, чтобы наблюдать, я обратил внимание на то, что с правой моей стороны было окно, с левой — дверь, ведущая в главную комнату, а прямо передо мной *открытая* дверь, через которую я мог рассмотреть небольшую комнату, совершенно таких же размеров, как прихожая, обставленную, как рабочий кабинет, с большим сводчатым окном, выходящим на север.

Пройдя в гостиную, я очутился в обществе *Мистера Лэндора*, ибо таково было его имя, как я узнал впоследствии. Он держал себя очень мило, даже сердечно, но как раз тогда я с гораздо бóльшим вниманием наблюдал обстановку столь интересовавшего меня обиталища, чем внешний вид его хозяина.

Как я теперь видел, северное крыло пред-

ставляло из себя спальню, дверь ее выходила в гостиную. На запад от этой двери было одно окно, с видом на речку. У западной стены гостиной был камин, и в ней была дверь, ведущая в западную пристройку, вероятно в кухню.

Ничто не могло бы сравниться, по строгой простоте, с обстановкой этой гостиной. На полу был толстый двойной ковер, превосходного качества — белый фон, усеянный небольшими круговыми зелеными фигурами. На окнах были занавеси из белоснежной жаконетовой кисеи; они были довольно пышные, и висели *определенно*, быть может, даже до формальности, четкими параллельными складками до полу, *как раз* до полу. Стены были обиты французскими обоями, очень нежными — по серебряному фону пробегала зигзагом бледно-зеленая полоса. Для разнообразия, на этом фоне были прикреплены к стене, без рам, три превосходные жюльеновские литографии* *aux trois crayons*[151]. Один из рисунков представлял из себя нечто восточное по роскоши, или скорее по чувственности; другой представлял из себя «карнавальную сцену», исполненную несравненной зажигательности; третий пред-

[151] Примечания: 151
Тремя мелками (фр.).*

ставлял из себя греческую женскую головку: никогда до тех пор мое внимание не останавливалось на лице столь божественно-прекрасном, и все же с выражением так вызывающе-неопределенным.

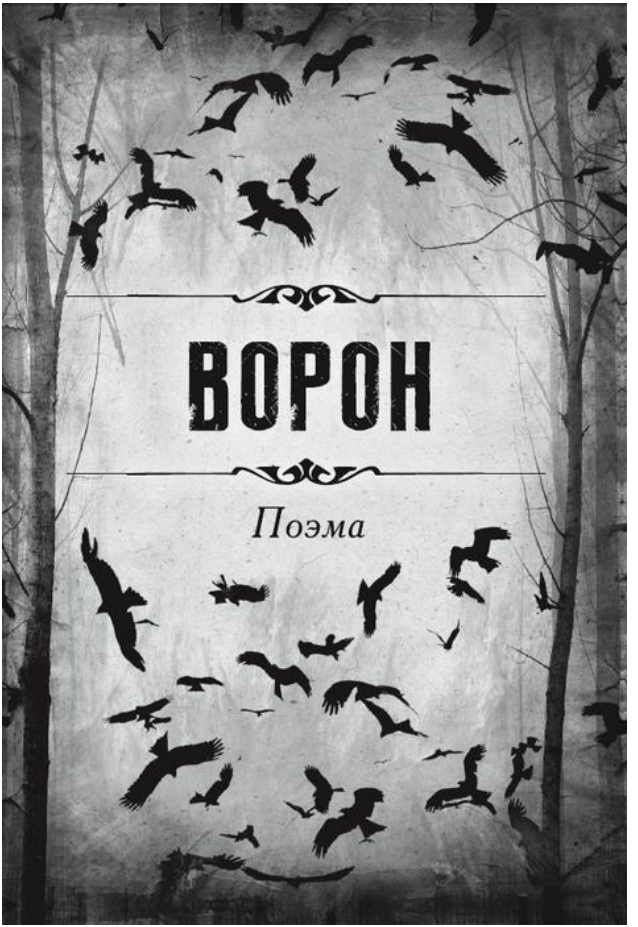
Более существенная часть обстановки состояла из круглого стола, нескольких стульев (включая сюда и большую качалку), и софы, или скорее канапе*; оно было сделано из чистого, как сливки белого, клена, слегка пересеченного зелеными полосами; сидение было камышевое. Стулья и стол соответствовали друг другу, но *формы* всего видимо были определены тем же самым умом, который создал «общий план» сада-ландшафта — невозможно было себе представить что-нибудь более изящное.

На столе было несколько книг, широкий, четырехугольный, хрустальный флакон с каким-то новым благоуханием, простая *астральная* (не солнечная), лампа* со шлифованным стеклом, и с итальянским абажуром, и большая ваза с блистательно распустившимися цветами. В сущности, только цветы, роскошные по краскам и нежные по благоуханию, составляли единственное *украшение* комнаты. Камин почти весь был заполнен вазой с яркой геранью. На трехугольной полке,

в каждом из углов комнаты, стояла подобная же ваза, менявшаяся лишь в зависимости от нежной красоты, в ней содержавшейся. Один или два небольшие *букета* украшали доску над камином, и поздние фиалки гроздьями виднелись на открытых окнах.

Задачей моей было дать ничто иное, как подробную картину жилища Мистера Лэндора, так, *как я его нашел*.

Ворон*
Поэма


ВОРОН
Поэма

Стихотворение, принесшее Э. По мировую известность, было впервые опубликовано в газете «Evening Mirror» (Нью-Йорк, 29 января 1845 г.). На русском языке: «Вестник Европы», 1878. № 3 (пер. С. Андреевского). С тех пор публиковалось неоднократно. Насчитывается более трёх десятков переводов на русский язык. Кроме опубликованного в данном издании, наиболее известны переводы Л. Пальмина, Д. Мережковского, В. Брюсова. К. Бальмонта, Бас. Федорова, М. Зенкевича, В. Бетаки, В. Василенко, М. Донского, Н. Голя, В. Топорова и др.



Как-то в полночь, утомленный, я забылся, полусонный,

Над таинственным значеньем фолианта одного;

Я дремал, и все молчало… Что-то тихо прозвучало —

Что-то тихо застучало у порога моего.

Я подумал: «То стучится гость у входа моего —

Гость, и больше ничего».

Помню все, как это было: мрак – декабрь – ненастье выло —

Гас очаг мой – так уныло падал отблеск от него…

Не светало… Что за муки! Не могла мне глубь науки

Дать забвенье о разлуке с девой сердца моего, —

О Леноре, взятой в Небо прочь из дома моего, —

Не оставив ничего…

Шелест шелка, шум и шорох в мягких

пурпуровых шторах —

Чуткой, жуткой, странной дрожью проникал меня всего;

И, смиряя страх минутный, я шепнул в тревоге смутной:

«То стучится бесприютный гость у входа моего —

Поздний путник там стучится у порога моего —

Гость, и больше ничего».

Стихло сердце понемногу. Я направился к порогу,

Восклицая: «Вы простите – я промедлил оттого,

Что дремал в унылой скуке – и проснулся лишь при стуке,

При неясном, легком звуке у порога моего». —

И широ́ко распахнул я дверь жилища моего —

Мрак, и больше ничего.

Мрак бездонный озирая, там стоял я, замирая

В ощущеньях, человеку незнакомых до того;

Но царила тьма сурово средь безмолвия ночного,

И единственное слово чуть прорезало его —

Зов: «Ленора...» – Только эхо повторило мне его —

Эхо, больше ничего...

И, смущенный непонятно, я лишь шаг ступил обратно —

Снова стук – уже слышнее, чем звучал он до того.

Я промолвил: «Что дрожу я? Ветер ставни рвет, бушуя, —

Наконец-то разрешу я, в чем здесь скрыто волшебство —

Это ставень, это буря: весь секрет и волшебство —

Вихрь, и больше ничего».

Я толкнул окно, и рама подалась, и плавно, прямо

Вышел статный, древний Ворон – ста-

рой сказки божество;

Без поклона, смело, гордо, он прошел легко и твердо, —

Воспарил, с осанкой лорда, к верху входа моего

И вверху, на бюст Паллады, у порога моего

Сел – и больше ничего.

Оглядев его пытливо, сквозь печаль мою тоскливо

Улыбнулся я, – так важен был и вид его, и взор:

«Ты без рыцарского знака – смотришь рыцарем, однако,

Сын страны, где в царстве Мрака Ночь раскинула шатер!

Как зовут тебя в том царстве, где стоит Ее шатер?»

Каркнул Ворон: «Nevermore».

Изумился я сначала: слово ясно прозвучало,

Как удар, – но что за имя «Никогда»? И до сих пор

Был ли смертный в мире целом, в чьем жилище опустелом

Над дверьми, на бюсте белом, словно призрак древних пор,

Сел бы важный, мрачный, хмурый, черный Ворон древних пор

И назвался «Nevermore».

Но, прокаркав это слово, вновь молчал уж он сурово,

Точно в нем излил всю душу, вновь замкнул ее затвор.

Он сидел легко и статно – и шепнул я еле внятно:

«Завтра утром невозвратно улетит он на простор —

Как друзья – как все надежды, улетит он на простор...»

Каркнул Ворон: «Nevermore».

Содрогнулся я при этом, поражен таким ответом,

И сказал ему: «Наверно, господин твой с давних пор

Беспощадно и жестоко был постигнут

гневом Рока

И отчаялся глубоко и, судьбе своей в укор,

Затвердил, как песню скорби, этот горестный укор —

Этот возглас: «Nevermore».

И, вперяя взор пытливый, я с улыбкою тоскливой

Опустился тихо в кресла, дал мечте своей простор

И на бархатные складки я поник, ища разгадки, —

Что сказал он, мрачный, гадкий, гордый Ворон древних пор, —

Что хотел сказать зловещий, хмурый Ворон древних пор

Этим скорбным: «Nevermore».

Я сидел, объятый думой, неподвижный и угрюмый,

И смотрел в его горящий, пепелящий душу взор;

Мысль одна сменялась новой, – в креслах замер я суровый.

А на бархат их лиловый лампа свет лила в упор, —

Ах, на бархат их лиловый, озаренный так в упор,

Ей не сесть уж – nevermore».

Чу!.. провеяли незримо, словно крылья серафима —

Звон кадила – благовонья – шелест ног о мой ковер:

«Это Небо за моленья шлет мне чашу исцеленья,

Благо мира и забвенья мне даруя с этих пор!

Дай! – я выпью, и Ленору позабуду с этих пор!»

Каркнул Ворон: «Nevermore».

«Адский дух иль тварь земная, – произнес я, замирая, —

Ты – пророк. И раз уж Дьявол или вихрей буйный спор

Занесли тебя, крылатый, в дом мой, ужасом объятый,

В этот дом, куда проклятый Рок обру-

шил свой топор, —

Говори: пройдет ли рана, что нанес его топор?»

Каркнул Ворон: «Nevermore».

«Адский дух иль тварь земная, – повторил я, замирая, —

Ты – пророк. Во имя Неба, – говори: превыше гор,

Там, где Рай наш легендарный, – там найду ль я, благодарный,

Душу девы лучезарной, взятой Богом в Божий хор, —

Душу той, кого Ленорой именует Божий хор?»

Каркнул Ворон: «Nevermore».

«Если так, то вон, Нечистый! В царство Ночи вновь умчись ты».

Гневно крикнул я, вставая: «Этот черный твой убор

Для меня в моей кручине стал эмблемой лжи отныне, —

Дай мне снова быть в пустыне! Прочь! Верни душе простор!

Не терзай, не рви мне сердца, прочь, умчися на простор!»

Каркнул Ворон: «Nevermore».

И сидит, сидит с тех пор он, неподвижный черный Ворон,

Над дверьми, на белом бюсте, – там сидит он до сих пор.

Злыми взорами блистая, – верно, так глядит, мечтая,

Демон, – тень его густая грузно пала на ковер —

И душе из этой тени, что ложится на ковер,

Не подняться – nevermore».

Перевод А. Жаботинского



Иллюстрация Гюстава Доре

Комментарии

Из сборника «Гротески и арабески»
Метценгерштейн

Впервые опубликован в еженедельнике «The Saturday Courier» (Филадельфия, 1832, 14 января). На русском языке — в журнале «Приложение романов к газете «Свет» (1884, кн. 11).

С. 17. Лютер Мартин (1483–1546) — деятель Реформации в Германии. Основатель лютеранства — крупнейшего направления протестантизма.

Лабрюйер Жан де (1645–1696) — французский писатель, моралист, мастер афористической публицистики. Здесь приводится цитата из его книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688).

Мерсье, в «L'an deux mille quatre cent quarante»… — Речь идёт об утопическом романе «Год две тысячи четыреста сороковой. Сон, которого, возможно, и не было» (1770) французского писателя и драматурга Луи Себастьена *Мерсье* (1740–1814); главный герой романа во сне попадает в Париж будущего, в изображении которого нашли отображения идеи Ж.-Ж. Руссо.

…«нет системы более простой…» — Цитата из

книги английского писателя Исаака Дизраэли (1766–1848) «Достопримечательности литературы» (1823).

Итен Аллен (1738–1789) — участник американской Войны за независимость, глава отряда «Парни с Зеленой горы». Идеи перевоплощения развиваются в его трактате «Разум — единственный оракул человека» (1784).

С. 19. Калигула Гай (12–41) — римский император (с 37 г.) из династии Юлиев — Клавдиев; сумасбродный и развратный деспот. Его стремление к неограниченной власти и требование почестей себе как богу вызвало недовольство сената и преторианских гвардейцев; был убит преторианцами.

МАНУСКРИПТ, НАЙДЕННЫЙ В БУТЫЛКЕ

Впервые опубликован в еженедельнике «Baltimore Saturday Visitor» 19 октября 1833 г. На русском языке — в журнале «Сын Отечества» (1856, сентябрь).

С. 28. Пирронизм — т. е. скептицизм. *Пиррон* (ок. 365–275 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель античного скептицизма.

Кино Филипп (1635–1688) — французский поэт и драматург. «*Атис*» — либретто написанной им

оперы (1676).

С. 29. Батавия — голландское название г. Джакарты в Индонезии до 1949 г.

Зондские острова — входят в состав Малайского архипелага. Разделяются на Большие и Малые. Наиболее крупные: Калимантан, Суматра, Сулавеси, Ява. Рельеф преимущественно горный.

Малабарский тик — ценная порода древесины, используемая, в частности, в судостроении. Тиковое дерево произрастает в лесах Азии, преимущественно на западном (Малабарском) побережье полуострова Индостан.

Лакедивские (Лаккадивские) *острова* — группа низменных островов в Аравийском море у западного побережья полуострова Индостан.

С. 30. Фадом (фатом) — английская мера длины (глубины), равная 1 м 83 см.

С. 31. Новая Голландия — прежнее название Австралии.

С. 33. Кракен — мифический морской дракон, живущий, по преданиям, у берегов Норвегии.

С. 36. Ли́сель (от. голл. lijzeil — «боковой парус») — летучий парус, который ставят в помощь прямым парусам для увеличения их площади при попутных ветрах.

С. 41…течение влечет нас к Южному полюсу. —

Такое предположение указывает на знакомство Э. По с теорией американского ученого Джона Симмса (1742–1814) об «отверстиях на полюсах».

Меркатор Гергард Кремер (1512–1594) — фламандский картограф и математик, известный своим «Атласом» (1595), в котором собрано множество карт и географических описаний.

СВИДАНИЕ

Впервые опубликовано в журнале «Godey's Lady's Book» (Филадельфия, 1834, январь) под названием «Видение». На русском языке — в журнале «Собрание иностранных романов, повестей, рассказов в переводе на русский язык» (1861, май).

С. 42. Кинг Генри (1592–1669) — английский епископ. Известен как автор нескольких поэтических произведений, окончание одного из которых («Элегия на смерть возлюбленной жены»; 1657) приведено здесь в качестве эпиграфа.

Элизиум — в греческой мифологии то же, что Елисейские поля: место, где обитают души умерших.

Палладовские дворцы — творения Андреа Палладио (наст. фам. ди Пьетро; 1508–1580), выдающегося итальянского архитектора эпохи

Позднего Возрождения.

С. 43. Мост Вздохов — находится в Венеции, соединяет Дворец Дожей и государственную тюрьму. Построен в 1597 г. По нему проходили приговоренные к смертной казни — отсюда название.

Пьяцца — площадь Святого Марка в Венеции. Часы на башне Пьяццы сделаны в виде двух бронзовых мавров, выбивающих на колоколе количество часов.

Сквер Колокольни — имеется в виду колокольня Святого Марка (*Кампанилья*) на Пьяцце.

Герцогский дворец — Дворец дожей, выдающийся памятник итальянской архитектуры XIV–XV вв.

Пьяцетта — маленькая площадь перед Дворцом Дожей, примыкающая к Пьяцце со стороны Большого канала.

С. 46. Ниобея — в греческой мифологии царица Фив, жена царя Амфиона. Мать четырнадцати детей, она отказалась принести жертву Латоне, матери двоих детей — Аполлона и Артемиды; разгневанные боги истребили детей Ниобеи, а ее саму обратили в камень.

Тюрьма Старой республики. — Имеется в виду Пьомби (*Piombi* — «Свинцовая тюрьма») — одна

из двух Старых тюрем во Дврце дожей в Венеции. Своему названию тюрьма обязана расположению прямо под крышей Дворца, которая была покрыта свинцовыми пластинами. Зимой свинцовые плиты не защищали от холода, а летом, наоборот, они сильно нагревались, создавая тяжелые условия содержания для томившихся в ней пленников. Эта тюрьма состояла из семи камер на верхнем этаже восточного крыла Дворца дожей и была предназначена для заключённых высокого положения и политических преступников. Лишь одному узнику в истории удалось совершить побег оттуда — Джакомо Казанова в 1787 г. Другая Старая тюрьма называлась Поцци (*Pozzi* — «Колодцы»).

С. 47. Плиний — здесь речь идет о *Плинии Старшем* (23–79), римском писателе и ученом, авторе трактата «Естественная история» (в 37 книгах).

С. 48. Коммод (161–192) — римский император (с 180 г.) из династии Антонинов.

Риальто — мост через Большой канал в Венеции.

С. 50. Оттоманка — невысокий объемный пуф или банкетка с широким сиденьем без подлокотников и спинки

Мор Томас (1478–1535) — английский гума-

нист, государственный деятель и писатель; автор книги «Утопия» (1516). Согласно преданию, поднимаясь на эшафот, он попросил сопровождавшего офицера: «Помогите мне взойти; вниз я уж как-нибудь сам спущусь».

Текстор Равизий (ок. 1480–1524) — французский писатель-гуманист, автор книги «Абсурдности» (1519).

С. 51. Чимабу́э (наст. имя — Ченни ди Пепо; ок. 1240–1302) — флорентийский живописец, один из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса.

Мадонна della Pieta (*ит.*). — в изобразительном искусстве образ Богоматери, оплакивающая снятого с креста Христа.

Гвидо Рени (1575–1642) — итальянский художник.

Венера Медицейская — всемирно известная римская копия греческой статуи Афродиты; с 1677 г. хранится в Галерее Уффици.

Канова Антонио (1757–1822) — итальянский скульптор, крупнейший представитель классицизма.

Антиной (?—130) — греческий юноша, отличавшийся необычайной красотой, любимец римского императора Адриана (117–138), обо-

жествленный после смерти.

Разве не Сократ сказал… — Фраза о том, что любая глыба мрамора скрывает в себе статую, которую можно увидеть, если отсечь от нее все лишнее, — принадлежит Аристотелю.

С. 52. Нет замысла у лучшего художника такого, / Чтоб с мраморе самом уже он не был заключен. — Строки из «Сонета № 60» итальянского поэта, скульптора, архитектора и живописца Микеланджело Буонарроти (1475–1564).

Полициано Анджело (наст. фам. Амброджини; 1454–1494) — итальянский гуманист и поэт. Здесь речь идет о его трагедии «Сказание об Орфее» (1471).

С. 53. Ты была мне — услада страданий… — Данное стихотворение впервые опубликовано в этом рассказе. Затем подверглось значительной переработке и публиковалось отдельно под названием «К одной из тех, которые в раю».

С. 54. Чапмен Джордж (1559–1634) — английский драматург. В тексте рассказа цитируются строки из его трагедии «Отмщение Бюсси д'Амбуа» (1607).

С. 55. Иоганнисбергер — известный сорт немецкого вина, названный по имени рейнской деревни, где его производят.

БЕРЕНИКА

Впервые опубликован в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд, 1835, март). На русском языке — в журнале «Дело» (1874, май).

С. 57. Ибн Зайат (XI в.) — арабский поэт.

С. 59. Сильфы — по средневековым поверьям, духи воздуха.

Аргейм — город в Голландии, на правом берегу Рейна. Известен живописностью окружающего ландшафта.

С. 60. Курион Целий Секундус (1503–1569) — итальянский писатель, гуманист. Автор книги «О величии блаженного Царства Божия» (1554).

Августин Аврелий (прозванный Блаженным; 354–430) — христианский богослов, отец Церкви. Епископ г. Гиппон (Северная Африка), родоначальник христианской философии истории (соч. «О граде Божием»); «земному граду» — государству противопоставлял мистически понимаемый «град Божий» — церковь.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160–200) — христианский богослов и писатель. Подчеркивая пропасть между библейским Откровением и греческой философией, утверждал веру именно в силу ее несоизмеримости с разумом. Цитируется изречение, взятое из его книги «О

пресуществлении Христа».

Птоломей Гефестион — Птолемей Клавдий (ок. 90 — ок. 160), древнегреческий ученый: математик, астроном и географ, живший в Александрии.

С. 61. Златоцвет — род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В древности считался цветком смерти.

Альциона — в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в зимородка — птицу, которая, согласно легенде, выводила птенцов в гнезде, плавающем по морю в период зимнего солнцестояния, когда море в течение двух недель бывает совершенно спокойно.

Симонид Кеосский (556 — ок. 469 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

С. 63. Салль Мари (1707–1756) — французская балерина.

МОРЕЛЛА

Впервые опубликован в журнале «The Southern Literary Messenger» (1835, апрель). При последующих публикациях из рассказа исключен гимн Мореллы, в дальнейшем публиковавшийся как самостоятельное стихотворение. На русском языке — в журнале «Приложение романов к газете

«Свет» (1884, кн. 11).

С. 66. Платон, «Пир» — Платон (ок. 428–347 до н. э.) — философ, яркий представитель античного объективного идеализма, идеолог рабовладельческой аристократии. «Пир» — один из лучших диалогов Платона, в нем рассказывается о пиршестве у поэта Агафона по случаю победы, одержанной им на театральном состязании. Участники пира поочередно произносят речи, восхваляющие бога любви Эрота.

… Морелла обладала глубокой ученостью… — Возможно, при создании данного рассказа автор воспользовался истории доминиканской монахини Хулианы Мореллы (Морельи, 1594–1653), первой женщины, получившей университетский диплом. Будучи необычайно одаренной, Морелла в возрасте 20 лет защитила докторскую диссертацию. Впоследствии, отвергнув выгодное предложение замужества, Морелла приняла постриг и стала настоятельницей доминиканского монастыря в Авиньоне.

…пресбургского образования — в Пресбурге (ныне Братислава) был основан старейший в Словакии университет, который слыл местом, где обучали черной магии.

С. 67. …как Гинном превратился в Геенну — Би-

блейское название ада — геенна — произошло от названия долины Гинном (Ге-Енна, «Долина Еннома»), расположенной неподалеку от Иерусалима.

…пантеизм Фихте… — Имеется в виду этическая философия Иоанна Готлиба *Фихте* (1762–1814), согласно которой противоположность между Я и не-Я (природой) рассматривается как источник всякого познания и действия.

«Переселение души» пифагорейцев… — Речь идет о мистическом учении пифагорейцев, древнегреческой философской школы, основателем которой был *Пифагор* (ок. 580–500 до н. э.).

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) — немецкий философ. Отталкиваясь от учения Фихте, развил принципы объективно-идеалистической диалектики природы как живого организма, бессознательно-духовного творческого начала, характеризующейся динамическим единством противоположностей.

Локк Джон (1632–1704) — английский философ, создатель идейно-политической доктрины либерализма. Здесь речь идет о его сочинении «Опыт о человеческом разуме» (1690).

С. 69. Пестум — первоначальное название Посидония — сибарийская колония, основанная

в первые годы VI в. до н. э. на западном берегу Лукании (юго-восточнее нынешнего Салерно), но позднее перенесенная дальше вглубь Великой Греции по причине дурной воды и болотистой почвы. Этот город славился своими цветами.

С. 72. …цикута и кипарис… — Цикута — из самых ядовитых растений. Кипарис — эмблема печали.

ЗНАМЕНИТОСТЬ

Впервые опубликован в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд, 1835). На русском языке — По Э. «Собрания сочинений в 2 тт. Т. 2. — СПб.: Изд. Г. Ф. Пантелеева, 1896.

С. 73. Холл Джозеф (1574–1656) — английский епископ, автор «Сатир». Эпиграф взят из книги II, гл. 3.

«Письма Юниуса» — анонимные сатирические письма, опубликованные в лондонском журнале «The Public Advertiser» в 1769–1772 гг. и содержавшие резкую критику английского правительства.

Железная Маска — таинственный узник времен французского короля Людовика XIV, лицо которого было постоянно закрыто маской. Содержался в разных тюрьмах, скончался в 1703 г. в Бастилии. Существуют разные версии о том, кто был скрыт

под маской; по одной из них, это был брат короля Людовика XIV.

…в городе Ври Больше. — В оригинале — Fum Fudge, сатирическое название Англии. В переводах И. Гуровой и В. Рогова город именуется Бели-Берда.

С. 74. Бартолин Томас (1616–1680) — датский врач, математик и богослов.

Quarterly, Westminster, Foreign, Edinburgh, Dublin, Bentley, Frazer, Blackwood — обиходные названия крупнейших британских журналов: «Ежеквартальное обозрение» (основано в 1809 г.), «Вестминстерское обозрение» (1824), «Иностранное ежеквартальное обозрение» (1827), «Эдинбургское обозрение» (1802), «Дублинское обозрение» (1836), «Альманах Бентли» (1837), «Фрейзер» (1830), «Блеквуд» (1817).

С. 75. Джермин-стрит — улица в привелегированном квартале Сент-Джеймс в Лондоне.

Платоник — здесь: исследователь Платона.

Порфирий (233 — ок. 304) — древнегреческий философ- неоплатоник, ученик Плотина, издавший его сочинения; комментатор Платора и Аристотеля.

Ямвлих (ок. 280 — ок. 330) — античный философ-неоплатоник, ученик Порфирия, основатель

сирийской школы.

Плотин (204–270) — древнегреческий философ, систематизировавший учение Платона и положивший начало неоплатонизму.

Прокл (ок. 412–485) — древнегреческий философ-неоплатоник (афинская школа), автор многих трактатов и комментариев к сочинениям Платона.

Гиерокл Александрийский (V в.) — философ-неоплатоник александрийской школы, ученик Плутарха Афинского, автор комментариев к неопифагорийскому сочинению «Золотые стихи».

Максим Тирский (II в.) — древнегреческий философ-неоплатоник, представитель т. н. «Второй софистики. В 1804 г. его сочинения появились на английском языке в переводе Т. Тейлора.

Сириан Александрийский (кон. IV–V в.) — древнегреческий философ-неоплатоник, учитель Прокла, ученик и преемник Плутарха афинского; автор комментариев к «Метафизике» Аристотеля.

Тюрго Анн Робер Жак (1727–1781) — французский политический деятель, философ-просветитель и экономист.

Прайс Ричард (1723–1791) — английский фило-

соф-моралист, проповедник, экономист.

Пристли Джозеф (1733–1804) — английский священник, естествоиспытатель, химик, философ-материалист.

Кондорсе Мари Жан Антуан Никола, маркиз де (1743–1794) — французский философ-просветитель, математик, социолог, член Французской академии, автор «Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума» (1794).

Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) — французская писательница, публицист, теоретик литературы.

С. 76. о <…> предсуществовавшей душе — Теологическое учение о предсуществовании (до сотворения мира) души Иисуса Христа, в более широком смысле — о предсуществовании человеческой души.

Гомеомерия — учение древнегреческого философа Анаксагора (ок. 500–336) о бесконечно делимых частицах, гомеомериях, из которых образуются тела.

Арий (ок. 250–336) — александрийский пресвитер и историк церкви, положил начало одной из ранних ересей — арианству, отрицавшему единосущность Христа Богу Отцу и утверждавшему сотворенность Бога Сына. Арианство было

осуждено на Никейском соборе в 325 году.

Никейский собор — собор Церкви, созванный императором Константином Великим в г. Никея в 325 г. для решения внитрицерковного конфликта, вызванного спором между Арием и епископом Александрийским Александром. Собор осудил арианство как ересь и принял Символ веры, в котором утверждается единосущность Троицы.

Пьюзеизм — учение английского теолога, профессора Оксфордского университета Эдварда Бувери Пьюзи (1800–1882), и его последователей, известное под названием Оксфордское движение, ратовавших за восстановление утраченных традиций христианской веры. В первой редакци рассказа имя Пьюзи не упоминалось, так как приобрело известность позднее.

Субстанциализм. — Вероятно, неточность перевода: речь идёт о богословском понятии предсуществления (англ.) consubstantialism), т. е. преложения хлеба и вина (Святых Даров) в Тело и Кровь Христову во время совершения таинства евхаристии.

… о гомузиос и гомойузиос. — Имеются в виду два богословских термина: homousios («единосущный») и homojusios («подобосущный») в споре между арианами и сторонниками Никейского

собора о единосущности Бога Сына и Бога Отца.

Латур, маркобруннен, мюссе, шамбертен, ришбур, сен-жорж, гобрион, лионвилль, медоке, барак, преньяк, граве, сотерн, лафит, сен-перэ, клодвужо, херес, амонтильядо — сорта вин, в основном французских.

Арпино Джузеппе Чезари (ок. 1568–1640) — итальянский живописец-маньерист по прозванию Кавалер д'Арпино.

Карпаччо Витторе (1455/65 — ок. 1526) — итальянский живописец и венецианской школы.

Агостино Караччи (1557–1602) — итальянский живописец и гравер.

Караваджо Микеланджело Меризи да (1571–1610) — итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко.

Альбано Франческо (1578–1660) — итальянский живописец болонской школы.

Тициан Вечеллио (1488/90–1576) — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения.

Рубенс Питер Пауль (1577–1640) — нидерландский живописец и рисовальщик, один из

основоположников и главных представителей искусства барокко, дипломат, коллекционер.

Ян Стен (ок. 1626–1679) — голландский живописец, мастер бытового жанра; его полотна проникнуты грубоватым народным юмором.

Бендис (Бендида) — фракийская богиня-охотница, которая отождествлялась с древнегреческой богиней охоты *Артемидой* (в римском пантеоне — *Дианой*), после ставшей богиней Луны.

Бубастис (Бубастида) — египетская богиня с головой кошки, также отождествлялась древними греками с Артемидой.

…восемьдесят три потерянные трагедии Эсхила… — Наследие Эсхила насчитывало девяносто драматических произведений, из которых до нашего времени дошло только семь.

Исей (ок. 420 — ок. 350 до н. э.) — афинский оратор. Полностью сохранились одиннадцать его речей, двенадцатая — фрагментарно, а также названия ещё 42 его творений.

Лисий (459 — ок. 380 до н. э.) — древнегреческий оратор. До нашего времени дошли 34 из приписываемых Лисию 425 речей.

Теофраст (Феофраст; ок. 372 — ок. 287 до н. э.) — древнегреческий философ и естествоиспытатель, один из первых ботаников древности. Ему при-

писывают 227 трудов по естествознанию.

Аполлоний Пергский (III в. до н. э.) — древнегреческий математик. До нашего времени дошли семь книг из его главного труда «Конические сечения», ещё восемь книг Аполлония считаются утраченными.

Пиндар (ок. 518–442/438 до н. э.) — древнегреческий поэт.

Гомер Младший (III в. до н. э.) — древнегреческий грамматик и поэт, творения которого были утрачены.

С. 78. Альмак (Элмак) — аристократический клуб в Лондоне, существовавший в 1765–1871 гг.

КОРОЛЬ ЧУМА

Впервые опубликован в журнале «The Southern Literary Messenger» (1835, сентябрь), под названием «Король Чума Первый». На русском языке — в книге: П о Э. Необыкновенные рассказы. Кн. 2 (СПб., 1885), под названием «Царь-чума».

С. 80. Бакхерст — Томас Сэквиль, барон Бакберст (1536–1608). «Трагедия о Форрексе и Поррексе» (1561) — одна из ранних английских трагедий, первые три действия которой написаны Томасом Нортом (1532–1584). Цитата для эпиграфа взята из 2-го действия, следовательно правомернее было

указать автором Норта.

Эдуард Третий (1312–1377) — английский король (с 1327) из династии Плантагенетов. Начал Столетнюю войну (1337–1453) с Францией, ограничил влияние папства в Англии.

С. 81. Бен-Невис — наиболее высокая вершина Великобритании (1343 м) в Грампианских горах.

ЛИГЕЙЯ

Впервые опубликован в журнале «The American Museum of Science, Literature and the Arts» (Балтимор, 1838, сентябрь). На русском языке — в журнале «Дело» (1874, май).

С. 95. Гленвилл Джозеф (1636–1680) — английский священник и философ. Автор трактата «Тщета догматики» (1661).

С. 96. Аштофет — богиня финикийского города Сидона (ныне на его месте расположен г. Сайда (Ливан).

…над дремотными душами дочерей Делоса. — Остров Делос в древнегреческой мифологии является местом рождения богини Артемиды, покровительницы женского целомудрия, которая жила там вместе с подругами.

Бэкон Френсис (1561–1626) — английский философ, родоначальник английского материализма.

Лорд-канцлер при короле Якове I. Титул барона Верулама получил в 1618 г. Здесь дана цитата из его эссе «О красоте» (1625).

С. 97. Клеомен — это имя выбито на статуе Венеры Медицейской. Аполлон, покровитель искусств, упомянут в качестве вдохновителя скульптора, создавшего ее.

Нурджахад — подразумевается роман английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724–1766) «История Нурджахада».

…колодец Демокрита… — *Демокрит* (ок. 460–370 до н. э.), древнегреческий философ, один из основателей античной атомистики. Ему приписывается высказывание «Истина обитает на дне колодца».

С. 98…близнецами созвездия Леды… — Здесь имеются в виду две яркие звезды в созвездии Близнецов, названные именами Кастора и Поллукса — двух братьев-близнецов, которых, согласно греческой мифологии, Леда родила от Зевса.

…особенно одна… двойная и переменная, близ большой звезды в созвездии Лиры… — Под «большой звездой» подразумевается Вега, а двойная звезда созвездия Лиры носит название эпсилон-Лира.

С. 100. Азраил — ангел смерти у мусульман.

С. 101. «Победитель Червь» — у Эдгара По существует одноименное стихотворение. На русском языке опубликовано в поэтическом переводе Валерия Брюсова…

С. 102…полудруидического стиля. — *Друиды* — жрецы у древних кельтов. Имеется в виду кельтский стиль.

С. 104. Арабеска — европейское название орнамента, сложившегося в искусстве мусульманских стран.

РАЗГОВОР МЕЖДУ ЭЙРОСОМ И ХАРМИОНОЙ

Этот философско-фантастический рассказ вместе с рассказами «Беседа между Моносом и Уной» и «Могущество слов» составляет трилогию произведений Эдгара По о метафизических диалогах бесплотных существ, которые до своей смерти были людьми, а после неё обрели вечное существование во Вселенной.

Впервые опубликован в журнале «Burton's Gentleman's Magazine» (1839, август). На русском языке — в 1-м томе «Собрания сочинений Э. По в переводах К. Д. Бальмонта» (М. Скорпион, 1901).

С. 110. … Эйрос и Хармиона — имена служанок Клеопатры в драме У. Шекспира «Антоний и Клеопатра»; упоминаются также в незакончен-

ной драме Э. По «Полициан».

Эврипид (ок. 480–406 до н. э.) — древнегреческий драматург. Эпиграф взят из трагедии «Андромаха» (строка 257).

… «голосу многих вод». — Цитата из Откровения св. Иоанна Богослова: «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома» (14:2).

С. 113. … новая комета… — Существует мнение, что этот рассказ написан Э. По под влиянием наблюдений над тем, как воспринимали в Балтиморе и Ричмонде сильнейший метеоритный дождь в 1833 г.

Перигелий — точка ближайшего расстояния планет от солнца.

С. 116. … Так окончилось все. — За несколько месяцев до первой публикации рассказа в прессе появились аналогичные предсказания о скором конце света.

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

Впервые опубликован в журнале «Burtons Gentleman's Magazine» (Филадельфия, 1939, сентябрь). На русском языке — в «Литературном журнале» (1881, ноябрь), под названием «Падение дома Ушеров».

С. 117. Беранже Пьер-Жан (1780–1857) — французский поэт; завоевал известность сатирой на наполеоновский режим. Поднял фольклорный куплет на высоту профессионального искусства. Песни Беранже, проникнутые юмором, оптимизмом, плебейской прямотой, приобрели широкую популярность.

С. 123…мотив последнего вальса Вебера. — Вебер Карл Мария фон (1786–1826) — немецкий композитор, дирижер и музыкальный критик; основоположник немецкой романтической оперы. Однако он никогда не писал вальсов. Здесь речь идет о произведении немецкого композитора Карла Готлиба Рейзигера (1798–1859) «Блестящие танцы» (1824), один из которых действительно называется «Последний вальс Вебера».

С. 124. Фюзели — под этой фамилией известен живший и работавший в Англии (1765–1770 и 1779) швейцарский живописец, писатель и теоретик искусства Иоганн Генрих *Фюсли* (1741–1825). Мрачную, гротескную фантастику предромантизма он умело сочетал с классической идеализацией (картины для «Шекспировской галереи», 1786–1790).

Вот слова этой песни… — Впервые стихотворение «Заколдованный замок» было напечатано за

несколько месяцев до его включения в данный рассказ.

С. 126. Уотсон Ричард (1737–1816) — английский химик, автор капитального труда «Очерки по химии» (в 5 тт.; 1781–1787). Он же являлся и епископом Ландаффским, которого Э. По принимает здесь за другого человека.

Персиваль Томас (1740–1804) — английский врач, автор работы о чувствительности растительных организмов (1785).

Спалланцани Ладзаро (1729–1799) — итальянский ученый и путешественник; написал диссертацию по данной теме (1780).

С. 127. Грессэ Жан-Батист-Луи (1709–1777) — французский поэт-сатирик. Был исключен из ордена иезуитов за свою поэму «Вер-Вер» (1734), где повествовалось о приключениях попугая, воспитанного монахинями.

Макиавелли Никколо (1469–1527) — итальянский политический мыслитель, историк, писатель. В упомянутой новелле «Бельфегор-архидиавол» (впервые опубл. в 1549 г.) повествуется о приходе дьявола на землю.

Сведенборг Эмануэль (1688–1772) — шведский ученый, философ, мистик. Автор большого количества работ по математике, астрономии,

кристаллографии и др. В 1745 г. пережил религиозный кризис, после чего в многочисленных сочинениях (в т. ч. «Небо и Ад»; 1758) изложил свои мистические видения и сокровенный смысл первых книг Библии.

Хольберг Людвиг (1684–1754) — датский драматург, историк, философ; крупный деятель скандинавского Просвещения. Его сатирическая утопия «Подземное путешествие Николая Климма» опубликована в 1741 г.

Флюд Роберт (1574–1637) — английский врач; автор мистических и псевдонаучных трактатов по алхимии и хиромантии.

Д'Эндажинэ Жан — французский хиромант, живший в XVI в.; автор книги «Хиромантия» (1522).

Делашамбр Марен-Кюро (1594–1669) — французский хиромант; автор книги «Принципы хиромантии» (1653).

Тик Людвиг (1773–1853) — немецкий писатель-романтик; автор сказочного романа «Старая книга, или Путешествие в голубую даль» (1835).

Кампанелла Томмазо (1568–1639) — итальянский философ, поэт, политический деятель; монах-доминиканец. В 1598–1599 гг. возглавил в Калабрии заговор против испанского влады-

чества. Был схвачен и 27 лет провел в тюрьмах, где написал десятки сочинений по философии, политике, астрономии, медицине, в т. ч. и знаменитый роман-утопию «Город солнца».

Жиронн Эймерик де (ок. 1320–1399) — испанский инквизитор. Его «Руководство по инквизиции», где описаны способы изгнания нечистой силы и определения различного рода еретиков, было издано в 1503 г.

Мела Помпоний — римский географ, живший в I в. Автор «Географии» (изд. в Милане; 1471), где, в частности, рассказывается о полусказочных жителях Африки.

С. 131…«Безумная надежда»… Ланселота Кэннинга… — Такой автор, как и книга с подобным названием, неизвестны. Исследователи предполагают, что приводимые отрывки принадлежат самому Э. По.

Этельред — древний король Британии, живший в конце X — начале XI в.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН

Впервые опубликован в новогоднем сборнике «The Gift» («Подарок»; Филадельфия, 1840), вышедшем в свет в сентябре 1839 г. На русском языке — отдельным изданием (СПб., 1858).

С. 136. Чемберлен Вильям (1619–1689) — английский писатель. Эпиграф взят из его героической поэмы «Фаронида» (1659).

Элагабал (Гелиогабал; 201–222) — римский император (с 218). Отличался склонностью к восточным культам. Принял имя сирийского бога солнца Элагабала, провозгласив его главным богом. Был крайне развратен. Убит своими солдатами.

С. 139. Люстр — искупительная жертва в Древнем Риме, приносимая каждые пять лет; отсюда люстр — пятилетие.

С. 140…словно надписи на карфагенских медалях. — Имеются в виду монеты города-государства Карфаген (ныне терр. Туниса), которые выпускались в IV–II вв. до н. э. и были характерны тщательно выполненной чеканкой.

С. 141…так как я родился в тот же день. — Э. По называет дату своего собственного дня рождения (19 января 1809 г.), однако при публикациях в разных изданиях он меняет год рождения (1811, 1809, 1813).

С. 147. Крёз (595–546 до н. э.) — последний царь Лидии (с 560). Его сказочное богатство вошло в поговорку.

С. 148. Престон — лицо реальное. Э. По упо-

минает здесь своего приятеля по Виргинскому университету Джона Престона.

С. 153. Во время карнавала… в Риме… — Римский карнавал происходит в течение нескольких дней перед Великим постом.

Из сборника «Рассказы»
ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ

Впервые опубликован в декабре 1840 г. одновременно в двух филадельфийских журналах — «The Casker» и «Burtons Gentleman's Magazine», слияние которых происходило как раз в это время (подробнее об этом см. во вступ. статье). На русском языке — в журнале «Библиотека для чтения» (1857, март).

С. 156. Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ, математик, физик, языковед.

Горгий (ок. 480 — ок. 380 до н. э.) — древнегреческий софист. В сочинении «О природе, или О не существующем» выдвинул три тезиса: ничего не существует; если бы нечто существовало, то было бы непознаваемо; если бы нечто было познаваемо, то познанное было бы невыразимо.

С. 157. Эвпатриды — аристократы, родовая знать в древних Афинах.

С. 158…из парасского мрамора… — Парос — остров в Эгейском море; принадлежит Греции. В древности был известен своими мраморными каменоломнями.

С. 164. «Садик души» — Имеется в виду книга страсбургского типографа Иоганна Грюнингера (1450–1530) «Садик души с прибавлением некоторых маленьких речей» (1500). Видимо, ее содержание было известно Э. По только понаслышке, поскольку в действительности эта книга не содержит ничего предосудительного, а тем более «гнусного».

НИСХОЖДЕНИЕ В МАЛЬСТРЁМ

Впервые опубликован в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (1841, май). На русском языке — в журнале «Библиотека для чтения» (1856, октябрь), под названием «Спуск в Мельстром».

С. 165. Мальстрем — гигантский водоворот у северо-западного побережья Норвегии.

…превосходит глубину Демокритова колодца. — См. коммент к с. 97.

Гленвилл Джозеф — см. коммент к с. 95. Эпиграф взят из его книги «Эссе о некоторых важных вопросах философии и религии» (1676).

С. 166. Лофоден. — Имеются в виду скалистые и безлесные Лофотенские острова, расположенные в Норвежском море, близ северо-западного побережья Скандинавии.

…в описании нубийского географа. — Э. По имеет в виду древнегреческого ученого Клавдия *Птолемея* (ок. 90 — ок. 160), родом из Александрии. В трактате «География» (в 8 книгах) он дал сводку географических сведений античного мира.

«Морем мрака» на древних картах обозначался Атлантический океан.

С. 168. Рамус Ионас (1649–1718) — норвежский историк.

С. 169. Норвежская миля — равняется 11 295 м.

С. 170. Мясопустное воскресенье — согласно церковному календарю, бывает за две недели до Великого поста.

Флегетон — в греческой мифологии огненная река, окружающая подземное царство.

…между островами Ферё — имеются в виду Фарерские острова, архипелаг в северо-восточной части Атлантического океана, между Исландией и Великобританией.

Кирхер Афанасиус (1601–1680) — немецкий естествоиспытатель, археолог, специалист по египетской иероглифике, филолог. Полагал, что

внутри Земли есть пустоты, наполненные огнем, водой и воздухом.

С. 171…проникающая сквозь земной шар… например в Ботническом заливе… — Ботническим заливом называется северная часть Балтийского моря, между Швецией и Финляндией. Поэтому здесь точнее было бы «по ту сторону Скандинавского полуострова».

Смак — небольшое парусное рыболовное судно.

С. 174. Фок-зейль — то же, что и фок (*голл.* fok, от *нем.* focke). — Нижний парус на фок-мачте, привязанный к фока-рею.

Планшир — деревянные или металлические перила поверх судового леерного ограждения или фальшборта.

Рымболт (рым; от *голл.* ring — кольцо) — металлическое кольцо, жестко или шарнирно соединенное со стержнем (болтом), закрепленным в корпусе судна. Служит для крепления снастей.

С. 182. Архимед (ок. 287–212 до н. э.) — древнегреческий ученый, родом из Сиракуз (Сицилия). Разработал предвосхитившие интегральное исчисление методы нахождения площадей, поверхностей и объемов различных фигур и тел. В

своих трактатах дал образцы применения математики в естествознании и технике.

БЕСЕДА МЕЖДУ МОНОСОМ И УНОЙ

Впервые опубликован в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (1841, август). На русском языке — в 1-м томе «Собрания сочинений Э. По в переводах К. Д. Бальмонта» (М. Скорпион, 1901).

С. 184. «Вновь рожденная»? — Здесь Э. По развивает платоновскую идею о перевоплощении душ.

«До сих пор, и не дальше!» — Слова из пьесы «Этелоуд» английского драматурга Аарона Хилла (1686–1750).

С. 187. Утилитаристы — приверженцы утилитаризма, этического учения английского философа Иеремии Бентама (1748–1832), в основе которого лежит принцип пользы: любой проступок индивидуума этически оправдан, если он ведет к достижению пользы, выгоды, добра и счастья.

Великое «развитие». — Речь идет о трансцендентализме — философско-литературном течении, возникшем в Америке в 1830-х гг.

С. 188. Музыка (μουσική) — имела однако у Афи-

нян гораздо более обширное значение, чем у нас. Она включала в себя не только гармонии такта и лада, но и поэтический способ выражения, чувство и творчество, каждое в самом широком смысле. Изучение *музыки* было у них на самом деле общим воспитанием вкуса — того, что́ распознает прекрасное — в отличие и в противоположность от рассудка, который имеет дело только с истинным.

Паскаль Блез (1623–1662) — французский философ, ученый и публицист.

История — здесь: от ιστορείν — созерцать.

С. 189. Слово *purification* (очищение), здесь, по-видимому должно здесь иметь соотношение с своим греческим корнем πῦρ — огонь.

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ

Впервые опубликован в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия, 1841, апрель). На русском языке — в журнале «Сын Отечества» (1861, 17 и 24 марта), под названием «Загадочное убийство». Последнее прижизненное издание существенно переработано автором. В сборнике рассказов 1845 г. из текста был исключен первый абзац:

«Нет ничего невероятного в том, что еще

несколько новых шагов в развитии френологии приведут к убеждению в существовании, если не к подлинному открытию и определению местонахождения органа анализа. Если эта способность (которую можно скорее описать, чем определить, как возможность рассматривать мысль в ее собственной стихии) не является в действительности неотъемлемой частью того, что позднейшие философы называют идеальностью, то имеются все основания считать ее прирожденным даром. Мы полагаем, она может быть составной частью идеального, что противоречит распространенному утверждению (основанному, однако, на мнении влиятельных авторитетов), будто исчислительные и различительные способности (причинная связь и сопоставление) находятся в разладе с воображением и, таким образом, все три едва ли могут существовать. Хотя эта идея противоречит общепринятому мнению, она не покажется необоснованной, если мы отметим, что процесс воображения, или творения, весьма близок процессу анализа — первый во многом, если не во всем обязан второму».

С. 195. Ахилл (Ахиллес) — в «Илиаде» один из храбрейших греческих героев, осаждавших Трою; сын богини Фетиды.

Браун Томас (1605–1682) — английский врач и писатель. Эпиграф взят из его трактата «Захоронения в урнах» (1658). В ранней редакции рассказа эпиграф отсутствовал.

С. 197. Хойл Эдмонд (1672–1769) — автор книги «Краткий трактат об игре в вист» (1742).

С. 198. Френолог — сторонник *френологии*, концепции, согласно которой на основании краниометрических данных (строение поверхности черепа) можно судить о психологических особенностях человека. Основателем френологии считается немецкий медик Франц Иосиф Галль (1758–1828).

…потомок знатного и даже прославленного рода… — Автор имеет в виду трех братьев Дюпенов: Андре-Мари-Жан-Жак Дюпен (1783–1865), автор трудов по уголовному праву в 1840 г. избран главой палаты депутатов Франции; Шарль Дюпен (1784–1873), математик и политический деятель, был морским министром; Филипп Дюпен (1795–1846) являлся известным адвокатом.

С. 199. Сен-Жерменское предместье — аристократический район Парижа на левом берегу Сены.

С. 200…старинное учение о двойственности души… — Философское учение, считающее на-

чалом бытия две субстанции: материальную и идеальную.

С. 201. Пале-Рояль (Королевский дворец) — дворец с садом, построенный в Париже по указанию кардинала Ришелье и подаренный им впоследствии королю Людовику XIII.

Театр «Варьете» — парижский театр водевиля, основанный в 1807 г.

…в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона и был… жестоко освистан. — Кребийон Проспер-Жолио (1674–1762), французский драматург. Его трагедия «Ксеркс» (1714) с треском провалилась.

С. 202. Никольс Томас Лоу (1815–1901) — американский врач, писатель и общественный деятель. Был знаком с Эдгаром По.

Эпикур (341–270 до н. э.) — древнегреческий философ; основал в Афинах философскую школу (с 306). Философию делил на физику, канонику и этику.

Ламартин Альфонс де (1790–1869) — французский поэт-романтик, историк и политический деятель.

С. 203. Утратила былое звучание первая буква. — Строка из мифологического эпоса «Фасты» римского поэта Публия Овидия Назона (43 до

н. э. — ок. 18 н. э.).

С. 211. Журден — герой комедии «Мещанин во дворянстве» (1670) французского комедиографа Мольера (наст. имя и фам. Жан-Батист Поклен; 1622–1673).

Видок Франсуа-Эжен (1775–1857) — французский сыщик.

Истина… обитает на дне колодца. — См. коммент. к с. 97.

С. 224. Кювье Жорж (1769–1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных; автор книги «Царство животных» (1817).

С. 227…с легким невшательским акцентом… — Невшатель — город в Швейцарии, административный центр одноименного кантона.

С. 232. Лаверна — римская богиня прибыли, покровительница воров и мошенников.

…то, чего не существует. — Цитата из романа французского писателя и философа Жан-Жака Руссо (1712–1778) «Новая Элоиза» (1761).

ТАЙНА МАРИ РОЖЕ

Впервые опубликован в журнале «The Ladie's Companion» (Нью-Йорк; 1842, ноябрь — декабрь и 1843, февраль). На русском языке — в книге: По Э.

Необыкновенные рассказы. Кн. 1 (СПб., 1885), под названием «Таинственное убийство».

Необходимое примечание автора к первой публикации произведения:

«При напечатании «Мари Роже» в первый раз можно было обойтись без примечаний, которыми сопровождается этот рассказ в настоящем издании, но промежуток в несколько лет со времени трагедии, послужившей основой для рассказа, делает их не лишними, равно как и несколько объяснительных слов. Молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс была убита поблизости от Нью-Йорка, и хотя это происшествие наделало много шума, тайна преступления осталась неразрешенной до времени напечатания повести (ноябрь 1842 г.). Автор этой последней, в форме вымышленной истории одной парижской grizette (гризетки), излагает до мельчайших подробностей существенные обстоятельства действительного убийства Мэри Роджерс. Таким образом, все аргументы прилагаются к истинному событию — исследование этой истины, собственно, и было целью рассказа. «Тайна Мари Роже» написана вдали от места, где совершилось кровавое преступление, исключительно на основании газетных сведений. Таким обра-

зом, от автора ускользнуло многое, чем он мог бы воспользоваться, если бы сам посетил место действия. Тем не менее нелишне будет заметить, что признания двух лиц (одно из них госпожа Делюк рассказа), сделанные в разное время, много спустя после напечатания этой истории, подтвердили не только общий вывод автора, но и все до единой главные гипотетические детали, послужившие основой вывода.»

С. 233. Новалис (Фридрих фон Гарденберг; 1772–1801) — немецкий писатель-романтик.

С. 235. Гризетка — молодая девушка, горожанка, легкомысленного поведения и не самых строгих правил.

Nassau Street — здесь и далее Э. По дает в сносках реальные имена и названия, связанные с убийством в июле 1841 г. продавщицы одного из нью-йоркских табачных киосков Мэри Сесили Роджерс.

С. 240. Уэльд Горацио Гастингс — американский журналист.

С. 254. Лэндор Уолтер Севедж (1775–1864) — английский писатель, автор книги «Воображаемые разговоры» (1824–1829).

ЗОЛОТОЙ ЖУК

Впервые опубликован в газете «The Dollar Newspaper» (Филадельфия, 21 и 28 июня 1843 г.). Пожалуй, единственный рассказ, за который было получено достойное вознаграждение (подробнее см. во вступ. статье: с. 11). На русском языке — в «Новой библиотеке для воспитания. Кн. 1» (Москва, 1847). Это было первое произведение Э. По, переведенное на русский язык.

С. 275…Он пляшет, как безумный. // Тарантул укусил его… — По старинному поверью, укус тарантула вызывает болезнь тарантизм, характеризующуюся беспрерывным и безумным танцем.

«Все не правы» — комедия английского драматурга Артура Мерфи (1727–1805). Премьера ее состоялась 15 июня 1761 г. в театре Друри-Лейн (Лондон).

Форт Моултри — в этом форте Э. По провел больше года во время своей службы в армии (1827–1828).

С. 276. Сваммердам Ян (1637–1680) — нидерландский натуралист, автор многочисленных трудов по анатомии насекомых; один из основоположников научной микроскопии.

С. 298. Цафра — голубой пигмент, используемый для рисунков на стекле и фарфоре.

Царская водка — смесь концентрированных кислот: азотной HNO_3 (1 объем) и соляной HCl (3 объема). Сильнейший окислитель, растворяет золото и платину, не растворимые в каждой из этих кислот.

Кидд Вильям (ок. 1650–1701) — капитан английского флота, ставший пиратом. Арестован в Бостоне и повешен в Лондоне. Ходят легенды о многочисленных кладах, зарытых им в разных точках американского побережья.

С. 300. Голконда — государство в Индии, на Декане, в XVII–XVIII вв. славилось добычей алмазов.

Испанские моря — район Карибского моря, место наибольшей активности пиратов в XVI–XVIII вв.

ЧЕРНЫЙ КОТ

Впервые опубликован в журнале «Saturday Evening Post» (Филадельфия, 1843, 19 августа). На русском языке — в журнале «Время» (1861, январь).

С. 309. Плутон — в древнегреческой мифологии одно из имен бога подземного мира и царства мертвых, известного также как Аид и Гадес.

Рассказы, опубликованные в периодике

МОЛЧАНИЕ

Впервые опубликован в альманахе «Baltimore Book» в 1837 г. Первоначально носил название *Siope — A Fable* (Тишина. Басня). В 1939 г. под названием *Silence — A Fable* (Молчание. Притча) включён в сборник *Grotesque and Arabesque* (Гротески и арабески). В 1940 г. в филадельфийской газете «Saturday Courier» под названием «Молчание» было напечатано стихотворение:

Есть свойства — существа без воплощенья,
С двойною жизнью: видимый их лик —
В той сущности двоякой, чей родник —
Свет в веществе, предмет и отраженье.
Двойное есть *Молчанье* в наших днях,
Душа и тело — берега и море.
Одно живет в заброшенных местах,
Вчера травой поросших; в ясном взоре,
Глубоком, как прозрачная вода,
Оно хранит печаль воспоминанья,
Среди рыданий найденное званье;
Его названье: «Больше Никогда».
Не бойся воплощенного Молчанья,
Ни для кого не скрыто в нем вреда.
Но если ты с его столкнешься тенью
(Эльф безымянный, что живет всегда

Там, где людского не было следа),
Тогда молись, ты обречен мученью!

— вошедшее затем в сборник лирики Э. По «Ворон и другие стихотворения» выпущенный нью-йоркским издательством *Wiley and Putnam* 19 ноября 1845 г.

На русском языке опубликовано — в 1-м томе «Собрания сочинений Э. По в переводах К. Д. Бальмонта» (М. Скорпион, 1901).

С. 321. Алкман (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт. Цитируемый в эпиграфе отрывок послужил основой стихотворений И. В. Гёте «Über allen Gipfeln ist Run» и М. Ю. Лермонтова «Горные вершины».

Заира (Заир) — старое название реки Конго.

Гебридские волны. — Речь идет о Гебридских островах у западных берегов Шотландии, где круглый год дуют ветры с Атлантики, а во время штормов образуются необычайно высокие и мощные волны.

С. 324. Бегемот. — Здесь: мифологическое существо, упоминаемое в Ветхом Завете (Иов. 40: 10–18)

С. 325. Додона — древнегреческий город в Эпире, который славился оракулом Зевса, почитавшимся как древнейший во всей Греции. Ответы Зевса

были слышны сквозь шум листвы священного дуба.

ЭЛЕОНОРА

Впервые опубликован в новогоднем сборнике «The Gift» («Подарок»; Филадельфия, 1842), вышедшем в свет в сентябре 1841 г. На русском языке — в «Литературном журнале» (1861, май).

С. 326. Луллий Раймунд (1235–1315) — христианский философ и богослов, поэт-лирик; по происхождению испанец. Основоположник и классик каталанской литературы.

Нубийский географ — имеется в виду древнегреческий ученый Клавдий *Птолемей* (ок. 90 — ок. 160), родом из Александрии. В трактате «География» он дал сводку географических сведений античного мира. «Морем мрака» на древних картах обозначался Атлантический океан.

С. 329…исполинских сирийских змей… — Известно несколько легенд в сирийской мифологии, где речь идет о гигантских змеях, наносивших стране огромный ущерб.

Эрос (Эрот) — в греческой мифологии бог любви; ему соответствует римский Амур (Купидон).

Эолова арфа (по имени бога ветров Эола) — в Западной Европе в XVII–XIX вв. струнный музыкальный инструмент типа цитры, звучащий

благодаря колеблющему струны ветру.

…в области Геспера… — Здесь речь идет о Западе; *Геспер* (Веспер) — вечерняя звезда (Венера).

С. 330…в песнях ширазского поэта… — Здесь речь идет о персидском поэте Саади (наст. имя Муслихадлин Абу Мухаммед Абдаллах; между 1203 и 1210–1292), родившемся и умершем в *Ширазе* — городе на юго-западе Ирана.

ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Впервые опубликован в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (1842, апрель), под названием «В смерти — жизнь». На русском языке — в журнале «Еженедельное новое время» (1880, 17 апреля).

С. 334. Радклиф (урожд. Уорд) Анна (1764–1823) — английская писательница. Автор готических романов «Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797) и др., где таинственному дается реальное объяснение. Романтики заимствовали у Радклиф тип «героя-злодея», обладателя сильной воли и безумных страстей.

С. 337. Селли (Сюлли) Томас (1783–1872) — американский художник, автор многочисленных женских портретов.

МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ

Впервые опубликован в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (1842, май). На русском языке — в журнале «Отечественные записки» (1870, январь), под названием «Красная смерть».

С. 342. «Эрнани» — романтическая драма Виктора Гюго (1802–1885); впервые была поставлена на сцене театра «Комеди франсез» 25 февраля 1830 г.

КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК

Впервые опубликован в новогоднем сборнике «The Gift» («Подарок»; Филадельфия, 1843), изданном осенью 1842 г. На русском языке — в журнале «Отечественные записки» (1870, январь).

С. 347. Эпиграф взят из книги И. Дизраэли «Достопримечательности литературы».

С. 362. Ласаль Антуан (1775–1809) — французский генерал, участник испанского похода Наполеона (1808).

Французские войска вошли в Толедо. — Это случилось 6 мая 1808 г.

Инквизиция была в руках ее врагов. — Город Толедо являлся одним из центров инквизиции. В 1808 г., после завоевания Испании, Наполеон запретил инквизицию, однако после его падения

она возродилась и действовала до 1834 г.

СЕРДЦЕ-ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ

Впервые опубликован в журнале «The Pioneer» (Бостон, 1843, январь). На русском языке — в журнале «Время» (1861, январь).

В первых публикациях рассказа присутствовал эпиграф:

Путь далек, а время мчится —
Не теряй в нем ничего.
Помни, что биенье сердца —
Погребальный марш его.
Г. Лонгфелло. Псалом жизни

ОЧКИ

Впервые опубликован в газете «The Dollar Newspaper» (Филадельфия; 27 марта 1844 г.). На русском языке — во 2-м томе «Собрания сочинений Э. По в переводах М. А. Энгельгардта» (СПб., 1896).

С. 373. Апулей Луций (ок. 122 — ок. 180) — римский писатель. Родом из Северной Африки. Был знаменитым ритором и жрецом в Карфагене.

С. 380. Антарес — звезда первой величины в созвездии Скорпиона.

Ланкло Нинон (1615–1705) — известная фран-

цузская куртизанка.

С. 386. «Отелло» — опера-сериа итальянского композитора Джоаккино Россини (1792–1868); премьера состоялась в 1816 г. в Неаполе.

Сан Карло — оперный театр в Неаполе; наиболее крупный европейский театр того времени.

«Сомнамбула» — опера В. Беллини; премьера состоялась в 1831 г. в Милане.

Малибран Мария Фелисита (1808–1836) — французская певица (меццо-сопрано). Пела на сценах Европы, выступала вместе с мужем — скрипачом Ш. Берно. Ей посвящена опера Р. Беннета «Мария Малибран».

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ

Впервые опубликован в газете «The Dollar Newspaper» (31 июля 1844 г.). На русском языке — в журнале «Собрание иностранных романов, повестей, рассказов в переводе на русский язык» (1868, май), под названием «Несколько слов по поводу погребения мнимоумерших».

С. 394…о переходе через Березину… — Березина — река в Белоруссии, правый приток Днепра. В Отечественную войну 1812 г. при переправе с боями через Березину (14–17 ноября) наполеоновская армия (75–80 тыс. чел.) потеряла около 50 тыс.

чел., большое число артиллерии и обозов и перестала существовать как организованная сила.

…о лиссабонском землетрясении… — *Лиссабон*, столица Португалии, как и многие другие города этой страны во время землетрясения 1 ноября 1755 г., в течение пяти минут были разрушены. Погибло около 60 тыс. жителей.

…о лондонской чуме… — Имеется в виду крупная эпидемия чумы в Лондоне в 1665–1666 гг.

…о кровавой Варфоломеевской ночи… — Речь идет о массовой резне гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день святого Варфоломея) в Париже, организованной Екатериной Медичи и Гизами.

Черная яма в Калькутте. — Так называлась военная тюрьма в форте Вильям в Калькутте, куда в июне 1756 г. были брошены 146 пленных англичан, и за одну ночь 123 из них погибли от удушья.

С. 396…мадемуазель Викторина Лафуркад… — Случай с ее преждевременным захоронением был описан в сентябре 1827 г. в одном из филадельфийских журналов.

С. 401…«о червях, могилах и эпитафиях». — Ср.: Шекспир. «Ричард II» (III, 2):

…поговорим

Об эпитафиях, гробницах и червях.
Нам прах земной взамен бумаги будет…

С. 403…ее должны были привязать к моей руке. — В те годы в Америке были модны «жизнеспасительные» гробы, открывающиеся при малейшем движении тела внутри, а также прочие изобретения, предназначенные сохранить жизнь тем, кого похоронили по ошибке; в том числе колокол, подвешенный в склепе, чтобы мнимый «покойный» мог сообщить о своем пробуждении.

С. 407. Бьюкен Вильям (1729–1805) — автор чрезвычайно популярной в те годы среди американцев книги «Домашняя медицина, или Домашний доктор» (1769).

…перестал читать «Ночные мысли»… — Речь идет о поэме английского поэта Эдуарда Юнга (1683–1765) «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (кн. 1–9, 1742–1745) — классическом произведении сентиментализма.

Афрасиаб — туранский царь, много лет воевавший с Персией; один из героев поэмы Фирдоуси (934–1020) «Шахнаме».

Оксус — древнее название р. Амударьи.

РАЗГОВОР С МУМИЕЙ

Впервые опубликован в журнале «The American Review» (1845, апрель). На русском языке — в книге: По Э. Избранные сочинения (СПб., 1895), под названием «Беседа с мумией».

С. 409. Фивы — древнеегипетский город «стовратные» Фивы лежал в верховьях Нила, рядом с современным г. Луксор. В разные времена являлся столицей, был центром науки, а также почитания высшего египетского божества Амона.

С. 410. Глиддон Джордж (1809–1857) — известный английский египтолог. Назван среди действующих лиц, видимо, для придания достоверности рассказу.

С. 412. Бэрнс Джон (1761–1841) — английский актер-комик.

С. 416. Священный Жук — имеется в виду скарабей.

С. 418. Каббала (*евр.* предание) — древнее мистическое учение евреев. Зародилось после вавилонского пленения (III–II в. до н. э.) под влиянием учений персидской магии, египетской и греческой теософии.

С. 419. Галль Франц Иосиф (1758–1828) — немецкий френолог, известный своим учением о строении и функциях мозга.

Шпурцгейм Иоганн Кристоф (1776–1832) — немецкий френолог. До 1813 г. сотрудничал с Галлем, затем переселился в США.

Месмер Фридрих Антон (1734–1815) — австрийский врач, швейцарец по происхождению. Предложил сенсационный способ лечения болезней при помощи «живого магнетизма», в основе которого лежало гипнотическое внушение.

Птолемей Клавдий (ок. 90 — ок. 160) — древнегреческий ученый. Разработал математическую теорию движения планет вокруг неподвижной Земли.

Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк.

Диодор Сицилийский (ок. 90–21 до н. э.) — древнегреческий историк. Автор «Исторической библиотеки» (40 кн.; дошли 1–5-я и 11–20-я, остальные — во фрагментах), в которой синхронно излагается история Древнего Востока, Греции и Рима с легендарных времен до середины I в. до н. э.

Фонтан Боулинг-Грин — сквер в центре Нью-Йорка.

Капитолий в Вашингтоне — здание конгресса США в Вашингтоне. Название «Капитолий» носят также здания законодательных ассамблей отдельных штатов.

С. 420. Карнак — комплекс храмов (XX в. до н. э. — кон. I тыс. до н. э.) на терр. древнеегипетских Фив, памятник архитектуры периода Нового царства. Сложная планировка гигантского архитектурного массива; богатый архитектурный декор. Обелиски, статуи, аллея сфинксов.

Большой Оазис (Эль-Харга) — крупнейший из египетских оазисов, расположен в Ливийской пустыне. Древние колодцы его достигали глубины 120 м.

С. 421. «Обозрение» — журнал американских трансценденталистов. Выходил в 1840–1844 гг. В нем публиковались статьи по вопросам литературы, философии и религии.

Герон Александрийский — древнегреческий ученый, живший в I в. до н. э. В своей книге «Пневматика» дал систематическое изложение достижений античного мира по прикладной механике и математике. Изобрел ряд приборов и автоматических устройств. Описал устройство, напоминающее паровую турбину.

Ко Соломон де (1576–1626) — французский инженер, предложивший идею парового двигателя (1616).

С. 422. Брандрет Джозеф (1746–1815) — английский врач.

МОГУЩЕСТВО СЛОВ

Впервые опубликован в журнале «United States Magazine and Democratic Review» (1845, июнь). На русском языке — в книге: По Э. Повести, рассказы, критические этюды и мысли (М., 1885).

С. 424. Плеяды (Стожары) — рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца. Самая яркая звезда — Альциона.

… за пределы Ориона, где <…> протянулись гряды трояких и трехцветных солнц. — Орион — экваториальное созвездие с яркими звездами Ригель и Бетельгейзе: в нем выделяются также три близко расположенные звезды 2-й звездной величины — пояс Ориона.

…Божество не создает… Только вначале Оно создавало. — Согласно учению деизма, существование Бога признается в качестве первопричины мира. Будучи сотворен, мир затем предоставлен действию своих собственных законов.

С. 427… целым множеством Ангельских Разумов. — В философском трактате Данте «Пир» (не закончен), говорится об Интеллектах, которых в «просторечии люди называют Ангелами».

БЕС ПРОТИВОРЕЧИЯ

Впервые опубликован в журнале «Graham’s

Lady's and Gentleman/s Magazine» (1845, июль). На русском языке — в книге: По Э. Таинственные рассказы (М., 1895). Издавался также под названием «Бес противоречия».

С. 429. Френологи — См. коммент. к с. 198.

ФАКТЫ
О СЛУЧАЕ С ГОСПОДИНОМ ВАЛЬДЕМАРОМ

Впервые опубликован в журнале «American Review» (1845, декабрь). На русском языке — отдельным изданием: Говорящий мертвец (СПб., 1859).

С. 436. Месмеризм — См. коммент. к с. 419.

С. 437. «Валленштейн» — драматургическая трилогия немецкого поэта Фридриха Шиллера (1759–1805): «Лагерь Валленштейна» (1798), «Пикколомин» (1799) и «Смерть Валленштейна» (1799).

«Гаргантюа» — роман французского писателя Франсуа Рабле (1494–1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533).

Рандольф Джон (1773–1833) — американский политик. На карикатурах того времени изображался с паучьими ножками.

БОЧКА АМОНТИЛЬЯДО

Впервые опубликован в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book» (1846, ноябрь). На русском языке — в журнале «Еженедельное новое время» (1880, 22 мая), под названием «Бочка Амонтилладо».

С. 449. «Никто не оскорбит меня безнаказанно» — девиз рыцарского ордена Чертополоха (основан в 1687 г.).

Медок (Médoc) — самая известная винодельческая зона Бордо и один из лучших районов красных вин в мире.

Грав — винодельческий район на юго-западе Франции в составе региона Бордо, который одинаково славится красными и белыми сухими винами.

С. 450. Вольные каменщики (масоны; от *фр.* franc maÇon — вольный каменщик) — члены религиозно-этического движения; возникло в Великобритании в начале XVIII в., распространилось затем во многих странах. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. Одним из символов масонства был мастерок каменщика (лопатка).

…наподобие великих катакомб Парижа. — Бывшие римские каменоломни под Парижем имеют

общую протяженность свыше 300 км. В течение многих лет в них сносили кости с кладбищенских земель, предназначенных под новые застройки, а кроме того, тела убитых и казненных. В число «достопримечательностей» при осмотре парижских катакомб входит и галерея с грудами костей.

Коттедж Лэндора

Впервые опубликован в еженедельнике «The Flag of Our Union» (Бостон, 1849). На русском языке — в 1-м томе «Собрания сочинений Э. По в переводах К. Д. Бальмонта» (М. Скорпион, 1901).

С. 454. Индейское лето. — Так в Северной Америке называют «бабье лето», период теплой, солнечной погоды в сентябре — начале октября.

С. 459. Сальватор Роза (1615–1673) — итальянский живописец, гравер и поэт.

Сассафрас — род листопадных деревьев, кустарников из семейства лавровые; родина — восток Северной Америки и восточная Азия.

Локустовое дерево (цератония, рожковое дерево) — вечнозеленое дерево семейства бобовых. Распространено в Средиземноморье, Индии, Южной Африке и Америке. Бобы локустового дерева (цареградские рожки) съедобны; сушеные бобы служили мерой веса (карат) в ювелирном деле,

т. к. имеют постоянную массу.

Катальпа — листопадные деревья из семейства бигнониевых. Деревья этих видов распространены в Восточной Азии и Северной Америке.

…кипарисов Итчиатукани. — Вероятно, что Э. По имел в виду реку Ичауэйночауэй (Ichawaynochaway) на юго-востоке США, которая впадает в реку Флинт в округе Бэйкер, штат Джорджия.

С. 462. С. Ватек — герой одноименной фантастической повести Уильяма Бекфорда.

С. 464. Стрепатка. — Здесь имеется в виду рисовая стрепатка, или рисовый трупиал, птица черного цвета из отряда воробьиных.

С. 466. … в сердце моего сердца… — Цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет» (акт III, сц. 2).

С. 467… жюльеновские литографии… — Пьер Жюльен (1731–1804) — французский художник и скульптор.

Тремя мелками — французский стиль рисунка, который требует от художника рисовать всего тремя пастельными палочками, карандашами или мелками — черными, белыми и красными. Рисунок создан на коричневой, серой или синей бумаге, которая служит «четвертым» цветом. Несколько известных художников использовали

эту технику для рисования своих исследований, среди них Антуан Ватто и Питер Пауль Рубенс.

Канапе — небольшой диван с приподнятым изголовьем.

С. 468. Астральная лампа — лампа, свет, которой падает сверху.

ВОРОН

Впервые опубликовано в газете «Evening Mirror» (Нью-Йорк, 29 января 1845 г.). На русском языке — «Вестник Европы», 1878. № 3 (пер. С. Андреевского).

С. 471. Ворон — широко распространен в мифологических представлениях, связывается с разными элементами мироздания (подземным миром, землей, водой, небом, солнцем). В библейской литературе — синоним двух ипостасей дьявола: палача Бога и похитителя, склевывающего падающее с неба «зерно слова Божия», не давая ему упасть на плодородную землю души. Умение подражать человеческой речи, а возможно, и долголетие, способствовали возникновению представления о Вороне как о мудрой вещей птице.

Борис Акимов